Маргарет
А. Сэлинджер
НАД ПРОПАСТЬЮ ВО СНЕ:
МОЙ ОТЕЦ
ДЖ. Д. СЭЛИНДЖЕР

SHOUT
SHARE
IT

Annotation

Книга скандальных воспоминаний дочери великого Джерома Дэвида Сэлинджера — затворника, отшельника, самого загадочного и знаменитого американского писателя XX века — дает нам уникальную возможность видеть уже практически бронзовую фигуру мастера от самого ее подножия, от самых корней до головокружительной кроны и «глянуть в его творческую лабораторию, куда простым смертным до последнего времени доступа не было.

- Сэлинджер М. А
  - Введение
  - Часть первая
    -
    - 1
    - 2
    - 3
    - 4
    - 5
    - 6
  - Часть вторая
    -
    - 7
    - 8
    - 9
    - 10
    - 11
    - 12
    - 13
    - 14
    - 15
    - 16
    - 17
    - 18
    - 19
    - 20
  - Часть третья
    -
    - 21
    - 22
    - 23
    - 23

- 25
- 26
- 27
- 28
- 29
- 30
- 31
- 32
- 33
- 34

- Благодарности
- Семейный альбом

- notes
  - 1
  - 2
  - 3
  - 4
  - 5
  - 6
  - 7
  - 8
  - 9
  - 10
  - 11
  - 12
  - 13
  - 14
  - 15
  - 16
  - 17
  - 18
  - 19
  - 20
  - 21
  - 22
  - 23
  - 24
  - 25
  - 26
  - 27
  - 28
  - 29
  - 30
  - 31

- ○ 32
- ○ 33
- ○ 34
- ○ 35
- ○ 36
- ○ 37
- ○ 38
- ○ 39
- ○ 40
- ○ 41
- ○ 42
- ○ 43
- ○ 44
- ○ 45
- ○ 46
- ○ 47
- ○ 48
- ○ 49
- ○ 50
- ○ 51
- ○ 52
- ○ 53
- ○ 54
- ○ 55
- ○ 56
- ○ 57
- ○ 58
- ○ 59
- ○ 60
- ○ 61
- ○ 62
- ○ 63
- ○ 64
- ○ 65
- ○ 66
- ○ 67
- ○ 68
- ○ 69
- ○ 70
- ○ 71
- ○ 72
- ○ 73
- ○ 74
- ○ 75

- ○ 76
- ○ 77
- ○ 78
- ○ 79
- ○ 80
- ○ 81
- ○ 82
- ○ 83
- ○ 84
- ○ 85
- ○ 86
- ○ 87
- ○ 88
- ○ 89
- ○ 90
- ○ 91
- ○ 92
- ○ 93
- ○ 94
- ○ 95
- ○ 96
- ○ 97
- ○ 98
- ○ 99
- ○ 100
- ○ 101
- ○ 102
- ○ 103
- ○ 104
- ○ 105
- ○ 106
- ○ 107
- ○ 108
- ○ 109
- ○ 110
- ○ 111
- ○ 112
- ○ 113
- ○ 114
- ○ 115
- ○ 116
- ○ 117
- ○ 118
- ○ 119

- ○ 120
- ○ 121
- ○ 122
- ○ 123
- ○ 124
- ○ 125
- ○ 126
- ○ 127
- ○ 128
- ○ 129
- ○ 130
- ○ 131
- ○ 132
- ○ 133
- ○ 134
- ○ 135
- ○ 136
- ○ 137
- ○ 138
- ○ 139
- ○ 140
- ○ 141
- ○ 142
- ○ 143
- ○ 144
- ○ 145
- ○ 146
- ○ 147
- ○ 148
- ○ 149
- ○ 150
- ○ 151
- ○ 152
- ○ 153
- ○ 154
- ○ 155
- ○ 156
- ○ 157
- ○ 158
- ○ 159
- ○ 160
- ○ 161
- ○ 162
- ○ 163

- ○ 164
- ○ 165
- ○ 166
- ○ 167
- ○ 168
- ○ 169
- ○ 170
- ○ 171
- ○ 172
- ○ 173
- ○ 174
- ○ 175
- ○ 176
- ○ 177
- ○ 178
- ○ 179
- ○ 180
- ○ 181
- ○ 182
- ○ 183
- ○ 184
- ○ 185
- ○ 186
- ○ 187
- ○ 188
- ○ 189
- ○ 190
- ○ 191
- ○ 192
- ○ 193
- ○ 194
- ○ 195
- ○ 196
- ○ 197
- ○ 198
- ○ 199
- ○ 200
- ○ 201
- ○ 202
- ○ 203
- ○ 204
- ○ 205
- ○ 206
- ○ 207

- ○ 208
- ○ 209
- ○ 210
- ○ 211
- ○ 212
- ○ 213
- ○ 214
- ○ 215
- ○ 216
- ○ 217
- ○ 218
- ○ 219
- ○ 220
- ○ 221
- ○ 222
- ○ 223
- ○ 224
- ○ 225
- ○ 226
- ○ 227
- ○ 228
- ○ 229
- ○ 230
- ○ 231
- ○ 232
- ○ 233
- ○ 234
- ○ 235
- ○ 236
- ○ 237
- ○ 238
- ○ 239
- ○ 240
- ○ 241
- ○ 242
- ○ 243
- ○ 244
- ○ 245
- ○ 246
- ○ 247
- ○ 248
- ○ 249
- ○ 250
- ○ 251

- ○ 252
- ○ 253
- ○ 254

Сэлинджер М. А
Над пропастью во сне: Мой отец Дж. Д. Сэлинджер. Воспоминания

Моей семье

Введение

Мирами мыслим книги мы и сны,
Как плоть и кровь, побеги их прочны.

Уильям
Вордсворт. Житейские
темы[1]

В мире, где я росла, люди почти не показывались. Корниш, где стоял наш дом, окружали дремучие леса, и нашими ближайшими соседями были семь замшелых могильных камней: мы с братом однажды обнаружили их, гоняясь под дождем за красной саламандрой; два больших камня и пять поменьше у них в ногах отмечали давнишнюю гибель целой семьи. Отец до такой степени не привечал гостей, что посторонний человек, заглянув к нам, счел бы наш дом пустыней уединения. Но как один из героев отца, Рэймонд Форд, писал в своем стихотворении «Опрокинутый лес»: «Не пустошь — опрокинугый, могучий лес, ушедший кронами под землю глубоко»[2]. Мое детство изобиловало вымыслом: лесные духи, феи, домик, где живут воображаемые друзья, книги о землях, лежащих к востоку от Солнца и к западу от Луны. Мой отец тоже плел небылицы о людях и животных, и эти рассказы помогали нам коротать дни. Мать читала мне книги вслух. Годы спустя я сама прочла, что отцовский герой Холден Колфилд мечтал когда-нибудь жить в таком месте и там завести детей («мы их от всех спрячем»): в маленькой хижине на опушке леса, говорил он. Они с женой купят детям много книжек и сами научат их читать и писать.

А на самом деле это был мир между благостным сном и кошмаром, подвешенный на тонкой, прозрачной паутинке, какую мои родители выпряли прямо в воздухе, безо всякой опоры: мир, висящий над пропастью, где никто никого и не думал стеречь. Родители видели прекрасные сны, но не умели спустить их с небес на землю, в реальную жизнь, приспособить для повседневного употребления. Мать сама была ребенком, когда родила меня. Потом долгие годы грезила и, как леди Макбет, терзалась, бродила во сне. Отец, писатель, настолько погружен в грезы, что едва ли сможет наяву завязать себе шнурки на ботинках, — где уж тут предупредить дочь о том, что она может споткнуться и упасть.

Фантазии, другие миры, иные реальности были для отца куда

более значимыми, нежели живые флора и фауна, плоть и кровь. Помню, как однажды мы с ним вместе смотрели из окна гостиной на прекрасный вид, простиравшийся перед нами: поле и лес, пятнышки ферм и далекие горы на горизонте. По всему этому он провел рукой, будто стер с доски, и сказал: «Все это — майя, иллюзия. Изумительно, правда?» Я ничего не ответила; я долго и тяжко боролась хотя бы за клочок твердой почвы под ногами, и мне вовсе не казалась изумительной мысль о том, что единый взмах руки может ее уничтожить. *Головокружение, разрушение, ужас* — вот слова, приходившие мне на ум; что уж тут изумительною. Такой была темная сторона «опрокинутого» леса.

Я росла в мире страшном и прекрасном, где псе состояло из крайностей. Наверное, это свойство человеческой природы: дети, вырастая, должны выпутаться из родительских мечтаний, отделить себя, выяснить, кто они такие на самом деле и кем надеются стать. Пытаясь проделать это, моя мать, сестра моего отца и я едва не утонули, настолько тесно оплели нас причудливые гирлянды отцовских снов — «побеги, прочные, как плоть и кровь».

«***Лаэрт***
Как! Утонула? Где?

Королева:
Есть ива над потоком, что склоняет
Седые листья к зеркалу волны;
Туда она пришла, неся гирлянды…
И травы, и она сама упали
В рыдающий поток…
Она, меж тем, обрывки песен пела,
Как если бы не чуяла беды
Или была созданием, рожденным
В стихии вод; так длиться не могло,
И одеянья, тяжело упившись,
Несчастную от звуков увлекли
В трясину смерти» [3].

Отец однажды признался кому-то из своих друзей, что для него процесс письма неотделим от поисков просветления, что он решил посвятить всю свою жизнь одному великому труду, что этот труд и будет его жизнью — то и другое нераздельно. В реальности, если он допускал кого-то к себе, то мог быть

иеселым, всецело любящим человеком, рядом с которым хотелось быть, но если такая *майя*, как живые люди, препятствовали его работе, прерывали высокие поиски, это воспринималось как святотатство. Уже в зрелые годы я нарушила молчание, из которого наша семья сотворила себе кумира, из поколения в поколение охраняя покрытые мхом секреты, реальные и воображаемые, и впустила немного света и свежего воздуха, здорового и живительного, как ветры, дующие в Корнише.

После рождения сына я почувствовала, что необходимо отделить волшебство от миазмов, правду — от вымысла, подлинное — от наносного; первое следует сберечь и передать сыну как драгоценное наследство, а второе отфильтровать и отбросить: так индейский «уловитель снов» запутывает в паутину кошмары, а хорошие сны капают с перышка на лоб спящему.

Хотя я думала, что, как говорил Холден в начале отцовской повести «Над пропастью во ржи», «у моих предков, наверно, случилось бы по два инфаркта на брата, если б я стал болтать про их личные дела, особенно у отца», меня приятно поразило, насколько женщины нашей семьи, мать и единственная сестра отца, оказались щедры на рассказы, когда я наконец собралась с духом и принялась расспрашивать их. Я также приняла к сведению совет, который отец много лет назад дал одной молодой особе, изучавшей литературу: он сказал, что та гораздо лучше справится со своей работой без всякой помощи с его стороны. Отец был очень любезен, сказал, что ценит ее благие намерения, и все же, объяснил он, все нужные ей биографические факты — в его рассказах, в той или иной форме, включая и травмирующий опыт, о котором она спрашивает. Итак, размышляя о нашей совместной жизни, читая книги отца, исследуя его жизнь и произведения, подолгу беседуя с тетей и матерью, я смогла собрать по крупицам историю о том, что семья Сэлинджеров «делала до моего рождения». Наверное, получилось пестрое лоскутное одеяло — но, видимо, так и должно быть.

Часть первая
История семьи (1900–1955)
«Что делали мои родители до моего рождения»

Четыре серые стены, четыре серых башни
На луг взирают вешний.
И горько безутешна
Шалота госпожа.

И дни, и ночи напролет
Она узор волшебный ткет,
А тихий голос ей поет:
Беда, коль взор твой упадет
На Камелот.

Альфред, лорд Теннисон.
Госпожа Шалота [4]

1
«Но иногда, на дне зеркал» [5]

Послушай, Китти, давай-ка поразмыслим, чей же это был сон! Это вопрос серьезный, милая, так что перестань, пожалуйста, лизать лапу! Тебя ведь умыли сегодня! Понимаешь, Китти, сон этот приснился либо мне, либо Черному королю. Конечно, он мне снился — но веде и я ему снилась! Так чей же это был сон? Неужели Черного короля, Китти? Кому же это знать, как не тебе? Ты ведь была его женой, милочка! Ах, Китти, помоги мне решить! Оставь на минуту свою лапу!

Кэрролл Льюис. Алиса в Зазеркалье[6]

Мама рассказывала: маленькой девочкой, еще до того, как их дом в Лондоне разбомбили, она часто по ночам покидала постель и открывала дверь из детской на черную лестницу, которая вела на кухню. Спускалась на цыпочках, дабы убедиться, что дверь на кухню заперта и слуг нигде нет. Потом, расправив белую ночную рубашку, потихоньку приподнималась над полом и летала взад и вперед по коридору. Она знала, что это не сон, — просыпаясь по утрам после полетов, видела, что кончики пальцев, которыми она касалась потолка, были в пыли[7].

Моя мать была «спрятанным» ребенком. Она, как и многие английские дети того времени из высшего общества и граничащих с ним средних слоев, росла в детской под присмотром прислуги. Ребенком я то и дело слушала мрачные рассказы о жизни в детской. Единственным светлым воспоминанием была добрая гувернантка, нянечка Рид, ненадолго задержавшаяся в доме: она брала маленькую Клэр с собой, когда навещала свою семью. Нормой скорее были такие, как пришедшая на смену нянечке Рид швейцарская немка, которая, среди прочих своих очаровательных привычек, имела обыкновение после обеда усаживать Клэр на горшок и не

отпускать, пока та не «сделает свое дело», или до ужина, что случалось чаще. Я также узнала, что маму отправили в монастырскую школу, едва ей исполнилось пять лет, и монахини заставляли ее, кроху, мыться, завернувшись в простыню, чтобы не прогневить Господа наготой. Ребенком, сидя в ванне, я часто думала, как ужасно чувствовать на себе мокрую простыню: ты путаешься в ней и неудержимо скользишь к сливу. Когда я, обстрекавшись сумахом, попала в больницу, мама рассказала мне, что в монастыре с ней случилось то же самое, и монахини — через простыню, разумеется, — терли ее щетками с головы до ног, не жалея щелоку, сдирая жгучую сыпь.

Одного я не могу понять: *зачем* ее туда отправили. Когда я была маленькая, то не задавалась этим вопросом, предполагая, что всякие каверзы просто обрушиваются на детей, и это столь же непреложно, как катехизис. Но сейчас мне, взрослой, это показалось бессмыслицей, и я спросила у матери, в чем было дело. И та ответила, что тогда, осенью 1939 года, над жизнями большинства Лондонцев грозной тенью нависала война. Когда немцы начали «блицкриг» в Европе, люди, у которых были средами и «хоть крупица *здравого смысла*», говорила мать, забирали свои семьи из Лондона и уезжали к друзьям или родственникам в деревню. У Дугласов были и родственники в деревне, и деньги; тем не менее Клэр и ее брата Гэвина засунули в поезд, одних, без сопровождения, «вместе со всеми этими бедными детишками», и эвакуировали в монастырь Сент-Леонардс-он-си. Сент-Леонардс был до крайности неудачно расположен, прямо напротив Дюнкерка, и вскоре всех детей снова эвакуировали, на этот раз в глубь острова, в аналогичный монастырь: мама помнит только, что он был похож на целый город из красного кирпича. Ей было пять лет.

У старшего брата бесполезно было искать утешения — в семь лет у него уже проявилась ярко выраженная наклонность мучить животных и маленьких девочек. «Ему нравилось причинять боль, но он этого очень стеснялся, бедняжка». — «Почему?» — спросила я, благодарная матери за то, что она никогда не подпускала «бедняжку», покуда тот был жив, близко к *своей* дочери. — «Мама, что *стряслось* с Гэвином?» Ответ был ясен и недвусмыслен: «Тип, который доставал для матери мясо на черном рынке, был педерастом. Когда он приходил к нам домой, то пару раз приставал и ко мне, но, слава богу, его больше интересовал брат. Думаю, Гэвин после этого так и не пришел в себя».

Когда осенью 1941 года Джером Сэлинджер опубликовал свой первый рассказ «Подростки», семилетнюю Клэр и ее девятилетнего брата Гэвина посадили в поезд до Саутгемптона,

где их встретила гувернантка. Она сказала детям, что в их дом попала бомба, и он сгорел дотла. Дугласов в этот вечер не было дома, но вот любимый котенок Клэр, Тигр Лили, пропал. Без каких-либо дальнейших объяснений гувернантка посадила Клэр и Гэвина на пароход «Скифия». Исполнив свой долг, она повернулась и пошла прочь.

Пароход был битком набит испуганными, плачущими детишками, которых отправляли в безопасные Соединенные Штаты переждать войну. Неизменно, словно от этого зависела ее жизнь, Клэр каждый день выходила на палубу и махала рукой детям, сгрудившимся на палубе такого же парохода «Бенарес», который перевозил точно такой же груз — детей без сопровождения взрослых и следовал рядом со «Скифией», почти борт о борт. Дети махали в ответ. Через несколько дней после отплытия из Саутгемптона, как раз когда Клэр и те детишки махали друг другу, немецкая торпеда пробила борт «Бенареса». Раздался взрыв, вспыхнуло пламя. В немом ужасе Клэр смотрела, как соседнее судно тонуло, как прыгали и кричали объятые пламенем дети.

«Скифия» прибыла в Галифакс, в Новой Шотландии. Из Галифакса Клэр и Гэвин одни поехали поездом в Джорджию, в город Уэйкросс, в свою первую приемную семью. 7 декабря этого года, когда японцы бомбили Перл-Харбор, они оставались еще в Джорджии. Из за повадок Гэвина они до конца войны поменяли восемь американских домов. «И ты можешь догадаться, что случается с маленькими девочками в таких приемных семьях…» поведала мне мать будто под большим секретом, о котором нельзя говорить, а можно только намекнуть.

Вторая семья, куда их определили, жила в Тампе, во Флориде. Мать помнит, как ужасно обгорела на солнце, и приписывает меланому, которая появилась у нее в зрелые годы, своему пребыванию в Тампе. Следующим их приютом, примерно в то время, когда штаб-сержант Джером Сэлинджер готовился сесть на корабль и отправиться в Европу, Клэр была в Уилмингтоне, штат Делавер, где около года посещала школу Тауэр-Хилл. Потом их определяли в семьи в Аллентаун, штат Пенсильвания; Си-Герт — Нью-Джерси, и Глене Фоле — Нью-Йорк.

В детстве я никогда не слышала об этих местах. Однако же мать их мгновенно припомнила. «Уэйкросс, Тампа, Уилмингтон…» — эти города, в том порядке, как их с братом туда определяли, она буквально пересчитала по пальцам, как мой четырехлетний сын — дни недели.

«Где же были твои родители?» — спросила я, полагая, что они не смогли уехать из Англии. Мать рассказала, что ее отец,

который тогда торговал произведениями искусства, приплыл в Америку вскоре после нее, в 1941 году, чтобы продать какие-то картины в Нью-Йорке. Там он и застрял, поскольку морской путь блокировали немецкие подвод ные лодки. Когда сообщение наладилось, он послал за женой, и всю войну они провели в Нью-Йорке, обустраиваясь и налаживая дела в галерее братьев Дювин[8].

С концом войны прекратилась и программа устройства в семьи европейских детей, так что Дугласам пришлось забрать своих отпрысков; Клэр тотчас же отправили в монастырь Младенца Иисуса в Сафферне, штат Нью-Йорк, где она жила и училась до восьмого класса; а Гэвин был определен в Академию Милтона. «Как же они смогли пристроить своих детей в американские семьи, когда сами жили в той же стране — ведь то была военная, благотворительная программа?» — спросила я у матери, выслушав эту историю. Та покачала головой и ответила: «Бог знает, что было в голове у моей матери».

Иногда во время каникул она приезжала к родителям в их нью-йоркскую квартиру и ночевала под обеденным столом — почему именно там, было непонятно, и никого, судя по всему, не волновало. После восьмого класса она отказалась вернуться в монастырь. «Там на меня давили, заставляли постричься в монахини. Всей школе было приказано сторониться меня, не разговаривать, пока я не приму решение. Я чуть не сошла с ума». Родители не стали ее принуждать, или попросту не смогли, и вместо того осенью 1947 года записали в школу-интернат Ирин Мор для девочек, в Шипли, штат Пенсильвания.

Три года спустя, осенью 1950-го, в Нью Йорке, на вечеринке, устроенной Би Стейн, художницей, и ее мужем, Фрэнсисом Стигмаллером, который писал для «Нью-Йоркера», она встретила писателя по имени Джерри Селинджер. Родители Клэр жили в том же многоквартирном доме, что и Стигмаллеры, на 66-й Восточной улице, и поскольку их объединял интерес к искусству, они из соседей сделались добрыми друзьями. Клэр исполнилось шестнадцать лет, она училась в Шипли в выпускном классе. На той вечеринке она выглядела потрясающе: хрупкая, трепетная и беззащитная, как Одри Хепберн в фильме «Завтрак в Тиффани» или Лесли Кэрон в «Джиджи». Мой отец очень любил этот фильм, купил пленку и так часто крутил ее нам во времена моего детства, что я до сих пор могу спеть все песенки от начала и до конца. Ребенком я никогда не слышала о Холдсис Колфилде или Симоре Глассе, но даже теперь не могу взять в руки бокал шампанского без того, чтобы в ушах не зазвучала песенка «В ту ночь, когда придумали шампанское» из «Джиджи».

Нашим общим достоянием были скорее не книги, а кинопленки, собранные отцом. Долгие зимы нам в основном помогала коротать компания «Метро-Голдвин-Мейер». Отец вывешивал экран перед камином, я ложилась на ковер и смотрела хичкоковские «39 ступеней», «Леди исчезает», «Иностранный корреспондент»; Лорела и Харди; В. К. Филдса, братьев Маркс — вот лишь немногие из наших любимцев. Аккуратные пластиковые видеокассеты, которые он смотрит сейчас, — бледная, стерильная замена тому чувственному наслаждению, какое я вспоминаю из тех лет. Отец вытаскивал пленку из круглой металлической коробки, будто разворачивал подарок, и продевал ее в ось проектора. Я зачарованно смотрела, как он проводит пленку сквозь запутанный лабиринт роликов, то вверх, то вниз, словно играя в прятки; руки его знали устройство проектора во всех подробностях и сами делали свое дело. В четвертом классе, вставляя нить в старую швейную машинку Зингера, я чувствовала тот же трепет умения, знакомый тем, кто овладел тайнами мастерства.

Закрепив конец пленки на пустой бобине, он подавал мне знак выключить свет. Тонкий голубой луч вырывался из проектора, расширяясь по пути к экрану, и в мерцающем свете плясали пылинки, поднимались колечки дыма. Проходили начальные кадры со странными иероглифами — кругами, цифрами, царапинами, и не было там, как на современных видеопленках, паскудных, составленных на юридическом жаргоне предупреждений насчет ФБР, тюремного заключения и штрафов. Потом, под музыку и выражения благодарности появлялось название фильма.

Большинство фильмов размещались на двух или трех бобинах, так что периодически приходилось прерываться, включать свет и ждать, пока отец перемотает предыдущую бобину и заправит следующую. Мне нравился звук, с которым пленка в конце каждой бобины щелкала отца по руке, вырываясь из проектора. Я бы никогда не решилась подставить руку. Но у него не было ни единого шрама, он ни разу не порезался, даже когда пленка рвалась и приходилось останавливать фильм, чтобы ее склеить.

Пока заново заряжался проектор, я могла зарядить себя — выпить сока, съесть орешков, убедиться, что мир, известный мне, все еще существует. Некоторые фильмы Хичкока пугали меня по-настоящему, до полусмерти. К великому неудовольствию отца, посередине «Иностранного корреспондента» я всегда выходила из комнаты и прятала голову под подушку, чтобы не слышать криков милого старичка Ван Меера, которого нацисты, желая заставить

говорить, пытают на ветряной мельнице, за кадром. Отец тогда говорил: «Боже мой, вам с матерью все бы смотреть сентиментальные картины про День благодарения и маленьких щенят». В словаре моего отца слово сентиментальный было ругательным словом.

Старые фильмы Хичкока стали нашим тайным шифром. Уже в выпускном классе я получила открытку, где значилось: «Есть в Шотландии человек, с которым я должен встретиться, чтобы хоть что-нибудь сделать. Эти люди действуют быстро-быстро» — и подпись рукой моего отца: «Аннабелла Смит, Алт-на Шеллох, Шотландия» (из «39 ступеней»), Когда брат учился в интернате, я часто получала от него письма с подписью «Хантли Хэверсток» («Иностранный корреспондент»). Иными словами, все мы скорее выбрали бы Лесли Кэрон или Одри Хепберн, чем какую-нибудь литературную героиню, чтобы описать юную Клэр в момент их первой встречи.

Свои каштановые волосы Клэр зачесывала назад, открывая красивый лоб. Прелестный рот, полные губы, высокие скулы, обещающие красоту, которая не увянет с годами. У Клэр — большие глаза ясного, прозрачного голубого цвета, они вбирают в себя окружающий мир, хотя, по общему мнению, это относится лишь к глазам светло-карим и зеленым. В дождливый день глаза у нее серые, как тучи, гонимые ветром; в ясный день на пляже похожи на синее, стеклянное море с белыми парусами. Когда глаза ее приобретали цвет сожженной спички, это был сигнал для нас, детей, поскорей удирать и подальше прятаться. Когда ее глаза становились тусклыми, как у дохлой рыбы, всплывшей в пруду брюхом кверху, я, старшая, должна была взять па себя все повседневные заботы, потому что мама в такие минуты так же не могла видеть нас, как дохлая рыба не видит мух, жужжащих вокруг нее.

> «Взгляд этих глазок голубых так томен и глубок —
> сверкнет однажды на тебя и вмажет в потолок».

(«За девочек благодарение небесам», из «Джиджи»)[9]

В ту ночь, когда мать встретилась с отцом, ее глаза сияли через всю комнату, как свет маяка. На ней было темно-голубое льняное платье с синим бархатным воротником, простое и элегантное, напоминавшее дикий ирис. «О боже, как я любила это платье. В то лето в Нью-Йорке я работала манекенщицей у модистки по имени Нэн Даскин. Нэн отдала мне это платье в

конце сезона… сказала, что оно будто создано для меня. Так и было: оно изумительно подходило к моим глазам. В жизни я не носила такого красивого платья».

«Золотое платье было на тебе…»
«Я была в голубом в ту ночь, и стоял июнь».

(«Я хорошо это помню», из «Джиджи»)[10]

Джерри был почти вдвое ее старше, ему исполнился тридцать один год, и выглядел он, попросту говоря, высоким смуглым красавцем, хотя простого в нем не было ничего. Отец рисует собственный облик, увиденный глазами его любимой вымышленной семьи Глассов. Бадди Гласс, от чьего имени ведется повествование в повести «Симор: Введение», пишет, что глаза некоторых членов его семьи, в том числе и его собственные, «можно было бы, хотя это и выйдет дерзко, уподобить по цвету очень крепкому бульону из бычьих хвостов или назвать их грустными карими библейскими глазами». Я же, его дочь, не обладая дерзостью профессионального литератора и не испытывая смущения человека, который глядится в зеркало, скажу, что глаза у отца очень красивые, с густыми, длинными, черными ресницами — их унаследовали мой брат и, через поколение, — мой сын; тетеньки в парке, заглядывая в коляску, цокают языками и приговаривают: «Ну почему именно *мальчишкам* достаются такие чудесные длинные ресницы?»

Бадди, описывая или «представляя» глубоко им чтимого брата Симора, уже покойного, пишет так: «Волосы у него были жесткие, черные и довольно круто вились. Можно было бы сказать «курчавые», но это не совсем то слово… Они вызывали непреодолимое желание подергать их, и как их вечно дергали! Все младенцы в нашем семействе сразу вцеплялись в них, даже прежде, чем схватить Симора за нос, а нос у него был, даю слово, Выдающийся».

Когда на той вечеринке Джерри и Клэр взглянули друг на друга с разных концов комнаты, Клэр была ошеломлена[11].

На вечеринку она пришла не одна, да и он был со спутницей, так что «мы не могли как следует поговорить», рассказывала мама. Но всякий раз, как она поднимала глаза, их взгляды встречались, и Клэр краснела, боясь, что обнаруживает интерес чересчур откровенно. На следующий день Джерри позвонил хозяйке, поблагодарил ее и спросил, кто была эта красивая девушка в голубом платье. Та дала ему адрес Клэр в Шипли.

Через неделю Клэр получила от Джерри письмо. Жестоко мучаясь, писала ответ: боялась, что не выкажет достаточно ума перед настоящим писателем. Он звонил и писал весь 1950/51 учебный год. Из писем Клэр узнавала, что он много работает: заканчивает книгу. Клэр считает, что ради нее Джерри изменил название школы, в которой учится подружка Холдена, Джейн Галлахер, на Шипли. «Это вполне в его духе, но я слишком трепетала перед ним, слишком стеснялась, чтобы спросить».

Она также узнала, что Джерри серьезно раздумывает над тем, чтобы уйти в монастырь. Он подружился с Даесец Сузуки, делился он с нею в письмах, и теперь медитирует в центре дзэн-буддизма на Тысяче островов. На следующий год, когда «Над пропастью во ржи» вышла в свет, он внезапно переключился на Веданту[12] и часто занимался со Свами Нихиланандой в районе Восточных девяностых. Но встреча с Клэр уже состоялась.

«Правильно, — сказал Тедди. — Я встретил девушку и как-то отошел от медитаций». Он снял руки с подлокотников и засунул их под себя, словно желая согреть. «Но мне все равно пришлось бы переселиться в другую телесную оболочку и вернуться на землю, даже если бы я не встретился с этой девушкой, — я хочу сказать, что я не достиг такого духовного совершенства, чтобы после смерти остаться с Брахманом и уже никогда не возвращаться на землю. Другое дело, что, не повстречай я эту девушку, мне бы не надо было воплощаться в *американского* мальчика».[13]

Когда Клэр на лето приехала из Шипли в Нью-Йорк, они стали видеться. Но вскоре встречи прервались, потому что оба отправились в Европу. Джерри уехал на Британские острова, просто чтобы убраться куда-нибудь из Америки на время публикации «Над пропастью во ржи». «Публиковаться — это чертовски неловко, — сказал он как-то коллеге-писателю. — Надо быть последним олухом, чтобы решиться на это; это все равно, что идти по Мэдисон-авеню со спущенными штанами».

А Клэр отправилась в Италию, к умирающему отцу. Ничего удивительного, что старость наконец одолела Роберта Лэнгдона Дугласа, или РАД, как его называли друзья. Ему уже почти стукнуло семьдесят, когда в 1933 году родилась Клэр, младшая из его пятнадцати (или около того) отпрысков. В справочнике Бэрона «Рыцари и пэры» значится девять из них. Сколько Клэр помнит отца, столько он страдал от маразма. Когда я девочкой умирала от смущения по любому поводу, мать рассказала мне, что однажды на званом обеде в их лондонском доме он вдруг гаркнул ей через весь стол своим зычным, хорошо поставленным

голосом священника: «Клэр, ты сегодня ходила на горшок?»

В последние годы РАД стал еще более непредсказуемым, однако его решение провести конец жизни в Италии, а не в шотландском логове Черных Дугласов, было продуманным и взвешенным. Две расходящиеся тропки, какими он попеременно следовал всю свою долгую жизнь, привели его в Сан-Джироламо, монастырь и приют для престарелых священников, расположенный на холмах недалеко от Флоренции. Он был священником англиканской церкви и какое-то время имел приход в Оксфорде, Англия. Сменив нескольких жен, породив немалое количество детей, он счел за лучшее найти себе другое занятие и начал вторую, чрезвычайно успешную карьеру торговца произведениями искусства и историка искусств. «Благодаря твоему дедушке, — твердили мне, — ранние итальянские мастера, особенно сиенцы, заняли подобающее им место в истории искусств». РАД написал чудесную книжку о Фра Анджелико, и хотя умер он задолго до моего рождения, мне во время моих визитов к бабушке в Нью-Йорк было очень легко и приятно засыпать под смуглолицей Мадонной Джотто. Возможно, и РАД чувствовал то же самое: к концу жизни он обратился в католическую веру.

Когда он умер, в Сиене его, как местного героя, похоронили в городской стене. Мама рассказывала, что весь город участвовал в процессии — в пышных средневековых костюмах, под звуки труб, — чтобы отдать последний долг человеку, который своими трудами восстановил былую славу Сиены. Мать показала мне некролог, выпущенный городскими властями, размером два на три фута, вполне достойный образчик итальянского красноречия.

После похорон Клэр вернулась в Нью-Йорк. Джерри тоже уже приехал и поселился на 57-й улице. Впервые попав к нему, Клэр потеряла дар речи. Квартира эта, рассказывала мама, «находилась в полуподвале: какое-то подводное царство. Все там было в черных и белых тонах. Потрясенная, испуганная, взбудораженная, я смотрела, вытаращив глаза, на черные простыни, которыми была застлана постель. Эти простыни казались мне верхом извращенности и безнравственности. Но теперь я думаю, что все это — черные простыни, черные книжные полки, черный кофейный столик и так далее — хорошо подходило к состоянию депрессии, в котором тогда находился Джерри. Его в самом деле окружали черные дыры, попадая в которые, он едва мог двигаться, с трудом мог говорить».

Клэр, может быть, и провела бы ночь на этих черных простынях, но они тогда не были любовниками. Джерри в то время был тесно связан с центром Веданты, где в ходу было

учение Вивекананды, и, по словам матери, считал, как и его герой Тедди, что встречи с женщиной уводят в сторону от пути просветления. Шри Рамакришна, учитель и предшественник Свами Вивекананды, еще более ярко выразил те же самые мысли в своей книге «Евангелие Шри Рамакришны» (которую мой отец послал своему британскому издателю Хэмишу Гамильтону как *единственную* книгу, которую стоит прочесть):

«Пусть человек живет в пещере на горной вершине, посыпает себя золой, постится, умерщвляет свою плоть, но если ум его стремится к мирскому, к «женщине и богатству», я говорю: «Позор ему!» «Женщина и богатство» — самые страшные недруги на пути просветления, и женщины даже более опасны, ибо женщины создают нужду в богатстве. Из-за женщины человек отдает себя в рабство и теряет свободу. Он уже не может жить, как ему хочется».

Когда ученик Рамакришны признается на исповеди, что ему доставляют удовольствие сексуальные отношения с женой, Рамакришна говорит ему: «И тебе не стыдно? У тебя есть дети, а тебе еще доставляют удовольствие отношения с женой. Не мерзок ли ты сам себе, когда ведешь такую скотскую жизнь? Не мерзок ли ты сам себе, когда ублажаешь тело, содержащее всего лишь кровь, слизь, грязь и испражнения?»

После первого года в Рэдклиффе Клэр летом приехала в Нью-Йорк, работала манекенщицей в фирме «Лорд энд Тэйлор». Она старательно скрывала это от Джерри: «Твой отец не одобрил бы всю эту светскую суету, женщин, наряды… Я не осмелилась сказать ему».

Уже встречаясь с Клэр, Джерри пару раз пригласил на свидание Лейлу Хэдли, писательницу, с которой познакомился у своего друга С. Дж. Перелмана. Увидев ту же самую квартиру на Восточной 57-й улице, мисс Хэдли охарактеризовала ее как «почти пустую»:

«Там была только лампа и доска для рисования. Он делал довольно хорошие эскизы, и, читая «Голубой период де Домье-Смита», я была уверена, что он в герое изобразил самого себя. На стене висел его портрет в военной форме»[14].

В отличие от юной Клэр, которая «слишком трепетала, слишком стеснялась, чтобы спросить» о чем-то личном, мисс Хэдли была достаточно зрелой, достаточно уверенной в себе и могла задавать вопросы и высказывать собственные взгляды, а не только отражать те, что исповедовал он. Она уверяла, что Джерри «никогда не говорил о себе и раздражался, когда ему задавали вопросы личного характера — о семье, о происхождении… С ним было нелегко». Связь их продлилась недолго.

Такое отношение к вопросам о семье и происхождении, обо всем, что связывает остров с материком, красной нитью проходит через историю нашей семьи. (Вспомните, как начинается «Над пропастью во ржи»: «Если вам на самом деле хочется услышать эту историю, вы, наверно, прежде всего захотите узнать, где я родился, как провел свое дурацкое детство, что делали мои родители до моего рождения… у моих предков, наверно, случилось бы по два инфаркта на брата, если б я стал болтать про их личные дела. Они этого терпеть не могут, особенно отец».) Мы с тетей Дорис, папиной единственной сестрой, недавно говорили о том, что нас обеих в детстве отучили задавать вопросы, особенно касающиеся истории семьи, или, как это определяет Холден, о том, что делали родители до нашего рождения. Где-то в семь лет, рассказывала Дорис, вскоре после того, как родился ее брат, она уже «достаточно изучила жизнь птичек и пчелок», чтобы понимать — у ее матери, Мириам, тоже были родители. Однажды она сказала: «Мамочка, у тебя должны быть где-то мама и папа. Где они?»

Мать резко ее оборвала: «Люди смертны, тебе известно это?»

Вот и все, что она сказала. От одной из своих теток со стороны Сэлинджеров Дорис узнала, что годы спустя, когда ее мать действительно умерла, Мириам сильно переживала. Но ни слова не сказала Дорис. В тот же год, немного позже, Дорис увидела, как мать складывает в посылочный ящик детскую одежду. Полагая, что эти вещи могут быть предназначены для маминой таинственной родни, Дорис спросила, кому она собирается их отправить. «Не твое дело», — ответила мать, сверкнув глазами.

«И я, как всегда, умолкла и присмирела», — рассказывала мне Дорис.

«А тихий голос ей поет:
Беда, коль взгляд твой упадет
На Камелот».

2
Ландсман

Ландсман (идиш) — человек, который приехал из того же города, деревни или местечка в Европе, что и вы. Родная душа в стране «серых стен и серых башен». Близкий по духу человек.

Когда родился наш сын, мы с мужем поехали навестить тетю Дорис и показать ей малыша, пока она окончательно не ослепла[15]. Возможно, перед лицом новой жизни меня как никогда обуревали вопросы: откуда мы, кто мы такие и куда идем. Тетю уже никто не мог заставить «умолкнуть и присмиреть», и она охотно поведала мне многое о жизненно важных связях «острова с материком»; говорила со мной так, будто мой интерес к нашей семье — вещь совершенно естественная. В своей скромной, социальной квартирке в Беркшире она угостила нас чаем и надолго умолкла, стряхивая воображаемые пылинки с кушетки. Она почти ослепла и плохо слышит, но ум у нее ясный: этого не может не признать даже отец, которого тетя упрекает устно и письменно в том, что он совсем забросил и ее, и всех родных. Памятуя об этом, я уважаю ее молчание и не пытаюсь «вернуть к реальности», как это обычно делают со стариками, чьи мысли блуждают: прошедшие годы жадно слизали крошки, по которым можно найти дорогу домой через темный лес. Она глубоко задумалась. «Знаешь, Пегги, в детстве мы с твоим отцом были добрыми друзьями. Я всегда таскала его с собой в кино, даже когда он был совсем маленьким. В те времена, знаешь ли, фильмы были немые, с титрами, которые мне приходилось громко читать. Такой малыш — а не позволял пропустить ни единой буквы. От нас все пересаживались подальше!»

Дорис рассказала, что, когда она была совсем маленькой, еще до рождения моего отца, семья жила в Чикаго, где Сол, ее отец, держал кинотеатр, а мать, Мириам, продавала билеты и ведала прокатом. «Из всех евреев, занявшихся в то время бизнесом, — говорила Дорис, — один только папа не разбогател». Потом он бросил кинотеатр и устроился в фирму по импорту пищевых продуктов «Дж. С. Хофман и Компания», главный офис которой

находился в Чикаго. Тут он преуспел, и Хофман назначил его заведующим нью-йоркским филиалом. Сол принял это повышение и переехал с семьей в Нью-Йорк, где и родился мой отец.

Дорис вспоминала, что ее воспитывали совсем не так, как брата. «У нас завелись деньги, когда родился Санни[16]. А это *большая* разница». Он родился через шесть лет после сестры: у их матери было два выкидыша. Когда на шестом месяце она попала в больницу с пневмонией, врачи сказали, что мало надежды сохранить ребенка. Но в первый день нового 1919 года родился девятифунтовый мальчик, Джером Дэвид, по прозвищу Санни, сынок. «Это было событием, — говорила Дорис. — В еврейской семье, знаешь ли, к мальчику особое отношение. Мать его обожала. Он никогда не бывал неправ. Я тоже считала его совершенством». Хотя Дорис подолгу присматривала за маленьким братом, она никогда не жаловалась. «Мать относилась ко всему с пониманием и не заставляла меня сидеть с малышом, когда ко мне приходили друзья или вообще были другие планы». Отклоняясь от темы — так резко сворачивать с курса, без объяснений, без признаков смущения дозволено только старикам, которым годы дают подобную привилегию и право, она спросила: «Мать никогда не рассказывала тебе, как Санни был индейцем?» Я покачала головой. «Ну так вот, как-то раз, днем, меня попросили присмотреть за Санни, пока мама ходит за покупками. Ему тогда было года три-четыре, не больше. Мне около десяти. И мы из-за чего-то крепко поссорились. Я тут же обо всем позабыла, а Санни так рассвирепел, что собрал свой чемоданчик и сбежал из дому. Он часто сбегал из дому. Когда через несколько часов мама пришла из магазина, он стоял на площадке, с ног до головы одетый индейцем, в головном уборе из длинных перьев и всем прочем[17]. Он сказал: «Мамочка, я убежал из дому, но задержался, чтобы попрощаться с тобой».

Мама открыла его чемодан: он был полон оловянных солдатиков».

Это семейное предание, пересказанное тетей, напомнило мне о Лайонеле из отцовского рассказа «В лодке» (вошедшего в состав «Девяти рассказов»), мальчике примерно того же возраста, что и маленький индеец Санни. Домоправительница миссис Снелл и служанка Сандра ведут такой разговор:

— С ума сойти! Верно вам говорю. Прямо с ума он меня сводит. — Сандра смахнула с колен воображаемые крошки и сердито фыркнула: — В четыре-то года!

— И ведь хорошенький мальчонка, — сказала миссис

Снелл. — Глазищи карие, и вообще.

Сандра снова фыркнула:

— Нос-то у него будет отцовский»[18].

Мать Лайонела, Бу-Бу Танненбаум, урожденная Гласс (сестра Симора, Фрэнни, Зуи, Уолта, Уэйкера и Бадди Глассов), входит в комнату и прерывает этот поток поношений, однако остается невыясненным, почему все-таки мальчик сбежал. Бу-Бу находит Лайонела в лодке. На нем — майка «с выцветшим рисунком на груди: страус Джером» прячет голову в песок, разумеется. После длинного разговора, в ходе которого Лайонел отказывается сообщить матери, что заставило его нарушить обещание никогда больше не убегать, Бу-Бу сама забирается в лодку и старается его утешить. Но мальчик разражается слезами: «Сандра… сказала миссис Снелл… что наш папа… большой… грязный… жидюга».

Через какое-то время мать спрашивает у него: «А ты знаешь, что такое жидюга, малыш?»

«Лайонел ответил не сразу— то ли не мог говорить, то ли не хотел. Он молчал, вздрагивая и всхлипывая, пока слезы не утихли немного. И только тогда, уткнувшись в теплую шею Бу-Бу, проговорил глухо, но внятно: «Жидюга… это… — кто… никому ничего не дает…»»[19].

Я начала было рассказывать тете Дорис какую-то историю про моего сына, но она меня перебила: «Пегги, найди себе какую-то работу, какое-нибудь занятие, когда твой сын немного подрастет. Нельзя, чтобы в нем заключалась вся твоя жизнь. В этом нет ничего хорошего. Наша мать жила в своих детях. Хорошо еще, что Санни добился успеха. Они всегда были вдвоем: Санни и мама, мама и Санни. А папа был с боку припека. Его не признавали, не допускали, хотя он этого и не заслужил».

Я спросила, был ли отец рядом во времена их детства, или все время работал, как те, оставшиеся за кадром, отсутствующие отцы в повестях и рассказах Сэлинджера, начиная от отца Холдена, адвоката, с которым мы ни разу не встречаемся, до «Леса» Гласса. Она сказала: «О нет, он часто играл с нами, особенно на каникулах, когда мы ездили к морю. Когда мы были совсем маленькими, папа уносил меня и Санни далеко в море, держал нас под мышки, пока мы качались на волнах, и приговаривал: «Смотрите хорошенько, не пропустите рыбку-бананку». Ах, девочка, мы смотрели изо всех сил».

Тетя Дорис сказала, что имеет только одну «настоящую претензию» по поводу своего воспитания. Ее до сих пор смущает вовсе не то, что семейные истории, связи и все прочее усиленно замалчивались, а то, что родители скрывали от детей один определенный факт, и когда наконец он выплыл наружу, для

Дорис, женщины очень уравновешенной, склонной скорее недооценивать разные жизненные обстоятельства, чем делать из них драму, такое откровение было, как она сама определила это, «травмирующим». Это было так ужасно, говорила она, что ей трудно даже припомнить, как все произошло; одно ясно — «родители нанесли им жестокий удар». Когда Дорис было уже почти двадцать, сразу после того, как Санни прошел бар-мицву, родители им сообщили, что они не *настоящие* евреи. Их мать, Мириам, когда-то звали Мэри, и она, выйдя замуж за Сола, стала «выдавать себя» за еврейку.

До тех пор мне не было известно, что мой отец вплоть до самого своего отрочества думал, будто он чистокровный еврей. Он часто говорил мне, что пишет о евреях-полукровках потому, что хорошо знаком с этой темой. В отличие от тетки, я все время знала, что моя бабушка, их мать, была католичкой. Но, кроме смутного представления о монахах, у меня не было никакого понятия о том, что значит быть католиком, и я никого не расспрашивала. Папа говорил, и бабушка иногда подтверждала, будто она принадлежит к «высокой епископальной» церкви, потому что это звучало «более шикарно», однако на самом деле она была католичкой из графства Корк в Ирландии. Тетя Дорис сказала, что ей странно это слышать. Она, с апломбом истинной жительницы Нью-Йорка, уверяла, что всегда думала, будто мать родилась «в Айове или Огайо, или где-то еще в этом роде», и до сих пор не уверена, была ли та католичкой. Хотя, добавила она, Санни мог знать об этом больше. «Он приставал с вопросами куда упорнее, чем я, и ему, как мальчику, гораздо больше рассказывали». Когда детям сообщили, что их мать не еврейка, Дорис припомнила задним числом какие-то рассказы, обмолвки — да, мать *могла* быть католичкой, но тогда ей не пришло в голову спросить. «Знаешь, у матери постоянно болела челюсть. Однажды она призналась: это оттого, что, когда она была маленькой девочкой, монахини в ее школе раз в неделю колотили ее по зубам деревянным молотком, чтобы вправить неправильный прикус». Я припоминаю, как бабушка терла себе челюсть и морщилась. Правда, я всегда думала, что она это делала, когда раздражалась: отец воспроизводит в точности тот же самый жест, когда кто-нибудь задает ему слишком личный вопрос или начинает, как он говорит, «компостировать мозги».

И Дорис, и я — мы обе унаследовали этот фамильный прикус, а кроме того, тетушек и дядюшек Дорис, братьев и сестер Сола, персонажей анекдотических, которые поведали ей кое-что из истории семьи, когда она выросла. Они-то и рассказали Дорис, что ее родители встретились на ярмарке графства, проходившей

неподалеку от фермы, на которой жили отец и мать Мэри (скорее всего, в Огайо, куда Сол мог добраться из Чикаго за один день). Мэри была стройной девушкой с прекрасными каштановыми полосами до пояса. «Настоящей красоткой была твоя мать», — рассказывал Дорис кто-то из дядей. Сол был высоким, красивым молодым человеком из большого города. Когда они бежали вместе, ему было двадцать два, ей — семнадцать. Мэри Джиллич стала Мириам Сэлинджер[20] и никогда больше не видалась со своими родителями и не говорила с ними.

Как и в большинстве семейных ссор, теперь уже трудно определить, кто с кем не разговаривает. Одно очевидно: в те дни девушка из ирландской католической семьи не могла просто так взять да и выйти замуж за еврея[21]. Да и еврей, беря себе жену, принадлежащую к другой вере, должен был ожидать, что поднимется переполох; но со временем, рассказывала Дорис, мать Сола полюбила Мириам как родную дочь. Целый год после смерти матери Сол ежедневно ходил в храм. Это потому, думает Дорис, что он, женившись на нееврейке, чувствовал свою вину, даже несмотря на то, что мать приняла его выбор. Кто это знает, кроме Бога, с которым он говорил один на один.

Лично я могу сказать: на еврейский вопрос отец реагировал очень чутко. Резоны такой щепетильности я могу прояснить для себя, только сравнив ее с тем, как мой сын в четыре года реагировал, когда вставал вопрос о попке (раз тысячу на день, насколько мне помнится). Эта часть тела вызывала смешливый интерес, служила мишенью шуток, неудержимо влекла к себе и одновременно отталкивала; драгоценная тайна хранилась — и выставлялась наружу кусочком румяной плоти. Тотем и Табу. В доме моего отца уровень возбуждения, который достигался при упоминании чего-нибудь еврейского, можно сравнить только со степенью прочности преграды, какая ставилась реальным жизненным фактам.

Я осознавала, вернее, чувствовала эмоциональный накал, сопровождавший все, что касалось евреев, когда отец рассказывал истории из своего детства, но не знала, как это воспринимать. Одна история была о том, как дедушка из Чикаго приехал их навестить в Ныо-Йорк, и мой отец, тогда еще мальчишка, чуть не умер со стыда, когда дед в автобусе начал вслух перечислять номера всех улиц, пересекавших Мэдисон-авеню. «Шорок пя-я-тая улица, Шорок шешта-ая», — передразнивал отец его сильный еврейский акцент[22].

Как и почти нее, чего стыдились в нашей семье, эта истории со временем превратилась в дежурную семейную шутку. Например, в шестом классе, когда меня отправили в лагерь, папа

написал мне письмо, в шутку угрожая, что его дедушка, тот, который перечислял номера улиц, тоже приедет в лагерь и поселится со мной в одном коттедже. О пижаме не беспокойся, пижамы ему «до фонаря». Хотя мне было всего девять лет, я поняла, что это — тоже шутка; маленькая шутка, вложенная в большую, и касалась она распространенных тогда языковых изысков — некоторые люди считают, что будет «шикарнее» сказать: мне это «до фонаря», когда имеешь в виду, что тебе какая-то вещь не нравится. «Ты будешь от него просто *в восторге*», — заверял папа.

Однако нельзя сказать, чтобы к происшествиям болезненным или постыдным относились в нашей семье с юмором в тот самый момент, когда они случались. Помню, как-то раз отец читал какое-то письмо и вдруг, побагровев от гнева, отшвырнул его в сторону, а потом поведал мне целую историю. Он долго переписывался с небольшой группой евреев-хасидов, к которым чувствовал подлинную привязанность. Такое чувство сродства, землячества было в жизни моего отца редким и поэтому особенно ценным. Он сказал, что время от времени даже посылал им денег, поскольку люди они были небогатые. В письме, которое отец держал в руках, раввин спрашивал девичью фамилию его матери[23]. «Я их вырублю к черту, — вопил отец, потрясая кулаками. — Я с ними больше слова не скажу». Я знала, что так и будет; слишком часто это случалось на моих глазах, и я научилась распознавать, когда он говорит с решимостью человека, сидящего шиву по живому сыну[24].

Когда я, следуя за отцом, пересекла границу, отделяющую повседневную жизнь от вымышленной, то надеялась найти в его опубликованных рассказах объяснение тем смутным и сильным чувствам, какие время от времени вызывали в нем еврейские реалии и вообще вопросы о происхождении. В прозе отца я часто натыкалась на практику общения, которая предполагает проверку на прочность чувства землячества и сродства. И тем не менее везде, кроме рассказа «В лодке» о четырехлетнем мальчике Лайонеле, еврейский вопрос, составляющий сердцевину повествования, замаскирован, и до разговора с тетей чтение отцовских работ вызывало у меня больше вопросов, чем давало ответов. Например, у папиного деда был заметный, мешающий ему еврейский акцент, а у Леса Гласса, отца Симора, — столь же мешающий ему акцент австралийский. (Австралия-то тут причем?). В последнем из опубликованных рассказов отца, «Хэпворте», юный Симор в письме из лагеря советует отцу, эстрадному артисту, избавиться от акцента на время очередной

записи, если он хочет, чтобы та имела успех. Симор заверяет отца, что вся семья очень любит его акцент, но «публика этой любви, пожалуй, не разделит».

В повести «Над пропастью во ржи» этот щекотливый вопрос всплывает несколько раз в связи с вероисповеданием родителей Холдена. В сцене на вокзале, когда Холден заводит в буфете непринужденный разговор с двумя монахинями, он в конце признается, что этот разговор доставил ему непритворную радость. Он настаивает на том, что не притворялся, но, добавляет, было бы еще приятнее, если б он не боялся, что монашки каждую минуту могут спросить, не католик ли он. С ним, рассказывает Холден, это часто бывает, потому что у него ирландская фамилия. На самом деле его отец и был католиком, но, женившись на матери Холдена, «бросил это дело». Холден рассказывает читателю еще одну историю, окрашенную тем же страхом перед вопросами о происхождении. Он и еще один симпатичный мальчик из Хутона разговаривают о теннисе, и вдруг тот мальчик спрашивает, не заметил ли Холден в городе католическую церковь. Не то, чтобы, снова подчеркивает Холден, «весь наш разговор пошел к чертям», но сразу было видно — тому мальчику разговор доставил бы еще больше удовольствия, если бы Холден был католиком. «Меня такие штуки просто бесят».

В зеркальном отражении вымысла чета Сэлинджеров меняется местами: мать моего отца, ирландская католичка, воплощается в отце Холдена, который бросил свою религию, когда женился. Предмет беспокойства и страха — вопросы не о еврействе, а о католичестве. Недавно перечитывая произведения отца, я задавалась вопросом: зачем была нужна такая маскировка? Почему бы главного героя его первой книги, которую он в разговорах с друзьями называл «автобиографической»[25], не сделать наполовину евреем? Почему семья Глассов, явно наполовину еврейская, должна скрывать австралийский акцент? Почему мой отец и в литературе, и в жизни так чутко реагировал на вопрос о происхождении, особенно о еврейском происхождении?

Если бы я принадлежала к поколению отца или же если бы кто-нибудь рассказал мне, как жилось евреям, принадлежавшим к поколению отца, я бы не задавалась этими вопросами. Мне все было бы ясно, как на ладони. Тетя направила меня на правильный путь:

«Евреям-полукровкам в те дни приходилось нелегко. В том, что ты чистокровный еврей, тоже не было ничего хорошего, но, по крайней мере, ты где-то был своим, к чему-то принадлежал. А

полукровка был — ни рыба ни мясо. Мать рассказала мне — этого не нужно было делать, это было ошибкой, — но она рассказала, что когда я подала документы в среднюю школу Доббс Ферри, оттуда пришла для беседы какая-то дама и сказала следующее: «Ах, миссис Сэлинджер, какая жалость, что вы вышли замуж за еврея». Но, знаешь ли, тогда было принято так говорить. Для меня это было тяжело, а для Санни — настоящий ад. Думаю, он жестоко страдал от антисемитизма, когда поступил в военную школу».

«Но, знаешь ли, тогда было принято так говорить». На самом деле я *не знала*. Принято — где, кем? Ярко выраженный, воинствующий антисемитизм в этой стране у меня всегда ассоциировался с полусумасшедшими маргиналами, знакомыми по телерепортажам: жирные безработные мужики, у которых оружия больше, чем зубов, вещают, захлебываясь, что, мол, и работу, и зубы они потеряли из-за евреев; кучка взбаламученных подростков громит еврейские кладбища, да отдельные чудаки-неонацисты вопят «Хайль Гитлер!» в спортивных залах. Не понимаю, как я могла дожить до сорока лет, в своем высокомерном невежестве ни о чем не догадываясь: гордиться этим не приходится. Просто страшно, как много теряешь, не задав вовремя нужных вопросов, к тому же если история твоей семьи — табу. О древних греках и римлянах я узнала все на углубленном курсе истории в Брандейсе, а теперь наконец решила, поздновато, но все же лучше, чем никогда, узнать хоть что-нибудь об истории моей собственной семьи, особенно о том, как складывалась жизнь в те годы, когда рос мой отец, — это всегда было предметом запретным и непозволительным. В случае с матерью я обнаружила, как Дороти с ее рубиновыми башмачками, что нужно только спросить, тогда мама поведет меня в дом своего детства и покажет в ярком свете дня все то, о чем умалчивала до сих пор, — все, что так долго являлось ко мне в кошмарах. В случае с отцом я не могла прямо задать вопросы и получить ответы, поэтому сначала обратилась к письменным материалам.

Ах, хорошая библиотека — это глоток свежего воздуха! Знаю, библиотеки принято называть *пыльными*, но я с этим не согласна. В свободной стране вовсе не обязательно «смиряться и молчать», как велела моей тетке ее матушка, — молчать и оставаться в неведении. Вот она, вся информация, запрашивай, не стесняйся! Никто не шлепает тебя по руке, когда ты роешься в каталоге, не велит умерить любопытство, когда шаришь по полкам. Несколько изумительных месяцев я провела в библиотеке, где и нашла ответы на вопросы, касающиеся нашей семейной истории: такие вопросы я никогда не осмелилась бы задать никому из членов

нашей семьи. Я обнаружила также, что не одну меня окружал заговор молчания; не одной меня касалось втихомолку принятое соглашение — никогда не обсуждать жизненно важные моменты нашей истории; не только я ощущала, что на меня, как на госпожу Шалоту, падет проклятие, если только я кину взгляд со своего острова на материк, откуда когда-то пришла, вплету свою частную историю в общую ткань — нет: подобный опыт я разделяла со многими сверстниками. По мере того, как я больше читала, пристальней вглядывалась в историю своей страны первой половины двадцатого столетия, я все чаще и чаще спрашивала у своих прекрасно образованных друзей как евреев, так и христиан: «А об этом вы знали? А это вам рассказывали ваши родители?» Ответом мне служило глухое молчание. Для меня, выросшей в мире, которым правили фантазии и сны, реально случившиеся события, факты были больше, чем глотком свежего воздуха; они буквально спасли меня от «побегов, прочных, как плоть и кровь», которые обвились вокруг меня и грозили удушить.

Я предполагала, что особая чувствительность к вопросам происхождения была личной идиосинкразией Сэлинджеров (и Колфилдов). Некоторые факты помогли мне отказаться от этого ошибочного мнения. Когда я начала углубляться в жизнь американских евреев начала двадцатого столетия, того периода, когда мои дед и бабка встретились и поженились, я обнаружила, что многие тогдашние американцы были заражены антисемитизмом и «говорили так, как принято» без всякого зазрения совести. До 1890 года только два процента из примерно шестнадцати миллионов иммигрантов в Америку были евреями, и большей частью они прибывали из наиболее благополучных северных, центральных и западных областей Европы. На рубеже веков число иммигрантов, особенно из беднейших южных и восточных регионов Европы, неимоверно возросло, и в их число уже входило более полутора миллионов евреев — около десяти процентов новой волны[26]. В отличие от сегодняшних дней, в те годы много говорили о «проблеме» иммигрантов, о том, в состоянии ли Америка поглотить эти «орды варваров» и сохранить при этом свои ценности (не говоря уже о существующем положении вещей в общественной и экономической жизни). Аристократы из Нью-Йорка и Новой Англии «негативно относились ко всем пришельцам из Европы и Азии, но мишенью самых суровых расистских нападок стали евреи»[27].

В журналах, задававших тон, вроде тех, в которых отец

печатал свои первые рассказы, а также и в газетах, да и в других средствах массовой информации, антисемитизм цвел пышным цветом. Оплот мифических «золотых дней» Америки, «Сатэрдей ивнинг пост» (позже отец опубликовал там несколько своих ранних рассказов) в 1920 и 1921 годах печатал серию очерков, где утверждалось, будто польские евреи (такие, как мой дед) — ни более, ни менее, как «паразиты на теле человечества… слабоумные, недееспособные дикари»[28].

В период между двумя войнами быть очевидным, легко распознаваемым евреем, например иметь еврейскую фамилию, означало встретить немалые трудности в экономической и социальной сферах огромной, необозримо широкой христианской Америки. Многие еврейские студенты поменяли фамилии до того, как закончили колледж. Одно исследование о перемене фамилий в 1930-е годы в Лос-Анджелесе, где евреи составляли шесть процентов от всего населения, но сорок шесть процентов от тех, кто поменял фамилии, обнаружили, что большинство подало прошение вследствие женитьбы: это были преуспевающие евреи мужчины, жившие в смешанных еврейско-христианских кварталах. Даже в индустрии развлечений, отрасли, где евреи могли получить работу, многие из них поменяли фамилии по деловым соображениям.

Злопыхатели утверждали, будто евреи контролируют не только Голливуд, но и все средства массовой информации, особенно газеты. Многие писатели считали, что иные редакторы «Нью-Йорк тайме», например Адольф Оке и Артур Хейс Сульцбергер, были весьма чувствительны к подобным антисемитским выпадам и просили авторов с ярко выраженными еврейскими именами ставить только инициалы. Так, мы читаем рассказы А.(Абрахама) Рэскина, А.Х.Уэйлера, А. М. Розенталя[29].

Свой первый рассказ, «Подростки», опубликованный в журнале «Стори», отец подписал «Джером Сэлинджер». Но под следующим рассказом, «Виноват, исправлюсь», стоит подпись «ДжД.Сэлинджер». Об этом я задумывалась уже подростком, поскольку друзья звали его «Джерри», не «Джи Ди». Я знала, что он считает имя Джером безобразным, но думала, что это дело личного вкуса. «Джером» не входит в десятку моих любимых имен для мальчиков, но его второе имя, Дэвид, я выбрала как второе имя для моего сына. «*Ужасное* имя», — сказал скривившись отец, когда услышал новость. Он все время твердил, как противно ему давать своим любимым героям «ужасные» (читай «по-еврейски звучащие») имена, например Симор; но таков был бы выбор родителей Симора, утверждал отец; вот и ему пришлось так назвать своего героя, хотя это его «чуть не доконало».

Неудивительно, что самоуважение многих евреев, особенно живших в смешанных кварталах для людей со средневысокими доходами, сильно страдало[30]. Один такой человек, выражая мысли многих своих соотечественников, писал, как сильно он «смущался, когда другие евреи при нем плохо говорили по-английски, бурно жестикулировали, отстаивая свою точку зрения, и пересыпали речь словечками и выражениями на идиш»[31]. И снова мне вспоминается мой прадед, громко перечисляющий улицы в автобусе, который идет по Мэдисон-авеню: «Сорок пя-а-тая улица, сорок шешта-ая», а также дед Холдена из Детройта, «который всегда выкрикивает названия улиц, когда с ним едешь в автобусе».

Вспомним слова тети Дорис: «Евреям-полукровкам в те дни приходилось нелегко. В том, что ты чистокровный еврей, тоже не было ничего хорошего, но, по крайней мере, ты где-то был своим, к чему-то принадлежал». Мой прадед мог бы разъезжать по дюжине автобусных линий в огромном Нью-Йорке и чувствовать себя как дома. К его восторженному речитативу могли бы присоединиться толпы «ландсманов», говорящих в точности так же, как он. Однако на Мэдисон-авеню его встречали ледяные или смущенные взгляды. В Нью-Йорке были места, где еврей был своим, и места, где он себя чувствовал чужаком.

Когда рос мой отец, многие здания и даже районы, такие как Парковый склон и Бруклинские высоты, были для него недоступны — оскорбительные надписи в окнах гласили: «католикам, евреям и собакам вход воспрещен». Суды защищали право землевладельцев на подобные ограничения вплоть до 1948 года, до процесса Шелли против Кремера, когда такое ущемление прав личности было признано незаконным. Тем не менее неформальные отношения, когда тебе дают понять, что твое присутствие нежелательно, или всеми «тогда принятые» речи, о которых говорила тетя, на самом деле часто ничем не отличаются от дискриминации, проводимой в законном порядке.

Курт Левин, психолог, давал американским евреям рекомендации — как и когда следует им предупредить своих детей о тех ситуациях, с которыми они могут встретиться:

«Главный факт заключается в том, что ребенок станет принадлежать к наименее привилегированному меньшинству, и с этим фактом ему придется столкнуться лицом к лицу. Не пытайтесь уходить от обсуждения вопроса об антисемитизме, потому что эта проблема все равно рано или поздно возникнет. Может быть, вашего ребенка не назовут «грязным жидом» до четвертого класса (куда позже, чем это случилось с бедным Лайонелом, героем отцовского рассказа, который услышал

грязное словечко жидюга в четыре года)…вплоть до отрочества друзья-христиане будут приглашать его или ее на вечеринки, но потом приглашения прекратятся, и как мальчики, так и девочки, закончив среднюю школу, столкнутся с дискриминацией в колледжах и на рынке труда»[32].

Однако же большинство молодых нью-йоркских евреев в 1920—1930-е годы ощущали рост антисемитизма и дискриминации, да и саму Великую депрессию, только вырываясь из тесно спаянной еврейской общины. Еврейские кварталы представляли собой буферную зону, смягчавшую удар со стороны более обширного христианского сообщества. Одна женщина, вспоминая свое детство, проведенное в нью-йоркском квартале, где восемьдесят процентов составляли евреи, говорит, что она даже не догадывалась, что принадлежит к меньшинству, пока не закончила среднюю школу и не стала пытаться найти работу вне общины. А росла она полагая, что весь мир состоит из евреев[33].

Например, район Верхнего Вестсайда, где мой отец провел свое детство, в то время на пятьдесят процентов состоял из евреев и к 1929 году представлял собой процветающую общину, где насчитывалось штук двадцать кошерных боен, булочных и ресторанов и десять синагог. Я знала, что мой отец ребенком не посещал еврейские религиозные церемонии; мало того, в семье праздновали Рождество, так что я могла предполагать, — даже узнав, что он вырос, считая себя евреем, — что их чувство принадлежности к еврейской общине было весьма ограниченным. В самом деле, я выяснила, что недостаточная религиозность семьи Сэлинджеров не была чем-то необычным. В 1929 году около восемьдесят процентов молодых нью-йоркских евреев вовсе не получили религиозного воспитания[34].

До восьмого класса отец посещал городские школы Верхнего Вестсайда, где около половины его одноклассников были евреями. На следующий, 1932/33 учебный год семья переехала в район Парк-авеню, где проживало менее четырех процентов евреев, и он пошел в среднюю школу Макберни, частное учебное заведение, принадлежащее к Ассоциации молодых христиан. В январе ему исполнилось четырнадцать лет, и примерно в то же самое время, когда Гитлер принес присягу как канцлер Германии, Джером Дэвид Сэлинджер прошел обряд бар-мицва. Где-то в следующем году он и Дорис узнали, что их мать не еврейка.

В его характеристике от Макберни указано, что Джером «тяжело переживает у нас свой отроческий период». Тяжело, в самом деле.

В конце десятого класса пятнадцатилетний Джерри

переходит из Макберни в Военную академию Вэлли-Фордж в Уэйне, штат Пенсильвания. К сожалению, я понятия не имею, каким образом возникла сама мысль о военной школе. Можно усмотреть некую поэтическую перекличку с Маленьким индейцем, который бежит из дому, прихватив с собой чемоданчик, полный оловянных солдатиков, но на самом деле мне ничего не известно. Я полагаю, что он попал из огня да в полымя. То, что я узнала о военных школах того времени, подтверждает слова тети: та полагала, что антисемитизм в Вэлли-Фордж был «для Санни настоящим адом». Центральная Пенсильвания, где расположен Вэлли-Фордж, была, согласно данным американской военной разведки, эпицентром антисемитизма в Америке[35]. Даже если отвлечься от местоположения, обычные для военных академий издевательства над новичками были особенно жестокими по отношению к тем немногим евреям, которые туда поступали [36]. Адмирал Хаймен Риковер, один из девяти евреев, закончивших в 1922 году Военно-морскую академию в Аннаполисе (в класс их поступило девятнадцать), так и говорит, что жизнь в школе была сущим адом. В их «замечательном» классе фотография выпускника-еврея, сдавшего экзамены вторым, была отпечатана на перфорированной бумаге, чтобы ее легко можно было вынуть из альбома.

Почему была выбрана именно эта школа, да еще и в таком месте, для меня остается тайной. Но отец об этом рассказывает совсем по-другому. Однажды, когда я посетовала, что меня, такую юную (в двенадцать лет) отправляют в интернат, отец заявил, что попросту меня не понимает. Он был *счастлив*, подчеркнул он, в шестнадцать лет уехать из дому, из-под родительского крыла. О той чрезмерной заботе, какой окружала его мать, он почти всегда говорил подсмеиваясь, в шутливом тоне — как обо всем, что вызывало у него неловкость; причем над матерью он подшучивал не только в семейном кругу. В письме к «Папе», Хемингуэю, которое он написал на койке госпиталя в конце войны, отец с юморком рассказывает, как сообщал военным психиатрам обычные подробности своего нормального детства: например, как мама до двадцати четырех лет каждый день водила его в школу — на Манхэттене, сами знаете, опасно.

Когда мы навещали бабушку с дедушкой в Нью-Йорке, папина реакция на доброжелательные бабушкины расспросы — вполне невинные, вроде того, как я учусь в школе, — даже мне, девчонке, казалась чрезмерной. Он резко обрывал ее: «Прекрати это, мать! Хватит, оставь их в покое, иначе я закричу!» Мне было жалко бабушку, я видела, что ей нравится расспрашивать нас, и меня это

нисколько не коробило. Но меня по-настоящему поражало то, что она такое отношение воспринимала как должное: ее сын просто не мог быть перед ней неправ. Заговори я в таком тоне с матерью или с отцом, меня бы «отправили в нокаут до середины следующей недели», как отец любил говорить. Даже в последние годы жизни бабушки, когда я уже была подростком, он вел себя так, будто ее незатейливые вопросы были тяжким испытанием. Он навещал мать примерно раз в год, а когда возвращался, рассказывал, как она «забросала» его вопросами, как он едва сумел удрать через несколько часов, охрипший и измотанный. И в самом деле, он говорил и выглядел, как человек, претерпевший какой-то особо суровый допрос с пристрастием. Но у него хватало еще сил в шутку, с каменным лицом повторять бабушкины вопросы: «Насколько выросла Пегги? Понравился ей темно-синий кардиган, который мы ей послали на Рождество? Насколько вырос Мэтью (ему тогда было лет одиннадцать)? Послать ему еще шариков или цветных мелков?»

Это ощущение материнского вторжения — такое сильное, что оно буквально въедалось в кожу, — и черный юмор, в который оно обычно облекалось, заметны в его произведениях, особенно в образе Бесси, Великой Матери семейства Глассов.

«Усевшись на прежнее место, миссис Гласс вздохнула, как вздыхала всегда, всякий раз, когда люди отказывались от чашек с куриным бульоном. Но она, можно сказать, так много лет курсировала на патрульном катере по пищеварительным каналам своих детей, что этот вздох вовсе не означал капитуляции… Возвратилась она с тем особым выражением на лице, о котором ее старшая дочь, Бу-Бу, говорила, что оно означает всегда одно из двух: или она только что говорила по телефону с кем-то из своих сыновей, или ей сию минуту стало известно из достоверных источников, что у всех людей на земле — поголовно — желудок целую неделю будет действовать с гигиенической регулярностью, точно по расписанию»[37].

Когда читаешь повести отца, ни разу не возникает сомнения в том, что дети Глассов любят свою мать Бесси. Да и в реальной жизни я никогда ни минуты не сомневалась, что мой отец любит свою мать; это было очевидно, даже если временами она и доводила его до белого каления. Он часто говорил мне тем тоном, какой приберегал для людей, глубоко им уважаемых, что бабушка, хотя и не образованна, «совсем не дура», а это звучало в его устах чрезвычайной похвалою, безоговорочным признанием чьего-то ума. Он мне рассказывал о ее здравом смысле или хорошем вкусе; часто, следует добавить, по контрасту с отцом,

которого считал круглым дураком и никогда, насколько мне известно, не отзывался о нем с уважением. Все, у кого брали интервью для разных книг и бесчисленных статей — от моей тетки до моей матери, от деловых партнеров деда до отцовских одноклассников, — твердили в один голос, что его мать «явно обожала своего единственного сына». «Они были очень близки». В точности, как говорила тетушка: «Они всегда были вдвоем: Санни и Мама, Мама и Санни. А папа был с боку припека». Может быть, их отношения были, как говорится, «слишком тесными для вольготной жизни», отсюда и ощущение вторжения, и «счастье», которое он испытал, вырвавшись из-под родительского крыла и уехав в школу.

Единственное, что я точно знаю по поводу военной школы, — это то, что никто не заставлял его туда ехать против его воли. Никто его туда не *отправлял*. Во-первых, бабушка никогда бы не принудила своего сына совершить подобный шаг; в военной школе учиться опасно — там сабли, пистолеты. Во-вторых, она и дедушке не позволила бы принудить его к чему бы то ни было. Для всех было очевидно, замечала тетушка, кто в этом доме, как говорится, «носит брюки», кто всему голова.

А коль скоро отец решил отправиться туда, вся механика поступления и отъезда уже не составляет тайны. Гамильтон в своей биографии отмечает, что именно миссис Сэлинджер, а не ее муж, повезла Дорис и Санни посмотреть школу; именно она встречалась с представителем школы, когда тот явился к ним в дом. Он приводит эти факты как свидетельство напряженных отношений между отцом и сыном. Конечно, отношения были напряженными, однако, мне кажется, то, что бабушка одна встречалась с представителями школы, характеризует скорее социальный, нежели семейный климат. Гораздо вероятнее, что именно она общалась с представителями школы по той же самой причине, по какой я одна общалась с агентами по недвижимости и домовладельцами, когда искала квартиру в Бостоне в середине семидесятых, будучи короткое время замужем за афро-американцем. Я говорила, что муж, к сожалению, уехал из города по делам до конца месяца, и что я сама могу подписать все необходимые бумаги. Поскольку я разделяю склонность бабушки держать ситуацию под контролем, то и позволю себе усомниться, будто она полагала, что ее сын поступит в Вэлли-Фордж и займет там подобающее положение, если на заднице у него будет красоваться надпись крупными буквами: «Дай мне пинка, я — еврей».

Истории, которые он рассказывал мне о жизни в Вэлли-Фордж, касались «характеров», «типов» и мелких похождений. Эти

истории, как я припоминаю теперь, были совершенно бесстрастны. Я слышала, как он, наподобие Холдена, оставил в метро фехтовальное снаряжение своей команды, и как они с другом по имени Билл Дикс удрали из казармы, чтобы позавтракать в городе. Те боль и страдание, о которых я прочла позднее в повести о пребывании Холдена в интернате, совершенно отсутствовали в историях, какие отец рассказывал мне (хотя, как я уже говорила, в то время, когда отец писал «Над пропастью во ржи», он признался одному своему другу, что работает над автобиографической повестью).

В той версии своего юношеского мира, какую представил передо мной отец, он знал, что хочет стать — знал, что *станет* — писателем. Его мать во всех этих историях выступала «хорошим другом», поддерживала сына во всех начинаниях, каковы бы они ни были. Его мать знала, что сын ее станет гением; как говорила Дорис, Санни с самого рождения считали «совершенством», «он никогда не бывал неправ». Время показало, что мать не ошибалась насчет его таланта; однако в тот год, когда он заканчивал среднюю школу, такая убежденность зиждилась скорее на вере, чем на разуме. Когда я росла, отец часто рассказывал мне, что его папаша на него давил, заставлял осваивать бизнес Дж. С. Хоффмана и К. по импорту из Польши ветчины и прочих деликатесов. Об этом всегда говорилось с обидой, с большей или меньшей долей насмешки: очередное доказательство дедушкиной глупости. Я всему верила безоговорочно.

Но когда я выросла и стала сама копаться в нашей семейной истории, то обнаружила, что дедушка вовсе не был круглым дураком, каким отец всегда его выставлял. Причин для беспокойства у него было в избытке. Я, конечно, понимаю: когда в отрочестве ты хочешь посвятить себя писательству, а папаша не внемлет ничему и настаивает на изучении семейного бизнеса, хотя бы в общих чертах, ты считаешь папашу круглым болваном. А больше всего раздражает то, что ты живешь дома, поскольку еще не можешь содержать себя, и это делает его еще большим болваном и «жандармом» в придачу — так описывал мне отец те чувства, какие мальчишкой испытывал к своему папаше, особенно когда дело касалось денег. Но большинство людей имеет обыкновение заглядывать вперед. Уверена, что дедушка ставил перед ним какие-нибудь абсолютно «дурацкие» вопросы: например, каким образом молодой человек, наполовину еврей, в недрах Депрессии и в разгар антисемитизма[38], без диплома колледжа, без профессии, без бизнеса собирается прокормить

себя, не то что семью.

С экономической точки зрения то были скверные времена для тех, кого тетя назвала «ни рыба ни мясо». Вопреки мифу о том, что Америка неуклонно шла по пути прогресса, предоставляя все больше и больше возможностей своим гражданам, для евреев в двадцатые и тридцатые годы время повернуло вспять. В двадцатые годы, хотя евреи составляли 26 процентов населения Нью-Йорка, а также были самой образованной в городе национальной группой, 90 процентов рабочих мест в сфере интеллектуального труда предназначались для неевреев[39]. По мере того, как возможности устроиться в «христианском» мире для евреев сокращались, еврейские специалисты открывали еврейские фирмы, куда набирали в основном евреев, и обслуживали эти фирмы по большей части еврейское население. Крупные ссуды для открытия своего дела можно было получить от еврейских организаций, таких как еврейский «Банк Соединенных Штатов» и Еврейское общество займов. Однако для подавляющего большинства иммигрантов-евреев, принадлежавших к рабочей среде, источником помощи являлись общества, называемые *ландсманшафтн* (землячества). Эти стихийно возникавшие ассоциации объединяли иммигрантов, происходивших из одних и тех же европейских городов, и развивали активную деятельность в религиозной, социальной и культурной сферах, занимаясь также трудоустройством, оказывая финансовую поддержку и предоставляя помощь по болезни. В период наивысшего расцвета таких землячеств их насчитывалось более трех тысяч (в подавляющем большинстве стенограммы заседаний комитета на протяжении 1930-х годов все еще велись на идише). Ландсманшафтн предлагал своим членам дружескую поддержку на американской земле и определенный экономический стандарт — в тяжелые времена особенно остро ощущалась разница между голодом и полноценным питанием, лохмотьями и пристойной одеждой, бесприютностью и собственным домом [40].

У моего деда были веские причины настаивать, чтобы его сын отправился в хороший колледж и получил профессию врача, адвоката, бухгалтера, которая давала реальные возможности устроиться в жизни, или же занялся бы непосредственно семейным бизнесом[41]. Я знаю, какие чувства испытывал мой отец по отношению к семейному бизнесу; он достаточно мне об этом рассказывал. Его реакция на высшее образование тоже была непредсказуемой — и тут уж никаких шуток, никаких забавных историй: любой разговор на тему «хорошего колледжа» превращался в минное поле. Да, он сам признавался, что «впадал

в необъяснимый, неистовый гнев» при одном упоминании о Лиге плюща. Я, по правде говоря, думаю, что, касаясь этой темы, он проявлял большой педантизм, даже занудство; в детстве и отрочестве меня поражала несоразмерность такого злопыхательства — все равно, что иметь зуб, скажем, на столицы штатов — тем более, что обрушивался он не на колледжи вообще, даже не на «хорошие» или «престижные», а именно на Лигу плюща. Об Урсинусе, например (небольшом колледже, где он учился около года), отец вспоминал с любовью. И я перестала обращать внимание на выпады против «плющей», сочтя это одной из папиных идиосинкразий, больных мест, которыми природа его не обделила. Повинуясь здравому смыслу, я избегала при нем разговоров на эту тему — не станете же вы махать красной тряпкой перед быком.

Когда я наконец прочла рассказы отца, там было то же самое: эта подлая Лига плюща, оплот «пустозвонов», людей плоских, живущих в одном измерении, добивающихся успеха, нахальных и уверенных в себе, антиландсманов, гоев — таких, как Лейн Кутель, ухажер Фрэнни Гласс, или ничтожество Таппер, ее профессор по английской литературе: оба подрывают ее самоощущение, чувство своего места в мире и в конечном итоге угрожают ее душевному здоровью. Я была восхищена, когда узнала, что подобная реакция имела под собой реальные основания. История не всегда извиняет, но объясняет, включая в контекст. Оказывается, когда отец подрос и стал задумываться о выборе колледжа, самые откровенные, красноречивые, великолепные экземпляры той породы, которая всегда относилась к евреям так, как, по словам тетушки, «тогда было принято», были определенно с ног до головы увиты «плющами». Например, Фредерик Пол Кеппель[42], декан Колумбийского университета, писал, что его беспокоит чрезмерное количество еврейских иммигрантов, из-за которых «социальная среда Колумбийского университета перестала привлекать студентов из хороших семей с утонченной культурой». Ректор Дартмута Эрнест Хопкинс[43] говорил: «Если какой угодно колледж будет принимать студентов с ориентацией только на академическую успеваемость, там вскоре останутся одни евреи, а доля других сделается ничтожно малой»[44]. И все же именно Гарвард, где число евреев среди студентов возросло от 6 процентов в 1908 году до 22 процентов в 1922 году, первым предложил решение «еврейской проблемы».

А. Лоуренс Лоуэлл[45], ректор Гарварда, установил квоты приема, чтобы снизить количество евреев в университете. Гарвард указал путь, и многие из самых престижных колледжей и университетов страны последовали его примеру и установили

свои ограничения: на первый курс принималось от 3 до 16 процентов евреев, не больше[46].

В колледже Сары Лоуренс в Бронксвилле — в этот городок евреи не допускались вплоть до 1962 года, когда вмешалась Комиссия по правам человека штата Нью-Йорк — родителям будущих студентов задавали такой вопрос: «Приучена ли ваша дочь строго соблюдать воскресный день?» В Колумбийском университете нужно было указать вероисповедание; прежнюю фамилию родителей, если они ее меняли; место рождения отца и матери; полное девичье имя матери и занятие отца.

Как привыкли мы сейчас безраздельно полагаться на драгоценные слова: «без различия рас, вероисповеданий, цвета кожи и национального происхождения». А во времена моего отца столь же безраздельно полагались на то, что все эти факторы определяют, может ли человек быть допущен в квартиру, на работу, в колледж, в клуб, в ссудную кассу и так далее. Даже если еврей попадал в квоту и добивался приема в колледж, перед ним — или перед нею — вставал целый ряд дополнительных препятствий и барьеров, практически непреодолимых. Макс Лернер (выпускник 1923 года гуманитарного факультета Йельского университета) утверждал, что его и других однокурсников-евреев принципиально «держали в стороне»[47]. Один современник писал, что во время общих собраний, например по поводу окончания курса или во время чаепитий дня факультета, «присутствие евреев и их родни уничтожает дух, который следует поддерживать, если мы не хотим, чтобы наше общество рухнуло».

Такие примеры антиеврейских настроений можно в изобилии, в бесчисленном количестве найти в статистических данных, в статьях, в речах, просто в разговорах тех дней. Но из всего, что я прочла, наиболее поразительным откровением для меня явились не цифры и не обвинительные речи, а то, что получалось, когда люди пытались сказать о евреях что-то хорошее. Например, сохранились рекомендательные письма, написанные профессорами студентов-историков Оскара Хэндлина, Берта Ловенберга и Дэниэла Бурстина: эти молодые люди претендовали на работу в сфере высшего образования. В письмах содержатся, в частности, такие фразы: «не обладает теми неприятными чертами, какие люди обычно связывают с его расой», «по характеру и уму…может встать вровень с самым белым из белых христиан, каких я только знаю», и «он — еврей, но не из тех, кого пытаешься избегать». Один профессор Чикагского университета написал о своем студенте: «он — одно из немногих лиц еврейского происхождения, кто не действует вам

на нервы и в самом деле ведет себя как христианин, на вполне удовлетворительном уровне»[48].

Кафедры английского языка и литературы, для которых отец приберегает самые едкие свои высказывания, и в реальной жизни, и в его книгах считали себя оплотом англосаксонской культуры и по этой причине менее прочих кафедр привечали евреев. Например, когда Макс Лернер сообщил преподавателю колледжа, с которым поддерживал хорошие отношения, что ему бы хотелось изучать в университете английский язык и литературу, тот возразил: «Макс, у тебя это не получится. Ты не сможешь преподавать литературу. У тебя нет шанса найти себе место в хорошем колледже. Ты — еврей». В 1939 году, когда мой отец по вечерам ходил на писательский семинар в Колумбийском университете, Лайонел Триллинг первым из евреев получил там постоянную должность преподавателя английского языка и литературы. Его жена, Диана Триллинг, позже писала: «Маловероятно, чтобы это предложение было бы сделано», если бы ее супруг носил фамилию деда по материнской линии, Коэн. Когда Триллинг занял должность ассистента, коллеги сплотились, прекратив обычные свары, и выразили надежду всей кафедры, что новый сотрудник не воспользуется возможностью, «вклинившись в наши ряды, проложить дорогу на английскую кафедру другим евреям»[49].

Такой была атмосфера, когда мой отец окончил военную школу. Иен Гамильтон в блаженном неведении пишет об этом периоде жизни моего отца так, будто не возникало никаких трений, и речь шла единственно о выборе и вкусе:

«В этот момент представление Сэлинджера о карьере писателя связывалось с двумя ключевыми пунктами: Нью-Йорком и Голливудом. Такое представление относилось скорее к миру массовой культуры (фильмы, спектакли, многотиражные еженедельники, даже радио), чем к тому миру, который подразумевали под Литературой, скажем, издатели «Партизан Ревью» или большинство университетских преподавателей английской литературы. Частью волей случая, частью — по личной склонности путь Сэлинджера в литературу с самого начала пролегал скорее через метрополию, чем через университеты. И такой разрыв значил довольно много. Чтобы понять, насколько много, нужно всего лишь представить себе, какой была бы жизнь Сэлинджера в литературе, если бы он учился в Гарварде или Иеле. Так что, возможно, образование все-таки что-нибудь, да значит. Конечно же, он сделал бы совершенно другую карьеру, если бы отправил свои первые рассказы не в «Коллиерс», а в «Партизан Ревью»[50].

Джером Дэвид Сэлинджер — ведущий профессор литературы в колледже Сары Лоуренс! Абсурд. Он, конечно, мог поменять имя, но оставалась маленькая проблема носа и смуглой кожи. В 1939 году он поступил на первый курс Нью-Йоркского университета. Весной, невзирая на возражения отца и тяжелую экономическую ситуацию, бросил колледж и нанялся на круизный пароход. Осенью, однако, дед настоял на своем, и отец отправился в Вену, очевидно, чтобы освоить семейный бизнес, а также, делая переводы для одного из партнеров Хоффмана, попрактиковаться в немецком и французском языках, которые учил в средней школе. В детстве я мало слышала об этом семейном бизнесе, разве как о шутке, какую с отцом сыграл глупый дед. А вот еврейская семья, в которой отец жил в Вене, — другое дело. Он этих людей *полюбил*[51]. Они его тоже. Отец часто рассказывал, что мать семейства обычно его называла Джеррила, и объяснял, что так на идише выражается теплое чувство. Меня бы, говорил он, звали Пеггила. Мне бы хотелось встретиться с этими людьми, но все они погибли в концентрационном лагере до моего рождения.

Австрия капитулировала перед Гитлером 12 марта 1938 года. Отец скорее всего уехал из Вены в феврале, но он не мог не видеть, как банды нацистов совершали налеты на еврейский квартал, где он жил той зимой. Мне он рассказывал только о любящей семье, не об ужасе происходящего.

Не знаю, чем отец занимался летом, но осенью 38-го года он поступил в Урсинус-колледж в Пенсильвании. Колледж был основан в 1869 году Немецкой протестантской церковью, и там в основном учились христиане, пенсильванские голландцы, принадлежавшие к среднему классу и жившие в окрестностях городка. Можете себе вообразить. Об Урсинусе и его непритязательности отец говорил только хорошее. Мне и в голову не пришло спросить, почему он проучился всего один семестр.

Весной 1939 года он записался на писательский семинар в Колумбийском университете: занятия там проходили вечером по пятницам, вел их Уит Барнетт, главный редактор журнала «Стори». Барнетт поддерживал молодого писателя и предоставил ему первую возможность опубликоваться. Его рассказ «Подростки», где показаны «дебютанты», «типы», приехавшие из колледжа на каникулы и попавшие на домашнюю вечеринку, появился в 1940 году, в мартовско-апрельском выпуске «Стори». Жить на гонорары было в то время смелой надеждой, но вовсе не несбыточной мечтой. Даже во время Депрессии развлечения

окупались, и журналы, как говорил Брендан Джилл, платили за рассказы «по-королевски». Вот его слова: «Сейчас писателям трудно представить себе, как в тридцатые-сороковые годы журналы дрались за каждый рассказ; трудно также вообразить, сколько они платили». «Коллиерс», «Либерти» и «Сатэрдей ивнинг пост» платили около 2 долларов (25,5 долларов на нынешние деньги) за короткий рассказ.

Летом 1940 года отца не было в городе — он ездил на Кейп и в Канаду. Он написал подруге, Элизабет Мерри, подруге бывшего одноклассника, что начал работать над автобиографической повестью. Следующим летом он пристроил маленький, на страницу, рассказ под названием «Виноват, исправлюсь», о сыне бестолкового солдата, которым следует по стопам отца: рассказ появился в «Коллиерс» 12 июля. Затем в «Эсквайре» появилась «Душа несчастливой истории». «Нью-Йоркер» купил у него рассказ, где впервые появляется Холден Колфилд — «Небольшое восстание неподалеку от Мэдисон-авеню», но потом в редакции передумали и опубликовали рассказ только в 1945 году.

Следующий рассказ, появившийся в печати, был направлен в самое сердце нью-йоркского общества с его эксклюзивными, труднодоступными клубами, благотворительными балами и светской жизнью ВАСП. «Затянувшийся дебют Лоис Тэггет» появился в 1942 году, в сентябрьско-октябрьском выпуске журнала «Стори», вотчины Уита Барнетга. Почти тот же сюжет, тон, герои, что и в «Подростках», но все гораздо мрачнее. Нью-йоркскую дебютантку, дурочку, пустозвонку автор проводит через все круги ада, но в конце рассказа позволяет Лоис, очищенной от скверны, вступить в элитный клуб не-пустозвонов, сэлинджеровский *ландсманшафтн*. Это кажется полной перестановкой акцентов, перевернутым отражением реальных фактов антисемитской культуры тех дней, когда евреи, такие как Бурстин и Лернер, допускались в академическую среду, только «очистившись» от своего еврейства. Рассказ начинается так:

> «Лоис Тэггет закончила школу мисс Хэскомб… и осенью ее родители решили, что настало ей время выйти в люди, атаковать то, что называется «светом». И они устроили прием для избранного круга, выпендрежную, на пятизначную сумму, вечеринку в отеле «Пьер», и если исключить какие-то ужасные простуды и то, что Фред-в-последнее-время-себя-неважно-чувствует, почти все из эксклюзивной публики явились…В ту зиму Лоис шелестела шелками по Манхэттену, стараясь

> показываться с самым фотогеничным из молодых людей, какие пьют виски с содой в апартаментах Бога-и-Уолтера Уинчелла в Сторк-клубе… Весной дядя Роджер согласился взять ее регистраторшей в один из своих офисов. То был первый год, когда дебютанткам полагалось Что-Нибудь Делать»[52].

Лоис Тэггет нарушила одну из личных «десяти заповедей» Сэлинджера — я без конца слышала, как отец повторял ее, пылая праведным гневом: «Не «балуйся» искусством». Я буквально сжималась от страха, читая, как Лоис совершает налет дилетантки на Колумбийский университет, записавшись от нечего делать на пару курсов. В реальной жизни отец доходил буквально до бешенства, просто терял дар речи, сталкиваясь с кем-нибудь, чаще всего женщиной, особенно из Лиги плюща, кто ради забавы слушал курс литературы или искусства. Приближаться к заповедным владениям без искуса, без подвижнического призвания — святотатство, профанация[53].

Довольно неожиданно Лоис влюбляется в человека, не принадлежащего к ее кругу, «высокого красавца Билла Теддертона, пресс-агента». Молодые люди женятся: она — по любви, он — из-за денег.

> «Тэггеты не стали поднимать особого шума. Теперь уже не принято устраивать скандал, если дочка предпочла мошенника этому милому мальчику Эсторбилтов. Все, конечно же, знают, что пресс-агенты (и писатели) — мошенники. Это то же самое»[54].

Через несколько месяцев после свадьбы Билл Теддертон к своему изумлению обнаруживает, что влюбился в Лоис. После короткого периода супружеского счастья он вдруг прижигает ее сигаретой, продолжая глубоко любить; а через несколько недель, уже не любя, со всего размаху опускает ей на ногу клюшку для гольфа[55]. Потом страстно, униженно молит позволить ему вернуться; он пойдет к психиатру, он сам не знал, что делает. Лоис разводится с ним.

В конечном итоге она выходит замуж за глуповатого, некрасивого парня, вхожего в самое лучшее общество. А через год или около того снова возникает опасность — в форме чрезмерной привязанности, когда она обнаруживает, что без памяти любит

своего ребенка. Мы радуемся счастью малыша и его мамы, но сцену блаженства прерывает голос рассказчика, словно глас Божьего приговора: «Наконец-то она чего-то добилась». Ее долгий дебют подошел к концу, она выбралась из него невредимой, она перестала быть «пустозвонкой». «Кажется, все об этом прознали, — повествует рассказчик. — Женщины теперь вглядываются в лицо Лоис, не просто оглядывают ее тряпки… Это произошло за шесть месяцев до того, как юный Томас Тэггет Керфман как-то неловко закашлялся во сне, и ворсистое шерстяное одеяльце унесло его маленькую жизнь».

Высокую цену требует этот писатель от тех, кто входит в число его избранников, в элиту *ландсманшафтн*, куда нет доступа «пустозвонам»: ни деньги, ни происхождение, ни образование его не интересуют — героиня должна пожертвовать своим первенцем. Когда я читала этот рассказ, по спине ползли мурашки: словно холодная рука прошла сквозь преграду между вымыслом и реальностью и коснулась нашей семейной жизни. Я продолжала рыться в семейных историях, но со смутным ощущением надвигающейся беды. Будто бы я прочесываю лес, ищу заблудившихся там людей — и так же боюсь добиться успеха, найти безжизненные, изуродованные тела, как и потерпеть поражение и остаться в неведении относительно их судьбы.

3
Сапожник, портной, солдат, шпион [56]

Весной 1942 года Джером Дэвид Сэлинджер был признан в Армию Соединенных Штатов. Как тысячи молодых людей во всех концах страны, он явился на призывный пункт, где и началось его превращение из мирного гражданина в солдата. Во все время моей жизни рядом с отцом я не видела, чтобы был дан обратный ход, появился какой-либо признак перехода, возвращения от солдата к мирному гражданину. Его мирное занятие, писательство, в детстве было для меня чем-то весьма отвлеченным, далеким. Я до сих пор храню записку, которую написала родителям моя учительница музыки: ее страшно позабавило мое неведение. Учительница рассказывала, что перед концертом, чтобы не так волноваться, дети называли профессии отцов: что чей папа делает, чтобы заработать на жизнь. Когда пришла моя очередь, описывает она: «Пегги изрекла с гордостью: «Мой папа *ничего* не делает»».

Но я никогда не сомневалась в том, что мой отец был солдатом. Истории, которые он рассказывал; одежда, которую носил; искривленный нос, который сломал, выпрыгивая из «джипа» под прицельным огнем; ухо, которым он не слышит с тех пор, как рядом взорвалась мина; «джип», на котором он ездил; старые друзья, такие как Джон Кинан, напарник по «джипу», с которым они вместе прошли пять кампаний; пистолеты, из которых он учил меня стрелять; армейские часы и фляга; зеленые жестянки консервов, которые хранились у нас в подвале; медали, которые он показывал брату и мне, когда мы очень просили, — почти все, что я видела, к чему прикасалась, что слышала об отце, говорило о том, что мой отец — солдат.

Он не был единственным солдатом в доме: я, девчонка, изо всех сил старалась походить на него. Повзрослев, я стала дружить со сверстниками и совсем забыла, что составляла важную часть мира отца. Я родилась в пятидесятых, но росла вне времени: сороковые годы были для меня более реальными, чем дата на календаре. Я вспомнила обо всем в шестнадцать лет, когда привезла показать папе моего приятеля Дэна, а папа извлек старую, на бобине, магнитофонную запись и сказал: «Дэн, ты должен это послушать, это чудесно». Это была моя запись. Я, в четыре года, напела весь свой репертуар: «Мадмуазель из Армантьера» — никто ее не *целовал*, никто ее не колебал, за сорок лет, за сорок лет, она — старуха, она — скелет… хинки

динки парли ву; один моряк с забора бряк, парли ву, другой моряк с забора бряк; «У меня шесть пенсов», счастливый день, когда солдату отвалят месячную плату — и мы плывем-плывем домой; «Не садись под яблонькой»: ни с кем не садись, только со мной, когда из похода вернусь я домой; «Абдул Абулбул Амир»; «Есть такая в городе таверна».

Из Второй мировой войны я вынырнула, когда пошла в детский садик и выучила какие-то детские песенки про паучков и чашечку чая. Моя учительница, миссис Перри, песенку «Мадмуазель из Армантьера» сыграть не могла.

Война в нашей семейной жизни часто выходила на передний план, но на заднем плане она маячила *всегда*. Война была точкой отсчета, все остальное оценивалось по отношению к ней. Когда папе было приятно сидеть у огня в сухой, теплой, уютной комнате, он наслаждался как человек, который в своей жизни испытал настоящий холод, и сырость, и всяческие невзгоды. У тех, кто много пережил, есть одно свойство: все то, к чему мы привыкли и чего не замечаем, они никогда не воспринимают как должное. Сколько я помню отца, он никогда не воспринимал как должное тот факт, что ему тепло и сухо, и никто его не подстрелит. Однажды мать звала его в поход с ночевкой, а он ответил, оскорбленный в лучших чувствах: «Бога ради, Клэр, я всю войну провел в окопах. И *никогда больше*, клянусь тебе, не буду ночевать под открытым небом без особой нужды».

Постоянное присутствие войны, ощущение, что она так по-настоящему и не кончилась, пронизывало все годы, какие я провела в этом доме. Даже когда подростком я лишь наезжала домой, и он, как все родители, выведывал у меня мои секреты, я говорила в шутку: «Папа, хватит меня допрашивать!» А он отвечал: «Я с собой ничего не могу поделать, вести допрос — мое ремесло». Не в прошедшем времени, в настоящем, будто на нем до сих пор форма контрразведчика, и он допрашивает пленных. «Вести допрос — мое ремесло». Жуть. Он все еще носится на своем «джипе», как сумасшедший, или как человек в здравом рассудке, но попавший под обстрел; носит ту же стрижку, армейский бобрик, теперь уже седой.

Рядовой Сэлинджер, идентификационный номер 32325200, возраст — двадцать три, был направлен в Форт-Дикс, Нью-Джерси, 27 апреля 1942 года. Оттуда его перевели в Форт-Монмут, Нью-Джерси, где он прошел десятинедельную подготовку к службе в войсках связи. Он подал прошение в Школу офицеров, и полковник Бейкер, директор Военной академии Вэлли-Фордж, прислал прекрасную характеристику. Его

зачислили, но все не вызывали. В июле почти всех связистов перебросили на командный пункт связи в Форт-Монмут. Но отца определили инструктором военной авиации и назначили в Главную летную школу военно-воздушных сил США в Бейнбридже, Джорджия.

Отец рассказывал мне много историй о своем пребывании на Юге. Одну он повторял чаще прочих — или мне, ребенку, она запомнилась лучше всего, — и речь в ней шла о жуках. Он рассказывал, что в Джорджии есть такие жуки, под названием «чиггеры», которые проникают под кожу и больно кусаются. Извлечь их можно только огнем: поднести зажженную сигарету. Весь фокус заключался в том, чтобы найти нужную точку: выжарить чиггеров, но при этом не обжечься. Однако от них так свербело под кожей, что многие предпочитали ожоги.

Такую полезную информацию, например как избавиться от чиггеров, я собирала, как другие детишки собирают стеклянные шарики, или кукол, или прочие драгоценные предметы. Похоже, папа знал все самое-самое: скажем, то, что травка джоилвид всегда растет рядом с ядовитым сумахом и является природным противоядием. Во время наших долгих совместных прогулок, которые я очень ценила, он показывал мне, какие грибы ядовиты, например красивый мухомор, а с какими получается вкуснейший омлет, например сморчки и белые. Большой солдат делился с маленьким своим опытом выживания в лесу. А заодно и тем, что кто угодно может оказаться нацистом: сосед, нянька, почтальон, — любой. И героем тоже: пока не начнется настоящее дело, ты не можешь определить, кто будет героем, а кто — трусом и предателем.

Герои отца — не те красивые, бесстрашные парни, каких мы то и дело видели в тогдашних фильмах: этот образ он как раз и старался разрушить в своих военных рассказах. Из всей армии его больше всего восхищал один безымянный сержант, который сделал то, что надо, попросту потому, что так было надо. Рядовой Сэлинджер подал прошение в Школу офицеров и ждал перевода в корпус военных переводчиков и контрразведки. Однажды в пятницу, уже под вечер, пришел приказ. Отца направляли для прохождения службы в ремонтно-механическую часть. Он знал, что тут какая-то ошибка (вся наша семья трепетала каждый раз, когда папа хотя бы касался какого-нибудь инструмента; мы знали: он что-то обязательно сломает, скорее всего, себе — несколько ребер, палец и так далее), и пошел к дежурному сержанту, который ведал такими делами. День уже заканчивался, и тот парень, как папа его описывает — я вижу его так ясно, будто сама там была, — смазал волосы бриллиантином, зачесал их назад

(папа проводит рукой по голове, рассказывая эту историю), вычистил ботинки — приготовился ехать в город на вечер. Дело было в армии, в Европе шла война, мы должны были вскоре в нее вступить, и парень назначил в городе свидание. Рядовой Сэлинджер показал ему свои бумаги, заявил, что вышла какая-то ошибка, и парень спокойно снял пальто, сел за стол и больше часа старательно разбирался в этом деле, не ради признательности или выгоды, а просто потому, что так было надо. Пока он искал ошибку и исправлял ее, ушел его поезд. Отец навсегда запомнил его.

В рассказах, которые отец писал для журналов во время войны, говорится о том же. Новобранцы в реальной жизни учились выживать, бороться со смертью — и в героях отцовских рассказов тоже отражается переход от дел и забот мирного человека к делам и заботам солдата. Ушло из его произведений нарочитое внимание к святым и грешникам мирного, гражданского общества, к тем, кто вместе с толпой, и тем, кто вне ее; к «пустозвонам» и к элите. И все же проблемы мирной жизни проявляются как-то косвенно, я бы сказала, более тонким и эффективным путем. Возможно, это — точка зрения дочери, которой часто приходилось выслушивать нотации от отца, но и в его героях наблюдается склонность к дидактике. Зуи, говоря о всей своей семье, признается: «Мы не отвечаем, мы вещаем. Мы не разговариваем, мы разглагольствуем. По крайней мере, я — такой. В ту минуту, как я оказываюсь в комнате с человеком, у которого все уши в наличии, я превращаюсь в *ясновидящего*, черт меня подери, или в живую шляпную булавку»[57]. Задолго до того, как прочла «Зуи», я слышала, как отец говорил то же самое о себе, но любому очевидно, что он с собой совладать не может. Угрызения совести, каким дает волю отец наутро после вечерних проповедей, звучат как сожаления закоренелого алкоголика, устроившего очередной дебош. Грусть, неловкость, бесконечные извинения — но нет надежды или хотя бы обещания перевернуть страницу, начать новую жизнь. В повестях о Глассах, как и в реальной жизни отца, есть ощущение, будто он не может с этим совладать, будто это какой-то существенный изъян. Не то, чтобы этот изъян был присущ его суждениям и нотациям, нет: неловкость возникает оттого, что он не в состоянии молчать.

Тем не менее, в ранних армейских рассказах отца гораздо больше событий, чем нотаций, и, как я уже говорила, какая-то новая, невиданная тонкость, даже мягкость, с которой подаются обычные для него проблемы. Больше всего меня поражает, что у героев этих армейских рассказов есть настоящие друзья. Вот «Бэйб» Глэдуоллер в «Дне перед прощанием»[58] говорит своему

другу и однополчанину Винсенту Колфилду: «До армии я не знал, что такое дружба», или Филли Берне в «Смерти Собачьей Морды» признается своей жене Хуаните: «Я встретил в армии больше хороших парней, чем знал их на гражданке»[59]. Обычно в книгах отца вместо дружбы мы находим отношения гуру и ученика, взыскующего истины, как в «Тедди» и в поздних повестях о Симоре, или связь между живыми и мертвыми, как в «Над пропастью во ржи», где Фиби накидывается на своего брата Холдена, требуя, чтобы тот назвал хотя бы одного живого человека, который ему нравится; так же точно Фрэнни нападает на Зуи, бросая ему тот же самый вопрос; и оба вынуждены признать, что за пределами ближайшего семейного окружения они не могут назвать ни единого живого человека — хотя список мертвецов, ради встречи с которыми оба готовы отдать правую руку, довольно длинный. И отец часто твердил мне то же самое — что все те люди, которых он по-настоящему уважает, давно умерли.

Другая вещь, которая меня поражает — а я росла, слыша от отца бесконечные пессимистические высказывания относительно возможности счастья в браке, в любом браке, к тому же наблюдая его отношения с моей матерью, более чем гнетущие, — меня поражает то, что на короткое время, только в двух рассказах, «По обоюдному согласию»[60] и «Мягкосердечный сержант», появляются муж и жена, которые вглядываются друг в друга, несовершенно, по-человечески, — и им нравится то, что они видят. Читая эти рассказы в первый раз, я не обратила внимания, что оба — и муж, и жена — люди умные, но не образованные. Просторечие, как всегда, безупречно переданное, ясно указывает на их социальный статус, не заключая в себе ни тени насмешки. Это тоже очень характерно для отца: он всегда с уважением относился к местным фермерам, у которых было чему поучиться, даже в области языка, пусть неправильного, далекого от литературы. Он зато бывал безжалостен к тем, кто пытался «осовременить» свой язык, сделать его более «модным», употребляя разные заумные слова, вернее, злоупотребляя ими. «Если хочешь что-то сказать, употребляй наиболее простое слово из всех возможных», — не уставал он твердить. Менее простое слово можно употребить только в том случае, если оно *действительно* нужно тебе, чтобы точно обрисовать то, о чем ты говоришь.

По-человечески несовершенным парам в этих рассказах удается проложить путь к взаимопониманию, любви и уважению. Филли Берне, например, вернулся с фронта и объясняет своей жене Хуаните, которая любит голливудские фильмы о войне,

почему он сам их терпеть не может. Он рассказывает кое-что из пережитого на войне — вот почему, утверждает он, те фильмы — сплошное вранье. В голливудских историях, говорит он:

«Ты видишь целую уйму таких красивых парней, и пуля в них входит чисто-чисто, чтобы не попортить красоты, и у них достаточно времени перед тем, как загнуться, чтобы послать «последнее прости» домой, какой-нибудь куколке, с которой в начале всей этой бодяги вышли серьезные нелады по поводу того, какое платье ей надеть на школьный бал… А потом ты видишь, как тело этого парня везут в родной город, и вокруг миллион народу, и мэр, и родня покойника, и его куколка, а может, и Президент — и все стоят вокруг гроба, толкают речи, звенят медалями, и в траурных шмотках выглядят круче, чем большинство людей, когда вырядятся для вечеринки»»[61].

Филли рассказывает жене подлинную историю о подлинном герое, его сержанте, который был на редкость безобразен (отсюда и первоначальное название, «Смерть Собачьей Морды»), совсем не для Голливуда, но солдаты уважали его как никого другого. Он погиб при бомбардировке Пирл-Харбора, пытаясь спасти новобранцев: ему оторвало челюсть, он получил еще четыре ужасные, чудовищные раны. В конце рассказа Филли говорит:

«Он умер один-одинешенек, и ему нечего было передать девушке или кому-то еще, и никто в Штатах не закатил ему шикарные похороны, и трубы не трубили в его честь.

Вот какие похороны были у Берка: Хуанита поплакала по нем, когда я прочел ей письмо Фрэнки и снова рассказал все, что знаю. Хуанита — не какая-нибудь выпендрежная дамочка. Не женись на выпендрежных дамочках, друг. Возьми себе такую, что заплачет по Берку»[62].

Такое уважение, такое сродство душ между мужем и женой больше никогда не появится в рассказах отца. Когда в своих повестях он возвращается к героям из среднего класса, кажется, будто образование как-то мешает им стать ландсманами; элитный мир преподавателей школ и колледжей Лиги плюща состоит из островов, отделенных друг от друга проливами, чужих друг другу; они не могут соединиться, эти одинокие люди; не могут найти ландсмана — уж во всяком случае не в возлюбленной или в жене.

Читая рассказы, которые отец написал, когда был солдатом, я испытывала сладкую горечь, пронзительную грусть, какую ощущаешь, слушая реквием. Что-то очень человеческое процвело на короткий срок и погибло[63], и хотя его творчество и жизнь перешли в другие пределы, например во владения наделенных

даром предвидения, Herrlichkeit[64] Тедди и Симора, которые идут навстречу смерти с открытыми глазами, этот его переход к Űbermenschen[65] в литературе и в жизни лишил меня отца, у которого можно посидеть на коленях; лишил драгоценных прогулок и разговоров солдата с солдатом; теплых рук, поддерживающих меня; знакомого папиного запаха — яблоневых ветвей, горящих в камине его кабинета, старых шерстяных свитеров, балканского трубочного табака «Собрание» — лишил всего, что служило мне утешением и опорой. Когда я читаю его повести, в них мне не достает того солдата, того отца, которого я знала, которого любила, которым восхищалась — нет, перед которым *преклонялась* — ребенком. Каким счастьем было обнаружить эти старые рассказы, которые он, по его словам, оставил «умирать естественной смертью» в старых журналах. Я их читаю с любовью и признательностью: вот папа, которого я помню.

В начале 1943 года Сэлинджера направили для дальнейшего распределения на базу вблизи Нэшвилла в Теннеси. Он снова написал полковнику Бейкеру, просил помочь со Школой офицеров, объясняя, что его приняли туда, но так и не вызвали. Осенью его назначили заниматься связями с общественностью в Паттерсон Филд, Фэрфилд, Огайо. Приказ наконец пришел, и в октябре 1943 года его перевели в Форт-Холаберд, Мериленд, где готовили агентов контрразведки и где мог найти применение как его незаурядный ум, так и знание немецкого и французского языков, приобретенное в Вэлли-Фордж, — и никаких, бога ради, ремонтно-механических работ: пожалейте союзные войска.

Отец много раз рассказывал мне историю о том, как он зашел домой попрощаться перед самой отправкой в Англию, где он и еще восемьсот особых агентов должны были пройти перед днем высадки специальную подготовку, а потом получить назначение в части действующей армии. Он не хотел, чтобы его провожали до корабля — ненавидел слезы. Он хотел спокойно попрощаться со всеми дома и запретил матери ходить на пристань. Но когда шагал со своим батальоном к месту посадки, вдруг заметил ее. Она шла следом за солдатами, прячась за фонарями, чтобы сын не увидел.

Уже из Англии он послал в журналы два рассказа о том, как солдат в последний раз заходит домой и прощается с родными перед отправкой за море. Тут у отца был шанс все «поставить на место», переписать историю так, чтобы произошло именно то, чего ему бы хотелось. И, разумеется, — о великая радость сочинительства! — ему удается удержать свою мать: никто не

прячется за фонарными столбами.

Первый рассказ о прощании называется «Раз в неделю — тебя не убудет»[66]. Здесь мы вступаем на родную для Сэлинджера почву: мужья и жены, между которыми нет сродства душ; мужчина, который ищет ландсмана в семье своего детства. Рассказ начинается с того, что этот человек поутру пакует вещи, чтобы отплыть на войну. Несмотря на то, что рядом щебечет хорошенькая блондинка-жена, он, в сущности, одинок. По-настоящему прощается он только с теткой; он с ней тесно связан, она ему — ближайшая родственница: родители умерли, когда он был еще мальчишкой. Она чудесная, хочется больше прочесть о ней, но рассказ короткий. Между ними происходит изумительный разговор, в конце которого приходится сообщить, что он идет на войну. Он нервничает, не знает, как тетка это воспримет.

«Я знала, что тебе придется идти», — сказала тетушка, не впадая в панику, без сентиментальной горечи «последнего прости». «Чудесная у меня тетка, — подумал он. — Самая здравомыслящая женщина в мире». Разговор становится слегка взволнованным, и перед уходом он еще раз берет с жены обещание водить тетушку в кино. «Раз в неделю — тебя не убудет», — говорит он.

Второй рассказ о прощании, «День перед прощанием», гораздо длиннее, и герои несколько другие, но по большому счету он о том же самом: мать, как и тетка, стойко принимает известие. В этом рассказе в последний раз в отцовской прозе появляются дррκба и братство, *ландсманшафтн* равных, вне стеклянных пределов семьи. Как бы я хотела, чтобы эти чувства выжили и расцвели в жизни отца — жизнь нашей семьи стала бы тогда намного богаче. Этого не случилось. Зато его поиски ландсманов все чаще и чаще приводили его к плоскостному, двухмерному общению: с вымышленной семьей Глассов и с живыми «собратьями по перу» посредством переписки, которая длилась до тех пор, пока человек не являлся перед ним в трех измерениях, в плоти и крови — и тут, с той же неизбежностью, с какой действует рок в классической трагедии, дело шло к разрыву.

В «Дне перед прощанием»[67] Джон Ф., или Бэйб, Глэдуоллер Младший, в том же чине и с тем же личным номером 32325200, что и Джером, или Санни, Сэлинджер, вот-вот отправится за море. К Бэйбу заходит армейский приятель, Винсент Колфилд. Винсент только что узнал, что его младший брат Холден, «которого вечно выставляли из всех этих школ», пропал без вести. Винсент говорит десятилетней сестре Бэйба, Мэтти, что у него тоже есть сестра, такого же возраста. Винсент очень мило и забавно дурачится с Мэтти — точно так же дурачился со мной

мой отец. Позже, в комнате Бэйба, Винсент говорит:

«Рад видеть тебя, Бэйб… Солдаты — особенно солдаты, у которых есть друзья, должны в эти дни держаться вместе. Со штатскими нам больше делать нечего. Они не знают того, что знаем мы, а мы отвыкли от того, что они знают. Нам не о чем говорить».

Бэйб кивнул и задумчиво затянулся сигаретой. «До армии я не знал, что такое дружба. А ты, Винс?» — «Даже не догадывался».

За обедом Бэйб набрасывается на своего отца, который видит войну в романтическом свете, так, как ее показывают в кино, и произносит типичную для Сэлинджера длинную, полную пафоса диатрибу, из-за чего позже, что тоже типично для моего отца, ощущает неловкость. Бэйб, обуреваемый чувствами, похожими на те, что выразил Филли Берне, говорит, что война будет продолжаться, пока мы будем видеть в ней череду героических подвигов, «а не ту бессмысленную кровавую бойню, какой она на самом деле является».

В поисках «ландсмана» Бэйб идет в спальню Мэтти, чтобы разбудить ее и поговорить. Так Холден будит свою сестру Фиби, которая догадывается, что его опять выгнали из школы; Мэтти тоже угадывает — и безошибочно, — что Бэйб получил приказ отправляться. Мэтти, как и тетушка из предыдущего рассказа, ведет себя потрясающе. Бэйб целует ее на прощание и уходит, наконец-то примиренный с самим собой и готовый идти на войну.

«…вот здесь спит Мэтти. Враг не стучится в нашу дверь, не будит, не пугает ее. Но это может случиться, если я не поеду за море и не встречу его с оружием в руках. И я поеду, и я убью его. И мне бы хотелось вернуться. Было бы шикарно вернуться. Было бы…»

Его мать тоже догадывается, что сын отплывает за море. Она спокойно говорит ему, что не станет волноваться. «Ты выполнишь свой долг и вернешься. Я это чувствую». В конце рассказа он, счастливый, собирается, по предложению матери, разбудить Винсента и вместе спуститься на кухню, доесть холодного цыпленка.

Бэйб появляется еще в двух рассказах: в одном из них действие происходит на поле битвы, во Франции, а во втором — сразу после войны: возвращаться уже не так «шикарно», когда страдаешь от «боевого переутомления»[68].

Бэйб обрел в себе мир перед тем, как идти на войну, и прощания его были мирными. Не знаю, как чувствовал себя отец перед тем, как вступил на борт корабля. Его соседи по каюте, как он мне рассказывал, состязались в farting contest[69] и хохотали,

как гиены. Он улегся на койку и впал в глубокое отчаяние.

Штаб-сержант Сэлинджер находился в Англии следующие несколько месяцев и проводил время примерно так же, как и его герой, штаб-сержант Икс из рассказа «Дорогой Эсме с любовью — и всякой мерзостью». Вымышленный Икс, как и мой отец, проходит подготовку в школе агентов контрразведки, на юге Англии, и ждет дня высадки союзных войск. Икс сидит в кафе и ведет приятную беседу с Эсме, девчонкой лет тринадцати, и с ее маленьким братом Чарльзом. Отвечая на расспросы, Икс говорит Эсме, что он — профессиональный писатель-новеллист. Как и отец, Икс приписан к Двенадцатому (строевому) пехотному полку Четвертой дивизии. «Знаешь, я ведь участвовал в высадке», — как-то раз поведал он мне, мрачно, как солдат солдату, будто я на самом деле тоже воевала и могла понять его с полуслова. Когда я была ребенком, он много раз повторял эту скупую фразу, но никогда ничего к ней не прибавлял. Что за ней крылось, я обнаружила, среди всего прочего, в потрясающей книге, написанной их полковым летописцем, Джерденом Ф Джонсоном, — в «Истории Двенадцатого пехотного полка во время Второй мировой войны»: оказывается, их полк в день высадки атаковал берега Ютландии.

Рассказ отца «Дорогой Эсме с любовью — и всякой мерзостью» обходит молчанием все, что случилось с того момента, как сержант Икс покинул берега Англии, так что слова «я участвовал в высадке» включают в себя тысячу невысказанных вещей: изуродованные, растерзанные, усеявшие берег, и поле, и улицы города трупы; мили белых крестов; кровь, и резня, и ужасы войны. В рассказе мы сразу переносимся из Англии накануне высадки союзных войск в Германию где-то после капитуляции Германии. Штаб-сержант Икс сидит у себя в комнате на кровати и его тошнит в мусорную корзинку:

«Десны его кровоточили, стоило прикоснуться к ним кончиком языка, и он без конца повторял этот опыт: это уже превратилось в своего рода игру, и он иногда занимался ею часами. Так сидел он минуту-другую — курил и проделывал все тот же опыт. Потом внезапно и, как всегда, неожиданно его охватило привычное чувство — будто в голове у него спуталось, она потеряла устойчивость и мотается из стороны в сторону, как незакрепленный чемодан на багажной полке»[70].

Война, которая довела его до такого состояния, остается за кадром. Поразительно сильный прием: показать читателю, что случилось нечто ужасное, но не уточнять, что именно. Остальное

дано на откуп воображению, а оно у большинства из нас населено призраками. Особенно, если дальнейшие расспросы не приветствуются.

Когда я начала восстанавливать страницы, вырванные из истории нашей семьи, в особенности касающиеся военного периода; когда стала интересоваться вещами, о которых отец никогда не рассказывал мне, а я не спрашивала, меня чуть ли не ужаснул тот факт, что не только я, но и многие из моих ровесников воспринимают историю Америки в общих чертах, без многих страниц первостепенной важности. Так же, как миф о неуклонном прогрессе двадцатого века, который предоставлял и предоставляет все больше возможностей всем американцам, внедрялось в наше сознание и то, что мы как нация вступили в войну, чтобы бороться с Гитлером, с теми ложными ценностями и практическим злом, какие нес его режим, — и тут геноцид евреев представлял собой самый разительный пример. Стыдно сказать, но я обнаружила, что антисемитизм в Америке достигал апогея именно между 1939 и 1945 годами. Просто становится дурно, когда узнаешь, как много американцев поддерживали войну, несмотря на отношение Гитлера к евреям, к которому многие присоединялись. Например, во время опроса, который проводился в Америке по поводу событий, последовавших за Хрустальной ночью, обнаружилось, что большинство считает, будто евреи «частично или полностью несут ответственность за меры, предпринятые Гитлером против них», а в ходе еще четырех независимых опросов выяснилось, что от семидесяти одного до восьмидесяти пяти процентов американцев высказываются против увеличения иммиграционных квот. Десятки антисемитских листков ходили по рукам на американских военных базах по всей стране. Типичный пример подобных помоев, попавший мне в руки, предположительно написан морским пехотинцем перед тем, как для него сыскалось более полезное занятие:

Притча о шекелях.

I. И пришел Адольф, Сын Суки, и стал преследовать племена иудейские, и началась война.

II. И когда война длилась уже четыре года, многие племена пришли на выручку иудеям, но иудеи оружия не взяли.

III. Они оружия не взяли, ибо, чтобы сделать это, нужно было вынуть руки из карманов, а в сем случае можно было бы обронить шекель.

IV. И Христиане явились великой ратью со всех сторон воевать за иудеев, и иудеи возвысили свои голоса и запели: «Вперед, христианские воины». Мы тем временем пошьем вам

мундиры.

V. И возвели иудеи глаза свои, и узрели великие возможности, и сказали один другому: «время пришло менять хлам на слитки серебра», и так все сделалось, как они сказали.

VI. И они не печалились, когда разрушался город, ибо где разрушается город, там много хлама; где хлам же, там и иудеи, а где иудеи, там и деньги[71].

Столь откровенно антисемитские листки и акции особенно часто наблюдались на пунктах сбора призывников[72]. Секретарь Военно-морских сил Фрэнк Нокс и секретарь Военного министерства Генри Стимсон издали приказы, запрещающие распространение антисемитских публикаций на всех морских и военных базах. В приказном порядке отношения наладить нельзя, но опыт совместной службы поколебал предвзятые мнения многих солдат. Когда журнал «Янк», орган американской армии, в августе 1945 года, как раз накануне капитуляции Японии, задал солдатам вопрос, какие перемены они более всего хотели бы видеть в послевоенной Америке, большинство проинтервьюированных «джи-ай» согласились, что «прежде всего необходимо уничтожить расовую и религиозную дискриминацию», и они на это очень надеются[73]. Послужило ли тому причиной боевое братство евреев и христиан или же наглядные свидетельства антисемитизма в действии, с какими солдатам пришлось столкнуться лицом к лицу, — трудно сказать. Отец говорил мне, когда я была еще совсем маленькой: «Сколько бы ты ни прожил, от запаха горящей плоти не избавиться никогда»[74].

Особенно удручающим является тот факт, что современные исследования по истории Второй мировой войны до сих пор замалчивают участие американских евреев в сражениях, их службу в американской армии. «Граждане и солдаты» — работа, получившая блестящие отзывы критиков, находившаяся в списке бестселлеров «Нью-Йорк тайме» все те месяцы, в течение которых я писала эту книгу, — призвана отразить историю американского солдата от дня высадки до дня победы. Ее автор, Стивен Эмброз, — создатель известных бестселлеров, таких как «Неколебимая отвага» и «День высадки», а также многотомных биографий президентов Эйзенхауэра и Никсона — является, кроме всего прочего, основателем Центра Эйзенхауэра и директором Музея высадки в Новом Орлеане. Два года назад, еще не начав выяснять, как обстояли дела в стране в годы отцовской молодости, я могла бы и не заметить, что на свет извлекаются только истории христианских солдат, а деятельность прочих

последовательно исключается или замалчивается. Но сейчас, в этой книге, в других отношениях блестящей, на страницах которой буквально оживают боевые подвиги наших солдат, такие лакуны меня коробят. Я не говорю о мотивах автора, я говорю о *впечатлении*, какое производит подобная ориентация на то, как «тогда было принято говорить». Это все равно как многовековая традиция подразумевать под родом человеческим одних только мужчин: чьи-то истории остаются неучтенными, недооцененными, выброшенными. Когда ты пишешь историю войны с применением геноцида и говоришь об американских гражданах солдатах, исключая из их числа евреев, речь идет не только о политической корректности. (Афро-американским солдатам посвящена целая глава.) Представьте, что вы — еврей-ветеран, или друг, родственник солдата, не принадлежавшего к христианской церкви, и читаете начало 9-й главы книги Эмброза:

«К Рождеству 1944 года на Западном фронте находилось около четырех миллионов новобранцев, в подавляющем большинстве протестантов или католиков. Под обстрелом, под минометным огнем они молились одному и тому же Богу, возносили одни и те же молитвы… Во время Второй мировой войны ярую ненависть испытывали американцы к японцам, или русские к немцам — и наоборот. Но на северо-западе Европы между американцами и немцами не возникало особой расовой неприязни. Да и откуда было ей взяться, если воевали двоюродные братья? Около трети американских солдат в ЕТО[75] были германского происхождения. Рождество подчеркнуло эту тесную связь противников. И американцы, и немцы наряжали елки…по обе стороны фронта, в памяти солдат возникал Вифлеемский вертеп».

Или начало главы под названием «Победа, 1 апреля — 7 мая 1945 года»:

«В апреле 1945 года пришла Пасха. Светлое Воскресенье часто сводило вместе американских солдат и немецкое гражданское население… Американцы сами удивлялись, насколько немцы им приходились по нраву. Чистоплотные, трудолюбивые, дисциплинированные, милые, воспитанные ребята, типичные представители среднего класса в своих вкусах и жизненных установках, немцы казались многим американским солдатам «совсем такими, как мы»… Они регулярно ходили в церковь».

Раввин Роланд Гиттельсон, в то время армейский капеллан, описывает в своих воспоминаниях, как в 1945 году, накануне

Пасхи, он просил командиров пересмотреть приказ, обязующий всех солдат присутствовать на пасхальном богослужении. Он столкнулся с враждебным непониманием, ему сказали, что у солдат-евреев есть выбор между протестантской и католической службой. «Мы все строимся и отдаем честь генералу, тем самым выказывая ему уважение, — так что плохого в том, чтобы выказать уважение нашему Спасителю?»

«Что плохого?» С чего начать? Может быть, с издания Библии, выпущенного большим тиражом в 1943 году, где некоторые разделы обозначались, как «Евреи — синагога сатаны» и «Падение Израиля: спасение христиан»? Только в 1980-е годы выдающиеся католические и протестантские богословы начали систематически заниматься проблемой создания такой христианской идеологии, которая не была бы глубоко антиеврейской[76].

Добавим также, что присутствие на пасхальной службе 1945 года еврейских солдат и служащих вряд ли подняло их боевой дух.

Книга «Граждане и солдаты» заканчивается описанием типичного, среднего «джи-ай», поданного через взгляд некоего Джона До:

«Невозможно выделить типичного «джи-ай» среди миллионов солдат, служащих на северо-западе Европы, но Брюс Эггер / которого встретил Джон До/ был, несомненно, весьма характерной фигурой…Он прошел всю войну, почти непрерывно участвуя в сражениях. Он ни разу не выбывал из строя. Он чудом избежал смерти — однажды осколок снаряда попал в Евангелие, которое он всегда носил с собой в нагрудном кармане куртки, — но ни разу даже не был ранен. Тут ему необыкновенно повезло. Когда рота G высадилась на Юта-бич[77] 8 сентября 1944 года, в ее составе числилось 187 рядовых и 6 офицеров. К 8 мая 1945 года в ее рядах в разные периоды служило 625 человек. 51 человек из роты G был убит в бою, 183 ранены, 166 получили «траншейную стопу», 51 обморозился. Эггер был повышен из рядовых в штаб-сержанты».

Мой отец тоже был повышен из рядовых в штаб-сержанты, тоже высадился на Юта-бич — правда, в день «D», 6 июля 1944 года, а не в сентябре; тоже ни разу не выбывал из строя и находился либо на линии фронта, либо около нее вместе с Двенадцатым пехотным полком Четвертой дивизии, от дня «D» до Дня Победы, от берега Юты до Шербура, от сражения на Перегороженном поле и кровавой битвы при Мортене до Гюртгенского леса в Люксембурге и битвы за Вал. Ему тоже везло. Двенадцатый пехотный высадился в день «D» в составе 155

офицеров и 2 925 рядовых. К 30 июня, менее чем за месяц, в боях от Юта-бич до Шербура общее число потерь составило среди офицеров 118, или 76 процентов, а среди рядовых — 1 832, или 63 процента.

«День перед прощанием» был опубликован 15 июля, но автор рассказа никак не мог об этом узнать, по крайней мере, до 17-го, когда он и другие солдаты из Двенадцатого пехотного сделали остановку неподалеку от Довиля, где впервые помылись и сменили одежду с самого своего отплытия из Англии 5 июня. В тот день, когда рассказ вышел в свет, эти солдаты участвовали в одном особенно тяжелом бою на местности ярдах в шестистах от Сентене, которая была вся перегорожена живыми изгородями. Двенадцатый пехотный только что вышел из рукопашной, освободив город Шербур, дом за домом, улица за улицей, оставив позади неубранные трупы. И теперь они с трудом продвигались с одного крохотного поля на другое, и каждое из этих полей окружала плотная, почти непроходимая изгородь (командование американской армии не предусмотрело такой особенности местного рельефа: танки здесь были практически бесполезны); изгороди служили прекрасным укрытием немецкому бронетанковому дивизиону и полку парашютистов. Каждое поле стоило ужасающих человеческих жертв. Часто за день удавалось пробиться лишь на несколько сотен ярдов. Полковник Джерден Ф. Джонсон из Двенадцатого пехотного писал: «Резня была ужасная… Наутро понадобилось три грузовика вместимостью в две с половиной тонны, чтобы вывезти трупы немцев».

После короткого отдыха, душа и перегруппировки возле Довиля солдаты Двенадцатого пехотного, рассказывает полковник Джонсон, «выбрались из щелей и окопов, чтобы увидеть одну из самых великих драм этой войны, развернувшуюся в небе к западу от Сен-Ло». Три эшелона бомбардировщиков — 350 самолетов в первом эшелоне, 350 во втором и 1 300 в третьем — «насколько было видно глазу… покрывали сплошным ковром из несущих смерть бомб охваченные ужасом немецкие части, методично поражая каждое поле, каждую изгородь… Весь этот ад, начавшись внезапно, так же внезапно и кончился, и вслед за тем наступила зловещая тишина». Трупов оказалось куда больше, чем могли увезти грузовики, и они остались лежать неубранными. Вся Четвертая пехотная дивизия (в состав которой входил Двенадцатый пехотный полк) начала ночной марш-бросок по узкой дороге, забитой танками, транспортерами и мертвыми телами. Прорыв осуществился, нужно было срочно закрепить успех. Дорога, по которой двигались войска, привела в болото. Офицеры разведки сделали вылазку и обнаружили другой пупь.

Они направились к Мортену: генерал Брэдли говорил, что приказ начать это сражение явился для него самым ответственным решением за всю войну.

Битва при «кровавом Мортене» длилась полтора дня, и за это время Двенадцатый пехотный потерял 1 150 человек, тем самым потери за июнь, июль и первые недели августа составили 4 034 человека, то есть 125 процентов от первоначальной численности полка в 3 080 человек. Ужасно. Те немногие, кто выжил, навсегда получили травму — как телесную, так и душевную.

Помню, мне было лет семь, когда мы с отцом долго, наверное целую вечность, стояли и рассеянно смотрели на мускулистые спины местных ребят, плотников, которых наняли сделать пристройку к нашему дому. Они сняли майки, их молодые, сильные, полные жизни тела блестели на летнем солнце. Наконец папа пришел в себя и заговорил со мной — или, может быть, просто высказал вслух свои мысли, ни к кому конкретно не обращаясь. «Такие рослые, сильные парни, — он покачал головой, — всегда шли впереди, и их убивали первыми, цепь за цепью, волна за волной», — он протянул руку, вывернул ладонь и прочертил в воздухе несколько таких воли, крутых, извилистых линий, словно отталкивая их от себя.

23 августа боевая группировка Двенадцатого полка начала 165-мильный марш к Парижу. Продвигались медленно: грузовики скользили на скверных, раскисших от дождей дорогах, сползали в кюветы; автоколонна должна была останавливаться каждые три часа, чтобы подтянулись продрогшие, вымокшие до нитки солдаты. 25 августа вошли в Париж. То было первое большое подразделение американских войск, которое заняло большой город. Парижане неистовствовали. Однажды, рассказывал отец, он и его напарник по «джипу» Джон Кинан арестовали какого-то человека по подозрению в коллаборационизме: в толпе его опознали, вырвали из их рук и тут же забили до смерти. Отец, говорил, что этих людей ничем нельзя было остановить — разве что расстрелять всю толпу.

В Париже ему удалось выкроить время и навестить Эрнеста Хемингуэя, который в то время был военным корреспондентом, приписанным к Четвертой дивизии. До этого они никогда не встречались, но, согласно Джону Кинану, когда отец прослышал, что Хемингуэй живет в «Рице», то предложил пойти к нему. Судя по всему, встреча была теплой. Хемингуэй захотел посмотреть последнюю работу отца, и тот показал «День перед прощанием». Хемингуэй прочел и сказал, что рассказ ему очень понравился[78].

В Париже они пробыли недолго, а затем последовало то, что

полковой летописец назвал «сумасшедшим рывком» через всю Францию и Бельгию. Менее чем через месяц (в Париж они вошли 25 августа, а в Германию — 12 сентября) войска пересекли немецкую границу. Голос изнуренного солдата, все это совершившего, мы слышим в рассказе отца «Солдат во Франции»[79].

До того, как я прочла этот рассказ, сохранившийся лишь в старом номере «Сатердей ивнинг пост», мне, вместе со всеми читателями «Дорогой Эсме с любовью — и всякой мерзостью», оставалось только недоумевать, что же случилось с тем солдатом в промежутке между днем «D» и концом войны. С сержантом Бэйбом Глэдуоллером, уже известным нам по рассказу «День перед прощанием», мы встречаемся на поле боя, где-то во Франции. Рассказ написан изумительно — короткий, но вызывающий бесчисленные ассоциации, он чем-то похож на хокку. Бэйб, умирая от усталости, промокший под дождем, ищет на пропитанном кровью поле боя место для ночлега. Находит окоп, где лежит запачканное кровью, «никем не оплаканное» немецкое одеяло, и принимается непослушными руками зачищать «дурные места», кровавые пятна на дне. Поднимает свою солдатскую скатку и «бережно, словно живое существо», опускает в окоп. Он весь грязный, он промок, замерз, к тому же окоп оказался короток, и нельзя вытянуть ноги. Мой отец, ростом в шесть футов два дюйма, слишком часто сталкивался с подобной проблемой. Муравей кусает Бэйба, тот хочет раздавить проклятую букашку, но неосторожно задевает палец, с которого во время утреннего боя содрался ноготь.

Когда я прочла о том, что сделал Бэйб после, меня тотчас же обожгло, как огнем. Мой отец, сколько я знала его, именно так боролся с любой болью, любым страданием. Я сильно подозреваю, что такую манеру бороться с неприятностями он приобрел на войне, по, подчеркиваю, это— подозрение, не уверенность, ибо, естественно, я не могла знать, как вел себя отец до войны[80].

Бэйб пристально глядит на больной палец, а потом укладывает всю руку под одеяло «…с такой заботой, будто это — больной человек, а не поврежденный палец, и прибегает к заклинанию, такому знакомому и родному для каждого солдата в бою.

Когда я вытащу руку из-под одеяла, — думал он, — пусть ноготь уже отрастет, и руки будуг чистыми. Все тело пусть будет чистым. Пусть на мне будут чистые трусы, чистая майка, белая рубашка. Синий галстук-бабочка. Серый костюм в полоску, и я буду дома, и запру дверь. Я поставлю кофе на плиту, пластинку

на проигрыватель — и запру дверь. Я буду читать книги, и пить горячий кофе, и слушать музыку и запру дверь. Через окно я впущу милую, тихую девушку — не Фрэнсис и не какую-нибудь другую из прежних — и запру дверь. Я попрошу ее — пусть походит немного по комнате, сама по себе, и буду смотреть на ее лодыжки, такие американские — и запру дверь. Я попрошу ее — пусть почитает мне что-нибудь из Эмили Дикинсон, о тех, кто блуждает без карты; пусть почитает мне что-нибудь из Уильяма Блейка, об агнце и кто его сделал — и я запру дверь. У нее будет такой американский голос, и она не будет клянчить жевательную резинку или конфеты — и я запру дверь[81].

Бэйб вынимает из кармана ворох газетных вырезок. Они полны сплетен о знаменитостях, о модах, и эта пустая болтовня в контексте войны звучит непристойно. Он комкает вырезки и в глубоком отчаянии ложится на дно окопа. Наконец, достает из кармана письмо, цепляясь за него, как за последнюю соломинку, перечитывая в тысячный раз. Это — простое, прекрасное письмо от сестрички Мэтти. Она пишет, что очень скучает, просит поскорее приезжать. Рассказ заканчивается тем, что Бэйб, «засыпанный землей, скрюченный, засыпает».

Примерно в это же время солдаты Двенадцатого полка, включая и отца, получили похожее, такое же необходимое, письмо от бельгийской девушки: оно пришло к родным одного их товарища. Тот погиб в бою, и родные переслали письмо в «Биг-пикчер», полковую газету: во время октябрьского затишья вышло несколько номеров. Летописец Двенадцатого полка так говорит об этом письме: «Простота этого послания проникает в самое сердце; это письмо навсегда останется одной из самых дорогих реликвий полка, напоминанием о том, что наши жертвы были не напрасны».

> «Рю де ла Конверсари
> Сент-Юбер
> Арденны, Бельгия
> 21 октября 1944
> Семье Билла.
>
> Я знаю мало слов по-английски и пишу из маленького бельгийского города, но хочу выразить, как мы благодарные вам, американцам, за освобождение нашей страны вашими сыновьями (8 сентября).
>
> Вам моя особенная благодарность, потому что мы были счастливы, что Вилл — наш освободитель. Он — первый американский солдат, кого мы видели, мы

навсегда запомним этот красивый высокий боец, да хранит его Бог все будущие годы, и словами не скажешь всю нашу благодарность вам и вашим близким.

Когда вы будете писать Биллу, скажите, что я все время о нем думаю, и если он может приехать в Сент-Юбер, я буду рада снова его видеть.

Скажите ему еще, что я его жду, и пусть будет писать мне, и вы тоже.

Простите плохой английский, я хорошо не могу выразить, но надеюсь, вы меня понимать.

Искренне ваша…»

Я была потрясена до глубины души, когда обнаружила это письмо в полковых архивах. Поразительно, как один человек — мой отец в своем рассказе — смог выразить чувства и страдания многих [82]. А потом стала читать, как другие, каждый в своей, присущем только ему, манере выражают все тот же общий опыт, все так же задаются вопросом, шлет ли кто-нибудь дома, хочет ли знать о том аде, через который они проходят здесь, о тех потерях, которые терпят. Я где-то читала, что какой-то биограф отца, заинтересовавшись рассказом «Дорогой Эсме с любовью — и всякой мерзостью», отправился в своеобразное паломничество в ту часть Англии, где происходит действие, и всюду помещал объявления в местных газетах, стремясь найти «настоящую» Эсме, точно так же, как до того один репортер пытался найти настоящую» Сибиллу из рассказа «Хорошо ловится рыбка-бананка». Не знаю в точности, почему, но такие изыскания оставляют меня равнодушной. Может быть, потому, что на меня слишком долго воздействовали идиосинкразические, тяготеющие к изоляции, почти мифологические аспекты писаний отца, который творил в своей одинокой башне.

Зимой условия, в которых находился Двенадцатый полк, стали более чем невыносимыми. Численность его увеличилась за счет пополнений — с 3 080 до 3 362 человек. За месяц жестоких боев в Гюртгенском лесу погибло 1 493 бойца и еще 1024 насмерть замерзли в окопах, полных ледяной воды, выкопанных в почве то смерзшейся, то сырой, в снегу и в грязи — без зимней обуви, без теплых шинелей, без достаточного количества одеял для ночевки под открытым небом.

Взамен обычных скупых приказов, 17 декабря 1944 года из Главного штаба в адрес командира Двенадцатого полка пришла благодарность. Она, в частности, гласит:

«Непредвиденные в такое время года осадки и сырой, пронизывающий холод наносили постоянный ущерб здоровью и благополучию личного состава, делая условия повседневного существования солдат практически невыносимыми. Тяжелый рельеф местности: покрытые густыми лесами холмы, разлившиеся реки и глубокая вязкая грязь — затруднял передвижение пехоты и транспорта.

Противник хорошо приготовился к обороне…в частности, обширные минные поля и отлично замаскированные засады нанесли тяжелые потери нашим наступающим войскам… С учетом того, что погодные условия препятствовали применению военно-воздушных сил и моторизованных частей для обезвреживания яростно защищаемых укреплений неприятеля, это бремя полностью легло на плечи пехоты. С чувством крайней признательности я выражаю благодарность офицерам и солдатам вашего полка… Пока отвага и смелость находят отклик к сердцах, подвиги Двенадцатого пехотного полка не будут забыты.

Генерал-майор Р. О. Бартон Командование Армии Соединенных Штатов

(с.377/AG 201.22)».

«Бремя обезвреживания яростно защищаемых укреплений неприятеля» легло не столько на плечи пехотинцев, сколько на их ноги. Кожаные солдатские ботинки протекали в оттепель и смерзались в ледышку в холодные ночи. Водонепроницаемые, утепленные ботинки типа «Л.Л.Бин» уже выпускались, однако «к неизбывному сожалению интендантов и прочих тыловиков», которые к середине декабря почти поголовно носили их, туда, где потребность в таких ботинках была особенно велика, они прибыли только к концу января. За три дня до битвы на Валу один полковник из Девятнадцатой дивизии отметил, что «с каждым днем все больше и больше солдат теряет боеспособность вследствие болезней ног… они не в состоянии ходить, и днем их доставляют из укрытий на линию огня». За зиму 1944—45 года сорок пять тысяч человек покинуло передовую из-за «траншейной стопы».

Что бы там ни было, но отец всегда будет благодарен с имей матери, которая вязала ему носки и посылала почтой, примерно раз в неделю, в течение всей войны. Мне он сказал, что те носки

спасли ему жизнь в зимних окопах; из всех, кто его окружал, только у отца были сухие ноги. «Спасли мне жизнь» — я всегда думала, что это — только слова: так упитанный американский мальчишка, спрашивая у матери, что сегодня на ужин, добавляет: «Я умираю с голоду». Я была слишком мала, чтобы понять: в жизни бывают крайние ситуации, когда с речи совлекается покров гипербол. Повествование рвется, теряет цельность, в ход идет язык тела: стоны, истерзанная грудь, блуждающие глаза, выпирающие кости. Я хорошо понимаю, почему в рассказе об Эсме многое замалчивается. Вновь обретенному языку не выразить себя в правильном повествовании с его аристотелевской цельностью: началом, серединой и концом — ему скорее подойдет стихотворение, нечто среднее между стоном и рассказом, отражающее форму осколков, обломков жизни, взорванной, рассыпавшейся вдребезги.

В ту ужасную зиму Луиза Боган, редактор отдела поэзии журнала «Нью-Йоркер», писала Уильяму Максвеллу, что «молодой человек, Дж. Д. Сэлинджер, уже больше недели забрасывает меня стихами» [83].

Как писал поэт лорд Байрон:

> «Слов не достанет душу облегчить,
> Боль там, где правда, а не красноречье»[84].

Изнуренный броском через жуткий Гюртгенский лес, Двенадцатый пехотный не успел перевести дух, как снова оказался в центре военных действий: участвовал в обороне Люксембурга и в битве на Валу[85]. Потери при Эхтернахе были очень велики, и друзья и родные Сэлинджера боялись, что тот погиб или попал в плен[86]. 26 декабря миссис Сэлинджер по телефону сообщили, что «с Сэлинджером все в порядке»[87]. В первый день нового 1945 года штаб-сержанту Сэлинджеру исполнилось двадцать шесть лет. То, что писал командир дивизиона, можно отнести к этому дню, как и к последующим трем месяцам:

«Начал таять снег, и обнаружились страшные, смерзшиеся трупы немецких и американских солдат, павших в зимних сражениях. В полях валяются остатки дохлых коров и овец, дороги усеяны обломками транспортных средств и скелетами лошадей, которых противник впрягал в фуры с боеприпасами. Большинство городков частично или полностью разрушены, всюду завалы, которые никто не расчищает. Человеческие

испражнения остались по углам комнат там, где шли бои настолько жаркие, что выйти из здания было опасно для жизни. Данная часть Германии, к северу от того пункта, где смыкаются границы Германии, Франции и Бельгии, — самое скверное место из всех, где воевал 12-й полк»[88].

В апреле Двенадцатый пехотный полк был брошен на «зачистку». Это означало, помимо прочего, что всем подразделениям приходилось брать много пленных, а также постоянно быть начеку, опасаясь сопротивления небольших групп окруженного противника. (В обязанности отца, агента контрразведки, входило, в частности, допрашивать военнопленных и подозрительных субъектов и решать их судьбу.)

Последнее сражение Второй мировой войны, в котором участвовал Двенадцатый пехотный полк, произошло 2 мая 1945 года у Тегернзее, между ротой А и частями СС. 5 мая штаб Двенадцатого полка расположился в замке Германа Геринга в Неухаусе. Сопротивление было подавлено, и Двенадцатый полк приступил к обычным обязанностям оккупационных войск. Нацистские гражданские власти при приближении союзных войск чаще всего бежали из городов, и в местном управлении царил хаос. Тысячи перемещенных лиц, только что освобожденных, военнопленные из союзных сил, немецкие политические заключенные угрожали безопасности на захваченных территориях, и офицеры контрразведки, такие как штаб-сержант Сэлинджер, трудились, не покладая рук.

Весть о капитуляции Германии пришла к ним 8 мая. 14 мая вся Четвертая пехотная переместилась в район к западу от Нюрнберга, ближе к Ансбаху, и продолжала выполнять свои обязанности по поддержанию порядка. Где-то через несколько недель отец попал в госпиталь неподалеку от Нюрнберга с диагнозом «боевое переутомление». В июле он писал об этом Хемингуэю, подтрунивая над психиатрами, которые без устали расспрашивали его о семье и происхождении. Из письма, однако, явствует, что не ко всему отец относится столь легкомысленно: он полон твердокаменной решимости и борется не на жизнь, а на смерть с любыми попытками отправить его в отставку не с почестями, а с психиатрическим диагнозом. Борьба увенчалась победой, и через несколько недель военные врачи выписали его обратно в полк.

Думаю, он заслуживал почестей и наград за то, что не сломался вплоть до окончания «войны с эскимосами»[89]. Сержант Икс тоже держался, пока битва не была выиграна. В конце войны он, как и сержант Сэлинджер, только что вышел из госпиталя. Этот «молодой человек был одним из тех, кто, пройдя через

войну, не сохранил способности «функционировать нормально». Оба сержанта остались в Европе после заключения мира, подписав шестимесячный гражданский контракт, чтобы способствовать денацификации Германии: допрашивать людей, подозреваемых в нацизме, и выносить им приговор. Сержант Икс сидит в своей комнате и «больше часа перечитывает по три раза один и тот же абзац, а теперь проделывает это с каждой фразой». Он открывает книгу, которая принадлежала женщине, занимавшей «какую-то маленькую должность в нацистской партии, достаточно, впрочем, высокую, чтобы оказаться в числе тех, кто по приказу американского командования автоматически подлежал аресту».

«Икс сам ее арестовал. И вот сегодня, вернувшись из госпиталя, он уже третий раз открывал эту книгу и перечитывал краткую надпись на форзаце. Мелким, безнадежно искренним почерком, чернилами (шло написано по-немецки пять слов: «Боже милостивый, жизнь это ад». Больше там ничего не было — никаких пояснений. На пустой странице, в болезненной тишине комнаты слова эти обретали весомость неоспоримого обвинения, некой классической его формулы…/Икс/ приписал внизу по-английски: «Отцы и учители, мыслю: «Что есть ад?» Рассуждаю так: «Страдание о том, что нельзя уже более любить». Он начал выводить под этими словами имя автора— Достоевского, — но вдруг увидел — и страх волной пробежал по всему его телу, — что разобрать то, что он написал, почти невозможно. Тогда он захлопнул книгу»[90].

То, как изменился почерк отца в письмах (я читала их и Библиотеке конгресса), которые он слал друзьям и родным в Штаты после выхода из нюрнбергского госпиталя, на самом деле пугает. Его почерк, столь же для меня родной и знакомый, как его лицо, становится совершенно неузнаваемым.

Друг сержанта Икса, капрал Зет, который, как Джон Кинан для отца, всю войну «был его напарником по джипу», входит в комнату. Он замечает, что у Икса трясутся руки и дергается лицо. Рассказывает, что написал домой своей девушке, которая «специализируется по психологии», и сообщил, что у Икса нервное расстройство.

«Знаешь, что она говорит? Так, говорит, не бывает, чтобы нервное расстройство началось вот так, вдруг — просто от войны, и вообще. Говорит, ты, наверно, всю свою дурацкую жизнь был слабонервным».

Икс приставил ладонь козырьком ко лбу — лампа над кроватью ослепляла его — и заметил, что свойственная Лоретте

проницательность неизменно приводит его в восторг».

Потом, оставшись один, думает, что «если он напишет одному своему старому нью-йоркскому приятелю, то, может быть, ему тут же полегчает, хотя бы немного», но пальцы у него так дрожат, что он не может вставить бумагу в пишущую машинку. Он знает, что нужно вынести из комнаты мусорную корзинку с блевотиной, но вместо этого опускает голову на руки и закрывает глаза, хотя не может заснуть. Через «несколько минут, наполненных пульсирующей болью», открывает глаза и замечает нераспечатанную посылку. Посылку послала Эсме, девочка, которую он встретил в Англии. В ней — милое, простое письмо, похожее на письмо Мэтти к Бэйбу или бельгийской девчонки к «семье Билла». Рассказ заканчивается так:

«И опять он долго сидел без движения, просто держа часы в руке. Потом внезапно, как ощущение счастья, пришла блаженная сонливость.

Перед тобою, Эсме, сонный-сонный человек, и у такого безусловно есть надежда вновь обрести с пособность функ-ф-у-н-к-ц-и-о-н-и-р-о-в-а-т-ь нормально».

4
Функционировать отдельно

Дикие ночи — дикие ночи!
Будь я с тобой,
Дикие ночи настали бы,
Роскошествуя тьмой!

Хрупкие ветры
В сердце, как в порт,
Без руля и карты —
Во весь опор!

Море бушует —
Только в раю
На якорь в тебе этой ночью
Нынче же стать я пою! [91]

То, как отцу еще до моего рождения удалось встать на якорь в тихой гавани и завести туда своих героев; то, как вырвался он сам и вырвал их из ада, «страдания о том, что нельзя уже более любить» — больше всего интересуют меня, и как его дочь, и как человека, который на себе испытал, что бывает, когда все в голове путается, и она «теряет устойчивость и мотается из стороны в сторону, как незакрепленный чемодан на багажной полке». Как и когда отец и его герои преодолели кризис и восстановили связь или, наоборот, заперли дверь, — вот что стало объектом моего пристального внимания. Как пережил мой отец истинные, не придуманные травмы, нанесенные войной, антисемитизмом, семейными отношениями; череда страданий и попытки найти решение в жизни и в творчестве — во всем этом я начала видеть знакомые черты.

Я обнаружила, что в реальной жизни сержант Сэлинджер не получил возвращающего к жизни письма; юная девушка не подала ему руки, не помогла выбраться из ада. Вместо того он, как и сержант Икс, встретил молодую женщину; как и в рассказе, она занимала «какую-то маленькую должность в нацистской партии, достаточно, впрочем, высокую, чтобы оказаться в числе тех, кто по приказу американского командования автоматически подлежал аресту». Сержант Сэлинджер сам ее арестовал. К концу лета они поженились.

Если иметь в виду, что отец был человеком ответственным и честным, а кроме того, глубоко подозрительным — он был словно создан для того, чтобы вести допрос, — Сильвия, его первая жена, была, вероятно, что подтверждала и моя мать, необыкновенной женщиной. Тетушка описала мне Сильвию: высокая, тонкая, темноволосая, с бледным лицом и кроваво-красными губами и ногтями. Речь ее была колкой, язвительной; она имела какую-то ученую степень. «*Настоящая* немка», — сказала тетушка и, опустив подбородок и подняв брови, мрачно взглянула мне прямо в глаза поверх бифокальных очков, желая особо подчеркнуть эту свою мысль. Отец твердил моей матери, что Сильвия, не в пример ей, Клэр, была настоящей женщиной, которая знала, чего хочет, и смолоду пробивала себе дорогу. Но ему претили ее ужасные, темные, злые страсти: он считал, что Сильвия околдовала его. Он признавался матери, что Сильвия ненавидела евреев так же сильно, как и нацистов, и не скрывала этого. Их отношения, говорил он, отличались большим накалом как в физическом, так и в эмоциональном плане. Как случалось во многих браках, заключенных во время войны, их страсть не пережила переезда в Америку, где пришлось жить вместе с его родителями. Сильвия вернулась в Европу через несколько месяцев. Тетя Дорис заметила: «Мама не любила ее».

Я знала, что у отца была военная жена, которую он в шутку называл «Саливой» вместо Сильвии, но вообще он не любил распространяться о возвращении домой, лишь ронял время от времени отдельные, скупые детали: например, как он жестоко страдал в то время от сенной лихорадки и целое лето не отнимал платка от отчаянно свербившего носа и слезящихся глаз. «Вот как сейчас, только еще хуже», — говорил он мне, сморкаясь и вытирая покрасневшие глаза. Похожие чувства, если не детали, появляются в рассказе «Посторонний» («Коллиерс», 1 декабря 1945 года), где рассказывается о возвращении домой Бэйба. Бэйб жестоко страдает от сенной лихорадки и боевого переутомления. Он вернулся домой физически, но умственно и эмоционально не может совершить переход к гражданской жизни.

Не нужно быть дипломированным преподавателем поэтики, чтобы поэзия этого рассказа глубоко затронула вас. Отец пользуется тем же языком, что и Басё в своем хокку о лягушке[92], — слов немного, но образ разворачивается, проявляется для ума и всех пяти чувств, как яркий бумажный цветок, спрятанный в раковине, вроде тех, которыми мы забавлялись в детстве — бросишь такую со всплеском в стакан с водой, она раскроется, а цветок поднимется и расцветет, наполнив весь стакан.

Друг Бэйба, Винсент Колфилд, убит в бою. Зато Бэйб

вернулся домой живым и собирается пойти к девушке Винсента, отдать стихотворение, которое Винсент ей написал, и рассказать, как он умер. Сестра Бэйба Мэтти, которой все еще десять лет, как и в рассказе «День перед прощанием», хотя с тех пор, как Бэйб ушел на войну, немало времени утекло, его сопровождает. Бэйб, стоя перед дверью девушки Винсента, думает, что лучше было бы вовсе не приходить.

Горничная открывает дверь и уходит позвать девушку Винсента. Дожидаясь в гостиной, Бэйб просматривает пластинки, сложенные у патефона.

«В ушах его зазвучал роскошный рык трубы старины Бэйквелла. А затем и остальные мелодии тех неповторимых лет… когда все их (мертвые теперь) парни из Двенадцатого полка были живы и с ходу вклинивались в толпу других, отплясывавших уже, парней, тоже мертвых теперь… Тех лет, когда каждый, кто мало-мальски умел танцевать, торчал в канувших в небытие дансингах и хрен что знал о каком-то там Шербуре, Сен-Ло, о Гюртгенском лесе или Люксембурге…»[93]

Блестяще, не правда ли? Девушка входит в комнату, и Бэйб представляется. Они все идут в спальню, где светлее. Девушка Винсента и Мэтти садятся на кровать, Бэйб — на стул лицом к ним.

«Бэйб положил ногу на ногу — лодыжкой на колено — высокие мужчины часто так сидят. «Да, с этим все. Отстрелялся, — сказал он и покосился на стрелку на своем носке (носки были одним из самых непривычных атрибутов его новой, уже без высоких армейских ботинок, жизни), затем перевел взгляд на девушку Винсента. Неужели это и вправду она? — На прошлой неделе отстрелялся», — уточнил он».

Он начинает рассказывать о смерти Винсента, ощущая ту же потребность, что и Филли Берне, объяснявший в свое время жене Хуаните, что ребята на войне не умирают так красиво, как в голливудских фильмах: эти фильмы — ложь, все было не так, лгать нечестно, когда люди страдают. Бэйб был рядом, когда Винсента накрыла мина. Когда девушка Винсента спрашивает, что это значит — «накрыла мина», им овладевает горячее желание выложить ей всю правду, не молчать об этом проклятом деле. Наконец Бэйбу удается совладать с собой, и он протягивает девушке стихотворение, которое ей написал Винсент. Пускается в извинения, но девушка говорит, что все равно была очень рада его приходу. Бэйб быстро ретируется к двери, потому что он тоже плачет. Пока они с Мэтти едут в лифте, парень успокаивается, но на улице становится еще хуже:

«Три кошмарно длинных квартала — между Лексингтоном и

Пятой — были по-дневному унылы, их бесконечные фасады в конце августа выглядели особенно тоскливо. Какой-то толстяк, облаченный в форму швейцара, пряча в кулак зажженную сигарету, вел по кромке тротуара терьера, сплошь в проволочных завитках.

Бэйб подумал, что, пока он торчал там, на Валу, этот жирдяйчик изо дня в день выгуливал здесь своего пса… Невероятно. А что, собственно, невероятного? И все-таки поразительно… Он почувствовал, как в его пальцы скользнула ладошка Мэтти…Она без передыху тараторила:

…….
— Бэйб…
— Чего тебе?
— Ты рад, что ты дома?
— Да, детка.
— Ой, отпусти, больно же!

Он расслабляет пальцы. Рассказ снова заканчивается тем, что чья-то рука протягивается и помогает герою выйти из ада, в который он сам себя заключил. Бэйб глядит на свою сестренку Мэтти: «Плотно составив ступни, прыгнула с тротуара на мостовую, а с мостовой тем же манером снова на тротуар. И ему почему-то жутко приятно было смотреть, как она прыгает»[94].

В самом деле — почему? Так же, как ярость, которую отец изливал и в литературе, и в реальной жизни на «высшее общество» белых-англо-саксов-протестантов, на сельские клубы, на школы Лиги плюща, на дебютанток и так далее кажется не только частной, персональной идиосинкразией Сэлинджера, если рассматривать ее в контексте жизни еврея, или еврея-полукровки, росшего в Нью-Йорке в двадцатые-тридцатые годы, так, я думаю, и военный опыт отца вкупе с рассказами о штаб-сержанте Бэйбе Глэдуоллере и штаб-сержанте Икс становится контекстом для повести «Над пропастью во ржи». Я не утверждаю, будто читателю необходимо знать исторический фон, чтобы оценить эту книгу, мои претензии не столь велики: мне необходимо понять и контекст, и все связи, чтобы найти хоть какой-то смысл в пугающей, балансирующей на грани жизни и смерти напряженности чувств, каковую вызывают и в моем отце, и и его герое Холдене не столь уж значительные, чисто эстетические картины. Я должна понять, каким образом иногда искажались логика и пропорции в наших с ним отношениях.

Когда я прочла военные рассказы, то, что прежде было в «Над пропастью…» чужой территорией, стало во многом близкой историей. Хотя акценты в этой повести смещены, и речь не идет о

травмах, нанесенных войной, смертью и всеобщим хаосом, а нацисты как враги заменены «пустозвонами», их способность разрушать жизни и опустошать души выживших вовсе не становится меньше от того, что черные мундиры штурмовиков сменились твидовыми пиджаками преподавателей[95]. Поле боя осталось в прошлом, но когда Холден призывает своего покойного братика Алли (который умер в возрасте десяти лет от белокровия): «Алли, не дай мне пропасть! Алли, не дай мне пропасть!», — когда чувствует, что проваливается «вниз, вниз, вниз», в какую-то бездну и боится, что никак не сможет перейти на другую сторону улицы, он так же отчаянно борется за свою жизнь, как и солдат во Франции. И то, как Холден пытается восстановить связи, достичь гавани в шторм, встать на якорь, тоже знакомо. Решив убежать, как Маленький Индеец Санни, или Лайонел из рассказа «В лодке», он тоже медлит, чтобы попрощаться с десятилетней сестренкой Фиби: она, как Мэтти для Бэйба, Эсме для Икса и, может быть, Сильвия для отца, — существо, на которое просто «приятно смотреть, которое можно любить, к которому можно привязаться, чтобы вернуться домой».

Когда отец заканчивал «Над пропастью во ржи» и работал над «Голубым периодом де Домье-Смита», рассказом о художнике, который находится на грани нервного расстройства, он сам, как и его герой, жил в мрачном месте и лишь отчасти мог «функционировать нормально». Мать вспоминает его темную квартиру, в которой чувствуешь себя, словно в подводном царстве; черные простыни и черная мебель, по ее словам, находились в согласии с той депрессией, в какую отец был тогда погружен. Мать говорила, что в те времена Джерри проваливался в «черные дыры, где едва мог двигаться, с трудом мог говорить»[96]

Лейла Хедли, прочтя «Голубой период де Домье-Смита», была уверена, что отец списал героя с себя самого. Утверждение, будто отец списал героя с себя самого, слишком прямолинейное, упрощенное, логичное для этого рассказа, который является отражением или преломлением жизни отца в зеркальном мире его творений; но я знаю, что мисс Хедли имеет в виду. Этот рассказ звучит так правдиво, так напоминает мне отца, что я не могу отделаться от жутковатого ощущения, что все описанное здесь случилось на самом деле, что речь идет о каком-нибудь дядюшке или другом родиче, а не о вымышленном персонаже.

Этот рассказ, «Голубой период де Домье-Смита», — поистине образец, по которому отныне и впредь будут выверяться симпатии и антипатии отца и его героев, их отчаянные попытки вступить с миром в связь, их все более бессвязные, словно во сне,

заклинания, их потусторонние способы противостоять страданию; и все это будет неразрывно связано с алхимией художника, с его способностью как оживлять камни, так и превращать в камень самое жизнь. Именно в этом рассказе я вижу, словно «на дне зеркал», как насаждался наш опрокинутый лес.

Герой рассказа «Голубой период де Домье-Смита» — молодой художник, который только что вернулся в Нью-Йорк из Парижа, где прожил большую часть своей жизни. Ему трудно приспособиться, он, как Бэйб, чувствует себя «Посторонним». Его мать, очень близкий ему человек, умерла, и он живет в отеле, в одном номере с отчимом, который тоже чувствует себя обделенным и потерянным. Всю осень юноша пишет картины, восемнадцать картин маслом, семнадцать из которых — автопортреты. На глаза ему попадается объявление в газете о вакансии преподавателя на художественных заочных курсах в Монреале, и он, повинуясь внезапному порыву, посылает письмо и получает место. Как и в рассказе о сержанте Икс, мы так и не узнаем имени молодого художника, только псевдоним — де Домье-Смит: он выдает себя за племянника Домье, когда пишет письмо в художественную школу. Его приняли на работу, выделили троих студентов и выдали конверты с их рисунками.

Первые два студента являют собой чуть ли не карикатуру на тех, кого Шри Рамакришна, работы которого отец в то время глубоко изучал, называл человеческим отребьем, вожделеющим «женщин и злата». Первый конверт прислала молодая домохозяйка, выбравшая себе псевдоним «Бэмби». К анкете была приложена большая глянцевая фотография, где она в купальном костюме. Рисунки, безнадежно плохие как по выбору сюжета, так и по исполнению, были «несколько пренебрежительно» подколоты к портрету. Она написала, что ее любимые художники — Рембрандт и Уолт Дисней.

Второй студент — светский фотограф Р.Говард Риджфилд, чья жена, по его словам, думает, что ему пора «втереться в это выгодное дельце» и стать художником[97]. Его картина, непристойная по сюжету и исполнению, изображает девицу «с вымеобразной грудью», которую святотатственно соблазняют в церкви.

Почти уже впав в отчаяние, он открывает третий конверт. Его послала монахиня, сестра Ирма. Она преподает «кулинарию и рисование» в начальной монастырской школе. Вместо своей фотографии она прислала вид монастыря. Ее хобби — любить «Господа и Слово Божье», а также «собирать листья, но только когда они уже сами опадают на землю». Ее назначили преподавать детям рисование, когда другая сестра умерла.

Детишки, пишет сестра Ирма, любят рисовать бегущих человечков, а она этого совсем не умеет и просит помочь. Она будет очень стараться научиться лучше рисовать и посылает несколько рисунков — без подписи. Работы ее оцениваются как «произведения истинного художника». Молодой художник засовывает конверт сестры Ирмы в нагрудный карман, «куда не добраться ни ворам, ни — тем более — самим супругам Иошото… Не хотелось рисковать — вдруг сестру Ирму отнимут у меня…Но в тот вечер, согретый конвертом сестры Ирмы, лежавшим у меня на груди, я впервые чувствовал себя спокойным»[98].

Всю ночь он работает над набросками сестры Ирмы и пишет ей «длинное, бесконечно длинное» письмо, одновременно страстное и чистое. На другой день он думает «в совершенном ужасе», как бы не сойти с ума до тех пор, пока придет от нее новый конверт. И почти теряет рассудок. Стоя перед витриной ортопедической мастерской, он «…испугался до слез. Меня пронзила мысль, что как бы спокойно, умно и благородно я ни научился жить, все равно до самой смерти я навек обречен бродить чужестранцем по саду, где растут одни эмалированные горшки и подкладные судна и где царит безглазый слепой деревянный идол — манекен, облаченный в дешевый грыжевый бандаж».

Каким-то образом он добирается до своей комнаты, ложится в постель, долгие часы лежит без сна, охваченный дрожью, пока не заставляет себя сосредоточиться на образе сестры Ирмы, на том, как он приедет к ней в монастырь. Он воображает ее за высокой решетчатой оградой, видит, как она выходит навстречу. В его воображении она — «…робкая, прелестная девушка лет восемнадцати, еще не принявшая постриг, — она еще была вольна уйти в мир со своим избранником, так похожим на Пьера Абеляра. Я видел, как мы медленно и молчаливо проходим в глубину зеленого монастырского сада и там бездумно и безгрешно я обвиваю рукой ее талию. Трудно было удержать этот неземной образ, и, дав ему улетучиться, я погрузился в сон».

На следующий день у той же самой ортопедической мастерской ему является мистическое видение, обратное тому, что накануне чуть не свело его с ума, — когда он увидел все, включая самого себя, превращенным в разного вида отбросы. Теперь, в сиянии гигантского солнца эмалированные горшки и подкладные судна мистическим образом превращаются в сверкающий вертоград «дважды благословенных цветов».

Даже немного жутко, если подумать, как Клэр, стеснительная, красивая девушка, только что из монастырской

школы, вошла в жизнь моего отца, словно в какую-то пьесу, воплотившись в реальность из его туманных снов, так же, как Корниш появился в ответ на мечту Холдсна о хижине на опушке леса. Когда Джерри приходил, она себя чувствовала на верху блаженства. Они долго бродили над рекой и вели беседы далеко за полночь. Но Клэр вспоминает также, что были в тот год длинные интервалы, когда он не звонил и не приходил, и она опять оставалась одна, покинутая в пучине морской.

5
Мы запрем дверь

Признаться, я не очень-то охоч
До тихих радостей молвы скандальной:
Судить соседей с высоты моральной
Да воду в ступе без толку толочь.
Внимать речам про чью-то мать — иль дочь
Невзрачную — весь этот вздор банальный
Стирается с меня, как в зале бальной
Разметка мелом в праздничную ночь.
Не лучше ль, вместо словоговоренья,
С безмолвным другом шль наедине
Сидеть, забыв стремленья и волненья? —
Сидеть и слушать в долгой тишине,
Как чайник закипает на огне
И вспыхивают в очаге поленья?

Уильям Вордсворт. Житейские темы[99]

Моя тетя Дорис, папина сестра, через сорок с лишним лет рассказала мне, как они вдвоем нашли дорогу в Корниш. Осенью 1952 года, в изумительное бабье лето, Дорис и ее брат решили устроить себе каникулы. Предыдущим летом, рассказывала тетя, вышла в свет повесть «Над пропастью во ржи», у отца оставались наличные деньги от гонорара, и он хотел присмотреть себе в деревне маленький домик, где бы мог жить и работать вдали от городской суеты. Дорис в то время, что называется, делала карьеру. Ей было тридцать восемь лет, она развелась, жила с родителями в Манхэттене и часто ездила в Европу, осуществляя

закупки для Зеленой комнаты в «Блуминдейле»[100].

Тем не менее, когда Джерри предложил поехать с ним, она, по собственному признанию, бросила все и «ухватилась» за приятную возможность съездить за город с любимым братом.

Они проехались по побережью Новой Англии и остановились у Кейп-Энн, к северу от Бостона, где расположены старинные приморские городки Эссекс, Ипсвич и Глочестер. Они оба любили Кейп-Энн. Джерри купил бы особнячок и осел бы там, в старых добрых краях Мелвилла, но, в течение нескольких дней осматривая дома, он понял, что ему это не по карману. В то время никто, тем более он сам, не ожидал, что «Над пропастью во ржи» будет иметь такой успех.

Они направились от побережья на север, вдоль реки Коннектикут, и остановились перекусить в Виндзоре, штат Вермонт. Местный агент по продаже недвижимости, Хилда Рассел, разговорилась с ними в ресторане. После ленча повезла их через крытый мост, соединяющий Виндзор в Вермонте и Корниш в Нью-Гемпшире, потом по грунтовой, крутой, грязной дороге, много миль по холмам и лесам. Они проехали молочную ферму, где коровы паслись, как в Альпах, на немыслимо крутых склонах. Не только коровам, но и фермерам на этих холмах жилось нелегко. Зимой многие работали на заводе шарикоподшипников в Виндзоре или на фабрике резиновых изделий «Гудиэр», пока та не закрылась. Другие, оставляя дом на долгие месяцы, нанимались на рыболовецкие суда, которые уходили зимой из Глочестера: жены и дети оставались стеречь добро.

Сразу за фермой дорога круто повернула и пошла к вершине холма, между двух пастбищ, расположенных на склонах. Вокруг сверкало яркими красками бабье лето — сиял золотарник, серебрились паутинки, багровел кендырь, чернел вороний глаз; всюду распевали птицы, жужжали пчелы, стрекотали цикады и кузнечики. Когда они перевалили через вершину холма, пастбище незаметно сменилось лесом, и машина, петляя между березами, соснами, старыми кленами и дубами, сбавила ход. На этом участке дороги им встретился лишь один знак человеческого присутствия: семь грубых, без надписей, могильных камней, заросших кустарником, покрытых мхом.

Проехав еще около мили, они увидели лесную поляну. Здесь, на вершине холма, на самой высокой точке дороги, стоит небольшой красный дом, похожий на амбар. Он прилепился на самом краю луга, который тянется примерно на акр, круто обрываясь к журчащему внизу ручью. Обрыв в самом деле такой крутой, что если вы подошли к его краю, вам, чтобы не упасть,

лучше держаться за высокие, крепкие стебли травы. Ручей и оставшиеся внизу несколько футов старого пастбища исчезают среди высокого соснового леса, которым поросли склоны, тянущиеся на много миль, вплоть до реки Коннектикут. За рекой, со дна долины, гора Эскатни поднимается к небесам, словно синяя пирамида. Справа от горы зелеными и бурыми заплатками разбросаны по долине молочные фермы. За фермами и над ними горы поменьше гряда за грядой пропадают вдали, выцветая до голубизны, все более и более бледной; катятся волнами по Вермонту, расплескавшись до штата Нью-Йорк.

Агент сказала, что в ясный день можно увидеть Адирондакские горы, расположенные за сотни миль оттуда. Окна гостиной выходили на запад; из них, заявила та дама, можно наблюдать закат солнца над горой Эскатни. Дорис согласилась, что вид великолепен, однако дом — другая песня. «Ах, Пегги, то был не дом, а кошмар». Тетю даже оскорбило, что их вообще повезли сюда. Водопровода и прочих удобств не было и в помине. Кухня под навесом. Во всем доме лишь маленькая, с пятнами сырости, спальня, да гостиная, сущий амбар в два этажа высотой, с выгнутым дощатым потолком и торчащими стропилами. Наверху белка вывела бельчат. «Полно было зверья», — возмущалась Дорис. К восточной стороне, откуда вид не открывался, примыкала кухня: там виднелся почерневший каменный очаг. Подле очага, вдоль стены — шаткая деревянная лестница, ведущая на крохотный чердак.

Дорис не могла поверить, что брат хоть на минуту задумается о покупке этого дома — дело было задолго до моды на сельскую простоту, и в хлеву держали скот, не писателей. Она знала, что у Санни хватит денег только чтобы купить дом «как есть»: на ремонт ничего не останется, а Дорис к тому же с полным основанием полагала, что ремонт тут не поможет: дом нужно снести до основания и построить на его месте что-нибудь приличное. Но она без должного внимания отнеслась к мечте Холдена:

«…построю себе на скопленные деньги хижину и буду там жить до конца жизни. Хижина будет стоять на опушке леса — только не в самой чаще, я люблю, чтобы солнце светило на меня во все лопатки… я…встречу какую-нибудь красивую глухонемую девушку, и мы поженимся. (…) Если пойдут дети, мы их от всех спрячем. Купим много книжек и сами выучим их читать и писать»[101].

В первый день нового 1953 года, в свой тридцать четвертый день рождения, Джерри перебрался в этот дом в Корнише. Клэр часто проводила с ним здесь выходные. В пятидесятые годы для

того, чтобы молодую девушку отпустили из колледжа на уик-энд, нужно было представить письменное приглашение от какой-нибудь уважаемой особы. Клэр и Джерри выдумали некую миссис Троубридж и сочиняли весьма забавные письма к матери Клэр и к прочим in loco parentis[102] в Рэдклиффе с массой глупой, великосветской болтовни о том, как мило, что Клэр навещает маленьких Троубриджей, и как мы будем рады, если она приедет к нам в наш зимний домик.

Прямо по собственной своей книге «Над пропастью во ржи», где Холден под влиянием момента просит Салли Хейс бежать с ним в выдуманную солнечную хижину на опушке леса, Джерри просит Клэр оставить школу и насовсем перебраться к нему в Корниш. Когда Клэр отказалась, Джерри исчез. Мать думает, что он провел этот год в Европе, но до конца не уверена. В отчаянии она заняла у кого-то машину и поехала к дому, но там не было никаких признаков жизни. Если бы только можно было с ним связаться, говорила Клэр, она бы все отдала, только чтобы быть рядом. «Весь мир заключался в твоем отце — в том, что он сказал, написал, помыслил. Я читала те книги, какие он велел, а не те, что задавали в колледже, смотрела на мир его глазами, жила так, будто он все время наблюдал за мной. И когда я пошла ему наперекор в этом вопросе с колледжем, он исчез».

Клэр не была человеком, «способным функционировать нормально». Когда Джерри бросил ее, она слегла. Попала в больницу с сильным приступом мононуклеоза, который вылился в сложный случай аппендектомии. Рассказ матери о том, что случилось дальше, оставался на удивление стабильным все эти нестабильные годы — не рассказ, а снимок рушащегося здания. Я могу повторить его хоть во сне. Он начинается: «Я та-а-а-а-ак устала. Очень милый человек из бизнес-школы попросил моей руки. Он все время приходил ко мне в палату, просил выйти за него, и я в конце концов согласилась. И стало мне очень легко, и все меня оставили в покое: ведь я та-а-а-а-ак устала».

Они убежали вместе где-то весной: подробностей мать не помнит. Через год брак был аннулирован. Когда я девушкой слушала этот рассказ, у меня складывалось впечатление, что мама страдала лунатизмом или ее лихорадило. Меня беспокоило, что такие важные вещи могут происходить во сне, или на границе между сном и явью. И злило тоже. Когда мать рисовала себя такой безвольной, чуть ли не марионеткой в чужих руках; когда не желала признать за собой ни капли ответственности за случившееся, я буквально сатанела. Может, она и в самом деле была такой, но в детстве во мне постоянно боролись неистовое желание встряхнуть ее, привести в чувство, обрести, наконец,

потерянную мать и инстинкт самосохранения, который одерживал Пиррову победу, — и я уходила на цыпочках, незаметно, не решаясь будить спящих тигров.

Джерри вновь появился в жизни Клэр летом 54-го. Осенью Клэр переехала к нему. Каждую неделю он отвозил ее из Корниша в Кембридж, чтобы она со вторника до четверга могла посещать занятия. Джерри снял номер в отеле «Коммодор», где она делила комнату с пятью разведенными или как-то по-другому, по ее словам, «не приспособленными к жизни в интернате» студентками. Он все больше и больше страдал от такого распорядка, который, помимо всего прочего, мешал работе над повестью, известной сейчас под названием «Фрэнни». Мать до сих пор часто думает об этой книге, потому что, как она говорит, «это моя история, не история Фрэнни, и все было совсем не так». В реальной жизни девушку в синем платье, с сине-белой сумкой через плечо звали Клэр, не Фрэнни. У нее до сих пор сохранилось требование, которое она выписала в отделе книгообмена Брентано, — требование на книгу Фрэнни «Путь странника».

В январе 1955 года «Фрэнни», состоящая из тридцати семи страниц, первая часть книги «Фрэнни и Зуи», была опубликована в «Нью-Иоркере». В том же месяце, сразу после семестровых экзаменов выпускного класса, моей матери, как она вспоминает, вновь был предъявлен ультиматум. «Я была поставлена перед тем же выбором: Джерри и Корниш или Рэдклифф и диплом».

За четыре месяца до окончания курса Клэр бросила колледж. То, что случилось, когда Клэр, такая же юная, как и сестра Ирма, еще не принявшая постриг, о которой мечтал де Домье-Смит, оставила зеленеющие сады Кембриджа со своим Пьером Абеляром, напоминает мне один из наших любимых фильмов «Потерянный горизонт»: за воротами зеленеющего сада клубится туман. В день свадьбы Клэр и Джерри ехали, скорее, ползли тридцать миль в густой, почти непроницаемой пелене февральского мокрого снега из Корниша, Нью-Гемпшир, в Брэдфорд, Вермонт к мировому судье. Мать описывает, как они вчетвером набились в старый заезженный отцовский джип: Джерри проклинал дорогу, а свидетели — Бет и Майк Митчеллы — молча корчились на заднем сидении, наверное, остолбенев от страха, поскольку отец ездил весьма лихо даже и в лучших обстоятельствах. Отцовская версия свадьбы, которую он часто повторял брату и мне, обычно начинается так: он никогда не простит Бет и Майку, с которыми подружился еще в Вестпорте, за несколько лет до переезда в Корниш, того, что они его не отговорили, позволили совершить столь очевидную ошибку.

Тусклая действительность их бегства вступала в резкий контраст со сверкающей мечтой Симора о «святом, священном дне». Накануне бегства с невестой герой отца, Симор Гласс, записал в своем дневнике:

«Я ей звонил главным образом, чтобы упросить, умолить ее просто уехать со мной вдвоем и где-нибудь обвенчаться. Слишком я взвинчен, чтобы быть на людях. Мне кажется, что сейчас — мое второе рождение. Святой, священный день…Весь день читал отрывки из Веданты. «Врачующиеся должны служить друг другу. Поднимать, поддерживать, учить, укреплять друг друга, но более всего служить друг другу. Воспитывать детей честно, любовно и бережно… Как это изумительно, как разумно, как трудно и прекрасно и поэтому правдиво. Впервые в жизни испытываю радость ответственности»[103].

Однако в свой медовый месяц Симор в гостиничном номере садится на кровать, где спит его молодая жена Мюриэл, берет пистолет и стреляет себе в висок — так это описано в рассказе «Хорошо ловится рыбка-бананка», созданном около 1947 года. Пассаж о «святом, священном дне» из «Выше стропила, плотники» отец написал около 1955 года. Он исчез из жизни Клэр в 1953 году и тогда написал «Тедди», оду отрешению от всякой земной любви, особенно плотской; а потом, меньше чем через два года, в 1955-м, просит Клэр выйти за него замуж. Что произошло? Был ли то импульсивный порыв, очередной акт драматического контраста между блаженством ухаживания и выстрелом в висок, привлечением и отторжением, любовью и отказом от любви, минутой, когда даришь цветы, и минутой, когда бросаешь камни? [104]

И я решила, что его уходы и появления, его отношения с Клэр до женитьбы были частью этой его личной драмы, нот конфликта. Но потом из разговоров с матерью я пыж пила, что к их браку привело некое событие совершенно иной природы: отец нашел нового гуру, в чьем учении вроде бы сглаживалось противоречие между земной любовью и небесной отрешенностью. Согласно проповеди этого гуру, Шри Парамахансы Йогананды, «женщина» — такой же, как и «злато», страшный враг просветления и кармического продвижения — могла преобразиться из мешка с «мокротами, грязью, слизью и нечистотами», о котором говорил Рамакришна, в нечто потенциально священное. За все то послевоенное время, когда отец предавался изучению религий, брак впервые представал чем-то потенциально возвышенным, а не изначально принижающим; Ева и змей уже не сплетались воедино.

Еще до свадьбы, осенними и зимними вечерами, Джерри и

Клэр читали не отрывки из Веданты, как то делал Симор перед своей женитьбой, а книгу Парамахансы Йогананды «Автобиография йога». Мать рассказывала, что в то время их больше всего привлекали истории о Лахири Махасайе, гуру Йогананды, который жил с 1828 по 1895 год. О Лахири Махасайе говорится, что он был избран богом, дабы привести на путь йоги, ранее предназначенный лишь для хранящих чистоту и отрекшихся от мира, тех, кто желает просветления, но «нагружен» семейными тяготами, или «бременем мирским». Он утверждал, что даже самые высокие достижения йоги доступны для таких женатых мужчин.

Недавно мать прислала мне книгу вместе с запиской, где значилось: «не надо тебе продираться сквозь весь текст, посмотри в указателе о Лахири Махасайе и домохозяевах». Мать написала, что там есть «прелестные места» о Лахири Махасайе и его жене, об их обязанностях как «домохозяев» — то есть, людей семейных, с детьми, не монахов или монашек.

Мать вспоминает, как она «была полна радости оттого, что нашла путь», религию, утверждавшую, в противовес католицизму, в котором ее воспитывали, и который устанавливал иерархию, основанную на господстве мужчин, или в отличие от Веданты и центра Вивскананды, где холостые мужчины ставились выше женатых, что «и женщины на что-то способны». Она вспоминает, что книга Парамахансы Йогананды раскрепощала. Читая книгу, я не уставала поражаться: неужели мы с ней читали одно и то же? Особенно сильно я это почувствовала, когда дошла до разговора Йогананды с вдовой Лахири Махасайи, «Священной Матерью, или Каши Муни», как она названа в книге. Каши Муни рассказывает Йогананде, как она много лет назад постигла «божественную» сущность своего мужа. В спальне ей предстало видение: муж парил в воздухе в позе лотоса, и его окружали ангелы, которые поклонялись ему. Когда святой опустился на пол, женщина бросилась к его ногам и умоляла простить за то, что она так долго думала о нем, как о супруге.

«Господин», — вскричала я… — Я умираю от стыда, уразумев, что оставалась погруженной в сон невежества рядом с божественно пробужденным. С этой ночи ты больше не муж мой, но мой гуру. Примешь ли ты меня, ничтожную, к себе в ученицы?»

Ритуальным жестом гуру принимает ее в ученицы и велит склониться перед ангелами. Хор ангелов поет:

«Блаженна ты, супруга Божественного. Тебе наш привет». Тут они склонились к моим ногам и — чудо! Их сверкающие образы исчезли…

С этой ночи Лахири Махасайя никогда больше не спал в моей

комнате. Он вообще больше не спал. День и ночь сидел он и центральной зале внизу, в обществе своих учеников».

Потом Каши Муни говорит Йогананде, что должна покаяться перед ним в «грехе», который она совершила против своего «гуру-мужа», когда через несколько месяцев после видения и посвящения в ученицы она вдруг почувствовала себя «заброшенной, в пренебрежении».

«Однажды утром Лахири Махасайя вошел в свою комнатку за какой-то статьей; я быстро последовала за ним. Охваченная горечью, я злобно заговорила с ним:

— Ты проводишь все время с учениками. А как же твои обязанности по отношению к жене и детям? Жаль, что ты не заботишься о том, чтобы достать больше денег для семьи.

Господин с минуту глядел на меня, а потом — о чудо! — исчез. В страхе и трепете услышала я голос, звучащий со всех концов комнаты.

— Все сущее — ничто, разве ты не видишь? Разве может ничто, вроде меня, обеспечить тебе богатства?

— Гуру-джи, — вскричала я, — миллион раз прошу у тебя прощения! Грешные глаза мои больше не могут видеть тебя; прошу, яви свой священный облик.

— Я здесь.

Ответ прозвучал сверху. Я подняла глаза и увидела, как господин явился из воздуха; голова его касалась потолка. Глаза горели ослепительным пламенем. Вне себя от страха я, рыдая, пала к его ногам, когда он спокойно опустился на пол.

— Женщина, — сказал он, — ищи божественных сокровищ, не жалкой земной мишуры…

Читать это через сорок лет после знакомства моих родителей — все равно, что читать некролог по нашей семье, написанный еще до того, как она была создана, или вернуться к началу трагедии и, пользуясь приобретенным знанием, расшифровать до конца таинственное прорицание оракула об ркасной судьбе, ожидающей героя. «Через несколько месяцев после посвящения я вдруг почувствовала себя заброшенной, в пренебрежении… Ты проводишь все время с учениками. А как же твои обязанности по отношению к жене и детям?»[105] Но все еще было впереди.

Хотя отношения Лахири Махасайи и его жены самым непосредственным образом предвосхищали семейную жизнь моих родителей, я убеждена, что, не будь учения Лахири Махасайи, не было бы ни брака между ними, ни моего рождения — так погружен был отец в проповеди Рамакришны. Учение Йогананды предоставило отцу возможность «съесть свой кусок пирога», показало, что институт брака не столь уж безнадежно принижает

мужчину, отбрасывая его в кармическом продвижении на несколько жизней назад (вспомните, как Тедди замечает, что именно женщина виновата в его нынешней реинкарнации в теле *американского* мальчика). Не нахожу ничего — прелестного» ни в его учении, ни в семенной жизни, которая никак не может служить моделью супружества, — однако не годится говорить дурно о человеке, чьи проповеди непосредственно способствовали моему появлению на свет.

Мать, хотела детей, и поэтому, как она говорила, в нужные дни цикла за обедом щедро подливала отцу вина.

Прочитав вместе «Автобиографию йога» осенью 1954 года, они, каждый по отдельности, написали в Братство Самореализации, которое эту книгу выпустило. Джерри вскоре спросил, не может ли братство порекомендовать учителя-гуру, живущего где-нибудь неподалеку, который мог бы посвятить Клэр и его в таинства учения. Один из членов братства ответил, что ближайший из посвященных, кого он может рекомендовать, — Свами Прематанда, который недавно открыл храм приверженцев учения недалеко от Вашингтона, и предложил Джерри списаться с ним. Джерри написал немедленно. Свами Прематанда ответил, что примет их после заключения брака и введет в храм как благоверных домохозяев. Им было велено в день прибытия воздержаться от завтрака и принести с собой даяния — свежие фрукты, цветы и немного денег.

Клэр бывала в центре Вивекананды на Пятой авеню, ей нравилось, что там тихо, как в церкви, и такие же высокие своды. После цветистой автобиографии Парамахансы Йогананды ум ее был полон видений: шафрановые облачения, ароматные свечи, сверкающие дворцы в небесах индийского пантеона. Но, сойдя с поезда, они очутились в пригороде, где жил средний и низший класс: «вокзальные носильщики и продавцы в бакалейных лавках — вот какая там была атмосфера. Я не привыкла к подобной публике». Сам храм был «милым, похожим на магазин, на бакалейную лавочку». Потом, рассмешив меня, она подытожила свое впечатление от ашрама: «Ну, знаешь, где продают яблочный пирог». Расхохотавшись, я выпалила: «Мама, какой пирог, на какой планете?» После некоторой самореализации она, слава богу, рассмеялась тоже.

По мере того, как она рассказывала, история о «примерной девочке» давала задний ход: карета и кучера Золушки вновь становились тыквой и крысами. «Милый» храм первоначальной версии стал «безвкусно убранным пригородным кабаком. На алтарном столе стояли *фотографии*». (Это замечание понятно в

устах молодой женщины, которая выросла, видя на стенах родительского дома алтарные образы Джотто и Фра Анджелико.) И наконец: «Мне не нравились низкие потолки этой жуткой хибары».

Их встретил «милый, приятный маленький индиец, лет сорока, но так сразу не скажешь». Мать сказала, что вокруг этого человека не видно было «сияния славы», как в книге Иогананды. «Без облачения его бы никто и не заметил». Джерри и Клэр переговорили с гуру после обычной утренней службы, во время которой прихожане пели «знакомые гимны, но со странными словами. Он нам дал по мантре и научил, как задерживать дыхание и видеть воочию, как ты дышишь». Крийя-йога, упражнения для дыхания, умиротворяли ее и успокаивали. Им было велено практиковаться десять минут утром и десять минут вечером. Когда они увидят белый свет посередине лба, пускай приходят для более продвинутого обучения, сказал Премананда. Я, дитя просвещенного века, закатила глаза: «Ну и ну!» — «Нет, нет, — возразила мать. — Я этот свет видела, думаю, тут что-то связанное с биологией, с третьим глазом. Но я туда не вернулась. Я пошла в другое место».

«Этим вечером в поезде, на обратном пути в Корниш, мы с Джерри занимались любовью в нашем купе. Было так приятно… мы нечасто занимались любовью, плоть была злом… Я уверена, что зачала тебя той ночью».

6
Затворничество

Затворничество: 1)образ жизни затворника, отшельника, давшего обет не выходите, из своей кельи; 2) образ жизни человека, оказавшегося в полном одиночестве, в заточении.

Словарь Уэбстера

Когда беременность Клэр стала заметной, влечение. Джерри, вспоминает она, сменилось «омерзением». В беременности каждой женщины, за исключением, возможно, самой Девы Марии, наступает такой период, когда иллюзию девственности поддерживать невозможно. Исчезла та чистая послушница, которую, как того желал отчаянно и страстно де Домье-Смит, увел с зеленых монастырских лугов Пьер Абеляр. Клэр потеряла чистоту; теперь мотив любого ее поступка был запятнан подозрением.

Мать рассказывала, что до женитьбы они с отцом встречались со многими его друзьями и часто ездили в Нью-Йорк или Бостон; однако после свадьбы ее изоляция все возрастала — до такой степени, что она стала чувствовать себя «фактически пленницей». Начиная с четвертого месяца ее беременности, они ни с кем не видались.

Надо, чтобы вы уяснили для себя одну вещь. В Корнише «не видаться ни с кем» вовсе не значит, что вы перестали принимать гостей; это значит, что на глаза вам не попадается ни единая живая душа, за исключением, может быть, Алекса Уайта, который раз в две недели забирал у нас мусор и отвозил на свалку, или мистера Маккоули, который бросал письма в почтовый ящик на перекрестке, располагавшемся внизу, в четверти мили от дома, и заходил только в том случае, если отец должен был что-то подписать. Мать точно не помнит, когда наконец провели телефон, — но кому она могла позвонить? Она сожгла все мосты: так хотел мой отец. Он требовал, как мать говорила, чтобы она не брала с собой в Корниш ничего из своей прошлой студенческой жизни в Рэдклиффе[106]. Она сожгла все свои бумаги, включая фрагменты рассказов и драм, которые она писала в колледже. Что же до того, чтобы поддерживать контакты со школьными подругами и семьей, мать могла и не рассказывать мне о том, как

отец решил этот вопрос: я сама видела все эти годы, как высмеивал он любого друга, какой только у нес появлялся, любую попытку сближения с ее семьей. Навещать его семью — превосходно; однако визиты к моей бабушке со стороны матери были источником постоянных трений. Даже я, малышка, должна была тут же, на месте, ответить ему: как можно принимать подарки и поездки на отдых от человека, который, раз он так постановил, «недостоин уважения». До сих пор он терзает свою молодую жену Колин за то, что она поддерживает отношения со своей семьей, будто желание увидеться с родными — знак постыдной слабости и несовершенства. Оставь все и следуй за мной.

Моя мать, живя «фактически пленницей» в Корнише, нечасто видалась и с отцом. Она рассказывала, что Джерри, пока публиковался, еще не выработал тот удобный, ставший рутиной распорядок дня, который я хорошо помню: он вставал на заре, работал где-то до полудня, ездил в Виндзор за почтой, возвращался домой и отвечал на письма, которые называл «проклятым хламом на моем столе», и на этом заканчивал дневные труды, оставляя время, чтобы покопаться в саду, поиграть с детьми и собаками, сделать что-нибудь по дому. А тогда шестнадцать часов работы были для него нормой; он мог даже просидеть всю ночь и весь следующий день[107].

Когда он бывал дома, на Клэр сваливалось еще больше дел. Дом был примитивный — ни горячей воды, ни нормального отопления; но Джерри требовал комфорта, «как на Парк-авеню». Как и великий Торо, которому мать приносила еду в его лесную хижину, мой отец требовал, чтобы его кормили трижды в день, «как в нью-йоркских ресторанах», да еще стряпали его любимые блюда — так, по крайней мере, получается со слов матери. Потом, как раз когда она с этим научилась справляться, «было установлено, что простыни следует стирать и гладить дважды в неделю — когда горячей воды нет, а холодная на всем оставляет ржавые пятна. Прямо как в сказке, где бедная девушка старается изо всех сил, а ей все время подкидывают невыполнимые задания… Я была в отчаянии, загнана в ловушку. И меня же Джерри делал мишенью бесконечных, язвительных придирок, когда мне не удавалось удовлетворить его запросы».

Не все, конечно, было как в страшной сказке. Мать говорит, что полюбила красоту Корниша, свой сад, мир и покой. Любила она и фотографии индийских гуру, составлявшие ей компанию. «Они были как образа святых, какие я хранила в детстве, когда была католичкой». Прилежно, с радостью она занималась крийя-йогой по Йогананде, утром и вечером. Однако же мир и покой

никогда не длились подолгу. «Я хотела продолжать это [крийя-йогу], но Джерри перебросился на дианетику. Думаю, он ходил к самому Л. Рону Хаббарду. Придирался ко мне, докучал, выискивая у меня мысли, противоречащие дианетике. Эти мысли, мол, тебе вредят. Но скоро и в этом разочаровался и перешел к «христианской науке», а я все сражалась с техникой крийя-йоги. Но бросила после твоего рождения: была слишком угнетена».

Радикальные перемены в нем подчинялись внушающей тревогу закономерности. Когда он почти завершал «домашний вариант» какого-то своего произведения, то на долгие недели уезжал работать в Нью-Йорк, Монреаль или Атлантик-Сити. Мать вспоминала, что порой он пропадал чуть не по месяцу и возвращался, либо полностью перекроив произведение, которое хотел закончить, либо уничтожив его, и привозил с собой какой-нибудь новый «изм», которому мы должны были следовать[108]. Это повторялось с каждой испорченной или неопубликованной книгой: дзэн-буддизм, индуизм Веданты с 1950-х годов и до сих пор время от времени; крийя-йога — в 1954–1955 годах; «христианская наука» с 1954 года и периодами до сегодняшнего дня; сайентология, в свое время называвшаяся дианетикой и 1950-е годы; что-то связанное с трудами Эдгара Кайса, а также гомеопатия и акупунктура — с 1960-х годов до сегодняшнего дня; макробиотика — с 1966 года до их с матерью развода.

Тем, что вечно выбивало ее из колеи и впервые заставило потерять веру в Джерри, было вовсе «не дурное обращение, от которого временами никуда не денешься, а отсутствие логики! Я должна была полностью отвергнуть то, что совсем недавно была вынуждена принять на все сто процентов, и прибиться к чему-то новому, тоже безоглядно, только потому, что Джерри нашел себе нового супервождя, нового Бога. Думаю, все это делалось, чтобы скрыть тот факт, что Джерри только что уничтожил, или испортил свое творение, или не может примириться с его качеством, или не выносит самой мысли о публикации»[109].

Мне кажется, мать правильно определила природу того пламени, какое возжигало всякую новую веру: новый культ, или «изм», как она это называла, рождался из пепла загубленного труда. Тем не менее, не все, кто пишет с трудом, выходят из положения, поклоняясь воскресшему фениксу, новому гуру. Эта особенность отца оказала глубокое влияние на всех, кто был ему наиболее близок, — как на его кровных родных, так и на вымышленных героев его рассказов и повестей. В чем дело? Почему высыхал этот лес? Отчего так легко сгорал?

Одну из составляющих такого поведения я понимаю всеми фибрами моего существа. Даже наши привычные языковые клише

говорят о том, как ранимы человеческие существа под огнем, под ужасным давлением: «Не бывает атеистов в окопах». В мучительные времена, когда потеряны карты или невозможно ф-у-н-к-ц-и-о-н-и-р-о-в-а-т-ь нормально, я, как «солдат во Франции», сержант из рассказа об Эсме, Холден и мой отец, всегда бывший солдатом, тоже просила спасения и тихой пристани у другого человеческого существа или у небесных воителей, распевая «Господи, Спасе, направь меня, прочерти мне карту жизни»[110], в смертельном страхе цепляясь за своих спасителей, чуть ли не топя людей, которые пытались помочь, — так плотно приникала я к ним, так хваталась за них в панике[111]. Люди, утратив путь, ищут твердый ориентир, будь то Полярная звезда, неизменная точка отсчета, либо, если все погружено во тьму, некий путеводный свет. Это справедливо и для мудрецов, удалившихся в пустыню, и для томимых жаждой глупцов, которые проходят мимо оазиса и гонятся за миражем, выбрав ложный ориентир.

Несколько лет назад в ответ на мои расспросы относительно увлечения отца различными сектами, в которые он вкладывал немалые деньги — от дзэн-буддистов до индуистской Веданты, от Храма Самореализации Йогананды до «христианской науки», от сайентологии Рона Хаббарда до последователей Эдгара Кейса, от макробиотики Джорджа Ошавы до восточной медицины и сборной солянки всяческих практик, включая призывы пить собственную мочу, говорить на разные голоса и сидеть в оргоновом ящике Райха, — мать прислала мне книгу «Культы и их последствия»[112]. Эта неоценимая книга послужила отправным пунктом для раскрытия секрета отцовских путешествий в зазеркалье.

Прежде всего, я поняла, что содержание этих, по определению матери, «измов» ничего не значит, они могут быть как истиной, так и абсолютной чушью: важно то, как культ воздействует на ум верующего, а также способ приобщения к вере, особая связь между верующим и верой: это и отличает *секту* от *религии*, или *верования*, или *философии*[113].

Для человека, который, встретившись с какой-нибудь сектой, способен к ней примкнуть, характерны определенные жизненные установки, такие же, как у большинства отцовских героев — и, по правде говоря, у отца тоже. Многочисленные исследования сект как явления выяснили, что притяжение к ним вызвано «слабостью и ранимостью, какие возникают у каждого из нас в ключевые, стрессовые периоды жизни. В момент вербовки человек может испытывать легкую депрессию, переживать переходный период; одним словом, чувствует себя так или иначе отчужденным»[114]. В одном из таких исследований будто бы и вправду говорится об

отце и его героях, которые «откуда-то выпали» и поэтому чувствуют себя уязвимыми: «Когда человек оставляет какое-то тесно замкнутое сообщество, это может породить проблемы — тяжело, например, уйдя из армии, приспособиться к гражданской жизни… многие страдали от депрессии… одиночества, безымянности»[115] — от того, что можно было бы назвать «ожидающей в будущем пустотой». Они стоят на краю — «над пропастью», как говорил Холден, — и высматривают ловца, ищут ландсмана, на которого можно опереться, прежде чем начнешь проваливаться вниз, вниз, вниз. Многих из тех, кто присоединяется к сектам, привлекает «тесное общение с единомышленниками»[116].

Смятенные герои отца находят ландсманов в живых десятилетних сестричках (Мэтти и Фиби) и умершем десятилетнем братишке (Алли); в сестре Ирме (де Домье-Смит); внутри семьи Глассов — в братьях и сестрах разных возрастов, как умерших, так и живых. Но с течением времени и отец, и его герои все больше и больше находят ландсманов только среди мертвых. Раньше всего мы это видим в сцене, когда Фиби требует, чтобы Холден назвал кого-то, кто ему по-настоящему нравится, а он может припомнить только Алли, своего умершего братишку, и Джеймса Касла, который выбросился из окна в школе Нэнси. В следующей повести отца Фрэнни говорит о Зуи, что «единственные люди, с которыми ему хотелось бы пойти выпить, или на том свете, или у черта на куличках…ему даже и завтракать ни с кем не хочется, если он не уверен, что это окажется Иисус — собственной персоной, или Будда, или Хойнэн, или Шанкарачарья, или кто-нибудь в этом роде». А в рассказе «Тедди» мы наблюдаем окончательный уход. Тедди не ищет ландсманов даже среди мертвых; он взыскует единства с небытием, растворения всего, отдельно существующего, личного. Он желает влиться в безбрежное море неразличимых душ в ином, непреходящем измерении. Десятилетний мальчик, заранее зная о своей близкой смерти, походя говорит о ней — только затем, чтобы внушить слушателю понятие о благотворности отречения и абсурдности поисков тихой пристани в этой жизни: ведь жизнь — просто *майя*, иллюзия.

«Не понимаю…отчего считается, что надо непременно испытывать какие-то эмоции. Мои родители убеждены, что ты не человек, если не находишь вещи очень грустными или очень неприятными, или очень…несправедливыми, что ли. Отец волнуется, даже когда читает газету. Он считает, что я бесчувственный»[117].

Николсон стряхнул в сторону пепел. «Я так понимаю, сами вы

не подвержены эмоциям?» — спросил он.

Тедди задумался, прежде чем ответить. «Если и подвержен, то, во всяком случае, не помню, чтобы я давал им выход, — сказал он. — Не вижу, какая от них польза».

«Так глупо», — этими словами начинает Тедди описывать, как сестренка случайно столкнет его в пустой бассейн, он раскроит себе голову и мгновенно умрет.

«Но разве это такая уж трагедия? Я хочу сказать, чего так бояться? Произойдет только то, что мне предназначено, вот и все, разве нет?»

Николсон хмыкнул. «Для вас, может быть, и не трагедия, — сказал он, — но ваши мама с папой были бы наверняка весьма опечалены. Об этом вы не подумали?»

«Подумал, конечно, — ответил Тедди. — Но это оттого, что у них на все уже заготовлены названия и чувства».

К тому времени, как я прочла этот рассказ, мне столько раз приходилось слышать из уст отца подобные проповеди, что было трудно не ощущать себя умирающей от скуки девчонкой, которой «давят на мозги». Но сейчас, по зрелом размышлении, я ощущаю искреннюю грусть, не досаду и скуку. Я размышляю о том, как отец искал ландсманов, и когда не нашел их среди живых, обратился к другим мирам. В самом деле, такая реакция, такой порыв к альтернативной реальности или к трансцендентальному опыту были названы людьми, оставившими секту, в качестве второй из самых распространенных причин вступления в замкнутое религиозное сообщество (первая — одиночество и поиски тесного общения). «Культ предлагает путь — вам скажут: *единственный* путь — в неведомое, запредельное царство… В конце концов, и рассудок подсказывает: если вы хотите испытать что-то, чего не испытывали до сих пор, вы должны отправиться в места, где до сих пор никогда не бывали»[118].

Третья из чаще всего называемых причин влечения к сектам — «потребность в моральном авторитете» — еще больше касается семьи Сэлинджеров. Родители, принадлежащие к среднему классу, чьи дети в основном и пополняют ряды сектантов, зачастую чересчур охраняют и оберегают своих отпрысков. Им хочется дать детям то, чего сами они были лишены; сделать их счастливыми[119].

«В таких обстоятельствах у молодых людей часто выстраивается зависимость от родителей, которой они не замечают, пока длится отрочество, — а потом оказывается, что пора принять на себя ответственность за свою жизнь, стать независимыми, взрослыми людьми…неудивительно, что многих из молодежи такая внезапная ответственность тяготит и смущает,

особенно в современном мире… Вот тут-то секты и вступают в игру… Они предлагают образ жизни… тщательно построенный, с очень ограниченным выбором и крайне специфическими требованиями. Некоторые с радостью прячутся под это теплое одеяло»[120].

Одеяло, которое Бэйб, «Солдат во Франции», натягивает на себя, надеясь на его магическую целительную силу.

Хотя в этом я не уверена, но подозреваю, что влечение отца к авторитарным, уверенным в себе вождям сект как-то связано с его воспитанием. В одном из своих рассказов он описывает именно то, что я наблюдала в его реальной семье, когда мы ездили в Нью-Йорк к бабушке, дедушке и тете Дорис. Симор рассказывает о своих визитах к Феддерам, родителям его невесты:

«…начинаю мечтать, чтобы мистер Феддер тоже принял участие в разговоре. Подчас мне это просто необходимо. А то, когда я вхожу в их дом, мне, по правде сказать, иногда кажется, что я попал в какой-то светский женский монастырь на две персоны, где царит вечный беспорядок. Иногда перед уходом у меня появляется такое чувство, будто М. и ее мама напихали мне полные карманы всяких флакончиков, тюбиков с губной помадой, румян, всяких сеточек для волос, кремов от пота и так далее… я не знаю, что делать с этими воображаемыми дарами»[121].

Неудовлетворенная потребность активного мужского присутствия в жизни мальчика может привести к ранимости или создать тягу к тому типу людей, который в литературе о сектах называется «авторитарной личностью». Когда я читаю описания так называемых авторитарных личностей и всяческие теории о них, мне кажется, будто исследователь был мухой и годами сидел у нас дома на стене, наблюдая странное поведение отца, охваченного порывом новой веры. В какой-то степени было облегчением обнаружить, что наш феномен — не единственный в своем роде. Но читать об этом было так же и страшно. Неутешительно сознавать, что наш остров связан с подобным материком. Как говорится, «прочти и заплачь». В особенности одна статья, «Религиозные секты как прибежище для людей с угнетенной психикой, идеалистов и интеллектуалов, и как оплот авторитарных личностей», могла бы иметь подзаголовок «Дома у Дж. Д.Сэлинджера». Ее автор[122] пишет:

«Во-первых, лидеры сект — люди с авторитарной, харизматической личностью; они источают — у некоторых, правда, это получается сдержанно и ненавязчиво — непререкаемую, незыблемую уверенность в себе и своих религиозных взглядах. Они — авторитарные символы, с которыми обращенные отождествляют себя; их взгляды, их

изречения представляются непогрешимыми.

Далее, каждый из лидеров секты заявляет, что лишь те религиозные взгляды, которые исповедует он, являются истинными; только примкнув к ним, можно решить как в идеальном плане, так и практически, проблемы, встающие перед миром и перед обращенными. Доктринальный характер подобных установлений дает обращенным ясное сознание смысла, верного направления, цели — как в умственной деятельности, так и во всей жизни, рассеивая тем самым смятение, неуверенность в себе, постоянные сомнения, характеризовавшие многих из них до обращения.

В-третьих, секты требуют исполнения специфических, ко многому обязывающих, часто аскетических и пуританских правил, которые регулируют все основные стороны повседневной жизни обращенных (в частности, соблюдение религиозных ритуалов, диета, внешний вид, нормы половой жизни, запрет на наркотики и т. д.). Сектанты воспринимают религиозные взгляды как указание истинного пути, объяснение смысла жизни и их роли в ней и с радостью принимают жесткие правила как практическое руководство в личностной, межличностной и социальной сфере. Все это предоставляет им твердую опору в жизни, являясь альтернативой безликой культуре, в которой они не могут найти своего места».

Чтобы понять влечение отца к подобным религиозным системам, можно пойти и другим путем — покинуть пределы индивидуальной психологии и бросить вместо того взгляд на нашу общую историю. Уверена: именно то, что отец, еврей или наполовину еврей по происхождению, вырос в Америке, сделало его, как и многих, ему подобных, беззащитным перед так называемыми «новыми религиями» — термин, наверное, не столь эмоционально окрашенный, как культы, или секты. Раввин Файн[123] красноречиво говорит о евреях и об утрате пути современным обществом:

«Молодые евреи…спрашивают: что это значит, быть евреем, подниматься из пепла всеобщего истребления? Что означает принадлежать к 3,5 процента населения в нееврейской культуре? Такие размышления глубоко затрагивают личность евреев. Они заставляют людей искать, задаваться вопросами. А когда люди ищут и задаются вопросами, в глубине души они жаждут найти решение. И Новые религиозные движения, конечно же, им это решение предоставляют».

Системы верований, которые раввин Файн перечисляет как особенно привлекательные для евреев, — как раз те самые, к которым всегда влекло моего отца и его героев. Файн считает, что

восточные религии, особенно движения гуру «из-за их универсального охвата — мы принимаем и ведем к свету любого —…мгновенно разрешают множество чисто еврейских проблем… Ты можешь более или менее (чаще менее) считать себя иудаистом, но в новую веру принимаются все. Тебе уже не нужно биться над историческими проблемами или над проблемами меньшинства, ибо решение готово: «мы — одно»…»[124].

Может быть, взгляды раввина не касаются всех, или даже многих евреев, но, снова обращаясь к творчеству отца, я нахожу аргументам Фаина множество подтверждений. Если в ранних произведениях отца утратившие путь молодые люди время от времени ищут пристанища в чистоте ребенка, то эта стратегия меняется, превращается в некое подобие христианизированного восточного мистицизма в рассказе о де Домье-Смите, который находит выход из своего Голубого периода, прозревая чистоту в море грязи, где он утопает. Сначала сестра Ирма спасает его, а потом, в мистическом видении, все нечистоты этого мира — включая его самого, его кошмарных учеников и приборы для промывания кишечника — превращаются в дважды благословенные цветы. Де Домье-Смит заново воссоединяется с миром, вновь принимает своих жутких учеников и оставляет нас наедине со следующим откровением: «tout le monde est une nonne» — весь мир — монахиня, святая сестра. Он находит прибежище в осознании того, что мы — одно.

В последних двух повестях отца ставится та же проблема, дается то же решение. Во «Фрэнни и Зуи» Фрэнни сломлена, угнетена, потеряла ориентир из-за «пустозвонства» жизни в колледже. Она вновь обретает способность «функционировать» через откровение, гласящее, что все люди — Христос. — Ты не знала этой тайны?» — спрашивает у нее Зуи. Каждый, любой из этих «пустозвонов», любая клизма или клистирная трубка, «даже жуткий профессор Таппер…это сам Христос». Книга заканчивается так: «Несколько минут, перед тем как заснуть глубоким, без сновидений, сном, она просто лежала очень тихо, глядя на потолок и улыбаясь».

Последняя опубликованная книга отца, «Выше стропила, плотники» и «Симор: Введение» заканчивается тем, что Бадди осознает: Симор был прав, и «ужасная триста седьмая аудитория», куда придут на занятия девушки, вернувшись со своих повитых плющом уикэндов, на самом деле Святая Земля, и даже «Грозная Мисс Цабель» ему такая же сестра, как Бу-Бу или Фрэнни.

В каждой книге напряжение снимается открытием того, что «мы — одно»: те же слова приводил и раввин Файн. Страдающий герой уже не должен биться над проблемами истории или над

проблемами меньшинства, как героиня «Затянувшегося дебюта Лоис Тэггет», или Лайонел из рассказа «В лодке», или Холден с его «полукатолическим» происхождением, или мой отец, которого ранило то, как «принято было говорить», по словам моей тети. Мы — одно.

Но выдуманное решение рассыпается в прах при первом соприкосновении с реальностью. Одно дело слиться с человечеством, даже с одним человеком, пережив общий экстаз, общее ликование, и совсем другое — прожить с ним или с ней следующее утро, и потом жить день за днем, неделя за неделей. Пьер Абеляр уходит из зеленеющего монастырского сада, уводя за собой чистую молодую девушку, едва не принявшую постриг, и сразу за воротами обнаруживает, что она превратилась в мешок со слизью, грязью и испражнениями.

Из разговора, переданного одной молодой женщиной, видно, как отец попался в сети своих собственных головоломок. Она ему рассказывает о концерте народной песни, на котором побывала:

«На несколько минут возникло такое чувство, будто все в этой комнате — добрые люди. Мы все вдруг стали друзьями. Я оглядывалась вокруг и всех любила. Было легко и приятно чувствовать так». — «Но песня кончилась, полагаю? — сказал Джерри с такой горькой язвительностью в голосе, что я удивилась. — Вот в чем подвох. Несколько куплетов еще можно продержаться, а потом каждый начинает вспоминать, что сосед его бесит до чертиков»[125].

Отец не мог лучше описать свою реальную жизнь, во всем противоположную миру его произведений. Я не раз наблюдала, что его эпифанические опыты ликования и единства со всем сущим похожи скорее на «радость, жидкое», чем на «счастье — твердое тело»[126]. Наутро они ускользают из пальцев, как туманные видения сна.

Выйдя за пределы вымысла, отец способен держаться за свое «мы — одно» лишь худо-бедно, да и то только в затворничестве. Здесь и проявляются два значения слова «затворничество»: то, что для одного — избранный добровольно приют отшельника (уединенная жизнь), для другого становится тюрьмой (заточение). Чтобы исполнилось обещание, данное Парамаханса Йоганандой, и отец мог бы сочетать затворническую религиозную жизнь с жизнью женатого мужчины, реальные девушки и молодые женщины, к которым его влечет, должны стать частью его мечты, его снов.

Чтобы стать единой с ним, каждая оставляет свой прежний мир, свои надежды и мечты и присоединяется к его миру, его

мечтам. Вспомните, как рассказывал Йогананда историю брака любимого йога моих родителей, Лахири Махасайи, то место, где жена вспоминает, как открылась ей божественная природа супруга:

«Господин», — вскричала я… — я умираю от стыда, уразумей, что оставалась погруженной в сон невежества рядом с божественно пробужденным. С этой ночи ты больше не муж мой, но мой гуру. Примешь ли ты меня, ничтожную, к себе в ученицы?»

Я часто задавалась вопросом, как жены и возлюбленные отца, умные молодые женщины, столь много обещавшие, могли, подобно нимфе Эхо из древних мифов, развоплотиться, утратить себя. Но по зрелом размышлении пришла к выводу, что прошлое, детские годы сделали их необычайно, до крайности беззащитными — детство моей матери, истинный плач по страданиям неприкаянного ребенка, которого носит по волнам морским, яркий тому пример — и траектория их вхождения в мир моего отца ничем не отличается от типичного, стандартного вхождения в секту.

Моя мать оставила все и вышла за отца как раз перед последним семестром выпускного класса в Рэдклиффе. Именно в такое трудное время — первая неделя занятий, например, когда новенькие часто чувствуют себя одинокими и потерянными в чуждой, непривычной среде, или последние недели перед экзаменами, когда многие студенты ощущают сильный стресс и неуверенность в будущем, — распространители культов разворачивают особенно активную и успешную деятельность в кампусах[127].

В такое неверное, опасное время распространители культов прибегают к весьма притягательной стратегии, которую исследователи называют «бомбить любовью»[128]: эти люди искренне улыбаются, смотрят вам прямо в глаза, держат за руку, всячески выражают великую приязнь; эту безусловную, всеобъемлющую любовь во всей ее ослепляющей мощи трудно описать, если только ты сам не был пленен ее светом, — но мало найдется людей, не способных ощутить ее зов. Разумеется, можно понять, что и мама была полна священного трепета, глубоко тронута вниманием тридцатилетнего писателя, который писал письма ей, ученице выпускного класса средней школы. А вот это мне понять труднее: как она могла бросить все и последовать за ним, как оказалось, что ее оплели «побеги, прочные, как плоть и кровь», и не отпускали даже после того, как она стала более критично смотреть на вещи. И здесь я тоже нахожу классическую схему. Ее изучают под разными названиями — *контроле за средой* или *тотализм*, например, — но сам метод не меняется. Основной

элемент этой, на первый взгляд таинственной, «пляски призраков» — затворничество. Оранжерейныи цветок мечты не может выдержать ярости стихий вне охранительных стен. Такие отношения, такая система верований не может выдержать испытания реальностью. Таким образом, «возможность обращения становится гораздо выше, если секта в состоянии держать под контролем окружающую индивидуума среду и все каналы коммуникации»[129]. Методы разнообразны и включают в себя контроль над всеми формами коммуникации с окружающим миром, лишение сна, перемену пищи, выбор тех, с кем можно видеться и говорить; субъекту внушают, что он избран для особой роли в божественном миропорядке, а для этого нужна чистота; его/ее убеждают в том, что ранее они были полны скверны, а теперь необходимо очиститься, чтобы достичь совершенства; затем им преподают «священную науку» и внушают, что верования, принятые группой (или отдельным человеком), — единственно истинная, разумная система, а потому следует ее принять и ей подчиняться; все, кто с нею не согласен, обречены[130]. Разрыв с прошлым, с семьей, с друзьями, с собственной личностью представляют собой, как считает бывший советник, офицер полиции Марк Роджемен, самый важный шаг в установлении контроля над человеком[131].

Лейла Хедли, писательница, с которой отец изредка встречался незадолго до того, как познакомился с Клэр, размышляя об их отношениях, сказала так: «Думаю, ему нравилось унижать меня. Был в этом какой-то оттенок садизма… Он был очень похож на героя «Перевернутого леса», Рэймонда Форда… Он обладал не сексуальной, а умственной притягательностью. Ты чувствовала, что он может тебя заточить силой ума. Твой ум был в опасности, а не добродетель»[132].

Я вспоминаю об этом, когда мать рассказывает мне, как отец за ней ухаживал: «Весь мир заключался в твоем отце — в том, что он сказал, написал, помыслил. Я читала те книги, какие он велел, а не те, что задавали в колледже, смотрела на мир его глазами, жила так, будто он все время наблюдал за мной». Когда Клэр отказалась оставить колледж по первой просьбе Джерри, и он ее покинул, возникло такое сильное чувство заброшенности, что мать, по ее словам, отдала бы все, лишь бы только быть с ним, — но нигде не могла его отыскать. Она оказалась в больнице, на грани нервного срыва, а потом очертя голову выскочила замуж за другого[133]. Когда мой отец снова появился в ее жизни, она поистине делала все возможное, чтобы сохранить его любовь, но время шло, и угождать ему становилось все труднее. Она чувствовала себя так, говорила мать, будто попала в страшную

сказку: выполнишь одно требование — возникнут новые, до бесконечности. Хотя Клэр довольно рано уверилась, что сама, невзирая на все усилия, уже не способна подняться в глазах отца на прежнюю высоту, ей все же казалось, что, родив ребенка, — ведь всем известно, как Джерри любит детей, — она хотя бы частично вернет утраченное положение[134]. Она была потрясена, впала в депрессию и чуть не дошла до самоубийства, когда обнаружила, что ее беременность лишь отталкивает Джерри, и он все глубже забирается в чащу леса, где после бесчисленных часов тяжелейших родов на свет появляются двое детей Глассов: «Фрэнни», повесть, опубликованная в «Нью-Йоркере» в январе 1955 года, а за ней, в ноябре, — «Выше стропила, плотники».

В конце того же года, 10 декабря, родилось еще одно дитя, безвременно оторванное от отцовского воображения. Меня чуть было не назвали Фиби, как любимую сестренку Холдена, однако мать настояла на своем, и в последний момент мне дали имя, которое я ношу, Маргарет Энн, сокращенно — Пегги. Со временем, конечно же, у отца появилась другая версия по поводу выбора имен. Летом 1997 года, когда мы с братом навещали его, он сказал, что, если бы не Клэр, «я бы, ребята, не дал бы вам никаких имен: вы бы сами себе их придумали лет в двенадцать». Сейчас у него три кошки, которых зовут Киса 1-я, Киса 2-я и Киса 3-я.

Через целое поколение после того, как моя мать забеременела, когда я уже стала взрослой, мне довелось обнаружить, что отец все еще живет мечтами и снами, не желая иметь дела с реальными детьми. Поскольку я прошла через все это ребенком и поскольку теперь я сама — мать и имею весьма реального сына, тяжелее всего мне было прочесть в мемуарах Джойс Мейнард, что все осталось по-прежнему. Несмотря на проблему, о которой упоминает Джойс — на невозможность сексуального контакта, — она пишет:

«Мы все больше и больше говорим о ребенке, и когда мы говорим о ребенке, это всегда девочка. Мы не говорим о том, где станем жить, во что превратят наши дни заботы о малыше; мы даже не обсуждаем, как Мэтью и Пегги посмотрят на это; даже не задаемся вопросом, где в маленьком, тесном доме ребенок будет спать и играть, хотя, конечно же, такие вопросы вставали перед Джерри раньше, когда он жил со своей женой Клэр и родились Мэтью и Пегги, да и в последующие годы, когда дети были маленькими, вплоть до развода. Я не спрашиваю, как нам удастся избежать прививки, хотя знаю, что в этом вопросе Джерри будет неколебим. Может быть, она просто не будет ходить в школу.

«Построю ей кукольный дом, — говорю я. — Мы наделаем

кукол и мебели, и игрушечной еды из кукурузного крахмала, теста и пищевых красителей». Я ему рассказываю, как мама делала пироги для моих Барби…»[135]

Проблема (их неспособность иметь интимные отношения) остается, даже усугубляется, поскольку никто не пытается справиться с нею, хотя разговоры о ребенке дошли уже до того, что ему выбрано имя. Странное имя — если вообще имя.

«Мне приснилось, что у нас с тобой родился ребенок, — сказал он мне однажды утром. — Я ясно видел лицо девочки. Ее звали *Бинт*».

Джерри смотрит в словарь. «И что бы ты думала? — говорит он. — Это — старинное британское слово, оно значит «маленькая девочка». С тех пор мы называем нашего будущего ребенка именем, которое приснилось Джерри»[136]

Теперешняя жена отца, Колин — гэльское слово, которое значит «молодая девушка», — встретилась с отцом, когда ей было чуть больше двадцати; он на пятьдесят лет старше; она смотрит на меня ясными голубыми глазами, мило улыбается, ее чудесная персиковая кожа так и светится в обрамлении рыжевато-золотистых волос, подстриженных «под эльфа», — не хватает только форменного платьица католической школы — и эта девочка говорит мне, сорокалетней, что они с отцом пытаются завести ребенка. Я начинаю рассказывать ей, что значит для ребенка такое затворничество; я спрашиваю — собираются ли они переезжать? Я упоминаю о том, что отцу уже почти восемьдесят. А потом умолкаю, чувствуя, что говорю об ответственности и о последствиях поступков с девушкой, слишком юной, чтобы даже ощущать зов плоти, вторгаюсь с моим хромым рассудком в мечту, в сон, в мерцание лунного света.

Бью по столу и говорю:
— Для жен с мужьями ты проклятьем стала,
Спознавшись с тем,
Кто хуже всех на свете;
В ответ я слышу: волосы его
Красивы, и, как зимний ветр,
Пронзительны глаза и беспощадны.

У. Б. Йейтс, Отец и дитя[137]

Часть вторая
Корниш: 1955-1968

Здесь по обоим берегам
Поля и рощи тут и там,
И оглашает птичий гам
Тропу, которой путь не прям…
Шалота островок…

Четыре серые стены, четыре серых башни
На луг взирают вешний,
И горько безутешна
Шалота госпожа.

Альфред, лорд Теннисон.
Госпожа Шалота[138]

7
Ребенок во сне и наяву

«Зачем только я полезла в эту кроличью норку.! И все же-все же… Такая жизнь мне по душе — все тут так необычно! Интересно, что же со мной произошло? Когда я читала сказки, я твердо знала, что такого на свете не бывает! А теперь я сама в них угодила! Обо мне надо написать книжку, большую, хорошую книжку. Вот вырасту и напишу… — Тут Алиса замолчала и грустно прибавила: — Да, но ведь я уже выросла… По крайней мере, здесь мне расти больше некуда».

Льюис Кэрролл. Алиса в Стране чудес[139]

Кролик считал, что все его беды оттого, что он опаздывает. Я тоже родилась с опозданием на три недели и вся желтая, с черными-пречерными волосами. Когда медсестра вынесла меня счастливому отцу, он заорал: «Вы принесли не того младенца! Поглядите, это же китайчонок!»

Позже, когда меня разрешили забрать домой, я шокировала его еще раз. Отец бережно взял меня на руки — и вдруг с криком отбросил в сторону. «Хорошо, — говорила мать, — что ты *ляпнулась* на подушку». Это происшествие зафиксировано в семейном фольклоре *следующим образом:*

Ах, нечистая ты сила —
Папе руку обмочила!
Пегги: «Если захочу —
И другую обмочу!»[140]

В первых строках повести «Выше стропила, плотники», опубликованной за месяц до моего рождения, Фрэнни Глас — уже

не ученица колледжа, ровесница Клэр, а новорожденный младенец. Малютка Фрэнни просыпается с плачем в два часа ночи. Ее старший брат Симор, который где-то с час назад уже грел ей молоко и кормил из бутылочки, теперь, чтобы успокоить девочку, начинает читать ей даосскую легенду. Фрэнни не только тотчас же перестает плакать, но годы спустя «клянется, будто помнит, как Симор ей читал». Автор сообщает нам, что полностью воспроизводит даосскую легенду в начале своей повести «не только потому, что всегда неизменно и настойчиво» рекомендует «родителям и старшим братьям десятимесячных младенцев чтение хорошей прозы как успокоительное средство».

А я не соответствовала миру отцовских произведений. Я не была «немой», и невозможность «спрятать» меня где-нибудь превратила его жизнь в кошмар. Отец рассказывал моим крестным, судье Лернеду Хэнду[141] и его жене, как ужасен был первый месяц, потому что я непрерывно плакала, как они впали в панику, заведя ребенка в такой глуши. «Мы чуть было ее не отдали», — сказал отец. Он даже начал строить себе отдельную хижину за четверть мили от нас, в лесу. А потом периодически затворялся там на несколько дней, оставляя нас с матерью одних в доме своей мечты на опушке леса.

Каким-то чудом я осталась жива, чтобы свидетельствовать — мать не уморила меня. Но она была очень-очень к этому близка. Она решила не подвергать меня тому, что вытворяли с ней в детской няньки и гувернантки. Нет: она сама будет читать мне, петь песенки, кормить грудью и постепенно, без ругани приучать ходить на горшок. Она надеялась, она мечтала о том, что мое детство будет не таким, какое выпало на ее долю, оно и было другим, но трудно воплотить мечту в реальность без помощи и подсказки, без соседей и друзей, одной среди леса. Особенно когда никто о тебе не заботится, когда ты глубоко подавлена и подумываешь о самоубийстве.

Мать не может вспомнить подробностей первого года моей жизни. Все подернуто темной пеленой. Но она прекрасно помнит, что с тех пор, как отец привязался ко мне (мне было четыре месяца, и я все время улыбалась; он тогда говорил Хэндам: «Мы радуемся каждому дню»), на се долю стало перепадать все меньше и меньше его внимания. Я заняла ее место в сердце отца, и она признает, что ревновала и бесилась, а поэтому в последующие годы наказывала меня с особой жестокостью.

Отец пожаловался Хэндам, что я «все время болею», сообщил, что всю зиму мы никого не видели, но не сказал, что меня даже не возили к врачу. Он внезапно пристрастился к «Христианской науке[142]», и теперь нам следовало избегать не только друзей и

знакомых, но и сторониться докторов[143]. Мы были совершенно изолированы, никто не знает, что, когда моя мать погружалась в бездны депрессии, в сумрак забвения, я оставалась совершенно одна очень надолго.

Отец тем временем у себя в хижине писал «Зуи», продолжение «Фрэнни». Повесть кончается тем, что Фрэнни, только что оправившаяся после нервного срыва, лежит дома на диване, глядит в потолок и улыбается. Симор исцелил ее своим откровением о том, что все мы — это сам Христос.

А мать моя в Красном доме на опушке леса тоже лежала на диване, но она вовсе не улыбалась, глядя в потолок. У нее было расстройство посерьезней, и никакой Симор не спешил ей на помощь со своими целительными откровениями. В середине зимы 57-го, когда мне было тринадцать месяцев, душевная боль матери, цепкая и упорная, стала совершенно невыносимой. С «железной логикой страны снов» она принялась строить планы — убить меня, а потом покончить с собой.

Несколько недель мать тщательно прорабатывала все детали детоубийства/самоубийства. Приближалась вечеринка журнала «Нью-Йоркер»: этим «приглашением в Рим» отец тогда еще не мог пренебречь. Она решила поехать с ним и там, в гостиничном номере, на глазах потрясенного супруга вышибить себе мозги. То есть она, Клэр, а не вымышленный Симор пойдет «ловить рыбку-бананку». Но вмешалась *какая-то* сила. Что это было? Чистое везение? Милость Божья? Внезапное пробуждение материнских чувств? Лахири Махасайя? Когда отец куда-то отлучился, мать сбежала из гостиницы, прихватив меня с собой, будто кто-то что-то шепнул ей на ухо.

Материн отчим снял ей квартиру, нашел психиатра, а для меня пригласил няню[144]. Мать говорила, что наша жизнь сложилась бы совсем по-другому, если бы через четыре месяца отец не приехал в Нью-Йорк и не стал уговаривать

ее вернуться. И Клэр вернулась, потому что ее психиатр — «патерналист, сексист и фрейдист» — сказал, что так будет лучше для ребенка. Мать по сей день сожалеет, что у нее не хватило духу остаться в Нью-Йорке и порвать деструктивные, как она тогда уже поняла, отношения. Она не излечилась до конца, но все же эти четыре месяца позволили ей прийти в себя. Со мной занималась исключительно няня — ухаживала, водила в парк. Мать смогла отдохнуть, это придало ей силы, и она даже сумела настоять на своем: возвращение возможно лишь на определенных условиях — у меня должны быть друзья, с которыми я могла бы

играть; *у нее* должны быть друзья, с которыми она могла бы играть; отец должен пристроить к дому отдельную детскую и разбить лужайку — презренная буржуазная мишура — и, конечно же, ей должно быть позволено возить меня к врачу для регулярных осмотров и в случае болезни. Отец согласился.

Когда летом 57-го Клэр вернулась в Корниш, и лужайка, и детская находились в зачаточном состоянии. Мать занималась проектированием, а отец — воплощением. Он не верил в честность и чистоту строителей с хорошими рекомендациями. (Отец часто путал честность с невежеством, простодушие с непрофессионализмом.) И отдал предпочтение каким-то «неиспорченным» парням, которых мать определила «дремучей деревенщиной», и которые ничего не понимали в плотницком деле. В результате крыша у них получилось такой, что с нее надо было обязательно сбрасывать снег, чем мать и занималась после каждого снегопада. Всю долгую зиму в детской в стратегических позициях были расставлены ведра, куда капала вода с потолка. Потолок в ржавых пятнах, в концентрических кругах, какие рисует дождь на нашем пруду. Неокрашенные стены из шлакоблоков. Электропроводка под плинтусом. Мать рассказывала, что комнату «было адски трудно согреть, но, по крайней мере, я хоть куда-то могла тебя сунуть».

Когда летом отец писал Хэндам, он ни словом не обмолвился о зимних событиях. Похоже, мирская суета докатилась и до Шангри-ла[145], но вместо того, чтобы что-то конкретное предпринять, отец просто заменяет одну мечту на другую, прежнее желание — новым. Он сообщает Хэндам, что хочет перебраться с семьей в Шотландию, и объясняет: Клэр тяжело живется в Корнише, особенно долгими зимами, и лучше поселиться на окраине шотландской деревушки, где можно было бы навещать викария, ходить к соседям на чашечку чая и приглашать их к себе. Обо мне он пишет так: моя Пегги медленно и задумчиво танцует с плюшевым медведем под джаз, который передают по радио.

Я была слишком мала, чтобы осознавать, в какой изоляции мы с матерью жили, но с неистовством, порожденным застарелым голодом, я наслаждалась посещениями тех немногих людей, которые приезжали к нам в Корниш. После обставленного условиями возвращения матери — ее «бунта», как она это называла, — небольшая горстка людей попала в «санкционированный список» тех, кому было позволено переступать порог. Первым посетителем, которого я помню, был отец Джон, священник, единственный мужчина, которому было

разрешено переночевать в нашем доме, пока мои родители состояли в браке. Однажды, когда мне еще не исполнилось трех лет, папа повез меня в джипе на станцию Виндзор, штат Вермонт, встречать отца Джона. Случай из ряда вон выходящий, потому что было уже поздно, мне давно пора было спать, а нарушить режим сна, установленный матерью, можно было только по особому декрету самого Папы Римского.

Я крепко держалась за отцовскую руку, когда мы шли через весь вокзал к перрону. У меня слегка кружилась голова: вокруг меня шагали ноги, целое море ног. В просветы между ними пробивались слепящие лучи, будто солнечный свет сквозь толщу воды, но это, наверное, были люминесцентные лампы, ведь дело было ночью. Глядя на царящую вокруг суету, я, полусонная, качалась как морская трава. Внезапно поезд, истошно вопя, въехал под своды вокзала, разорив дотла все мои видения. Меня сшибли с ног, потом подняли в воздух. Я спряталась у отца на груди. Последнее, что я видела перед тем, как наступила темнота, был водоворот ног, чемоданов, людей. Истошно вопящий поезд, вместо того чтобы смять нас в лепешку, уткнулся в куртку отца, застыл и попятился, встретив неодолимого соперника.

Все последующие годы, услышав гудок паровоза, доносящийся снизу, из долины, отец неизменно рассказывал историю о Пегги и ночном поезде. Только в его версии, как только паровоз засвистел, я бросилась к нему на руки, съежилась под курткой и больше не показывала носу. В реальности было не совсем так. Но как только он, мой отец, по ходу рассказа воспроизводил низкий рокочущий звук, я прятала голову к нему под куртку, прижималась ухом к груди и проживала конец истории в безопасном месте, куда не долетают слова, где пахнет яблоневым дымом от очага в его хижине и балканским трубочным табаком «Собрание»; где голос отца звучит, как колыбельная песня.

На следующее утро я проснулась, услышала голоса и пошла на непривычный шум. Отец Джон сидел на кухне и разговаривал с матерью. Он повернулся ко мне и поздоровался. Хорошо помню, как терпеливо он ждал, пока я подойду поближе: так меня учили приручать зверушек в лесу. «Я привез тебе маленький подарок. Отдать прямо сейчас?» Я кивнула. «Да, *пожалуйста*, Пегги», — поправила мама, Я повторила: «Да, пожалуйста», уселась и сама развернула пакет. Там, в слоях тонкой оберточной бумаги оказалась фарфоровая чашечка, синяя с белым. Красивая, тонкая вещь — для меня. Когда я взяла чашку в свои неловкие ручонки, по которым вечно хлопали, чтобы они не лезли, куда не надо, они словно бы вдруг умастились, стали чистыми, белыми, изящными,

как тихо падающий снег.

Я полюбила отца Джона без размышлений и колебаний, по зову души, так же, как растение тянется к солнцу. Я полюбила его, как поется в детском гимне о любви Иисусовой, просто потому, что «Он полюбил меня первым». Отец Джон нечасто навещал нас, а когда мне исполнилось пять лет, его отправили куда-то в южные моря. Мы никогда больше не виделись. Мать недавно сказала, что он время от времени присылал мне маленькие подарки— диковинные вещицы, вырезанные из скорлупы кокоса или сплетенные из водорослей. Я их не помню, но я никогда, никогда не забывала, что отец Джон меня любил.

К нам приходили очень немногие и очень редко. Привилегией приходить когда заблагорассудится, кроме отца Джона, пользовалась только одна дама. Старая миссис Кокс (мать Арчибальда Кокса; и сама женщина незаурядная) прежде проводила только лето в Вермонте, но после смерти мужа жила в Виндзоре круглый год. У нее было красивое обветренное лицо, густые седые волосы, которые она зачесывала назад и собирала на затылке в простой узел. Миссис Кокс навещала нас даже тогда, когда визитеры не допускались. Услышав от кого-то, что моя мать живет одна среди холмов с новорожденным младенцем, она, как настоящая американка, поджала губы, нацепила толстую шерстяную юбку, надела удобные туфли и отправилась с визитом к молодой мамаше. Мать говорит, что миссис Кокс высказывала папе все, что она думала, не обращая внимания на чепуху, какую он городил[146]. Тем не менее матери до самого ее «бунта» не дозволялось отдавать визиты миссис Кокс. Но после мы бывали в ее доме, и я хорошо помню припахивающий дымом китайский чай, красивый серебряный чайный сервиз и сахарницу, до краев полную белыми кубиками, которые дома были под запретом; здесь миссис Кокс разрешала мне брать их маленькими серебряными щипчиками и по одному бросать в мою чашку чая с молоком. Понятия не имею, как она, ее чайный сервиз, ее красивый дом с настоящим садом и статуями очутились в рабочем городке Виндзоре. Мне кажется, что она просто захотела всего этого, и предметы тут же материализовались.

Она была такой сильной натурой, что, сколько я помню себя, у отца не хватало духу отклонять ее приглашения. Пока она была жива, он покорно спешил на зов и неизменно участвовал во всех ее сезонных мероприятиях: пикниках на Четвертое июля, игре в софтбол[147] на День труда, коктейлях на Рождество и тому подобное. Мой отец *ненавидит* праздники. Даже воскресный день доводит его до остервенения, потому что не приходит почта. И

лето, само по себе — сплошной праздник, всегда его угнетало. Отец говорил, что оно «напоминает ему рыжего, веснушчатого мальчишку, уплетающего мороженое». Стоит ему представить себе такого мальчишку, как его всего передергивает. (Иногда, когда злюсь на него, я воображаю целую рать таких веснушчатых героев Норманна Рокуэлла у его порога.) Пока мы жили вместе с отцом, праздники миссис Кокс были единственными, которые он посещал.

С того времени, как мне исполнилось три года, и примерно до моего пятилетия, в «санкционированный список» входила семья Билла и Эмми Максвелл[148], где были девочки примерно моих лет: Кэт и Брук. Семьи договорились, как вспоминала мать, что для обеих сторон будет лучше, если мы станем встречаться у них, а не принимать у себя. Она утверждала, будто я называла их загородный дом «медвежьей берлогой».

Несколько раз нас навещал отцовский товарищ по джипу, Джон Кинан, прошедший с ним все пять кампаний Второй мировой войны, но только с судьей Хэндом и его женой мы встречались более-менее регулярно. Они жили в Нью-Йорке, а лето проводили в Корнише. Раз в неделю они приходили к нам или мы к ним. Рано обедали, потом мои родители и Хэнды читали вслух, иногда засиживаясь далеко за полночь. Такими вечерами в нашем доме звучали не грубые и раздраженные голоса, как обычно, отчего я засыпала с холодным комком в животе, а радостные и возбужденные. Жаль, но я помню про миссис Хэнд только то, что она была старая, и папа читал ей вслух, — а судью Хэнда я очень-очень-очень любила и часто засыпала у него на коленях. Мама называла эти визиты «очаровательными». Она говорит: «Джерри и Би /судья Хэнд/ любили поговорить о литературе; они читали вслух романы Толстого в переводах Констанс Блэк Гарнетт. Мне нравилось расспрашивать его об истории, о Рузвельте, о жизни в Нью-Йорке, о его прошлом. Миссис Хэнд была очень спокойной женщиной, но любила остроумие во всех его видах, лишь бы оно не грешило против хорошего вкуса».

Все лето каждую среду мы с матерью ходили к Хэндам пить чай. Она рассказывала: «Тогда-то судья Хэнд и познакомился с тобой хорошенько. Он тебя очень любил, нашел и тебе родственную душу».

Судья Хэнд подолгу гулял со мной. Спрашивал меня, о чем я думала в последнее время, и делился своими мыслями. Он слушал меня внимательно, с полным пониманием; мы общались как люди, близкие сердцем и умом. Тогда я не могла выразить это словами, но он внушил мне понятие о том, что я — неповторимая

личность, обладающая умом и чувствами, достойными того, чтобы на них обратили внимание; я вообще достойна того, чтобы вырасти и начать мыслить самостоятельно, а не воплощать в себе чью-то мечту. Тогда-то он и прозвал меня — Динамка. Поэтому годы спустя я не удивилась, наткнувшись на знаменитую цитату из судьи Хэнда: «Дух свободы — это такой дух, который не слишком уверен в своей правоте».

Мать помнит, как однажды она вошла в гостиную, где мы с судьей обсуждали какой-то мой рисунок, и тихо вышла, чтобы нам не мешать. Хотелось бы мне вспомнить подробности наших разговоров, но недавно я наткнулась на небольшое стихотворение, в котором прекрасно выражено, отчего дружба со стариком может так много значить для ребенка — каким образом мы могли быть ландсманами. Это — стихотворение Шела Сильверстейна «Малыш и старик»:

Мальчик сказал: «Я роняю ложку».
«И я тоже», — сказал старик.
Мальчик шепнул: «И мочусь в штанишки».
«И я тоже», — взгрустнул старик.
Мальчик сказал: «И я часто плачу».
«И я тоже», — кивнул старик.
«Но вот в чем главная незадача:
понимаешь — всем на меня плевать!» —
Мальчик сказал, а старик ответил:
«Мне ли этого не понять!»[149]

Судья Хэнд умер, когда мне исполнилось пять лет, в тот же самый год, когда отца Джона отправили в Южные моря. Мне до сих пор его не хватает. Даже в Брандейсе, изучая историю и юриспруденцию, я часто вела с ним воображаемые беседы, желая, чтобы он был рядом, чтобы мог ответить мне, разделить мою радость. И он, и отец Джон внесли в мою жизнь тепло, заполнили пустоту: я, как мышка из книги Лео Лионни «Фредерик», сохранила в памяти краски лета, чтобы пережить долгую, мрачную зиму.

Зима 59-го была похожа на длинную, серую, бессонную ночь. Даже отец ждал весны, когда вернется солнце, и судья Хэнд с женой согреют нас своим веселым теплом. В письме к Хэндам он пишет о бесконечной зиме, о том, как ужасно по ним скучает, о том, как было бы здорово, если бы они жили в Корнише круглый

год. Но отец мог на несколько недель уехать от снега и льда в Атлантик-Сити и биться в гостинице над окончательным вариантом повести «Сихмор: Введение».

Пока отца не было, дома случилась ужасная история. Тридцать пять лет она оставалась спрятанной глубоко во мне, за семью замками, и выплыла только, когда я сама рожала. После того как я промучилась схватками целые сутки и у меня уже на столе отошли воды, я вдруг исчезла, а мое место заняла трехлетняя девочка, которая кричит: «Я его не убивала, я не убивала малыша, я не хотела». Она умоляет акушерок поверить ей, рассказывает всю историю. Мне три года, из ванной доносятся ужасные звуки, те самые, что сейчас звучат у меня в ушах. Мама заперлась в ванной, а мне хочется писать. Я боюсь постучаться. Прячусь в своей комнате, затыкаю уши, но это не помогает. Шум прекращается. Я слышу, как хлопает дверь, и мама спускается через холл в спальню. Тогда я на цыпочках выхожу из своей комнаты и пробираюсь в ванную. Я так долго терпела, что срочно должна пописать, иначе придется сидеть в холодной, мокрой одежде, пока кто-нибудь не найдет меня. Кто знает, как долго придется ждать. Чуть меньше, чем целую вечность. Я врываюсь, едва успев, сажусь на стульчак и писаю. Потом встаю и, как воспитанный ребенок, спускаю за собой воду. Мамин крик: «Не спускай воду. Не спускай!» — доносится до меня, слишком поздно. Я смотрю вниз и вижу в унитазе младенца — он мокрый, он в крови, но он настоящий. А я его убила.

Медсестра, ходившая за мной, сказала с ирландским акцентом: «Чего только детишки не насмотрятся, жуть, просто жуть». И тогда я ее прошу: не могли бы мы все притвориться, что это никакие не роды, нет никакого ребеночка, который может погибнуть, которого я могу убить, а я пытаюсь вытолкнуть какую-то вредную опухоль. Это помогло, пока не явился сам Бог милосердия, имя ему эпидурал.

После рождения сына я спросила у мамы о том, что я могла видеть в детстве, что потом так странно явилось мне на родильном столе. Она подтвердила, что у нее в самом деле был выкидыш на шестом месяце, и что в унитазе остался мертвый плод. Она сказала, что собиралась отдать его доктору Баллантайну для исследований. Она понятия не имела, что я этот плод видела.

Но, несмотря на то, что я этого не помнила, какие-то переживания раннего детства врывались в сознание, словно приливная волна, сметая все преграды. То, что я видела, просачивалось, протекало в сны. Все детство меня терзали повторяющиеся кошмары; некоторые регулярно возвращались на

протяжении лет. Один преследовал меня чуть ли не всю жизнь; это — сон с вариациями о водяных младенцах. Я — на морском берегу, я пытаюсь спасти детей от приливной волны. День серый, с черными тучами на горизонте. Десятки, иногда сотни детишек играют на песке, и родители не замечают, как вырастает стена воды, огромная волна цунами, отбрасывая на песок тень смерти. Я кричу, пытаюсь предостеречь их — тщетно. Одна я вижу, как накатывает волна. Я спасаю нескольких детишек, хватаю их за руки, за ноги, за что попало, волоку прочь с пляжа. Часто мне удается спасти многих, но всех — никогда. Порой, уже во время шторма, я стою в затопленном пляжном домике, в воде по колено, и младенец, ужасный, похожий на медузу, безнадежно мертвый, плавает у моих ног в бурлящей розовой луже. Это тот, которого я смыла в унитазе.

Мать снова забеременела вскоре после того, как отец вернулся из Атлантик-сити, баюкая, как младенца, выправленную рукопись «Симора». Мой брат Мэтью родился 13 февраля 1960 года.

Мы с папой приехали за мамой в больницу. Я пересела на заднее сиденье и смотрела, как мама садится вперед. Из нее выходила какая-то красная трубка. Я спросила, зачем, и она ответила, что это из-за швов. Мы уже почти приехали, когда я услышала пронзительный вопль, нагнулась и посмотрела в щелку между сидениями. Я была поражена, увидев в свертке одеял крошечное детское личико. Я знала, что мама ездила в больницу за каким-то ребенком, но я совершенно не предполагала, что она привезет этого ребенка домой.

Мать говорит, что после рождения братика я впала в глубокое уныние. Казалось, будто я боюсь как-нибудь повредить малышу. Ее это тревожило, но она не знала, что делать. А для отца я оставалась любимой дочкой, зеницей ока, его маленьким солдатиком, его Динамкой. Он писал Хэндам: «Мэтью — мальчик умненький, улыбчивый… Он не такой упругий и прыгучий, как его сестра. Но где еще взять таких?»

Упругая и прыгучая: будь славной девочкой, будь хорошим солдатом. Я настолько прониклась этими понятиями, что хорошо помню тот первый раз, когда они были облечены в слова. Однажды, в том возрасте, когда я еще могла безнаказанно дергать отца за нос и уши, я забрела в ванную комнату, где он собирался бриться. Папа поднял меня, чтобы мне лучше было видно. Я взгромоздилась на тумбочку возле раковины, на мое любимое место, с которого я обычно наблюдала разные ритуалы —

утренние омовения, бритье. Он погрузил руки в тазик с горячей водой — мама согрела воду на плите в большом чайнике — и ополоснул лицо. Потом взял помазок со специальной подставки. Жесткая щетина росла из стеклянного цилиндрика, сверкавшего, как драгоценный камень; он ловко входил в металлическое полукольцо и так замечательно щелкал, когда тебе удавалось с этой штукой поиграть. Папа намылил себе подбородок белой пеной. Когда он проводил бритвой по лицу, среди пены появлялись чистые розовые полоски. Мне вспомнились полоски льда, чудесного льда, по которому можно кататься, — как они возникали из-под папиной лопаты, когда он несколько недель назад очищал наш пруд от глубокого рыхлого снега.

Я не очень помню, откуда извлекалась бритва и куда потом пряталась. Я знала, что это опасная вещь и трогать ее нельзя; я даже думала, что могу порезать глаза, если только посмотрю на нее; но я никогда и нигде ее не видела, только у отца в руках. Я слышала, как бритва скребет по коже, сдвигая снежные пласты. Я старалась не смотреть на его лицо — иногда на нем выступали капельки крови, и еще меня пугало то, что голова отца неестественно склонялась на сторону. Папа пропадал: все, что я могла видеть, — это шея, вывернутая, как у бедных птичек и бурундучков, свисавших из пасти нашей кошки, когда она проскальзывала мимо и угрожающе, утробно рычала, защищая добычу.

Под носом — в последнюю очередь. Щеки и подбородок он брил широкими, сильными, мягкими движениями, а тут так частил, что был вынужден придерживать нос пальцами свободной руки, чтобы не задеть его бритвой. Он ополоснул лицо, смывая остатки пены, похлопал себя по щекам, а потом мы оба с замиранием поглядели в зеркало: что там такое получилось?

Там отражался какой-то чужой человек. «Папа, ты на самом деле совсем не такой», — сказала я, и он буквально бросился ко мне, даже пошатнулся, а потом нагнулся и заглянул мне в лицо с широкой яркой улыбкой[150]. По выражению его лица было видно, что я сделала что-то хорошее. Но я все равно отпрянула, как от матери, когда та бросалась ко мне со словами: гадкая, скверная девчонка! и мне тогда негде было укрыться от ее гнева. Я поспешила раствориться в пару ванной комнаты.

Спустя много лет, возвращаясь к этому эпизоду, он говорил: «С этого момента я знал, что ты будешь *хорошей* девочкой». После того, как я услышала это несколько раз, мне стало понятно, что он тогда посчитал мои слова проявлением доброты, то есть, я просто хотела сказать невзрачному парню, что зеркало врет, а на самом деле он красивей всех на свете. Но я вовсе не это имела в

виду. Дело в том, что у него очень асимметричное лицо: кривой длинный нос, рот не по центру; и зеркале все черты меняются местами, и вы видите какого-то незнакомого человека. Вот что я имела в виду. Я высказала свое наблюдение, вовсе не сделала комплимент. И я еще тогда почувствовала, что он меня как-то неправильно понял, но промолчала, а потом жалела об этом и чувствовала себя обманщицей. Хотя я всегда считала и считаю до сих пор отца красивым.

Он рассказывал мне эту историю много раз, пока я росла. «Папа, ты на самом деле совсем не такой, — неизменно повторял он, с облегчением человека, едва избежавшего катастрофы, и с законной гордостью того, кто любуется достигнутым. — С этого момента я знал, что ты будешь хорошей девочкой». «Славной», как это определяет его герой Бэйб Глэдуоллер, глядя на спящую десятилетнюю сестренку Мэтти. Бэйб размышляет о том, как недолго люди остаются детьми: «не успеешь оглянуться, как девочки начинают красить губы, а мальчики — курить и бриться». Он хочет, чтобы сестричка «равнялась на самое лучшее», что в ней есть.

«Если ты даешь людям слово, они должны знать, что это лучшее в мире слово. Если тебе придется жить в одной комнате с какой-нибудь унылой однокурсницей, постарайся сделать ее не такой унылой. Когда к тебе подойдет какая-нибудь божья старушка, торгующая жевательной резинкой, дай ей доллар, если он у тебя найдется, но только если ты сумеешь сделать это не свысока… Ты еще малышка, Мэт, но прекрасно меня понимаешь. Ты будешь умницей, когда вырастешь. Но если ты не сможешь быть умной и славной девушкой, я не хочу видеть тебя взрослой. Будь *славной* девушкой, Мэт»[151].

Разумеется, это я прочитала, когда уже выросла, но сама идея крепко сидела во мне, ею я прониклась до мозга костей. Словно кто-то нашептывал в ухо: если ты не сможешь быть умной и славной девушкой, я не хочу видеть тебя взрослой. Это стало моим девизом, умри, но сделай. Во что бы то ни стало я хотела быть славной девушкой.

Мое новое, более высокое положение «старшей сестры» принесло с собой ответственность за того, кто оказался под моим началом. Иногда это бремя оказывалось мне не по силам. Однажды, жарким августовским вечером братика Мэтью, тогда семи месяцев от роду, и меня, как всегда, уложили спать задолго до темноты. Мэтью научился вставать в своей кроватке. Одной ручонкой он вцепился в перила, а другой выкинул из кроватки свою драгоценную бутылочку с соской. И принялся вопить «ба-ба», что на его языке как раз и означало «бутылка»[152].

Мама ворвалась в комнату в ярости, с поджатыми губами; она швырнула рожок обратно в кроватку и сказала: «Еще раз выбросишь — останется на полу до угра». В свои семь месяцев он еще не знал, что так и будет, а мне-то было четыре с половиной года, и опыта в таких делах мне уже было не занимать.

Я с ужасом смотрела на него: так смотрят на человека, который не может прочесть предостерегающего знака и идет прямо в западню. Братик снова с трудом поднялся, выбросил бутылочку из кроватки. И начал орать. Мама не пришла; тогда он выбросил медвежонка, одеяльце, носочки — предмет за предметом все свое имущество: так рыбаки в открытом море, борясь со смертью, выкидывают за борт все, вплоть до неприкосновенного запаса, в надежде на баснословный, сказочный улов. Я разгадала его игру, до которой маме не было никакого дела: братику просто нужно было убедиться, что все, выброшенное за борт, неизменно возвращается обратно. И еще я поняла, что сколько бы ни длилась игра, в какой-то момент он все-таки угомонится, напьется молока и уснет.

Ему, оказывается, нужно было поверить, что можно все на свете любить без оглядки, потому что оно возвращается. Я тогда не умела так говорить и даже так думать, но мне это было очевидно. Родители подшучивали над моей способностью угадывать, что нужно брату, и когда не знали, что с ним делать, говорили друг другу: «Позови Пегги, только она может говорить на его языке»[153].

Я же отнюдь не считала, что это забавно и мило, — меня *злило*, что они такие тупые. У меня даже появилось ощущение, которое быстро переросло в уверенность, что я единственная взрослая в этом доме. Если я лучше матери знаю, чего хочет малыш, это — великое преимущество, стрелка компаса, указывающая на нормальность: значит, с матерью что-то не так, а во мне этого изъяна нет.

Мэтью выбросил рожок из кроватки и разревелся. Я знала: мать подумает, что он капризничает, и накажет его. И я выбралась из кровати, на цыпочках прошла через комнату, охваченная страхом: а вдруг мать передумает и вернется, и тогда попадет нам обоим. Я подобрала рожок и так тихо, как только могла, пододвинула стул к кроватке, чтобы дотянуться до братика. Он взял бутылочку и сунул соску в рот. Все еще всхлипывая, смотрел, как я подбираю с пола одеяльце, и медвежонка, и носки — одно за другим. Я слезла, поставила стул на место, но не успела добраться до кровати, как прочь полетела бутылочка, прочь полетело одеяльце, прочь полетели носки. Так может продолжаться всю ночь, подумала я, но была преисполнена

мрачной решимости во что бы то ни стало не дать маме прийти и отшлепать его. Когда я во второй раз вернула ему содержимое его кроватки, он улыбнулся. В третий раз засмеялся, а в четвертый расхохотался так громко, что я испугалась — вдруг услышит мать. «Тс-с-с! Это наш секрет».

Я стояла на цыпочках на стуле, свесив руку с перил, и собиралась гладить его по голове, пока он не уснет или пока рука у меня не отвалится, — интересно, что случится раньше. К счастью, он заснул, и я вернулась к себе.

Сначала братик сопел в своей кроватке — то ли от насморка, то ли от того, что недавно плакал. Когда он задышал глубоко и ровно, я перевела дух. Я слышала теперь, как песни кузнечиков и вечерних иволг растворяются, не оставляя следа, в более низких по тональности полуночных гимнах сверчков и сов: так в монастыре дисканты юных послушников растворяются в басах старых монахов, заступающих на полуночную молитву.

От ночника в нашей комнате исходило неяркое сияние. Я стала воображать, будто живу на потолке. Плитки потолка — это пол; я хожу по ним. Поиграв немного в углу, попыталась соскочить с потолка, но моя кроватка исчезла. Плитки исчезли тоже. Все вокруг стало серым, как густой туман. Я открыла глаза и попыталась вздохнуть. Мне было ужасно жарко. Простыни сбились, спутались вокруг меня, так туго, что было не выбраться. Я рванулась вперед, но они оплетали все туже и туже. Я пробовала вертеться в разные стороны, но стала повторять движения, как заблудившийся путник, который ходит по кругу. Я вся вспотела от жары и от страха; кожа горела. Если закричу, позову на помощь, разбужу братика. Наконец я сдалась, перестала бороться, просто лежала так, «славная девчонка», которая вот-вот задохнется.

Мама зашла около полуночи, посмотреть, как мы спим. Она развернула простыни и обнаружила мокрую, как мышь, четырехлетнюю девочку с остекленевшими глазами.

— Сколько времени ты пролежала так? — спросила она.

— Не знаю, мама, — прошептала я.

— Почему ты не позвала меня, когда запуталась в простынях?

Я поняла, что мне попадет, но отвечать надо, иначе попадет еще больше. И я сказала:

— Потому что не хотела будить Мэтью.

Она закусила губу, и погода, направление ветра за гладью ее глаз переменились. Она ласково взяла меня за руку и повела из дому, на лужайку, залитую лунным светом. Я никогда не видела мир в лунном свете, и, как маленький енот из книжки Гарта Уильямса «Подожди до полнолуния», «очень удивилась». Я

упивалась ночной прохладой. Мама подвела меня к низкой каменной стенке, которую построили, чтобы дети, играя на лужайке, не скатились с обрыва. Я заглянула через стенку, и там, внизу, сотни крохотных, дрожащих огоньков плясали по всему крутому, широкому лугу. Светлячки.

8
Дети в лесу

Малютки-эльфы, что в полночный час
На берегах ручьев и на лесных
Опушках пляшут; поздний пешеход
Их видит въявь, а может быть, в бреду,
Когда над ним царит Луна…

Мильтон. Потерянный рай

Дом моего детства в Корнише стоит на вершине холма у самого леса, и его расположение привлекает немногих — многих зато отвращает от посещений. Мили большей частью непроезжих, без единого знака, грунтовых дорог, которые весной превращаются в неглубокие, полные грязи канавы; летом, пыльные и ухабистые, похожи на стиральную доску; зимой покрыты льдом и засыпаны снегом. А осень просто пленяет и путает людей; словно коровы, объевшиеся падалицы, они блуждают, теряются. Было чистым везением, подарком судьбы, или, может быть, глубоким инстинктом Холдена, истосковавшегося по дому, что отец вообще нашел Корниш.

Одинокому, «спрятанному» ребенку часто удается увидеть маленький народец, населяющий такие укромные уголки. Эти создания бегут от электричества, боятся вторжения больших людей, они предпочитают плясать в полях и лесах при лунном свете. В старом сосновом лесу у подножья холма, на котором стоит наш дом, есть небольшая поляна, куда проникают солнечные лучи. Там чудесно пахнет, когда солнце нагревает сухие сосновые иглы, лежащие на земле толстым, в несколько футов, ковром… Из этих сухих иголок я строила домик лесным феям. Почти каждую неделю я приходила туда и первым делом насыпала толстую наружную стену, а потом разделяла все внутри на отдельные комнатки, насыпая стенки потоньше. В спальнях я устраивала постельки из мягкого зеленого мха, раскладывала листики-одеяла, делала из веточек и палочек стулья и столы. А в самой большой зале расчищала пол до самой земли, тщательно выметая весь сор. То была бальная зала. В лунные ночи феи собирались сюда со всех концов леса — и танцевали. Танцевали

так долго и так весело, что рассыпались стены. Это я могу точно сказать, потому что я, вернувшись, находила только общий контур постройки, и все приходилось возводить заново, да и постельное белье, разумеется, тоже надо было менять.

А еще феи жили под большим трутовиком на стволе клена, упавшего возле нашего пруда. Нарост был такой большой, что я могла бы на него сесть — но я была не столь дурно воспитана, чтобы садиться на чей-то дом. Самих лесных фей я, конечно, ни разу не видела, потому что они выходили по ночам, когда мне полагалось лежать в постели. Но я твердо верила в то, что феи существуют, так же, как в то, что есть Санта Клаус. Стакан молока, оставленный Санта Клаусу и недопитый; стены домика, разрушенные сотнями крошечных ножек, вот они, завораживающие, переворачивающие душу следы. А однажды, в канун Рождества, я слышала, лежа в кровати, как скрипят санки Санта Клауса на плоской крыше моей детской. Несколько минут я вслушивалась, затаив дыхание. И услышала громкий шелест, когда он отъезжал. Наутро я обо всем рассказала матери. Та безоговорочно, полностью поверила мне. Если спросить у нее сегодня, был ли такой случай, она, я уверена, поклянется, что да.

И я до самого смертного часа буду клясться чем угодно, что, когда я была маленькая, то видела домашнюю фею. Ее застиг солнечный свет, она замешкалась, не успела улететь. Я проснулась в своей кроватке от чьего-то присутствия. Я перевернулась, и — вот она, у меня на кровати. Ростом с мою ладонь и, как балерина на сцене, в огнях рампы, вся — движение, свет и прозрачная кисея. Я смотрела, как она кружится, все быстрей и быстрей, становясь все меньше и меньше, и, наконец, постепенно блекнет, исчезает, как утренняя звезда: невозможно обозначить время, поставить четкую границу: вот она есть, а вот ее нет. Бытие и небытие незаметно, безболезненно перетекли друг в друга, и через какое-то время я обнаружила, что на сетчатке остался отпечаток исчезнувшего сияния. Ощущение присутствия рядом другого мира долго не покидало меня, и я крепко себе наказала никогда об этом не забывать.

Лесные создания появлялись редко, а визиты живых друзей, из плоти и крови, в человеческом облике, особенно в долгие зимы, случались еще реже; зато друзей вымышленных у меня было, хоть отбавляй. Как монаха-отшельника в темной пещере, меня иногда посещали благостные, райские видения, удивительные картины, плясавшие у меня перед глазами. Мама читала мне книги. Прекрасные книги, где рассказывалось о других мирах, о краях, где не бывает снега, где есть с кем поиграть и где силой волшебства можно перенестись куда

хочешь; о собаках с глазами, как блюдца; о принцах, которые взбираются на стеклянные пирамиды, чтобы достать золотые яблоки. Маленький Хромой Принц, которого заточили в башню, вылетает в окно на ковре-самолете и парит над лесами и полями; девочка-сиротка находит волшебный сад, возвращает его к жизни и заодно находит друга и семью.

Папа не часто читал мне, — он сочинял свои истории. Насколько я помню, он читал мне всего одну книгу, и то не мою, а из тех, что остались у него еще с детства. Уже только поэтому книга считалась волшебной. Она называлась «Дети, которые делали погоду». А история там такая:

Мэгги и ее младший братишка играют в поле, когда какой-то странный старичок спускается к ним с неба. Он очсш, устал, он садится под деревом и просит детишек присмотреть за его котомкой, а он пока поспит. Старичок им рассказывает, что он — Человек, который делает погоду, и раскрывает котомку, чтобы показать плащи: надевая то один, то другой, он летает по небу — и погода меняется. Вот красивый плащ персикового цвета для утренней зари, бледно-желтый для восходящего солнца, ярко-голубой для погожего летнего дня. Он разрешил детям примерить эти плащи — но только те, которые подойдут для лета. Остальные, предупредил он, коварные, с ними надо уметь обращаться: даже если только развернуть и посмотреть, неприятностей не оберешься.

Детишкам очень понравилось летать в погожий день над лесами, полями, отдыхающими на пикниках горожанами и работающими фермерами. Но через какое-то время они не смогли удержаться и вытянули со дна котомки фиолетовый плащ с блестящими молниями, и тут же среди ясного неба разразилась гроза. Фермеры и горожане страшно перепугались, а самих детей понесло ветром, но им как-то удалось свернуть этот плащ. А настоящие неприятности начались, когда они развернули самый красивый плащ — синий, как полночь, с серебряными завитками и рисунком из снежинок. Короче, если бы старик не проснулся от холода и не отобрал у них свою котомку, просто и описать нельзя, каких бед натворили бы они во всем мире. После этого Человек, который делал погоду, решил, что больше никогда не станет отдыхать.

Отец тоже делал для меня погоду — и времена года, и целые страны. Он зачаровывал меня запахом яблоневых дров, балканского табака «Собрание» с лепестками роз; всю землю оплетали его истории своими побегами. О, это были необычные сказки, какие рассказывают на ночь: они переплетались с нашей повседневной жизнью. Эти цветные узоры ткались, пока мы

кормили птиц, ездили за почтой, гуляли после обеда и тому подобное.

Герои, придуманные отцом, становились моими друзьями и сопровождали меня все детские годы. Например, Ирвинг и Джулиус Дубоносы, которые являлись к нашей кормушке год за годом, когда эти птицы прилетали зимовать в Корниш. Они говорили с сильным бруклинским акцентом и в первое же утро по прибытии стучались в окно и спрашивали отца: «Скажи, Мак, кто та хорошенькая малышка в клетчатом халатике?»

«Это моя Пегги», — говорил им папа.

«Да-а! А ты не врешь? Ну, парень, она и красотка!»

Некоторые истории были назидательными, они создавались тогда, когда мое поведение того требовало. Из всех выдуманных героев моими любимцами были «эта противная девчонка Лючия Ференци» и ее игрушечный лев Самба. Истории про нее обычно начинались так: «Ты не поверишь, что натворила эта противная девчонка Лючия Ференци!» И по мере развертывания истории оказывалось, что примерно то же самое натворила Пегги, у которой опять-таки был игрушечный лев по имени Симба. Разумеется, мы с папой знали, что речь не обо мне[154].

Его истории со временем менялись: те, которые он рассказывал целыми днями мне, отличались от тех, которые он рассказывал моему брату на ночь десятилетие спустя. Более поздние имели более четкую структуру. Самые длинные, с продолжениями, которые рассказывались на сон грядущий несколько лет подряд, были, как в изумительном «Человеке, который смеялся» из «Девяти рассказов», чисто приключенческими — например, путешествие «капитана Бруно» и его спутников вокруг света на подводной лодке. Конечно, любимыми героями моего брата стали Лик — Мертвый Глаз, который всегда говорил, скривив рот, грубым и хриплым голосом, и Халч, который был таким высоким, что мог поместиться на подводной лодке только лежа, да и то занимал собой всю ее длину.

А в моем детстве границы между вымыслом и реальностью были такими зыбкими, что все перепутывалось, и герои отцовских историй не только сопровождали нас по целым дням в Корнише, но и, осмеливаясь выйти за его пределы, следовали за нами, когда мы спускались с холма и отправлялись в город. Я часто ездила с отцом в Виндзор, на почту[155]. Когда мы спускались с холма на его джипе, в каком-то определенном месте я задавала ритуальный вопрос: «Папа, о чем говорят москиты?» Я решила, уже не помню почему, что все москиты живут в темной, густой чащобе, которую мы проезжали перед тем, как оказаться под

чистым небом, на широкой дороге возле реки Коннектикут. «Они говорят: «Гляди-ка, Пегги и папа едут за почтой. Интересно, захватит ли она завтра с собой к миссис Хэнд Сути и Кертисс». Имелись в виду мои плюшевые медвежонок и белочка. Это была наша версия «Городских сплетен».

Двое наших воображаемых друзей, мистер Каст и мистер Керзон, жили в Виндзоре и носили коричневые фетровые городские шляпы, как те которые носил папа, когда мы ездили в Нью-Йорк. Когда папа бывал в Виндзоре один, они всегда спрашивали обо мне. Но мы ни разу на них не наткнулись, когда приезжали вместе, даже в ресторане, куда они обычно ходили на ленч. Я уверена, что заметила бы их — больше никто в Виндзоре не носил таких шляп. Иногда мы с папой садились к стойке и ели омлет с джемом. Я вертелась на стуле, а он болтал с девушками, которые стояли за стойкой, и время от времени давал мне монетки, чтобы я снова и снова заводила в музыкальном автомате мою любимую песенку:

Заходи, садись на место,
Папа скажет: «Ты невеста!»
Тут же встанешь и пойдешь.
А с ума ты не сойдешь? [156]

К тому времени, как мне исполнилось пять с половиной, летом 1961 года, я уже не должна была дожидаться дома, пока придет папа; я уже достаточно выросла, чтобы проникать в его башню. Мне доставляло особое удовольствие одной пройти через лес к хижине, где отец работал, и принести ему ленч. Однажды моя лучшая подруга Виола пришла поиграть со мной, пока ее мать прибирается у нас в доме. Мать приготовила ленч для каждого, мы взяли два бумажных пакета, один для нас, другой — для отца, и отправились по тропинке через поле, простиравшееся за домом.

Сразу за кустами можжевельника, скрывавшими один из моих секретных фортов, тропинка входила в лес и резко шла под уклон. Тут начинался обрыв, тут отец положил широкие, красивые камни-ступени, по которым было легко спускаться даже нам, девчонкам. В стороне от тропки пятна солнечного света падали на толстый ковер из сосновых иголок. Мы дошли до поляны, тропка выровнялась, и стало слышно журчание ручья и плеск маленького водопада. Тропка уперлась в глубокий, прохладный ключ. По берегам росли дикие пурпурные ирисы, над

ручьем носились сверкающие стрекозы, но для нас самым прекрасным, почти волшебным было то, что скрывалось глубоко под водой. Если встать на колени и сунуть руку в холодную воду, можно извлечь зеленые бутылки кока-колы, которые папа туда ставил, чтобы они охлаждались.

Отец построил простой деревянный мостик через ручей, длиной где-то десять футов и такой низкий, что, сидя на нем, мы могли болтать ногами в воде. Мы с Виолой уселись на мосту, на солнышке, и развернули наш ленч. Мать умела замечательно заворачивать сэндвичи и подарки. Она знала, как сделать любую вещь такой, какие нравятся детям — особенной, красивой, с отделениями для всякой всячины — как, например, мой любимый круглый деревянный пенал, где находилось местечко для всего, что может понадобиться. Мы с Виолой съели бутерброды, выпили кока-колу и стали воображать, будто мы плаваем в ручье; потом обсуждать, водится ли здесь рыба (фу!) и что с ней случается, когда она подплывает к водопаду. Башмак Виолы упал в воду и поплыл. Мы знали, что нам за это попадет, но тогда это показалось таким смешным, что мы чуть не попадали следом. А потом отправились дальше, без одного башмака.

Последний отрезок тропки мне нравился лишь раз в году, когда в густых зарослях, через которые приходилось продираться, поспевала ежевика. За ней, на поляне стоял папин Зеленый дом. Он был построен из шлакоблоков и выкрашен в темно-зеленый цвет, в тон кронам сосен над ним и вокруг. Внутри была всего одна маленькая комнатка, а снаружи — широкий навес, под которым хранились штабеля дров, чтобы зимой топить печку. У него была привычка похлопывать по этим штабелям, — так фермер похлопывает по толстым бокам элитную телку, а жена фермера — пузатые банки с помидорами и другими соленьями на зиму.

Мы постучались. Я всегда здесь немного нервничала, точно не знаю, почему. Отец открыл нам; он удивился, но был рад, что мы пришли. Мы вошли и сели на походную кровать, которая занимала почти всю стену. Над кроватью были прибиты полки, а на полках — разные заманчивые вещи, например, жестянки с соленым попкорном и стеклянные банки из-под меда, полные серебряных монеток или мятных леденцов. Множество моих рисунков было прилеплено к стене. Напротив кровати стояла дровяная печь. В дальнем конце, так высоко, что мне было не дотянуться, в воздухе висело старое кожаное автомобильное сиденье, которое служило отцу рабочим стулом. (Думаю, под ним был высокий помост, но мне, ребенку, это сиденье казалось висящим в воздухе.) Отец показал мне, как сидеть в позе лотоса,

скрестив ноги под собой. Даже в пять лет, когда тело гибкое, я не смогла повторить. На огромной деревянной колоде, которая служила ему письменным столом, стояла старая механическая пишущая машинка, и он печатал на ней способом, который усвоил сам: двумя пальцами. Свет падал на этот стол из матового верхнего окошка, что приводило отца в совершенный восторг. Множество маленьких желтых листочков, исписанных простым мягким карандашом, были прикреплены там и сям, к любой поверхности, до которой можно было дотянуться, не вставая из-за стола, — к стене, к абажуру и так далее. Мне никогда не нужно было говорить, чтобы я не вглядывалась в то, что разложено у него на столе, и я ни разу не прочла ни единой из этих записей. Я даже старалась не смотреть туда, чтобы случайно не разобрать какие-нибудь буквы.

Отец выставил нас за дверь, но вышел следом и долго разговаривал с нами. Он всегда хорошо относился к моим друзьям, когда я была совсем маленькой. И он не был похож на других взрослых, которые говорят с тобой о всяких глупостях, например, о школьных отметках. Он говорил о том же, о чем и мы, дети, говорили между собой. Став взрослой, я утратила эту способность. Я часто ловлю себя на том, что задаю детям вопросы, которые сама тогда считала дурацкими. А еще мне приходит в голову, что отцовский Зеленый дом манил нас, как детишек манит построенный из веток форт, — но ни я, ни другие взрослые из тех, кого я знаю, не построили бы себе такого кабинета.

Сама не знаю, почему, но я рада, что у него был такой Зеленый дом в лесу. Возникло чувство потери, когда после развода он выстроил себе настоящий дом у дороги, с кабинетом, похожим на всякую другую комнату, только с книжными полками. Но старое автомобильное сиденье у него осталось, и машинка тоже. Мои детские рисунки, такие, например, как Зубик Таффи, беленький, предупреждающий о том, что «надо чистить зубы после каждой еды», тоже перекочевали на стены нового дома, откуда продолжали наблюдать за трудами отца, пока в 1992 году не сгорели при пожаре, вместе с собаками Дейзи и Тилли.

9
Переход границы

Осенью 1961 года двое выпестованных отцом детей Глассов, Фрэнни и Зуи, отважились покинуть колыбель «Нью-Йоркера» и предстали перед читателями всего мира. Важный шаг: со страниц журнала — в книгу. Важный шаг к большому миру сделали этой осенью и мы с Виолой, поступив в первый класс начальной школы в Плейнфилде. Не думаю, чтобы кто-то из моих родителей воспринимал и Корниш, и близлежащий Плейнфилд как-то иначе, чем «мелькание в зеркалах», отражение собственных снов. Я-то видела, что эти городки — отнюдь не воплощение мечты нью-йоркского жителя, как например Вудсток Рокфеллера или сценарии для фильмов типа «Воскресного отеля», где играют Фред Астэр, Бинг Кросби и Марджори Рейнолдс, или «Белого Рождества» с Дэнни Кеем, Бингом Кросби и Розмари Клуни. Здесь все было настоящее. И очень разное. Мне кажется, только живя в таких городках, можно убедиться в том, что прекрасное и убогое порой переплетаются самым невероятным образом. В центре городка обычно стоит неброская, милая, выкрашенная в белый цвет, типичная для Новой Англии церковка, маленькая кирпичная библиотека, крошечный магазин с дощатыми полами, с банками консервированного супа «Кэмпбелл», с «чудо-выпечкой», с хрустящими хлебцами; но самое прекрасное в мире — это стеклянный ящик, полный до краев разноцветными грошовыми сладкими штучками, которые можно сунуть в рот и жевать; «Пикси-стиксов», соломинок, набитых фруктовым сахаром: ты их надкусываешь и высыпаешь сахар прямо на язык; и леденцов, которые волшебным образом меняют цвет, пока ты их сосешь. Напротив магазина — здание мэрии, квадратное, кирпичное, одноэтажное, с облупившейся краской на оконных переплетах. Там жители Плейнфилда проводили аукционы, торжественные обеды, а на сцене, которая располагалась в глубине главного зала, — всяческие церемонии, например переход из детского садика в школу. На этой сцене местный плейнфилдский художник выстроил и расписал трехмерные декорации, виды природы — деревья, поля, цветы — и если их подсвечивать разными прожекторами, кажется, будто меняются времена года: от весны к лету, от осени к зиме. Это изумительная, светящаяся, необыкновенная декорация; я люблю ее куда больше, чем работы Максфилда Пэрриша. Я вновь увидела ее прошлым летом, на встрече одноклассников: она до сих пор поражает.

Как это ни прискорбно, но чем дальше от центра такого городка, тем меньше зубов во рту у населения. Деревенские бедняки отнюдь не живописны. Они голодают, они мерзнут, они дурно пахнут. В школе мы не считались, у кого какие родители, сколько у них домов, машин, телевизоров. Все определялось по принципу: кто пахнет, а кто нет. В большом городе, где я живу сейчас, бедность больше связана с *вещами*; в деревне — с человеческим телом. Например, все дети Курделенов, у которых костлявые руки и ноги торчали из одежды, как у огородных пугал, издавали сильный запах, «З.Т.», «запах тела». Однажды моя мать увидела, как сынишка Курделенов сидит после уроков на спортплощадке и плачет: в игре ему случайно выбили передние зубы. Мальчик был недоразвитым, много раз оставался на второй год, и, хотя учился с нами в одном классе, зубы у него были уже не молочными. Мама, как ее учили на курсах первой помощи, завернула эти зубы во влажную салфетку и вызвалась отвезти ребенка к дантисту. Директриса разрешила, и они отправились. Ральф весь сиял.

Домой она вернулась с побелевшим лицом. Дело в том, что когда она ввела Ральфа в кабинет дантиста, держа в руке аккуратно завернутые зубы, сестра-регистраторша приветствовала ее следующими словами: «И чего было возиться? У всех Курделенов все равно рано или поздно выпадут зубы». И велела ей идти домой.

Плейнфилдская школа была величиной примерно с два трейлера, там было четыре комнаты, куда помещались восемь классов, по два класса в комнату, да еще в подвале, отдельно, занимались умственно отсталые. А таковым, даже у нас, в самом младшем классе, был каждый четвертый. Миссис Коретт, которая вела первый и второй классы, помещавшиеся в одной комнате, в первый день встретила нас у входа. На ней было платье в розовую полоску, а на карманы пришиты две громадные зеленые лягушки. Я сразу ее полюбила. Каждый день она начинала урок, распевая: «С добрым утром тебя, с добрым утром тебя», указывая на каждого по очереди, так что никто не чувствовал себя забытым; «Я пришел сегодня в школу с этой рожицей веселой; так начнем же новый день: нам учиться всем не лень». Разумеется, это было очень приятно. Потом мы вставали лицом к флагу, клали руку на сердце и повторяли присягу. Во время присяги бойскауты и герлскауты вместо того, чтобы класть руку на сердце, двумя пальцами отдавали честь, аккуратно и четко. После клятвы мы пели патриотические песни: «Звездно-полосатый флаг», «Домой, домой с войны идем», «Прекрасная Америка», «Янки Дудль» и «По холмам и по долинам», представляя себе, как мы шагаем по

пыльной дороге, а на повозках громыхают зарядные ящики. Потом мы рассаживались для молитвы. Сначала читали «Отче наш», потом пели детскую молитву с такими словами:

Отче наш, благодарим!
Каждый любит и любим!
Хороши и день, и ночь,
Все торопятся помочь.
Вразуми, Отец, и нас!
От проделок и проказ
Сохрани нас и избавь,
Лишь любовь в душе оставь! Аминь![157]

Отличная была молитва. Более того: она указывала мне путь, я твердила ее по ночам, в моей темной комнате, коченея от страха; она была талисманом, оберегом против всего, что составляло темную сторону нашего опрокинутого леса, мира братьев Гримм, в котором гоблины, призраки и прочие сверхъестественные существа и внушавшие ужас бесплотные тени были столь же реальны, как и добрые феи с прозрачными крылышками; я видела их воочию, так же ясно, как ненависть, ярость и страх, застилавшие время от времени глаза моих родителей, когда они глядели друг на друга. Но по-настоящему страшно было, когда мать обращала свой ненавидящий взор на меня. Она жаловалась, что угодить моему отцу было труднее, чем попасть в постоянно движущуюся мишень, но в моих глазах именно мать была подменышем, постоянно меняла обличья. Например, за то, что вчера ей казалось забавным, сегодня можно было запросто получить затрещину. В этой игре у меня шансов не было: я уже потом догадалась, что, создавая скверную девчонку и наказывая ее, мать рассчитывала на моем фоне выглядеть сущим ангелом и набирать очки.

В те дни, насколько сейчас можно судить, я по повадкам больше походила на эфемерное сказочное создание или лесную фею, чем на человеческое дитя. Быть видимой, быть заметной, да и просто *быть* становилось небезопасно. Я понемногу привыкала прятать от отца мысли и чувства, которые ему заведомо не понравятся, а в отношении матери единственным выходом было развернутое стратегическое отступление по всему фронту. Я сдавала врагу передний край, свое тело, и отходила за рвы, наполненные ледяной, мертвящей водой, хоронилась за холодными каменными бастионами, просто чтобы выжить и

начать на следующий день новую битву. Я до сих пор не помню материнских рук ближе, чем за фут от моего тела; всякие прикосновения, ласки или удары, изгладились из моей памяти. Будто подъемный мост был поднят, и крепостные стражи сталкивали в ров все соприкосновения без разбору, чтобы память не удержала побоев. Но экспозиции таких бурных сцен встают передо мной как живые. Я могу взглянуть на себя и увидеть, во что я была одета, ощутить запахи, услышать слова, почувствовать, как кровь приливает к щекам и противно, постыдно начинает сосать под ложечкой; мне нужно в туалет, прямо сейчас, иначе я описаюсь; но я застываю на месте, словно под гипнозом, чувствуя всю неизбежность, весь ужас происходящего, когда звучат эти слова — «Поди сюда!» — и ноги не слушаются, они превратились в желе, как в тех снах, когда что-то ужасное гонится за вами, а вы хотите убежать и не можете. Потом — пустое место, обрыв пленки; жизнь продолжается только после, когда возрождается память.

Конечно, в те времена это мной не осознавалось, однако, один ключевой маневр я совершила вполне сознательно: я научилась плакать беззвучно, без слез, молча, будто камни Стены Плача. Я помню, как это вышло в первый раз. Меня привели в детскую, чтобы высечь. Дверь закрылась, и порка началась. Я не чувствовала, не помню, чтобы чувствовала, эти «четыре сотни ударов», но слышала крики брата, доносившиеся из коридора, из-за запертой двери; он кричал и колотил кулачками в дверь. В какую-то долю секунды я поняла, что это, наверное, мои вопли напугали его. Я ведь объясняла ему все на свете, и он мне верил; я снова и снова подбирала с полу бутылочку и медвежонка, когда он ночью выбрасывал их из кроватки, а никто из взрослых не приходил.

Далее вот такая картина осталась в моей памяти. Мать распахивает дверь, в которую стучится малыш, и, вздернув его в воздух, начинает лупить — часто-часто, а он вертится в ее руке. После этого я дала себе клятву, что больше никогда, ни разу в жизни даже не пикну.

Очень скоро обнаружилась еще одна выгода от такого моего поведения. Полное отсутствие реакции с моей стороны, конечно, еще больше бесило мать, но ее гнев быстрей проходил, ведь его не подпитывали ни мои слезы, ни крики, и он затухал, как пламя без кислорода.

В ту осень родители решили перестроить дом, планировалось оборудовать каждому отдельные спальни, подземный гараж, а над гаражом — отдельную квартирку отцу, с ванной и кухней. Он более обыкновенного бывал занят дома, или, может быть, я уже

выросла достаточно, чтобы измерять его отлучки. И для матери тоже нашлось дело: архитектор склеил для нее из миллиметровки чудесный кукольный домик с передвижными стенами и крошечной, бумажной мебелью.

Пока мама играла со своим бумажным домиком, я пробиралась на открытый чердак над гостиной и играла в игру, которую сама придумала. Я взяла с брата слово, что он никому не расскажет, и приняла его в помощники. Мы начали действовать так: сначала я разрезала моих кукол и плюшевых зверушек, а потом мы начинали их стегать. Оргия заканчивалась тем, что мы сбрасывали их с высокой галереи вниз на пол. Через некоторое время мать обратила внимание на то, что обитатели моего зверинца все изрезаны, но я объяснила, что хочу стать доктором и мне нужно практиковаться. Она зашила всех моих кукол и зверушек, но не стала меня наказывать. Я же пришла в восторг от швов, они смотрелись, как шрамы, и мои куклы и зверушки выглядели очень лихо. Мать запретила впредь делать операции, но мы с братом продолжали втайне пороть игрушки и кидать их вниз с галереи. А ножницы вообще исчезли, когда мать обнаружила, что у Максера и Перли, наших двух котов, выстрижена клоками шерсть.

Игры, в которые мы играли в школе, были совершенно не похожи на те, какие я выдумывала для себя дома. Наша учительница, миссис Коретт, учила нас удивительным играм. В наш первый школьный день мы псе взялись за руки и принялись хором нараспев говорить: «Птичка синекрылая, птичка синекрылая, лети в мое окошко», и «птичка» то залетала в круг, то вылетала наружу. Потом мы кричали: «Выбери девочку, клюнь ее в плечико», и «птичка» ударяла кого-нибудь по плечу. Та, кого выбирали, брала за руку «синекрылую птичку», и дальше они выбирали уже вместе, присоединяя к себе постепенно всех других играющих, пока хоровод окончательно не распадался, потому что все становились «синекрылыми птичками». И хоровод строился заново. У старших детей была похожая игра, но уже погрубей, они кричали: «Пират — Рыжая борода, вышли нам Пегги сюда».

У меня не было З.Т., но я неправильно произносила слова, например «помидой» или «бьюки», а это ничем не лучше. И я столкнулась еще с одним немаловажным различием: большинство людей связали бы его с политикой, но подоплека была гораздо глубже, оно проявлялось с поистине религиозным пылом. Как-то на переменке восьмиклассницы отвели меня в сторонку, и когда староста, следящий за порядком, отвлекся, чтобы отодрать какого-то мальчика за ухо, заключили меня в круг и принялись

пинать ногами, как неистовые танцоры из ансамбля «Рокетс». Такое повторялось нередко. Первой фразой, которую я в своей жизни написала, была записка Барбаре, самой скверной из этих девчонок: «Ты — крыса». В туалете я увидела, как она показывает мою записку остальным и хохочет.

Однажды, когда мы качались на качелях с мальчиком из моего класса, к нам подошла его сестра Корлин, восьмиклассница. Она была одна, и я решила попытать счастья. Собрав все свое мужество, я спросила: «Корлин, почему большие девочки меня ненавидят?» — «Если ты никому не скажешь». — «Крест на сердце», — поклялась я и перекрестилась. — «Ну, я точно не знаю, но думаю, это потому, что твой отец — коммунист».

Я понятия не имела, кто такие коммунисты, но мне стало как-то легче, когда я узнала, что есть какая-то причина. Не знаю, как другим, но мне легче, когда меня бьют за что-то, пусть даже и несправедливо. В моем случае обвинение было абсолютно ложным. Мой отец не то что не был коммунистом, он был, может, самым ярым антикоммунистом, чем все антикоммунисты, вместе взятые. Он ненавидел коммунизм, так же, как и маккартизм, и весь этот антиамериканский идиотизм, которым Нью-Гемпшир пропитался до мозга костей в начале шестидесятых. *Коммунистом* тогда называли любого, кто выглядел и говорил не так, как все, — особенно, если он то и дело ездит в Нью-Йорк, да к тому же — еврей. По вине коммунистов мы всем классом должны были спускаться в подвал, вставать на колени под сырой позеленевшей стеной, закрывать голову руками и ждать в такой позе, пока учитель не свистнет в свисток. «Пригнись и закройся», — эти учения по гражданской обороне должны были нам помочь в том случае, если коммунисты сбросят бомбу на Плейнфилд. И мы, вопреки обыкновению, не хихикали и не шалили. Мы были напуганы. Каждую неделю мы вставали на колени, закрывали головы и молча постигали свою бренность.

Когда в 1961 году выпал снег, мне сказали, что его нельзя брать в рот. Для городского ребенка это — небольшая потеря, но в Корнише, где мы привыкли пить из ручья, собирать кленовый сок, варить его, а потом выливать в снег, чтобы получились леденцы; есть горстями лесные ягоды и дикие яблоки, это казалось странным и пугающим. Мать сказала, что после испытания бомбы «выпали осадки». Всю зиму я исследовала снег в поисках этих «осадков» — зловещих черных хлопьев, которые, как я ожидала, станут падать вместе с белыми снежинками. Я так и не увидела ни единого, пока после Дня благодарения мы не

устроили себе длинные каникулы и не поехали в Нью-Йорк навестить бабушку, дедушку и тетю Дорис. Этот город был весь радиоактивный! Всюду — черные хлопья сажи и желтые потеки собачьей мочи, — просто ужас!

Да и путешествие с самого начала не заладилось. Мы встали затемно, что само по себе было противно. (Когда я выросла настолько, что могла сама планировать свои поездки, для меня явилось откровением, что вовсе не обязательно вставать до зари, когда отправляешься в путь. И не нужно приезжать в аэропорт за несколько часов до вылета.) В детской, рядом с моей кроватью, лежала красивая одежда. Красный сарафан из набивного ситца с мелкими цветочками спереди, и к нему белая блузка с тем же рисунком на манжетах и воротнике. Я полностью оделась, только не смогла застегнуть пуговицы на спине, и отправилась в туалет. Уселась и — плюх! — провалилась прямо в унитаз. Папа забыл опустить сидение. Все потонуло в ужасе отвращения, в паническом страхе: мир на какое-то время померк, и следующее, что я помню, — чьи-то руки заворачивают меня в «мягкое розовенькое», мое мохеровое одеяльце. Пришлось надеть другое платье, и я была безутешна. Жизнь, как вы понимаете, на этом закончилась.

Это совершенно немыслимо, но я прекрасно помню, как бабушка идет по летному полю встречать нас, а мы спускаемся с крутой, узкой лестницы, которую какой-то человек подкатил к двери самолета, когда мы приземлились. Жизнь возвратилась, когда тетя Дорис сказала, что я могу поносить ее синенькую брошку в виде бабочки. В бабушкиной квартире на Парк-авеню 1133 моим любимым местом стала тетина спальня. Там был красивый туалетный столик с маленьким стульчиком; тетя позволяла мне садиться туда и смотреться в зеркало. Но больше всего мне нравилось, что она позволяла мне рыться в ящиках и трогать ее косметику и украшения, и флакончики с духами, и мягкие перчатки. Я могла даже осторожно вытаскивать то одно, то другое и примерять перед зеркалом. Она поведала мне много странных, удивительных вещей. Например, кожу на моем лице она называла «цветом лица» и говорила, что нельзя умываться с мылом: от этого цвет лица портится, кожа становится сухой, а это ведет к морщинам. Нужно было ополоснуть лицо теплой водой, втереть вкусно пахнущую смесь из баночки, потом ополоснуть холодной и промокнуть полотенцем.

Вы знаете, что у воды тоже есть запах? Дома вода — это просто вода, но в Нью-Йорке она хорошо пахнет и течет из крана прямо в раковину. Мать морщилась, говорила: «Это *хлорка*, дорогая моя. Это — химикаты». Ну что ж, и я кое-чему научилась.

Раздеваясь этим вечером перед сном, я объявила матери, когда та начала умываться: «Мыло портит цвет лица, знаешь ли».

У дедушки с бабушкой столовая и гостиная разделялись аркой. В углу стоял большой черно-белый телевизор, повернутый так, чтобы все трое — тетя, бабушка и дедушка — могли за обедом смотреть новости. Я не очень хорошо его видела; думаю, тогда я едва возвышалась над столом, но помню, как мерцающий свет экрана отражался в полировке стола, и как тетя с бабушкой обменивались неодобрительными взглядами. Я была рада, что в телевизоре есть кто-то более скверный, чем я, и мне сегодня не попадет. На десерт мне дали имбирное печенье, — я макала его во взбитые сливки.

Гостиную я помню только вечерами при зажженном свете. Дедушка сидел в большом кресле в одном конце комнаты и слушал записи Миллс Бразерз, прокручивая пластинки на огромной «Виктроле». У него был красивый голос и хороший слух, как и у меня, и я не понимаю, почему папа морщился от его пения, точно так же, как от маминого, но она-то всегда фальшивила. Приблизительно такие же эмоции у него вызывали репродукции из альбома «Жизнь орхидей», развешенные бабушкой над диваном, а вот почему, я не помню.

Я легла спать под успокаивающий рокот машин и городских автобусов внизу под нами, на расстоянии дюжины этажей. Мне нравилось, что в городе ночь не безлюдна. В деревне ночью, как и зимой, ты чувствуешь себя слишком одиноким, лишенным человеческого тепла.

На следующий год осенью 1962-го, свершилось чудо. Земля разверзлась и поглотила больших девчонок. Городки Плейнфилд и Мериден объединили свои школы: мы отправили к ним наш шестой, седьмой и восьмой классы, а они отправили к нам третий, четвертый и пятый. И теперь, за исключением первого и второго, каждый класс размещался в своей собственной комнате. Мы не только сохранили еще на один год нашу любимую миссис Коретт, но и спортплощадка безраздельно, во всем ее блеске принадлежала нам.

Той зимой мы не поехали всей семьей во Флориду, как планировали. Вместо этого Клэр взяла нас с братом на Барбадос, к своей матери, которую отец называл «мамочка ми-ая», передразнивая мою мать противным писклявым голосом. Мне сказали, что у папы какие-то дела в Нью-Йорке. Никто не упомянул, что его книги «Выше стропила, плотники» и «Симор: Введение» должны были выйти в январе. Я могу поклясться, что ни об одной из его книг у нас в доме не было сказано ни слова, и

все экземпляры, присылаемые издателями, хранились подальше от глаз — в подвале, в коробках, и никогда оттуда не извлекались. Однако отец время от времени приводил высказывания своих героев, так, будто они были его старыми друзьями вроде мистера Каста и мистера Керзона, или Билла Шоуна.

Он написал нам на Барбадос из «Шерри Незерленд, 781, 5-я авеню, 10022, Эльдорадо 5-2800». Письмо было адресовано мисс Пегги и мастеру Мэтью Сэлинджерам до востребования, отель «Букканир Бей», Сент-Джеймс, Барбадос У.И. Он писал, что любит нас и скучает, а еще надеется, что у нас хорошая погода. Он заверял нас, что заберет из псарни Джои, нашу собаку, в ту же минуту, как вернется домой. В следующем письме содержалось и обращение к матери; оно начиналось так: «Дорогие девочки и мальчик». То было забавное письмо, полное новостей о нашем воображаемом друге мистере Керзоне. Отец снова писал, что скучает, но добавлял, что его работа продвигается хорошо, а потому и мы должны из всех сил купаться и загорать. Была в этих письмах одна особенность: тогда я это воспринимала как должное, а теперь она поражает меня как нечто странное — все обильные объяснения в любви к нам, как к семье, адресовались, почти без исключения, одной только мне. Последнее письмо, которое мы получили перед возвращением с Барбадоса, начиналось словами «дорогая семья», но в конце черным по белому было написано: он в очередной раз убедился в том, что такие девочки, как Пегги Сэлинджер, не растут на деревьях. Вместо подписи стояло не меньше миллиона поцелуев.

Хорошо ли мне было в тот раз на Барбадосе? Думаю, да; за исключением внезапного озноба, из-за которого я закуталась в одеяло, и волдырей на руках. Мать смазывала мне руки какой-то мазью и говорила, что я сгорела на солнце. Это, я помню, уязвило мое самолюбие, потому что у нас только мать с братом — бледнолицые — бутылками лили на себя вонючий лосьон от солнца, а мы с папой не обгорали никогда. А еще я помню запах горящего сахарного тростника, который как-то вечером сильно меня встревожил. Я знала, что лесной пожар возникает, распространяется и выходит из-под контроля потому, что кто-то пренебрег предупреждением Дымняшки-Медвежонка и бросил горящую спичку. Я понятия не имела о том, что крестьяне каждый год выжигают стерню, и всю ночь не могла заснуть, боясь, что пламя вот-вот достигнет отеля; еще страшнее мне было оттого, что никто вокруг не обращал на дым никакого внимания.

Я помню, что мать моя как-то внезапно изменилась. Все, что было в ней доброго, игривого, милого, пробудилось во время этих

каникул с бабушкой. По ее венам струилась новая жизнь, ее лицо сияло, она носила яркие платья от Лилли Пулитцер, от нее пахло лосьоном «Блю грас» и лавандой — не так, как дома. Это была другая мама, милая, прелестная. Мне нравилось быть рядом с ней. Она не бранила и не наказывала, мало того, — с ней было весело. И такое преображение происходило всякий раз, когда мы уезжали из Корниша, а папа оставался.

Когда мы были совсем маленькими, нам с братом не разрешалось видеться с бабушкой, и я представляла ее злой ведьмой с растрепанными космами и длинными, костлявыми, скрюченными пальцами. А здесь она походила на крестную из сказки про Золушку — этакая миниатюрная старая леди с блестящими голубыми глазами и мягкими седыми кудряшками. Волшебное превращение! И, надо сказать, все визиты к бабушке представлялись нам совершенно фантастическими. Из холодного, серого, зимнего одиночества в Корнише мы переносились в волшебные страны — на Барбадос, в Венецию, в ее дом на Маунт-Киско с бассейном и садом, в ее квартиру на углу Семьдесят девятой улицы и Мэдисон-авеню, где была такая красивая ограда, будто во мгновение ока живые плющ и розы превратились в чугунное кружево. Там привратник узнавал меня, а лифт поднимал на этаж, который весь принадлежал бабушке. В апартаментах висели картины: роскошные голые дамы; люди, одетые как короли и королевы; Мадонны с младенцами, озаренные сиянием хрустальных лампад; а полы были сделаны из сотен маленьких деревянных квадратиков всех лесных расцветок — от медовой до темно-красной и темно-коричневой, сложенных вместе узорами из какого-то волшебного калейдоскопа.

Долгие годы я думала, что музей «Метрополитэн», находящийся всего в квартале оттуда, является продолжением бабушкиной квартиры. В музее меня больше всего поражало, что ты мог взять поднос и заполнить его всевозможной едой, которая выложена перед твоими глазами в таком изобилии, что сравниться с ним способны только сказочные пиры из книжек, когда король, или султан, или китайский император хлопают в ладоши, и сотни яств вмиг появляются на столе. Потом с полным подносом садишься за столик, достойный божества, возле фонтана, где переливались струйки воды — пели, журчали, танцевали в воздухе. «Хотел бы я, чтобы вы это видели», — как говорил Холден. Теперь там все перестроили, если то, что Везувий сделал с Помпеями, можно считать перестройкой. Фонтан убрали, чтобы поместилось больше столиков, теперь еду разносят самые обычные официанты, и ты уже выбираешь себе, ничего не видя и не обоняя, по карточке в меню, по названиям, по

описаниям и номерам. Больше нет волшебного грота, журчания тонких струек, свежести и мелких монеток, которые детишки бросали в бассейн, загадав желание; осталось грубое бряцание ножей, вилок, стекла и фарфора, шум нетерпеливой толпы, где взрослые машут официанту, чтобы тот принес счет.

Я помню, что какая-то музейная благопристойность царила и в отношениях бабушки и мамы. Они вели себя друг с другом вежливо, официально, несколько отчужденно — хотя эта отчужденность не поражала меня; мне казалось тогда, что истинные англичанки должны вести себя именно так, — и это было заразительно. Даже когда мне было двенадцать лет, и ни о какой вежливости в наших отношениях с матерью не могло быть и речи, мы прекрасно, мирно проводили время, объехав всю Италию вместе с бабушкой. Теперь я думаю, что мать была совершенно права, когда говорила, насколько по-другому бы все обернулось, если бы она после своего побега не вернулась в Корниш, а осталась в Нью-Йорке под наблюдением психиатра.

Отец твердил мне, что «мамочка ми-ая» — ужасная врунья, и если я хоть немного уважаю себя, то не должна иметь ничего общего с подобной особой. И я никогда не говорила ему, что бабушка мне нравится, не пересказывала ее историй и баек, но кое в чем была с ним согласна. Например, она на голубом глазу рассказывала нам, как доплыла на дельфине от «Сиприани», знаменитого отеля на острове, до пристани Святого Марка в Венеции. Но, несмотря на его бурные возражения, мы по-прежнему ездили к бабушке на каникулы, а отец как ни в чем не бывало писал мне полные любви письма на вражескую территорию.

Миссис Коретт, у которой, вероятно, никогда не бывало таких каникул, непринужденно и великодушно намекает на мои отлучки из школы в этот период.

> /Табель успеваемости: 4-я четверть/.
>
> «Успехи Пегги в чтении за эту четверть продолжают оставаться удовлетворительными. Благодаря вашей помощи, она за время своего отсутствия не отстала от класса.
>
> Впечатления от путешествий с лихвой компенсируют отлучки: она возвращается такая отдохнувшая, загорелая.
>
> Пегги — ребенок, с которым интересно работать. Выполнив свое задание, она помогает классу. У нее

приятный, чистый голосок, и ей нравится петь для нас. Пегги выказывает задатки лидера, и ее рвение весьма похвально. Нам будет не хватать ее в нашем классе на следующий год.

Хотелось бы сказать вам большое спасибо за то, что вы позволяете Пегги приносить в класс столько интересных вещей. Растения, книжки и так далее весьма порадовали малышей.

Уважающая вас миссис Коретт».

Нам тоже хотелось бы сказать большое спасибо миссис Коретт. Я посетила школьную игровую площадку в этом году во время печальной поездки в Плейнфилд на похороны младшей сестры моей подружки Виолы. В перерыве между церковной службой и погребением я прошла квартал до старой школы, в которой теперь располагается аукционный зал. Я проезжала здесь сотни раз, но за школу не заглядывала больше тридцати лет. Эту площадку я помню огромной, и мне было любопытно посмотреть, какая она на самом деле, или, вернее, какой маленькой предстанет она, спустя столько лет, глазам уже взрослой женщины. Я завернула за угол старой школы и обнаружила, впервые за все время, как я посещаю места, связанные с моим детством, что она еще больше, чем я себе представляла. Она была необъятной. Я слишком долго прожила в городе и теперь измеряю то, что городские агенты по недвижимости называют «прилегающей территорией» в квадратных футах, а не в акрах… Я насчитала 125 длинных шагов от школы до опушки леса. Футов, наверное, двадцать леса тоже составляли часть игровой площадки, а потом она заканчивалась крутым оврагом, подходить к которому нам строго-настрого запрещалось. В хорошую погоду мы съедали наш ленч прямо на площадке, собравшись в кружок. Я пожалела, что не взяла коробку с бутербродами и термос.

Я думала о сестре Виолы. Я навещала ее за несколько дней до конца ее долгой битвы с раком мозга. Нам с Виолой было по сорок; Кэрол исполнился всего тридцать один. Болезнь почти совсем замутила ее сознание. Она еще могла немного ходить и садиться без посторонней помощи, но в глазах ее почти померк свет. Городской священник, который учил Кэрол в шестом классе и был тренером футбольной команды, пришел нанести визит. Мы уселись и завели разговор. Чтобы вовлечь Кэрол в беседу, я у нее спросила: «У вас была мисс Чепмен или миссис Спеллинг?» — и встретила пустой, ничего не выражающий взгляд, а ее мать ответила за нее, что миссис Сполдинг у них была в шестом

классе, насчет мисс Чепмен она не уверена. «Но миссис Коретт у вас была, правда?» — спросила я. Кэрол улыбнулась — губы остались неподвижными, но темные глаза озарились. «Миссис Коретт, — медленно произнесла она, — миссис Коретт, да».

Через несколько дней боль уже нельзя было заглушить морфием, и Виола мягко, с нежностью сказала любимой младшей сестренке, что пора прекратить борьбу; та повернулась лицом к свету и взяла отца за руку. Кэрол умерла через несколько минут, сидя в своем удобном кресле, в окружении своих родных и своих кошек, любивших ее до последней минуты. И мне пришло в голову, что если я когда-нибудь умру (!) — да, я именно так и написала — я имею в виду, если я буду бояться умирать, что, вернее всего, и случится; я терпеть не могу отправляться в незнакомые края. (Вчера мой сынишка, играя с раздвижной дверью нашего дешевого шкафа, сказал: «Мама, она совсем такая, как в самолете» — и я подумала: да, она в самом деле похожа на дверь в туалет аэроплана, место, где столько раз панический страх подступал у меня к горлу, что само упоминание о нем заставляет желудок сжиматься. Нет, я не уйду тихо в ночь, я полагаю.) Когда я буду умирать, я не хочу, чтобы святые, или Иисус, или прочие большие шишки протягивали ко мне руку из сплошного сияния. Я хочу увидеть миссис Коретт в розовом платье с зелеными лягушками на карманах: пусть она поведет меня за руку и поставит в хоровод. «Птичка синекрылая, птичка синекрылая, лети в мое окошко, выбери девочку, клюнь ее в плечико».

Requiem eternam. Вечная переменка.

10
Снайперы

Мне было семь лет, когда я осенью 63-го года пошла в третий класс; в том же возрасте в тот же класс перешел Симор в рассказе «Шестнадцатый день Хэпворта 1924 года», напечатанном в «Нью-Йоркере» полтора года спустя, в 1965-м. Рассказ представляет собой письмо, занявшее собою почти весь номер журнала: семилетний Симор пишет его из летнего лагеря родителям домой. Он их просит прислать «некоторые» книги для него и для пятилетнего брата Бадд,и. В его список включены: полное собрание сочинений Толстого, «Дон Кихот» Сервантеса, «Раджа-Йога» и «Бхакти-Йога» Вивекананды, все произведения Диккенса, некоторые — Джордж Элиот, Уильяма Мейкписа Теккерея, Джейн Остин, сестер Бронте, «Китайская Materia Medica» Портера Смита, некоторые вещи Виктора Гюго, Гюстава Флобера, Оноре де Бальзака; избранное Ги де Мопассана, Анатоля Франса, Мартена Леппера, Эжена Сю; полное собрание рассказов сэра Артура Конан Дойла — список нескончаем.

Это — не только список летнего внеклассного чтения некоего особенного вымышленного героя; это и способ обращения к читателю с теми же призывами и проповедями, каким мы, его реальные дети, частенько внимали, правда, не в семь лет, а немного позже. За исключением книг на иностранных языках, таких как «Разговорный итальянский» и двух «бесценно глупых» сочинений Эрдонны и Баума, в списке Симора нет ни единой книги, по поводу которой мы с братом не слышали бы восторгов или порицаний, повторяемых без конца слово в слово и надоевших до тошноты. Когда я обратилась к «Хэпворту» на четвертом десятке, мне было нелегко, потому что я снова почувствовала себя подростком, которому читают лекцию: я закатывала глаза и скрипела сквозь зубы: «Зпаю, папа, ты миллион раз уже это говорил». Эти сентенции я могу даже цитировать по памяти:

«Обе написаны выдающимися лже-учеными, людьми высокомерными, корыстными и втайне тщеславными…»

«хорошо бы в ней не было никаких превосходных фотографий…»

«замечательно независимая старая дева…»

«гений, которому просто так равных даже не подыскать!..»

«Вивекананда, индиец, один из самых увлекательных и образованных гигантов пера изо всех, кого я знаю в двадцатом

веке…»

«ценные образчики того, что представляет собой зловонная чума интеллектуализма и дешевой образованности в отсутствие таланта и сострадательной человечности… чтобы автор по возможности не был похваляющийся или ностальгирующий ветеран или предприимчивый газетчик без особых способностей и без совести…»[158].

Но нам, плейнфилдским третьеклассникам, хрестоматия «Классики для детей, издание Энциклопедии Коллиерс» очень нравилась. В первый день школьных занятий хорошенькая миссис Бопр велела нам забрать эту толстую книжку домой и там под руководством матери обернуть ее крафтом, написать посередине название, а имя и класс в правом верхнем углу. Помню, что, когда на занятиях мне бывало скучно, я путешествовала по ней от одной иллюстрации к другой. Судя по картинкам, индейцам в те времена было куда веселей, чем переселенцам.

Однажды после переменки мы расселись по местам и сложили руки на парте. «Дети, возьмите книгу «Классики для детей»», — сказала мисс Бопр. Розанна Лаплант уже приготовилась читать вслух, когда миссис Сполдинг, директриса, вошла в класс. Она попросила миссис Бопр выйти в коридор на минутку. Мэрилин Перси, одна из девочек, сидевших на первом ряду, была назначена старостой: это означало, что она должна записать имена всех, кто плохо себя ведет, пока нет учителя, а потом наябедничать на них. Мы с Виолой сидели на задних партах, с мальчишками, откуда могли плеваться жеваной бумагой из трубочек вместе с самыми достойными из них, и ни ее, ни меня никогда не назначали старостами, как, впрочем, и мальчишек, которые в те дни были по определению неспособны кляузничать, поскольку были сделаны «из гвоздей, из болтов, из щенячьих хвостов», в отличие от девочек, которые состояли «из меда, сластей и приятных вещей».

Но на этот раз никто из нас не шалил. Мы все раздумывали, с чьим отцом произошел несчастный случай на ферме или на заводе шарикоподшипников, и кому прямо сейчас придется идти домой. У миссис Бопр был странный вид, когда они с миссис Сполдинг вернулись в класс. Она сказала: «Дети, только что застрелили президента Кеннеди».

Класс превратился в сумасшедший дом: дети прыгали, топали ногами, хлопали в ладоши и свистели[159]. Даже если бы миссис Сполдинг вошла в класс и сняла перед нами трусы, я была бы не так потрясена. Меня поразил не столько сам факт гибели президента, сколько эта бурная радость из-за того, что кого-то застрелили; к тому же детишки без всякого стеснения ликовали

прямо в классе, в присутствии директрисы.

Мать забрала меня как всегда, в обычное время. Я села в машину, и она стала мне рассказывать насчет президента. Я сказала, что уже знаю. Во время похорон папа молча сидел перед телевизором с пепельно-зеленым лицом, и слезы текли у него по щекам. За всю жизнь я единственный раз видела, как отец плачет, и было это, когда он смотрел по телевизору торжественные похороны Дж. Ф.К.

Глядя на траурное шествие, я думала, что никогда не должна этого забывать. И по какой-то причине я велела себе запомнить ритм барабанного боя, под который двигалась эта длинная процессия: тум-тум-тум, та-та-та; тум-тум-тум, та-та-та, тум-тум-тум, та-та-та, тум-тум, та-тум — по Пенсильвания-авеню к Арлингтонскому национальному кладбищу. Слушая, я думала о бабушке, как она сидит у окна своей спальни, выходящего на Парк-авеню: в это окно она смотрела каждое утро, надеясь увидеть хоть мельком, как маленькая Каролина Кеннеди идет в школу[160]. Однажды бабушка позвала и меня, и мы вместе уселись перед окном, и она мне рассказала, что Каролина — почти моя ровесница, и в последний раз, когда бабушка ее видела, была так красиво одета. Бабушка обожала «подглядывать». Мальчонка, Джон-младший, который в телевизоре стоял навытяжку перед гробом отца, был того же возраста, что и мой брат. Через несколько лет обоих детей Кеннеди отправили в интернат.

Мать уже проливала слезы из-за Кеннеди, весной, за полгода до того, как застрелили президента. Президент Кеннеди решил устроить вечер в честь американских писателей и художников и пригласил моих родителей в Белый дом. Помню, я еще думала, как это здорово — есть торт и мороженое с самим президентом. Они едва не поехали, так любил мой отец президента Кеннеди (хотя я сама испытываю к президенту Кеннеди самые теплые чувства, до сих пор не могу понять, за что его так выделил отец). Отец отложил решение, ответив, что подумает.

Миссис Кеннеди позвонила из Белого дома к нам в Корниш. Наш номер в то время был 401. Она говорила с матерью, и та сказала, что пришла бы с радостью, но, хотя об этом и неловко распространяться, ей трудно уговорить мужа — вы же знаете, как он ценит свое уединение. Миссис Кеннеди сказала — я попробую. Заговор хорошо воспитанных молодых дам. Мать рассказывала: «Джеки поговорила с ним, потом опять со мной. Она в самом деле добивалась, чтобы твой отец был на обеде. Но я, наверное, дала понять, что очень этого хочу. И он сказал: нет, ни за что. Джерри не желал, чтобы я почувствовала, что чего-то достойна, а прежде

всего ему надо было убедиться, что я надежно защищена от женского порока, тщеславия, и что у меня нет ни малейшего шанса показать себя… У меня, наверное, еще сохранилось приглашение. Я тогда сочинила хокку и много лет его берегла. Что-то в этом роде:

Пришлось отклонить
В Белый дом приглашенье —
И она мечтает о платье.

В воздухе запахло убийством. Опасность была такой явственной, ощутимой, что ее можно было потрогать руками — годы спустя мать рассказала, что для моего тогдашнего чувства были веские основания. К родителям стали приходить ни с чем не сообразные анонимные письма, с красочными подробностями всяческих сексуальных извращений, с угрозами похитить детей и сотворить с нами ужасные вещи. Это, к несчастью, совпало со стремительным ростом славы отца и мистическим притяжением, его репутации отшельника. То и дело мы замечали репортеров, бродящих вокруг, — один даже залез на дерево. Мы наблюдали за ним из кухонного окна. Откуда нам было знать, кто эти люди: похитители детей, беглые арестанты из Виндзорской тюрьмы, которая находилась за рекой, наши старые друзья-извращенцы или репортеры. Атмосфера дома настолько была пропитана страхом и недоверием, что мы буквально задыхались.

Хуже того: я как-то наткнулась на библиотечную книгу, в которой были фотографии узников концентрационных лагерей: такие картинки могут нагнать ужас выше шкалы Рихтера на любого, не то, что на семилетнюю девочку. Насколько мне помнится, я всегда знала, что я — на четверть еврейка, и, живи я в гитлеровской Германии, этого было бы достаточно, чтобы послать меня в газовую камеру. Этот факт, эта угроза были частью моего существа, с тех самых пор, как *я осознала* себя, то есть я понятия не имела о том, что такое иудаизм, и что означает быть евреем. Но душой и сердцем я чувствовала, во всей широте и глубине постигала, что это опасно. Это перешло ко мне из неизданных, неназванных кошмаров отца, его коротких высказываний о войне, например то, что ты за всю жизнь так и не избавишься от запаха горящего человеческого мяса, — скопление простейших образов и эмоций, без контекста, без повествования, без объяснений. Когда я увидела четкие, черно-белые фотографии лагерей смерти, новый, ужасный факт поразил меня: эти люди

были большей частью голыми. По своей детской логике я заключила: вот что случается со скверными еврейскими девчонками — даже на четверть еврейскими, как я, — которые, как я, думают о сексе и голых телах, и спускают трусики перед мальчиком, показывая ему свою штучку, и смотрят, когда он показывает свою. А здесь — толпы людей, которых наказывают, морят голодом и убивают за то же самое.

В период этих моих первоначальных страхов я не видела католических картин, изображающих обнаженные, подвергаемые пыткам, тела в чистилище и аду (вроде картины Босха — вы знаете, о чем я, — где на фоне целой диорамы адских мучений дьявол засовывает кому-то в зад букетик цветов): подобные картины были пугалом, кошмаром для других, не для меня. Когда мать каждый Сочельник читала мне историю Рождества: бегство в Египет, рождение младенца в хлеву, звезда на востоке, фимиам, ладан и мирра, — я думала, что все дети мира слушают ту же самую историю о необыкновенной ночи и о событиях, случившихся давным-давно. Эта история не была религией, она была просто историей, и захватывающей к тому же; даже теперь чудесный Санта Клаус непременно положит что-нибудь в мой чулок и откусит кусочек от сандвича, который я для него оставлю. Я понятия не имела, что Рождество как-то связано с тем, еврей ты или католик, и с тем злом, которое могли тебе причинить. В тех историях, что читала мать, с Иисусом не случалось ничего дурного — волхвы ему приносили красивые подарки. В музее «Метрополитэн» меня сумели отвлечь от картин, изображавших Распятие. Пасха связывалась исключительно с крашеными яйцами и сластями.

Родители говорили, что религию я выберу себе сама, когда стану постарше, если проявлю к этому интерес. Я знала, что мать, когда выросла, решила порвать с католической верой. Но не было выбора в том, что касалось еврейской крови внутри меня, и того факта, что я в Германии подлежала бы уничтожению, — как нельзя было ничего сделать с документальными фотографиями живых — или полуживых — людей, идущих к смерти.

В отроческие годы я стала христианкой, надеясь, что меня примет к себе Святое семейство, но, как ни пыталась, так и не смогла поверить в Христа и Богоматерь столь же глубоко, как я верила в нацистов, или моя мать в детстве верила в чертей. Нацисты были пугалами для меня, а не черти[161].

Примерно в это же время у меня начались проблемы с аллигаторами. Теми, что жили у меня под кроватью. Очень долго я чувствовала себя в безопасности, когда ни единый кусочек тела

не служил приманкой, не свисал с края: этого хватало. Я крепко прижимала руки и ноги к туловищу и туго заворачивалась в одеяло. Никто из знакомых мне детей не был настолько глуп, чтобы свесить руку с кровати даже в самую жаркую погоду. Но примерно в это время аллигаторы начали действовать. Когда я ложилась спать, мне приходилось на цыпочках бежать через спальню, делая большие прыжки, и наконец валиться в постель. Через несколько ночей они включились в игру. Чтобы их опередить, я прыгала все дальше и дальше. Почистив зубы и пописав напоследок, я шептала: «На старт…внимание…марш!», выскакивала за дверь ванной, разбегалась в коридоре и с порога прыгала на четыре фута прямо к изножью кровати.

Отец не пытался убедить меня, что никаких аллигаторов нет; вместо того он занялся моим дыханием. Он клал мне руку на живот, чтобы определить, грудное ли у меня дыхание — мелкое, напряженное и болезненное, или брюшное — глубокое и здоровое. Он учил меня той же технике дыхания, какой юный Симор учит свою семью в «Хэпворте»: один вдох надо делать через левую ноздрю, закрыв правую; следующий — наоборот. Еще он советовал перед сном произносить вслух или про себя на вдохе слово «хонг», на выдохе — «ша». Или же слово «ом»[162].

Релаксация и дыхательные упражнения могли бы помочь, если бы проблема состояла в том, что мне трудно заснуть. Но засыпала я легко: почти весь год вечерние звуки полей и лесов баюкали меня. Приятнее всего было слышать, как коровы Дэя возвращаются на ферму для вечерней дойки. Когда они проходили одна за другой по тропинке, я узнавала их по звону бубенчиков, болтавшихся у каждой из них на кожаных ремешках; эти бубенчики выковывались вручную и различались по звуку; под конец я слышала всю изумительную симфонию, когда они удалялись, направляясь домой, в хлев.

Моей тайной бедой были сновидения, которые запутывали меня настолько, что я не могла найти дорогу обратно к яви. Чем упорнее я боролась, тем плотнее паутина оплетала меня. Мне бывало так страшно, что даже сейчас не хочется об этом писать. Меня всегда мучили ужасные кошмары, но в какой-то момент стала меняться их структура: грань между сном и явью, когда-то плотная дверь, которую я могла за собой захлопнуть, начала чудовищно прогибаться[163]. Когда сны обступили меня плотным кольцом, я начинала самую настоящую Битву за выступ[164], чтобы вырваться из ловушки. Например, я просыпаюсь посреди мучительного кошмара и лежу в своей кровати — влажные волосы прилипли к затылку, словно водоросли к голове

утопленника, — и радуюсь, что наступило утро, что кошмар позади. Через несколько минут замечаю: что-то немного сместилось, что-то не так. Потом, к моему ужасу, убеждаюсь, что все еще сплю. Этот ад мог претерпевать пять, или шесть, или семь превращений; иногда я успевала почистить зубы и выйти к завтраку и только тогда обнаруживала, что все еще сплю, что ужас вот-вот начнется снова. И снова.

Моя жизнь во сне была Алисиной Страной чудес, Зазеркальем, где отображалось все, что происходило со мной наяву. Перед лицом превосходящих сил противника ребенок, как хорошее воинское подразделение, жертвует частью или частями, чтобы сохранить целое. У некоторых начинается самое настоящее умножение личностей. А другие собирают коллекцию осколков, или «черепкового народца», как я называю мои отколовшиеся личности. На первый взгляд, эти частицы меня, брошенные при отступлении, умирают или, во всяком случае, пропадают навсегда. Некоторые действительно умерли в изгнании, каждая на собственном бесприютном острове, еще в детстве. Другие живы, но пропали без вести. Долгие годы с помощью врача и друзей я объезжаю этот архипелаг, взывая: «Ау, ау, выходите».

Вести об умерших и пропавших без вести приходят ко мне во сне — это настоящие послания в бутылках. Мне было уже под тридцать, когда я снова, как в детстве, стала влипать в паутину снов и впервые по-настоящему умерла. Это явилось для меня ударом: я твердо верила, что во сне умереть нельзя, что спящий всегда просыпается перед тем, как долетит до дна пропасти[165]. Я долетела. Нацисты привязали меня к столбу, потом разожгли у меня под ногами костер. Я чувствовала, как горит моя плоть[166]; мучительная, ужасная, неописуемая боль — пламя лижет мне ноги, подбирается все выше и выше. Когда пламя достигло паха, я легко покинула свое тело. Не болезненным рывком, как обычно себе воображают. Я просто выскользнула из тела и смотрела, как оно горит. Я знала, что умерла. Когда я проснулась, сон показался мне таким реальным, что я подумала, — а не вторгся ли сюда опыт предыдущего существования, если верить в такие вещи?

Когда я умерла во сне в следующий раз, это была именно я, а не какая-нибудь прошлая реинкарнация. Я убедилась в том, что мне нужно в собственной жизни искать объяснения и помощи. Я была в ужасе. Меня схватили два огромных металлических существа. Не говоря ни слова, они строили всех в колонну, и мы шли и шли, пока не поднялись на вершину холма, и тут я увидела пилораму у края скалистого обрыва. Люди потоком движутся к этой пилораме, голова к голове, как бревна, пока не достигают высшей точки: там металлические существа орудуют

циркулярной пилой, отрезая всем головы. Тела падают со скалы, и река уносит их из поля зрения. Когда пила приближается ко мне, я чувствую, как ее зубья вонзаются мне в горло; а когда я лечу со скалы, начинает сосать под ложечкой, как на карусели, или в постели после попойки, когда комната вращается вокруг тебя. Когда я достигаю реки, сознание начинает меркнуть, медленно, плавно; и вот я плыву по течению. Вижу, как поверхность воды расступается, а я пропадаю, гасну, как звезды на рассвете; проваливаюсь в пустоту.

11
«Пусть живые существа неисчислимы, я клянусь спасать их» [167]

В декабре 63-го мне исполнилось восемь лет. Зимние дни рождения в Нью-Гемпшире — это не Бог весть что. 11 мая, в день рождения Виолы, мы устраивали пикник и играли в поле. В декабре те дети, чьи родители имели возможность заехать на холм по крутой заснеженной дороге, играли у нас в гараже. Он отапливался, худо-бедно, однако на пикник это нисколько не походило. Я точно не помню, кто тогда пришел, только Виолу помню, конечно, — и только она, одна из всех, заметила, как я выскользнула наружу и уселась на лестнице, ведущей в квартирку отца над гаражом. Виола села рядом. Я себя чувствовала как-то до странности скверно.

Виола пошла и привела мою мать, и следующее, что я помню, — больничная койка в Виндзоре, Вермонт, и мне говорят, будто у меня в ушах пузыри. Я провела в больнице несколько дней, включая настоящий день рождения, и смутно помню, как лежа разворачиваю какой-то подарок, вот и все. Не припомню особой боли, скорее чувство нереальности происходящего, как в тех моих снах, которые подражали реальности и повторялись раз за разом, неизменно и неизбывно, как телевизионное шоу «Узница». Мне бы было гораздо лучше, если бы мне все объяснили как следует — несмотря на лихорадку и прочее, я обрела бы твердую почву в мире биологии, тех прудов, которые я так любила. Пузыри в ушах; я плыла, качалась по волнам болезни, пока они не превратились в радужные шарики и не лопнули.

Не помню, как меня привезли домой из больницы. Даже здоровому человеку в декабре нелегко устоять на земле здесь, на севере, среди снегов и вечных серо-белых сумерек, среди электрического света, который дома включали сразу после ленча, а занятия в школе и начинались, и заканчивались, когда за окном было совсем темно. Мой ум рассыпался сухой снежной крупой; порывистый ветер нес его по жесткому ледяному насту, сковавшему снег, который лежал на лужайке слоем в несколько футов. Кто-то другой появлялся в школе и сидел за моей партой; наверное, моя тень играла на поблекшей в сером зимнем свете площадке. Под мерцающим, пляшущим светом люминесцентных ламп мой ум еще и теперь блуждает.

Зимняя спячка. Все эти длинные месяцы, январь и февраль, я

лежу в анабиозе, в пороговом состоянии, как рыба в холодном иле на дне замерзшего пруда, — и доживаю до марта. И тут мир над моими глазами превращается в пятнышко голубого морозного света в конце длинного-длинного туннеля. Я начинаю ощущать сырость. Меня пробуждают запахи мокрого дерева и глубокой бурой грязи.

Снег таял, и я все острей ощущала: надо спешить, ибо там, где есть жизнь, а не просто задержанная на экране картинка, там в разных обличьях выступает и смерть. «Пусть живые существа неисчислимы, я клянусь спасать их». Каждую весну мы с Виолой брали стеклянные банки и вступали в битву с суровой жницей, забиравшей жизни выползших на дорогу червей, птенчиков, выпавших из гнезда; гусениц, которые переползали через шоссе, и той икры, которую глупые лягушки отложили в высыхающих лужах.

Моя мать удивительно много помогала нам в этих спасательных операциях. Она отдавала нам старые коробки из-под обуви, куда мы клали червей, и разрешала выкапывать из ее сада черную, жирную землю, которая почему-то пахла кофейными зернами. Когда мы принесли домой куколку бабочки вместе с веткой, которую какой-то мальчишка сорвал с дерева, мать показала нам, как ее устроить. Мы взяли банку из-под меда, проткнули крышку для доступа воздуха, выстлали дно влажной зеленой промокашкой и положили туда куколку на ее прутике. Покончив с этим, мы с Виолой решили подняться на холм и посмотреть, что творится на нашем секретном пруду в этот год. Теперь это был наш пруд, не Дэя. Мистер Дэй, фермер, живший внизу у дороги, умер, и у кого-то возник зловещий проект устроить на этом участке трейлерный парк. Отец заложил все, что у нас было, и купил участок, так что теперь наши владения составляли 450 акров. Поход к пруду — не простая прогулка, а получасовый подъем. Мы обнаружили этот пруд в прошлом году, идя по следу видения. Видение явилось нам, когда мы шли вверх по холму, и туман поднимался от снега, еще лежавшего под можжевеловыми кустами, где он тает позже всего. Там, среди тумана, стояла крепкая белая лошадка, встрепанная и грязная, а рядом с ней — небольшой бурый ослик. Они стояли смирно, точно застыв среди остро пахнущих елей и темно-зеленых сосен, и тишину нарушал один-единственный звук: капли талой воды стекали с кончиков сосновых иголок по мере того, как солнце отогревало заиндевевшую, мерзлую кору. Я не была уверена, настоящие ли эти лошадь и осел. Я обернулась к Виоле и поняла, что та их увидела тоже — значит, либо мы обе спим, либо это не сон. От ноздрей ослика поднимался пар, и я, будто в ответ,

выдохнула воздух, машинально, словно сдерживая зевок; я сама не заметила, когда затаила дыхание. Если бы они растворились в воздухе, исчезли, я бы, наверное, проснулась. Но они не спеша направились вверх, мы пошли следом и наткнулись на маленький пруд, где лошадка и ослик остановились попить.

В этом году мы не увидели ни лошади, ни осла, но сомневаюсь, чтобы поздней весной им удалось найти в этом пруду хотя бы глоток чистой воды. Уровень упал куда ниже прошлогоднего, и это была уже не вода, а жидкая каша, кишащая жизнью. Она была настолько переполнена живыми тварями, что в пруд было не ступить ногой. (А мы не были брезгливыми. За домом Виолы мы радостно плавали в речке, в которой нам купаться не разрешалось: говорили, что там полно пиявок.) Плотные массы лягушачьей икры, прозрачного студня с крохотными черными точками, боролись за жизнь среди отступающей воды, цепляясь за водоросли у самого берега. На одном из клубков водорослей мы обнаружили уже почти высохшую зеленоватую массу с плотными красными точками: такой мы еще не видели. Мы собрали немного такой икры в банки, стараясь не разрывать ячеек. В отдельную банку мы поместили семерых тритонов, и все это понесли домой.

Икру и тритонов я держала у себя, думаю, потому, что моя мать не возражала; мать Виолы была куда более брезглива. Мы устроили аквариум, налили туда воды и положили камней, на случай, если тритоны позже превратятся в красных саламандр. Они жили у нас несколько месяцев, но однажды утром я спустилась вниз и обнаружила дохлого тритона, всплывшего на поверхность. На следующее утро — еще одного. На третье утро я спустилась раньше обыкновенного и поймала убийцу с поличным. Один из моих тритонов, самый тощий, взбесился: сжал задними лапами шею самого большого тритона и медленно душил его, не ослабляя смертельной хватки. Как я ни пыталась, но не смогла оторвать эти лапы от горла жертвы. Ухватила пальцами за голову — бесполезно. Раздавить эту упругую плоть в склизкую кашицу — на это я просто не была способна. Наконец, я вытащила голову душителя из воды и держала так целый час, мне кажется, и в конце концов он разжал лапы. Другой тритон пошатывался — поверите ли вы, что тритон может пошатываться? — но был жив.

Я выловила сеткой оставшихся тритонов, поместила их в банку, отнесла на вершину холма и выпустила в пруд. Но Убийцу оставила — пусть Корнишский Душитель лучше живет один в аквариуме, чем гуляет на свободе. Он прожил невероятно долгую жизнь.

На лето 1963 года пришелся пик семилетней засухи. Из колодцев уходила вода, пруды высыхали. Однажды я пошла к ближайшему ручью набрать дикого водяного кресса: он всегда там рос в это время года. От ручья осталась полоска жидкой грязи. Тогда я решила пойти посмотреть, что делается на другом ручье, протекавшем дальше в лесу. Я перепрыгнула через грязную канаву и пролезла под колючей проволокой, которой было огорожено поле. От ферм, которые раньше стояли на нашей земле, осталась масса старых, проржавевших изгородей из колючей проволоки. В доказательство могу предъявить шрам на лодыжке — он стоил мне множества уколов против столбняка.

Через несколько минут я дошла до того места, где ручей впадает в маленькое озерцо, которое всегда высыхает в конце лета. В этом году оно почти высохло уже весной. Я увидела скопища обреченных головастиков. У них никогда не вырастут ноги: пруд раньше высохнет. Со мной была моя верная банка, и я знала, где, в другой части леса, еще есть вода. Одна-единственная маленькая банка — и тысячи, миллионы головастиков, черных, блестящих, копошащихся в лужицах глубиною в полдюйма, которые непременно высохнут самое большее через неделю-две. Как ученица волшебника, я сновала взад и вперед: наполняла банку головастиками, потом бежала, вся в поту, не чуя под собой ног, десять минут туда и десять обратно, от умирающего пруда к болотцу, где сливаются три ручья. Наконец, я рухнула на землю. Я больше не могла. Я лежала, и на совести моей оставались тысячи неизбежных смертей.

Я мгновенно лишилась чувств и проспала на сосновых иголках неизвестно сколько времени. Потом проснулась, свежая, отдохнувшая, встала, прошла мимо пруда, стараясь даже не глядеть в ту сторону, и стала взбираться по двадцати пяти футовому гранитному склону: двадцать тысяч лет тому назад здесь прошел ледник, потешаясь над тем, что камень воображает себя твердой субстанцией. По дну узкой долины, лежавшей внизу, протекал ручей, а дальше снова вздымалась гряда, где среди огромных валунов росли деревья.

В этой долине, у подножья гряды, сохранились два каменных колодца и еще какие-то сооружения из глыб, явно воздвигнутые человеческими руками. Это наполняло меня диким восторгом. Мать говорила, что колодцы остались с колониальных времен, а может быть, еще от индейцев. Колониальные времена, индейцы, пещерные люди, динозавры, Джонни Квест — все смешалось у меня в голове. Когда я забиралась в эту часть леса, я чувствовала, будто вхожу в затерянный мир. Я обогнула скалу и спустилась в долину по берегу ручья. Потом взобралась на противоположный

склон и села на старую березу, которая как раз в этом месте разделялась на три могучих ствола, и со своего высокого насеста глянула вниз на старые колодцы. Я принялась воображать себя первобытной женщиной, полуобезьяной, какую я видела в Музее естественной истории. И такова была сила воображения, что через короткое время все следы моей прошлой жизни померкли в сознании. Исчез мой дом, дорога к дому, теннисные туфли, розовая кожа, имя; я стала дикой, волосатой женщиной-обезьяной. Я жила в скалах, я пряталась в них, ища защиты. Сердце заколотилось в груди при одной мысли о насильниках. И вот я услышала их шаги.

Я взобралась на самое высокое место, я напрягла мускулы, я ждала, готовая обрушить на их головы град камней. Глазами обшарила местность в поисках пути к отступлению — в случае, если насильников будет слишком много. И увидела их на дальнем уступе. Внутри у меня все похолодело: их было по меньшей мере двадцать, и они направлялись прямо к старым колодцам. Я подхватила мою дубинку и помчалась бесшумно — только кровь стучит в висках, да свистит в ушах ветер; я бежала, спасая жизнь, по руслу высохшего ручья, через лес. Добежала до болотца и, чтобы сбить врагов со следа, бросилась в него; осока хлестала по лицу, царапала ноги. Жжение и боль я ощутила позже, когда успокоилась.

Увидев наш колодезный домик,[168] я резко остановилась. Сюда не разрешалось ходить. Подобравшись к окошку, я чуть не отважилась заглянуть внутрь. Мне никогда не приходило в голову, что подходить к колодезному домику мне не разрешали ради моей собственной безопасности. Я подумала, вернее, у меня мелькнула мысль, что кого-то убили, и труп сбросили в колодец — вот почему мы больше его не используем, и вода в нем плохая, ржавого цвета. И я все же не стала туда заглядывать. Моя дубинка бессильна против раздутых тел.

За колодцем начиналась старая просека, которая вела к дороге. Когда я вышла на залитый солнцем, весь в пятнах лиственной тени, проселок и увидела знакомые травы, кусты и березы, я снова обернулась девочкой — тело, поросшее шерстью, стало розовым, голая грудь — плоской, копна спутанных волос превратилась в расплетшиеся косички, и я начала подумывать о бутерброде с колбасой и горчицей.

Однажды, бродя по лесам, я услышала, что меня зовет мать. До обеда было далеко, и я побежала к дому, чтобы узнать, в чем дело.

— Маргарет Энн Сэлинджер, где ты болталась. Я звала тебя сто раз. Мы теперь опоздаем на день рождения Уильяма. Нет, вы

посмотрите на эту растрепу! Быстро иди переоденься и принеси мне сюда щетку для волос. Твой розовый сарафан — на кровати. И носки поменяй, и башмаки тоже!..

Я любила этот розовый сарафан в белую полоску. Он был совсем без рукавов, в сборочку, и когда дул ветер, юбка так красиво вздувалась. Если бы мне разрешали носить крахмальные нижние юбки, как у Виолы, было бы похоже на настоящий кринолин. Еще я была рада услышать, что день рождения Уильяма будет у Платтов, наших друзей, а не в музее Сент-Годенса,[169] где он жил летом: его отец и мать там служили смотрителями. В музее мне нравилось, но мы с Уильямом вечно умудрялись что-нибудь натворить, когда играли там вместе. Это он придумал оборвать все цветы, и мы буквально зарылись в охапки вырванных с корнем оранжевых лилий. А дело было перед самым открытием галереи. «Ты получишь такую трепку, что вовек не забудешь». За лето до этого наши с Уильямом матери выбежали из домика смотрителя вне себя от ужаса. Некие пожилые леди, совершавшие экскурсию по историческим местам, были *страшно* смущены. Вроде бы двое детишек, раздевшись догола, плавали в бассейне с золотыми рыбками, украшавшем ротонду, а один ребенок забрался на каменную черепаху, из которой лилась в бассейн вода, и пытался пустить свою струю как можно дальше, — и это не был Уильям. «Вот погоди: приедем домой — и ты получишь такую трепку, что вовек не забудешь». А в лето до этого Уильям мне показал блестящие треугольные листочки и сказал, чтобы я натерлась ими с ног до головы. Я попала в больницу, дико обстрекавшись ядовитым сумахом — не забыла потереть и в паху. Никто из врачей никогда такого не видел. «Ты что, голая каталась по нему?» — спрашивали доктора. А в другой раз наши матери пили чай в благовоспитанном дамском обществе, и когда одна из дам выглянула в окно, то увидела, как мы с Уильямом, спустив штанишки, играем в лесного доктора. Думаю, у нее глаза были, как рентгеновские лучи. Ведь мы спрятались в гроте, за целые мили от дома — так, во всяком случае, мне казалось. «Мне было так…*стыдно*. Вот погоди: приедем домой — и ты получишь такую трепку, что вовек не забудешь». Самое раннее воспоминание о наших катастрофических визитах туда: я сижу на огромной куче игрушек, которую сгребла под себя, горько плачу, но никому не позволяю играть. Братик Уильяма, тогда еще в штанишках с подгузником, вбегает и говорит: «Ну *какая* ты жадина…»

В тот год Уильяму исполнилось восемь лет; приехавшие в гости детишки спустились на лужайку Платтов, и им было сказано забраться в тележку, прицепленную к трактору: Уильям

собирался покатать нас по полям. Разогнался будь здоров, а потом резко свернул влево. Тележка перевернулась, Стефани Яцавич всей тяжестью свалилась на меня, на мою правую руку, вытянутую, потому что я крепко вцепилась ею в бортик. Никто вроде бы не пострадал. Но с моей правой рукой случилось что-то ужасное. Эту, как будто чужую, руку я подхватила здоровой рукой, стала укачивать, словно ребенка. Потом пошла через поле, к взрослым, которые остались дома. Заметила, огорчившись, что моя красивая розовая юбочка теперь вся красная. Плоть моя приобрела странные очертания: кость как будто выгнулась, вся рука побагровела и вздулась, как живот у беременной кошки. Я сказала матери Уильяма, что лучше бы отвезти меня в больницу. Прямо сейчас.

Вместо того она везла меня три мили по горной дороге — к нам домой, спросить, что делать. Да ведь я уже *сказала ей*, что делать! Я залезла в машину, и мама повезла меня в Хановер, за двадцать миль. Я всячески крепилась, хотела удостовериться, что довезу мою руку до больницы, но у Лебанона потеряла сознание.

Какой-то идиот вывернул мне руку, помещая ее под рентгеновский аппарат. Жуткая боль, вопли. Они это делали адски, бесконечно долго. У меня был сложный перелом: одна кость раздроблена, другая вылезла наружу и запачкалась в грязи. На лицо мне положили маску. Медсестра бодрым голосом стюардессы велела *считать*! Господи боже! Нашла время.

Через секунду (на самом деле, как мне потом сказали, я провела шесть часов на операционном столе) маску сняли с моего лица, и я услышала, как переговариваются и чему-то смеются медсестры. Полагаю, они не знали, что я могу их слышать, потому что удивились и даже смутились немного, когда увидали, что глаза у меня открыты. «Смотри-ка, очнулась». На соседнем столе лежала старуха, и у нее из носа торчали трубки. *Жуть*. Это было последнее, что я помню, — потом снова наступила тьма, и я услышала, как кто-то страшно стонет, и это была я, и меня беспрерывно рвало. (В те времена эфир был основным обезболивающим средством, и он после применения вызывал ужасную, дикую тошноту.) Боль была такая, что я молчала и даже не плакала. Только стонала. Мама сидела со мной в палате. Кровать была только одна. Дни проходили, а я оставалась в забытьи. Когда я смогла наконец произнести какие-то слова, и во рту у меня вместо вкуса желчи появился вкус имбирного пива, я так перепугалась, что чуть не заплакала.

«В чем дело? — спросила мама. — Может быть, вызвать сестру?» Она стояла у моего изголовья, справа. «Мама, я не знаю, во сне я или наяву». Она взглянула на меня и сказала медленно,

спокойно, глядя мне прямо в глаза: «Это неважно». Я перевела дух, меня прямо-таки передернуло от облегчения. Точно не знаю, почему, но эти мамины слова принесли мне больше пользы, чем все, что я слышала до сих пор за всю мою жизнь. Не так уж, стало быть, все и скверно.

Через неделю или около того меня перевели из отдельной палаты в детское отделение. Моя койка стояла у окна, дальше всего от двери. Девочка слева от меня вертела головой, чтобы скорей заснуть. Я подумала, что это здорово, и решила попробовать, но у меня всего лишь закружилась голова. Напротив, через проход, лежала девочка с псориазом, вся намазанная дегтем, который смердел до небес. Мама, наконец, уехала домой, а до этого долго спала на стуле в моей палате, чем, как она говорила, персонал был весьма недоволен. Тогда это не было принято. Они с папой стали по очереди навещать меня: день — он, день — она, в приемные часы. Однажды девочка, перемазанная дегтем, сердито сказала папе: «Доктор, почему вы приносите подарки только *ей*, это нечестно».

Уф! Утки и постельные ванны. Нянечка, которая в первый раз мыла меня, протянула мне губку, сделав почти все, что я и сама могла бы сделать одной рукой. Растягивая слова, присюсюкивая, она сказала: «Ну вот и славненько. Теперь сама вымойся посередке». И ушла, задвинув занавески. Посередке *чего*? О…о, боже!

Пришел, наконец, тот торжественный день, когда мне разрешили встать и самой пойти в туалет вместо того, чтобы садиться на судно. Я также могла пройти по коридору в комнату для игр. Как только мне разрешили вставать и ходить, у меня возникло стойкое впечатление, будто я стала невидимкой. Медсестры и врачи с тележками и подносами сновали по коридорам, вовсе не замечая меня. В этом не было ничего неприятного — будто гуляешь в лесу, где звери заняты каждый своим делом. «Пусть живые существа неисчислимы, я клянусь спасать их».

Я заметила какого-то человечка. То был мальчик, очень маленький, в больничном халатике, но без подгузника и без трусиков. Он топал к комнате для игр, вроде бы заблудившись. Он тоже был невидимкой, но мы друг друга видеть могли. Я взяла его за руку и отвела в комнату для игр, а там довольно долго, насколько мне показалось, играла с ним и за ним ухаживала. В какой-то момент возникла медсестра с мензуркой, в которую он должен был пописать. К его халатику была прикреплена карточка: «Не давать жидкого. Почечник». Я не знала, что это такое, но, наверное, что-то связанное с мочой. Я в этом окончательно

уверилась, когда в какой-то момент полы его халатика разошлись. Пенис его был похож скорее на трубку, чем на пенис (теперь я понимаю, что он просто был не обрезан, но я таких до сих пор не видела), и я подумала, что малыша привезли в больницу, чтобы это дело поправить. Он захотел на ручки. Я его прижала к бедру здоровой рукой и отнесла в свою палату. Я все время боялась сделать ему больно, как-то повредить его пенис, и очень осторожно несла малыша, но этот орган, казалось, ни капельки его не беспокоил. Я усадила его на свою кровать. Легла сама, обняла его, и мы вместе стали смотреть книжки, которых я набрала в комнате для игр. Во время ужина нянечка сказала: «Ах, вот ты где», — подхватила его и понесла прочь из палаты. Он помахал мне ручкой из-за ее плеча. Сами угадайте, кто на следующее утро заглядывал ко мне под одеяло, терпеливо дожидаясь, пока я проснусь.

Возвращение домой было ужасным. Мама старалась ехать медленно, но при левых поворотах тело мое вспоминало, как перевернулась тележка. Я с этим ничего не могла поделать. Я была уверена, что машина тоже перевернется и рухнет в придорожную канаву. Мы наконец доехали до дома, и я надела новую пижамку со сборочками — кофта на плечах завязывалась тесемочками, ее легко было просто накинуть и завязать, загипсованная рука не мешала. Бантики были прелестные. Завязывая их, мама сказала: «Я так и знала, что с тобой стрясется что-нибудь в этом роде: ты в последнее время себя очень плохо вела».

12
Видения

> *…те две манящие, узенькие дверцы в моем воображении пока вовсе не собираются закрываться; быть может, пролетит еще год-другой, и все переменится. Если бы это зависело от меня, я бы сам с радостью прикрыл эти дверцы; ведь всего три или четыре раза видения вроде этого стоили ущерба, который они наносят нормальности и блаженному душевному миру человека…*
>
> *Шестнадцатый день Хэпворта 1924 года*[170]

В этом своем письме из лагеря Симор щедро, всем подряд раздает советы, основываясь на «видениях» из прошлого и будущего, железно уверенный в правильности своих прозрений. Он, например, советует матери не бросать сцену до определенной даты в следующем году; наставляет трехлетних братьев-близнецов относительно «выбора профессий»; обсуждает такие проблемы, как девственность лагерной медсестры, будущее пристрастие к алкоголю соседа по комнате и тому подобное. И это не попытки угадать, будет завтра дождик или нет. Симор предвидит приливы и отливы кармических морей, как будто пересказывает вчерашние новости.

Расстояние между его прозрениями и моими столь же велико, как и разница в круге нашего чтения в третьем классе. Я никогда не доверяла тем, кто утверждает, будто имеет прямой доступ к Богу и отличную обратную связь. Из своего опыта я знаю, что большинство видений столь же несовершенны, как и вся наша реальная жизнь. Они как радиопередатчики на поле боя: в эфире полно помех[171], а если вам и удается разобрать сообщение, оно касается самых нелепых, незначительных вещей — например, я угадала глубину колодца, который у нас бурили. Несколько лет вода еле текла из крана тонкой ржавой струйкой, и в конце концов отец решил отказаться от питаемого ключами колодца и пробурить в скальной породе артезианскую скважину. Его совсем

не радовали расходы, особенно если учесть, что в это же время он строил себе новый дом у подножия холма (крохотная квартирка над гаражом перестала его удовлетворять). Бурильщик пришел и сказал:

— Бурить, наверное, придется на несколько сотен футов. И гарантии никакой, — тут сплошной гранит.

— Где вы будете бурить? — спросил папа.

— Пока не знаю. Сначала надо разведать.

Бурильщик оглядел пару деревьев и нашел то, что ему было надо: крепкую, но гибкую раздвоенную ветку. Вынув из кармана большой складной нож, он эту ветку срезал. Потом медленно, методично, хотя с виду непринужденно, стал расхаживать по участку, держа ветку параллельно земле за оба конца.

Благоговейно, как новообращенный спрашивает учителя, отец осведомился:

— Как вы этому обучились?

— Моя мать была водознатчицей. Она мне все показала, когда мне было столько, сколько вашей дочурке.

В каких-то местах ветка начинала легонько подрагивать и клониться к земле.

— Видите? Здесь под нами водяная жила, но она слабая. Пойдем дальше.

Через какое-то время он нашел подходящую жилу и остановился.

— Вот здесь вода по-настоящему хорошая. Чувствуете? — Он передал прутик отцу. — Нет, не так, опустите пониже. Не слишком нажимайте, иначе сломаете; но если поднять выше, вообще ничего не почувствуете.

Мы с папой несколько дней подряд ходили с прутиком по участку и действительно чувствовали, как его тянет вниз, — и именно в местах, указанных бурильщиком. Через пару дней он явился со своим оборудованием, и вся семья собралась посмотреть. Он предположил, что бурить придется футов на двести пятьдесят. Каждый из нас назвал свою цифру, и мать все это записала, чтобы потом посмотреть, кто угадал. Отец назвал триста футов; мать — двести; братик — четыре (это число появилось не случайно: столько ему было лет), а я сказала, что скважина будет глубиной в девяносто восемь футов.

Именно через девяносто восемь футов, с точностью до дюйма, пошла вода. Бурильщик поклонился мне — снимаю, мол, шляпу — и сказал:

— Вот, Джерри, она у тебя маленькая ведьма по части воды.

Что во многих семьях могло показаться любопытной особенностью, для Сэлинджеров, включая меня, было в порядке

вещей — бурильщик ведь тоже говорил, что какие-то люди просто имеют от природы такой дар. Если ты *знаешь*, что бурить надо на девяносто восемь футов, доказывать это даже смешно — вроде тех «опытов» в школе, результат которых известен заранее. Эти «видения» ничем не похожи на «эврику» научных открытий или на восторг, который охватывает тебя, когда ты побеждаешь в азартной игре, — как, например, в тот раз, когда на городском аукционе я угадала, сколько шариков в банке, и получила их все как приз.

Но однажды ночью, посреди долгой засухи, эти мои способности сослужили хорошую службу. Я лежала и вглядывалась в темноту. Всю неделю мне были видения: перед глазами стояли елки, рождественские елки, установленные посреди лужайки и объятые пламенем. Думаю, постоянная опасность ведет к развитию такого рода чувствительности. Ты начинаешь слышать не только ушами. Как дикий зверь, я чуяла опасность в следах на земле и в дуновении ветра. В эту ночь воздух был настолько насыщен электричеством, что пушок на моих руках встал дыбом. Я лежала и вглядывалась в темноту.

Когда мать подожгла дом, я первая учуяла дым, побежала в комнату братишки и твердо сказала: «Мэтью, проснись. Нам нужно отсюда уходить». Может быть, мама и кричала «пожар» — я, право, не помню. Все мое внимание занимала маленькая ручонка в моей руке — во что бы то ни стало мы должны были добраться до входной двери, пока не поздно. Я не знаю, проснулся ли Мэтью или продолжал спать. Иногда нельзя было понять, спит он или бодрствует: например, он заходил ко мне в комнату и писал на стенку, думая, наверное, что пришел в туалет; так что я крепко держала его и на ощупь спускалась по ступенькам. Горела другая лестница, та, что вела на кухню. Мать находилась по ту сторону пламени. Она крикнула: «Сходи за папой. А я позвоню пожарным». Помню, я еще подумала, что это безумие: оставаться там и звонить, ведь огонь в любую минуту мог отрезать пугь к двери. Я выгнала на двор кошек, и они, к моему великому облегчению, ушли. И я следом за ними ступила в теплую осеннюю ночь, крепко держа брата за руку.

Новый дом отца располагался в полумиле от нас, идти туда нужно было вниз по крутой и каменистой проселочной дороге. В долине, лежащей между двумя холмами, стало так темно, что лишь искры плясали перед моими глазами, а больше я не видела ни зги. Такая тьма бывает только в деревне. Что я больше всего люблю в городе, так это то, что там никогда-никогда не бывает такой непроницаемой темноты. Мы были в пижамах, босиком; Мэтью наколол ногу об острый камень и разревелся. Я что-то

рассказывала ему, пела песни, чтобы было не так страшно. Мы пришли к папе и сказали, что наш дом горит. Он сразу отправился туда, и мне потом рассказали, что они с матерью сами заливали огонь из шланга — пожарные явились только через полчаса. Где-то среди ночи папа вернулся с пожара и отвез нас в Плейнфилд, к Джонсам, а сам поехал обратно. Не знаю точно, где была мать. Позже она говорила, что не хотела оставлять дом — боялась, что растащат все ценное. Папа, наверное, привез мне из дома какую-то одежду, потому что на следующий день в школе от меня сильно пахло горелым. Одежда моя не сгорела, но еще долго воняла, и довольно сильно.

У меня и мысли не было, что пожар мог возникнуть случайно, я была твердо убеждена, что дом подожгла мать. Я сама пришла к этому выводу. Теперь она говорит, что я была неправа. Возможно, но тогда ее никто не обвинял, а она не спешила ничего объяснять. Только через несколько дней я, сделав большие глаза, передала отцу мамину версию: пахло горелым, но она не обращала внимания, потому что решила, что это мои игрушечные фигурки, которые ты, папа, обжигал в духовке.

Пожарные установили, что огонь вспыхнул в кладовке, в прихожей: спальный мешок лежал слишком близко от электрической лампочки. Это, конечно, дает матери право отрицать, что она имеет к пожару какое-то отношение, но отец мою точку зрения разделял. Он подумал на мать именно потому, что пожар начался в кладовке, где хранилась вся ее одежда. Отец сказал, что она намеренно устроила пожар, чтобы обновить свой гардероб. Другим способом ей было не добиться денег на новые тряпки. Этот случай только подкрепил его давнюю убежденность в том, что женщина на все способна ради тщеславия.

Как только рабочие худо-бедно отделали комнаты, папа забрал меня и брата от соседей, приютивших нас. Забросил к дому, к самому краю скалы над пропастью, а потом поехал к себе, в свое одинокое жилище, — работать.

Первый этаж стоял пустой. Наверху царил ералаш. В ванных комнатах розетки, зубные щетки и все прочее расплавились, растеклись и застыли широкими лужами черного, перекрученного пластика. Все было вверх дном. Я обнаружила своих гербилов[172] мертвыми, они остались запертыми в клетке, не смогли выбраться и убежать, когда огонь охватил комнату. Я долго думала о них, я их жалела.

13
«И дни, и ночи напролет»

Она узор волшебный ткет…

Альфред лорд Теннисон.
Госпожа Шалота

После пожара я принялась читать так жадно, словно моя жизнь зависела от этого. Я таскала книги в школу и читала их там, положив под ужасные, завернутые в коричневую бумагу учебники, делая вид, что читаю именно их, эти скучные тома, по страницам которых бродили вызывающе нудные первые переселенцы и толпы нарисованных индейцев, так же, как и белые, одетых с ног до головы. Когда я исчерпала ресурсы детской библиотеки в Плейнфилде, мать стала возить меня за двадцать миль, в Хановер, где мне выдавали по шесть книг на неделю. Книги, которые я выбирала, служили воротами в иные миры — путешествия по чужим странам, путешествия во времени, путешествия в другие галактики, путешествия в страну снов. «К востоку от Солнца и к западу от Луны», «Хроники Нарнии», «Пятеро в пещере контрабандистов», «Тайна Старого Южного озера», «По ту сторону северного ветра», «Бриллиант в окне», «Призрак колокольни», «Складка во времени», «Тэл», книги о волшебнике из страны Оз. Благодаря последним я даже нашла выход из моих кошмаров. Каким-то чудом у меня получилось перенять у Дороти ее технику. Теперь мне достаточно было трижды щелкнуть пятками, закружиться, вихрем пронестись сквозь галактику, прочь из сна, к земному шару, затем к расстеленной географической карте, затем к Корнишу и крыше нашего дома — и наконец рухнуть в свою постель и проснуться. Я нашла ключи, которыми отпирались двери снов, и могла теперь выходить и входить по собственному желанию.

Мои вымышленные братья и сестры, дети семейства Глассов, с их ранним развитием и взрослым кругом чтения, оказались, думаю, в какой-то мере обделенными, лишив себя этих захватывающих детских книг.

Отец иногда возил меня с собой в библиотеку Дартмутского колледжа, где он рылся на полках и время от времени брал какие-то книги. В летнюю жару там всегда царила прохлада, зимой же — уютное тепло; а еще там чудесно пахло пылью, лимонным

маслом и старой кожей. Туда вела вращающаяся дверь, сама по себе изумительная, а за нею начиналось обширное пространство покоя, и пол — хотите — верьте, хотите — нет, — состоял из больших черных и белых плиток, словно уходящая почти в бесконечность шахматная доска. Папа научил меня играть в шашки, и мне это нравилось, особенно когда я выигрывала; а также в шахматы, но эта игра мне казалась слишком длинной, и я любила только слонов, которые ходили по диагонали. Пока папа рылся на полках, я с наслаждением играла в разные игры на этих черно-белых клетках.

Там, где клетки кончались, сразу за главным холлом, за длинными столами, под лампами, которые отбрасывали уютные кружочки света, читали студенты. Оттуда я по клеточкам, словно играя в классы, отскакивала назад, в холл с настенными росписями. Думаю, на фресках были индейцы, но я не могла спрашивать — это означало бы нарушить неписанные сэлинджеровские правила хорошего вкуса. Отец выразился язвительно и недвусмысленно, что фрески как род искусства — ниже всякой критики. Так относился он ко всякому «примитиву» — например, к африканским маскам и скульптурам в доме моей подруги Рэчел. С одной стороны, у него были «неподражаемые» китайцы и «благородные» индусы с их «широтой и открытостью взглядов» и тонкими чертами. С другой — примитивные народы, сильные, мускулистые — «великие немытые», в число которых включались негры, латиносы и большинство европейцев. Он подходил к людям с меркой хасида: чем более бледным, хрупким, приверженным к учению выглядит индивидуум, тем он более ценен. В физической крепости и мощи отец видел что-то определенно подозрительное — не кошерное. В каком-то году я получила «отлично» по испанскому языку, и он сказал: «Вот это — да! Оказывается, ты изучаешь язык невежд!»

Не скажу, что такие предрассудки в области культуры в то время были чем-то из ряда вон выходящим, странно тут только то, что их носителем был человек, считавший себя хорошо начитанным. Неужели он и вправду думал, будто испаноговорящие писатели, поэты, художники — все сплошь невежды? Потом я обнаружила, что его знания и эрудиция сосредоточены в весьма узких областях. Он читает со страстью и становится экспертом в любой области, которую любит, а к остальным не притрагивается вовсе.

Его кругозор в основном определяется кинематографом. А в его любимом кино по-испански говорили только прачки-пуэрториканки, да беззубо ухмыляющиеся цыгане из фильмов братьев Маркс. Однажды, когда я училась в средней школе, отец

пустился критиковать моих черных одноклассников — «вульгарных», по его словам, как и я сама, — и сказал, что черным вообще недоступно тонкое чувство юмора. «Разве не такие у них рожи?» — спросил он, изобразив широкую дурацкую ухмылку, выкатив глаза и замахав руками. Я возразила: «Папа, да ведь это все в кино, во всамделишней жизни они не такие. Это все для камеры: они ведь знают, что белые именно это хотят увидеть». Выражение его лица изменилось, и он проговорил в задумчивости: «Да…конечно же, ты права. Это справедливо». Нет, он, конечно, не был ханжой и не отстаивал ложные идеи перед лицом очевидности, но точкой отсчета для него оставались голливудские фильмы двадцатых, тридцатых и сороковых годов. Когда мне еще не было двадцати, и я объявила о том, что выхожу замуж за черного, за моего учителя карате, отец ужасно всполошился, но вместо того, чтобы сказать что-нибудь вроде: ты знаешь этого парня всего несколько месяцев, ты еще не закончила школу, у него нет никакой работы — только карате да время от времени игра на гитаре, и так далее, — он заявил, что видел когда-то фильм под названием «Джазмен», а там белая женщина вышла замуж за чернокожего певца, и «жизнь у них сложилась ужасно».

Фильмы он брал обычно в Дартмугской фильмотеке, и мы часто заходили туда, посетив обычную библиотеку. Но кто-то в фильмотеке, по-видимому, проболтался о том, какие именно фильмы берет Дж. Д. Сэлинджер, и с тех пор отец ни разу не переступал ее порога. Не то, чтобы он стыдился своего выбора, — его бесило любое вторжение в его частную жизнь.

Покончив с делами и посетив библиотеки, папа водил меня к Лу или в «Виллидж Грин» и угощал бутербродом с тунцом и жареным картофелем. Затем мы либо шли в Дартмутский книжный магазин, либо направлялись за покупками в Хановерский кооператив. Отец любил свежие продукты, но ходил туда с большой неохотой, потому что запросто мог наткнуться там на кого-то из знакомых и пришлось бы из вежливости поддерживать разговор. Встречи с людьми его страшили. Мне кооперативный магазин нравился больше других, потому что там не пахло аммиаком, мокрыми тряпками, скисшим молоком, или смертью от мясных прилавков, как то бывало в прочих магазинах, например в старом, с дощатыми полами, IGA, или в «Гранд Юнион», где раздавали буклеты S&H с зелеными печатями: мы их брали и заполняли, но никогда ничего не покупали по ним. Когда через несколько лет «Пьюрити супрем», «идеальная чистота», которую он обычно называл «Пьюберти супрем», «идеальная срамота», открыла в Лебаноне супермаркет, отец совсем забросил

кооперативный магазин, хотя продукты там были лучше. Он предпочитал атмосферу полной анонимности.

Когда мы ехали домой из Хановера, я старалась молча глядеть в окно, потому что если с отцом заговорить, то он тут же забудет, что ведет машину, перестанет смотреть вперед и т. п. Обратно на дорогу или в свой ряд он вырулит в самый последний момент. Сядете на заднее сидение — будет еще хуже. Он станет без конца оборачиваться. Стоило моему брату хотя бы пикнуть, я бросала на него убийственный взгляд и шипела: «Помолчи, пожалуйста. Ты что, хочешь, чтобы мы перевернулись?» На двухполосном шоссе отец совершал совершенно умопомрачительные обгоны. Когда мы упирались в того, кто ехал слишком медленно — был, как говорится, «тормозом» (в одном из любимых фильмов отца У.К.Филдс получает в наследство миллион долларов и тратит их, разбивая, одну за другой, машины таких нахалов), отец прилипал к бамперу несносной машины, полз на скорости сорок пять миль в час, пока не показывался впереди мало-мальский просвет, и тогда жал на газ. Мы вылетали на встречную полосу, рискуя совершить лобовое столкновение. Отец сворачивал в последнюю секунду. Управляя джипом, никогда нельзя быть уверенным, сможешь ли ты вписаться, или столкнешься со встречным автомобилем. Просто кошмар. Отец заметил, что когда мы в машине, кулаки у меня крепко сжаты, но думал, что это просто привычка.

У бобровой запруды, перед самым въездом в Плейнфилд стоял одинокий дорожный знак: NO PASSING — «не переходить», но одна буква была переделана. «Вы только поглядите, — говорил отец, цокая языком, — NO PISSING! Что сказала бы мисс Чепмен? Представляете?» Каждый раз, как он это говорил, я начинала безудержно хихикать.

Мисс Чепмен, учительнице четвертых классов, это не показалось бы забавным. До тех пор, пока не построили федеральную автомагистраль, мы, отправляясь в Хановер и возвращаясь оттуда, каждый раз проезжали мимо ее дома. Он стоял у самой дороги, коричневый, приземистый, квадратный и, в отличие от соседних, напрочь лишенный каких бы то ни было украшений: ни цветов, ни фигурок на лужайке, ни резных ставней, которые могли бы смягчить суровые контуры этого строения. Мисс Чепмен, как и ее дом, представляла собой полную противоположность буйно цветущему миру миссис Коретт и хорошенькой, молодой миссис Бопр. За целый учебный год в моем табеле появилось лишь одно скупое замечание: «Пегги часто невнимательна на уроках. Она способна работать лучше». Почти

по всем предметам у меня были «отлично» или «отлично» с минусом. Единственная плохая оценка, «удовлетворительно» с минусом, была у меня по чистописанию, но если учесть, что всю эту четверть моя правая рука была в гипсе и мне пришлось учиться писать левой, то могло быть и хуже.

Контраст между поднебесными, по ту сторону радуги, мирами, которые открывались мне в книгах, и реальностью нашей классной комнаты в ту зиму стал совершенно невыносимым. Мы высиживали бесконечные часы под слабыми, отвратительно мигающими люминесцентными лампами, погребенные под грудами лиловых, размноженных на ротаторе, упражнений, которые лет тридцать тому назад составила старая дева, чей девиз гласил: «Праздные руки — мастерская дьявола, блуждающий ум — его нерестилище». Чем больше ты делал, тем больше тебе давали этих упражнений — бесконечных, скучных, отупляющих. Я чуть не плакала от отчаяния.

В один из сумрачных дней в конце февраля, на предпоследней перемене, когда нас ожидал еще один бесконечный промежуток тоски, случилось нечто волшебное. Зимой большей частью приходилось уклоняться от снежков, которые бросали мальчишки, и тут было не до шуток: я сама пару раз видела, как один из них клал в середину камни. Тот же самый мальчик резал живых лягушек; в наказание его отец привязал его к дереву и отстегал кнутом. Ябедничать вообще было не в моих правилах, а в этом случае я бы и вовсе поостереглась.

Во время игр мы должны были соблюдать одно непреложное правило, а именно: не спускаться в овраг. Футах в двадцати от края площадки, в сосновом лесу, находился крутой, почти отвесный обрыв. Как на старинных картах, где земля еще не круглая, этот глубокий овраг был пределом известного мира. Однажды на переменке, стоя на самом краешке и заглядывая в овраг, я вдруг почувствовала прилив восторга. Мне показалось, что это и есть тот самый шкаф, за которым вход в Нарнию[173]. Я ничего такого заранее не задумывала, но, втайне от всех, соскользнула с края и вступила в другой мир. От такого приключения, от чувства опасности при мысли, что будет, если меня поймают, кружилась голова. Я медленно сползала по склону, боясь оступиться и полететь вверх тормашками. (Уик-энды, когда мы катались на лыжах с горы Эскатни, сослужили мне добрую службу: я научилась боковому скольжению.) На дне оврага, среди сосен, под черным прозрачным льдом бежал ручей. Он извивался между деревьями, как волшебный змей. Обыкновенный белый лед всегда немного шершавый и кататься по нему можно только на коньках — ботинки не скользят. Черный

же лед был идеально скользким, даже для ботинок. Я выбралась из оврага заранее, до конца перемены, и брела через поле, когда зазвенел звонок. Было, ради чего жить: у меня появился секрет.

На следующей переменке я сразу прошла через поле в сосновый лес, притворилась, будто занята какой-то воображаемой игрой, а сама краем глаза наблюдала за старостой: как только та отвернулась, я скользнула в овраг. Через несколько дней очарование тайны стало тускнеть; чтобы волшебство продлилось, нужно было с кем-нибудь поделиться. Я рассказала Виоле, и она пошла со мной. Вдруг мы услышали, как кто-то наверху кричит: «Мисс Чепмен идет!»

Мисс Чепмен, как говорила добрая, великодушная Виола, давно бы пора было уйти на пенсию. Она была не злая и не жестокая — она была *неистовая*. Может быть, я смогу рассказать об этом, не выказывая злобных чувств: ведь она давно умерла. Мисс Чепмен, как горгулья, венчала собой ворота, ведущие в страну кошмаров любого своего питомца. У нее были толстые, ужасные губы, а когда она входила в раж, в уголках скапливались беловатые комки слизи. Когда она, задыхаясь от ярости, набрасывалась на какого-нибудь непослушного ученика, ее морщинистый зоб дрожал, и глаза закатывались, как у дохлого петуха. Набравшись храбрости, мы шептали друг другу одними губами и, конечно же, удостоверившись, что ее поблизости нет: «старая тяпка». Какая там тяпка — секира: она была неумолима и безжалостна, как средневековый боевой топор. «Мисс Чепмен идет!»

Она неслась по игровой площадке, как гунны по равнинам Европы, и направлялась прямехонько к нам. Странное дело: ее приближение запомнилось мне, словно заснятое с борта самолета, — перед моим мысленным взором стоит вся игровая площадка, будто увиденная сверху, что в реальности, конечно же, было невозможно. Мы выкарабкались из оврага, и, словно приговоренные к смерти, которым отказано в милосердной повязке на глаза, увидели перед собой ее побелевшие очи. Мы знали, что она все знает: мы спускались в овраг.

Проступок был просто чудовищным; мне нравится думать, что ни до, ни после того, как Бесстрашная Пегги и Прекрасная Виола вышли за пределы игровой площадки Плейнфилдской начальной школы, никому другому это и в голову не приходило; просто не хватало воображения, чтобы представить себе, какое наказание нас ждет. Мисс Чепмен утратила дар речи. Она только фыркала и плевалась. Вся ее ярость сосредоточилась в пятерне, которой она меня закогтила, как ястреб пичужку, и понесла к себе в гнездо, чтобы там разорвать на куски. Она так трясла Виолу,

что бедняжка намочила штаны. Меня она, наверное, тоже трясла, но я этого не помню. Помню, как она тащила нас по длинному полю, и ветер свистел в ушах, а полы коричневого шерстяного пальто мисс Чепмен хлопали меня по щекам; могу лишь предполагать, что Виола болталась с другой стороны.

В нашей школе не было кабинета директора, не было карцера — никакого спасения от ужасной гарпии, полонившей нас. Целый нескончаемо долгий месяц мы были в ее полной власти с восьми утра до двух тридцати. Когда весь класс отпускали на утреннюю перемену, мы сидели за партами, понурив головы. Никакого ленча вместе со всеми; мы жевали в классе под ее неусыпным взором, и хлеб застревал у нас в горле. И на следующий перемене опять мы сидим за партами, понурив головы, и слышим, как она дышит, и сглатывает слюну, и прочищает горло, и шлепает своими толстыми губами: ужасная близость телесных проявлений грозного существа. Самый долгий март в долгой истории бесконечных мартов в сельской Новой Англии. Сезон грязи. Нутро матери-природы.

14
Путешествие в Камелот

Может быть, это прозвучит неожиданно, но во времена моего детства отец был идеальным товарищем в путешествии, не только дома, когда мы бродили по лесам, но и на людях тоже. Когда мы ездили в Нью-Йорк, он разрешал мне бегать по гостиничным коридорам; в универмагах по пять раз подниматься и спускаться на эскалаторе; громко смеяться; в Зоологическом саду Центрального парка смотреть только на тюленей, если у меня возникало такое желание; а в Музее естественной истории направляться прямо к динозаврам, обходясь без «общеобразовательной» части. Нью-Йорк, который я знала, был Нью-Йорком Холдена: Музей, Центральный парк с его зоосадом, каруселью и озером, где жили утки; привратниками и коридорами хороших отелей. С тех пор, как дедушка, бабушка и тетя Дорис переехали с Парк-авеню в квартиру поменьше, мы, наезжая в город, останавливались в «Плазе». Я начала думать об Элоизе[174] как о ближайшей родственнице. Элоизе тоже больше всего нравилось завтракать в номере. Блюда с красивыми серебряными крышками, чтобы яйца или блинчики не остыли, а лед, на котором лежал грейпфрут или дыня, не растаял. Все нужно было разворачивать, как красиво упакованный подарок, даже тяжелые льняные салфетки: именно так, представлялось мне, подают завтрак принцессам в волшебных сказках из моих книжек.

В «Плазе», в ресторане «Окрум», отец учил меня пользоваться столовыми приборами. Это тогда произвело на меня сильное, незабываемое впечатление. Отец говорил, что *ему* все равно, какой вилкой я пользуюсь, что у меня есть свобода выбора. Но он хочет быть уверенным, что это именно выбор, и я никогда не попаду впросак просто потому, что не знаю, как это полагается делать. И, когда вырасту, не буду чувствовать себя неловко в ресторане с кавалером.

После завтрака мы переходили через улицу и шли в парк. Папа всегда катал меня на карусели. Помню, каким он был счастливым, как стоял, расплывшись в улыбке от уха до уха, и махал мне рукой всякий раз, когда я проносилась мимо на своей лошадке.

Но однажды нам пришлось сократить прогулку, потому что мы направлялись в «Нью-Йоркер», повидать Билла. Когда умер судья Хэнд, отец спросил Билла Шоуна, издателя этого журнала,

не хочет ли он стать моим крестным. Я видела его много раз, но никогда — за работой. Судя по тому, как отец об этом рассказывал, я представляла себе наш визит чем-то особенным. Будто кто-то пробился в его собственный Зеленый дом.

Мне всегда нравился Билл. Он был похож на иллюстрацию в одной из моих книжек, на старика, что живет на Луне: добрый, круглолицый, он каждый раз слегка подмигивал, когда улыбался мне, а это случалось очень часто. Он был степенным и неторопливым. Его жена Сесиль вечно пребывала в движении. Эта женщина мелькала на его фоне как черные веточки в бурную ночь по лику луны. Я никогда не успевала как следует рассмотреть ее лицо. Вместо ее лица я вспоминаю смутное розовое пятно и какие-то угловатые, черные, смазанные письмена, а еще ощущение, будто она только что упорхнула с того места, где стояла. Она носила черный бархатный бант в волосах, и мне ужасно хотелось такой же, а еще у нее были настоящие кожаные туфли на высоких каблуках, которые чудесно постукивали, когда она носилась взад-вперед по своей квартире.

Мы поднялись на маленьком лифте, вышли, поздоровались с сидевшей за столом женщиной, которую отец, кажется, знал, и по длинному коридору направились к офису Билла. Хотя мне было всего семь лет, Билл встал, как и подобает в присутствии молодой леди, пожал мне руку и предложил сесть. Это трудно объяснить, но мне никогда не казалось, будто он спутал меня с какой-то другой девочкой, постарше и лучше воспитанной. Он, скорее, обращался к моему внутреннему существу, скрытому под чуждыми покровами, под безобразными платьями и насупленным личиком. Я не имею в виду, будто он прозревал во мне нечто безукоризненное, какие-то воображаемые качества, которых у меня, полной несовершенств, отродясь не бывало. С чего я это взяла? Ах! Он был прирожденным издателем, умел бродить над пропастью во сне, отлавливая мечты своих авторов.

Папа и Билл разговаривали, а я сидела у стола и смотрела на авторучки, на зеленые и коричневые тона, на свет и тени, плясавшие по комнате. Она не была ярко освещена, как класс или кабинет врача. Свет был мягкий, как в сосновом лесу. Билл сказал, что присоединится к нам за ленчем, и мы с папой, взявшись за руки, пошли вниз, повидать Алистера Рида, у которого был сын по имени Джаспер. Это имя пленило меня. У нас в классе водились только Батчи, Майки, Херби и Ховарды. Джаспер, надо же! Алистер подарил мне свою книгу под названием «Однажды-дважды-трижды» и сделал надпись вечным пером: «Пегги от Алистера Рида».

Потом мы пошли к художникам, и там папа меня оставил.

Мне помогли взобраться на высокий табурет. У них были кисти, такие же, как у меня дома, только гораздо длиннее. И они рисовали не на бумаге, а на плотном грубом холсте. Краска чудесно пахла, прямо как бензиновые разводы в лужах, и оставалась там, куда ее клали, не то что моя акварель, которая растекалась по бумаге. Эти краски давали время подумать, прикинуть как следует, помечтать с открытыми глазами, выбрать нужные цвета. И какие цвета! Мои школьные и домашние краски, например красная, желтая, синяя, были вообще ни на что не похожи, ну, может, на лак для ногтей или на пищевые красители. А эти краски были густые и сочные, как расплавленные цветы. Они были блестящие, яркие, и они не тускнели на бумаге. Там были дюжины тюбиков с красивыми полосками, некоторые выдавленные почти до конца, и все начатые, так что я не стеснялась их использовать. Кто-то накинул на меня, поверх платья, широкую рубаху; она пахла лошадиным потом. Люди, которых я никогда не встречала, все, казалось, знали меня; они мне улыбались, здоровались со мной, но не мешали. Это — дочка Джерри.

На ленч мы пошли в «Алгонкин», с Биллом и Лилиан (Росс). Мы сидели в большой нише в стене, и там было уютно, как в сельском клубе. Я чувствовала себя включенной в компанию, хотя никто меня особо не выделял. Билл, Лилиан и папа разговаривали между собой, и когда кто-нибудь обращался ко мне, это звучало естественно: не возникало того заметного перепада в тоне, когда взрослые вдруг начинают сюсюкать, и тянуть слова, и лезть в душу; от такой манеры я родила в себя, погружалась, и звуки достигали меня, словно сквозь мокрую вату; и я чувствовала какой-то ослепляющий страх и совершенно теряла ориентацию, как сонная рыба, которую высветил лучом фонаря ныряльщик-аквалангист. С Биллом я могла всплыть на поверхность. Я еще не знала, как выразить это в словах, — но я расслаблялась, отдыхала душой. Мне нравилось разглядывать хрустальные лампы, ощущать все фактуры, и формы, и запахи.

Билл создал мир, в котором я, храбрый маленький солдатик с плотно сжатыми губами, могла говорить за ленчем о том, какого цвета бывают осенние листья на фоне неба. Вскоре Лилиан писала мне:

«Нью-Йоркер»
№ 23, Западная 43-я улица
Нью-Йорк, Н.Й. 10036
Оксфорд 5-1414

24 октября

Дорогая Пегги!

Эти листья так приятно трогать, они все такие красивые, каждый из них. Они доехали великолепно, еще влажные и свежие, пахнущие землей — и немножко воздухом тоже! У нас туг на прошлой неделе было несколько ясных дней, с синим-синим небом, и я подняла твои золотые листья, и смотрела сквозь них на небо, просто чтобы получить то впечатление, какое ты описывала, когда мы сидели за ленчем в «Алгонкине». Хотелось бы как-нибудь приехать вместе с Эриком, разумеется, и своими глазами увидеть то, о чем ты рассказывала. Никто никогда не дарил мне такого чудесного подарка, как эти листья, и я показала их Эрику, один за другим. Он любит их так же, как и я (и говорит с ними). Спасибо, Пегги, что послала их; Эрик обнимает тебя. Всем горячий привет от Эрика и его мамы.

С любовью *Лилиан*.

P. S. Я нарисовала твои листья, скоро пошлю тебе рисунок. Л.».

Она и в самом деле прислала мне рисунок 4-го ноября с маленькой запиской:

«Я держу твои листья в корзинке: ее здесь видно.

Эрик смотрел на них с такой тоской, что я отдала ему парочку.

Он любит их трогать и на них смотреть.

Надеюсь, ты вскоре сможешь снова приехать к нам.

Обнимаю всех.

С любовью *Лилиан*».

Мы с матерью как-то разговорились о Билле, вскоре после его смерти в 1992 году. Я спросила о чем-то, что случилось в «Плазе», о какой-то подробности, которой не могла припомнить. Мать же поставила меня в тупик, заявив, что за все время своего замужества ни разу не участвовала в наших с отцом поездках в Нью-Йорк «по первому классу». Когда Джерри ездил один или с нами, детьми, сказала она, он всегда путешествовал первым классом. Когда он ездил с нею, то сам называл такие путешествия «третьим классом по Болгарии». Это, как она утверждала, было связано со стремлением хранить в чистоте ее слабую женскую душу, держать ее подальше от соблазнов и тлетворных благ,

какими чревата жизнь со знаменитым писателем. Оглядываясь на эти наши поездки, я не в состоянии припомнить, что конкретно она делала или говорила, но мне и в голову не могло прийти, что ее просто не было с нами. Я была уверена, что мать с нами была, потому что наши с отцом поездки в Нью-Йорк были столь же неотъемлемой частью моего раннего детства, как и поездки всей семьей во Флориду, которые мы предпринимали каждый февраль.

Даже в семь лет я понимала, что места, где мы останавливались во Флориде, совсем не были похожи на те, шикарные, нью-йоркские. Мне было все равно, я просто замечала, что они другие. Я полагала, что останавливаться в маленьком, из десяти номеров, одноэтажном мотеле, выстроенном в форме буквы L вокруг плавательного бассейна и находящемся за много кварталов от моря, было частью игры, причем серьезной игры, которая называлась «путешествовать инкогнито». После того, как в 61-м году фотография отца появилась на обложке «Тайма», даже до корнишской глуши докатилась весть, что папа становится знаменитым, и перед каждой поездкой родители наставляли меня, как правильно вести себя с посторонними: не садиться в чужие машины, не брать ни у кого конфет и так далее. Во Флориду мы ездили под вымышленными именами. Я выбрала себе имя Эннабел, оно было похоже на мое второе имя, Энн, только *гораздо* шикарнее. Мой братик становился Робертом: это и в *самом деле* было его второе имя, и оставалась какая-то слабая надежда, что Мэтью его запомнит. Отец называл себя Джоном, поскольку это самое безличное имя. Мать выбрала Мэри, в дополнение к Джону, но отец окрестил ее Руби. Я была в восторге, сами понимаете: «У Руби — нос рубильником! У Руби — нос рубильником!»

Из аэропорта Лебанон мы вылетели серым снежным днем, в теплых пальто и рукавицах. Сделали пересадку в аэропорту Ла-Гуардиа, где погода стояла примерно такая же, и направились во Флориду. Перед тем, как самолет приземлился, мама переодела нас. Когда я ступила на трап, под солнышко, и теплый ветер коснулся моих голых рук, я так удивилась, что встала, как вкопанная. «Люди ждут, дорогая, держись как следует за перила». Сегодня мы попадаем из самолета прямо в трубу, и этот проход, устланный ковровой дорожкой, может привести в любой из сотен городов на каком угодно континенте. А как только мы выходим из здания, нас настигает сутолока в автобусах, очереди к такси, багажные квитанции — рутина, от которой нужно побыстрей отделаться. Вся эта глухая суета нейтрализует, или, по крайности, смягчает шок от перемещения в пространстве на огромные расстояния. Но в те времена все особенности места —

жара или холод, ароматы, разлитые в воздухе, — обрушивались на тебя, едва ты выходил из самолета прямо на летное поле, как Дороти из своего домика, заброшенного ураганом в страну Оз.

В Форт-Лодердейле мы зарегистрировались в мотеле. Дверь нашего номера выходила прямо на асфальтовую дорожку, огибавшую бассейн. Пока мать распаковывала чемоданы и «обустраивалась» — что бы это ни означало, — мы с папой отправлялись гулять. Каждое утро мы с ним выходили на прогулку по окрестностям. Не помню, ходил ли Мэтью с нами или оставался с мамой. Мысленно пробегая мои воспоминания об этих прогулках, прихожу к выводу, что я не слишком обращала внимание на людей, машины, дома — зато соотносила местные природные реалии с лесным миром в Корнише. Запахи моря, форма деревьев, сквозная, пестрая тень пальмовых крон — все было так непохоже на аромат сосен и мелкую вязь дубовой и кленовой листвы.

Я любила, балансируя, ходить по поребрикам, обрамлявшим дорожки. Как моряк, проведя долгие месяцы в море, и по суше ходит вразвалку, так и мой кругозор, определявший предметы, которые я помню, был обусловлен давней домашней привычкой бродить по лесам. В лесу, идешь ли ты по тропке или по дикой чаще, ты непременно смотришь вниз, за несколько футов перед собой, чтобы не споткнуться о корень, булыжник или кочку. На гладких дорожках Флориды я мало что замечала выше уровня своего плеча, зато на земле от меня не ускользало ничего. Я подбирала все, что мне попадалось: маленький, величиной с мой кулак, кокосовый орех, каким-то чудом слетевший с пальмы; плотный, лесистый венчик алого цветка, полусгнивший, облетевший с ветки; яркий оранжевый кумкват[175]. Растения и лужайки выглядели игрушечными, как на картинке: все было расчерчено и расчищено, не то что в дикой природе, где всюду торчат пни.

Мы с братом не могли дождаться похода в «Вульфи»: папа сказал, что там делают самый лучший в мире семислойный шоколадный торт. Еще в армии папа объездил всю Европу и знал, что говорит. И мы, затаив дыхание, отправились к святыне. Ресторан «Вульфи» казался целым миром. Мы вошли через парадную дверь, и встретили нас не простые белые лампочки, как в пуританских ресторанах Нью-Гемпшира: свет здесь был яркий, изобильный, как в театре. Спрятанные светильники выборочно освещали зал — какие-то места подсвечивались, какие-то оставались в таинственном полумраке, и все предметы меняли свой исконный цвет. Видимо, именно после этого мне стали нравиться бары, оформленные как в фантастических фильмах или

книжках. Просто чудо, восторг.

Официантка спросила, что я буду пить, и папа предложил «Ширли Темпл». Боже мой! Принесли стакан, набитый льдом, с шипучей, пузырящейся жидкостью сверху и сладким, красным сиропом на дне. Кроме того, в нем еще заманчиво плавала шпажка, унизанная ломтиками апельсина и огромной сочной вишенкой. Все это предназначалось мне: я не должна была алчным ястребиным взором следить, как взрослые потягивают коктейль, мучительно медленно, глоток за глотком, и надеяться, что кто-нибудь мне предложит вишенку или оливку со дна стакана. Шпажка была украшена настоящим сказочным рубином, а снаружи, зацепившись за нее хвостом, висела красная стеклянная обезьянка. Ее можно было оставить себе[176].

Папа тоже ел семислойный торт. Мы все его ели, но своего я не помню: я все время смотрела на папу — он поглощал свой торт с таким видом, будто испытывал какое-то преступное наслаждение. Он жадно заглатывал, пожирал свой торт. А между тем называл его «ядом».

За две недели нашего там пребывания мы несколько раз заходили в «Вульфи», и нам с братом удалось собрать целую коллекцию вожделенных мартышек. Своих я выстроила в номере, на письменном столе, чтобы они составляли мне компанию и придавали силы, пока я продиралась сквозь чертову уйму упражнений, которые учительница надавала мне с собой, освобождая на две недели от занятий. Мама буквально силой усаживала меня за стол, и каждый дюйм громадного пути давался мне с неимоверным трудом. Самое обидное было то, что вдребезги рассыпался волшебный сон: представьте, что вы на небе, сидите на золотом облаке, слушаете сладкие звуки арфы, и вдруг ангел тычет вам в нос авторучку и просит расписаться за посылку из Красного Креста. Так, пустая формальность.

Вечер приносил с собой прохладу и конец мучениям. Я выходила в ночь и — только гляньте! Каждая из пальм вокруг бассейна подсвечивалась снизу голубым, или зеленым, или красным, или желтым прожектором. Голубой прожектор был похож на лунный камень, — это чуть ли не самое прекрасное, что я когда-либо видела. На следующий день я встретила у бассейна двух сестер, одна на год старше, другая — на год моложе меня. Поиграв немного вместе, мы стали друзьями, а между друзьями секретов нет. Лори рассказала, чем ее мама красит волосы. И я не осталась в долгу: призналась сестричкам, что меня зовут вовсе не Эннабел. И фамилия моя не Смит. Это как-то дошло до моих родителей через ее родителей, но отец, как ни странно, не рассердился.

На другой день мы поехали в Майами, в океанариум. Шоссе было похоже на настольную игру: всюду указатели, таблички с названиями, так что можно было доехать до океанариума, просто читая эти знаки и следуя за стрелками. Дома мы двигались по местности, как по безбрежному океану: идите до фермы Дэя, потом поверните направо и пройдите еще мили две; как у Мэна в «Барти и я»: если ты не знаешь, куда идешь, то и не дойдешь «отседова дотедова».

Хотите верьте, хотите нет, но я не знала, что дорога, на которой мы живем, как-то называется, пока в году примерно 1994-м не получила открытку на Рождество от папиной новой жены; та несколько усложнила адрес, и на почтовом штемпеле значилось: Сэндер-хилл роуд, Корниш. Раньше наш адрес был проще: R.F.D. #2, Виндзор, Вермонт. Почтальон, мистер Маккоули, знал, где мы живем.

Мы нашли дорогу к океанариуму ни разу, боже, не по-собачившись. Сразу за воротами увидели длинный, прямой канал, выложенный цементными плитами. Он казался неглубоким, и можно было видеть, как все рыбы плывут в одну сторону. Ой, ребята: что-то *такое* рассекало воду прямо перед нами, изящное, темное; я затаила дыхание. Кто-то сказал, что это скат, не то королевский, не то электрический. Мы шли вдоль ручья, в ту же сторону, куда плыли рыбы. На другой стороне ручья начинался птичий заповедник. Фламинго бывают на самом деле! Они еще ярче, еще более розовые, чем в книжках. И попугаи. И тукан из Фрут-лупс. Дома несколько раз за лето мне попадались краснокрылый дрозд, рыжая иволга, желтый щегол, но их я видела всего мгновение, когда они срывались и исчезали. Малиновка с синими крылышками и красноватой грудкой мне встретилась всего дважды, а алую танагру я каждый раз умудрялась проморгать, хотя мама кричала: «Смотри, смотри!» Каждый день вокруг нашей кормушки порхали невзрачные гаички и поползни, а по вечерам — страшненькие желтоватые, как водоросли, дубоносы. Я привыкла, что яркое оперенье так же редко, как северное сияние или падающая звезда. А здесь все цвета, которыми я восхищалась, были собраны в одном месте, в одной какой-то чертовой птице, и она не спешила скрыться, ее можно было хорошенько разглядеть. По сравнению с нашими северными непоседами, тропические птицы казались практически неподвижными. От ярких красок мне едва не стало дурно, как будто я объелась сладостей за десертом.

Голос из громкоговорителя объявил, что через пять минут «начнется» шоу дельфинов. Здесь звездами считались Флиппер и Снежинка — серый и белый дельфины. На самом деле тех и

других оказалась целая стая. Самого шоу я не помню; помню, что произошло с отцом. Не знаю, почему, но то, что случилось в конце шоу, стало одним из самых ярких моментов в его жизни. Он до сих пор об этом вспоминает. Дельфины плавали по периметру бассейна, и один из них подбросил кольцо, а отец его поймал. В полном восторге бросил кольцо обратно. Дельфин проплыл через весь бассейн и снова бросил кольцо прямо ему в руки. Дельфин его выбрал. Так они, к общему восторгу, долго играли.

А *мне* больше всего понравился автомат, который стоял у входа в бассейн, между туалетом и билетной стойкой. Опустив в прорезь четвертак или пятьдесят центов, можно было получить восковые фигурки Снежинки или Флиппера. Машина изготавливала их прямо здесь, на месте — даже пахло горячим воском — и когда дельфин вываливался в желоб, как банка содовой, он был еще теплый и восхитительно душистый. Я взяла белую Снежинку, а Мэтью — серого Флиппера.

Наши Флиппер и Снежинка расплавились, когда горел дом. Из праха ты вышел и в прах возвратишься. Впервые изучая Экклезиаста в Гарвардской школе богословия, я намеревалась трезво поразмыслить над жизненным циклом, но в голову лезли только эти проклятые восковые дельфины, Флиппер и Снежинка. Воск к воску, прах к праху. «Немножко потанцуем, немножко попоем, немножко газировки в трусики нальем»[177].

В детстве я встречала на пляжах Флориды сверкающие россыпи сокровищ. Но с тех пор изменилось многое, и больше всего меня поражает оскудение моря. Разница огромна. Когда-то я дюжинами собирала розовые, пурпурные, желтые, оранжевые раковины, они просто валялись на песке. В прошлом году мы с мужем ездили во Флориду, на большой ракушечный пляж, который тянется от Сани-бела до Каптивы. Возможно, нам не повезло, но там были только простые раковины, белые и коричневые, часто треснутые, да и тех было мало, и они встречались редко, а прежних — ярких, затейливых, странных — не осталось совсем.

Но в тот день в Форт-Лодердейле я подобрала на пляже не то, что следовало: водянисто-голубой шар с длинными лентами, который прибоем вынесло на берег. Я показала это отцу, и он позволил отнести диковинку в мотель. Где-то через полчаса руку разнесло до размеров бейсбольной рукавицы. Доктор из гостиницы определил, что это была ядовитая медуза, и сказал, что щупальца у нее бывают по двадцать футов. К нему приводили пловцов, которые выглядели так, будто их отхлестали кнутом: широкие, минные полосы воспаленных тканей оставались там,

куда попали щупальца. Помню, мне вроде бы приложили средство Адольфа (на самом деле, в этом есть смысл: энзимы папайи в средстве Адольфа способны проникнуть в ткани, «размягчить» их и вытянуть яд). Папа очень расстраивался из-за того, что разрешил мне подобрать медузу. «Па, но ты же не знал!» — «Но я *должен* был знать, должен».

На другой день на пляже мама принялась натирать лосьоном для загара извивающегося Мэтью, а мы с папой сразу направились к воде. Он любил плавать в океане. На этом именно пляже заплыть в море было легко, а вот вернуться обратно — другая история: волны отбрасывали пловца назад, тащили на дно. Я по примеру папы пыталась «оседлать» большую волну и вместе с ней выброситься на берег. Иногда это получалось, а иногда меня захлестывало волной, и я оставалась под водой так долго, что едва хватало дыхания. Было очень страшно. Но один случай надолго отвадил меня от воды, напугал до помрачения: то, что я увидела однажды, когда лежала на песке, тяжело дыша — я слишком долго пробыла под водой, слишком долго боролась с волнами прежде, чем достигла берега. Я подняла глаза и увидела на лице папы тот же страх, что томил меня. Его тоже затянуло в глубину, он тоже едва не захлебнулся. Увидев, что я на него смотрю, он обнажил в улыбке все свои зубы и сказал: «Вау, вот это да!» — мол, надо успокоить ребенка: папа в порядке, и все это просто большая хохма. Но было поздно. Я видела папин ужас, папино смятение, — и песок закачался подо мной, и меня затянуло в бурлящий водоворот страха.

Порыв студеного зимнего ветра пробрался в один из наших чемоданов и с нами вместе прилетел во Флориду. Руки-ноги вдруг сводило холодом; откуда ни возьмись, являлись сквозняки. Родители ссорились, как всегда, но ссора в номере мотеля — совсем не то, что ссора дома, где есть много комнат и в придачу кабинет, куда можно сбежать. Мы с братом тоже ссорились, как всегда, но в номере мотеля не могли скрыть от отца наших отношений, а он не мог скрыться, отмахнуться от того, какие мы в реальности, на самом деле. Ему становилось плохо — он буквально зеленел и его мутило, когда мы с братом ссорились. Он страшно злился на меня и бывал глубоко разочарован. Мои, полные совершенств, вымышленные братья и сестры никогда не ссорились. Алли (умерший братишка Холдена) «никогда не разозлится, не вспылит. Говорят, рыжие, чуть что — начинают злиться, но Алли никогда не злился». Попробуй-ка на такого равняться.

Я могла избегать того, что вызывало гнев или презрение отца.

Но как я не могла не ссориться с братом, так не могла и избегнуть болезней. Это доводило отца до неистовства. Он ужасно переживал, когда мы болели, но в то же время невероятно злился на нас. И заодно на мать, которая посмела нарушить режим, принятый на этой неделе, в чем бы он ни заключался: в сверхдозах витамина С, отказе от протеинов, сыроядении или в чем-то еще. Или обрушивался на нее за то, что она придерживалась режима, принятого на прошлой неделе, а нынче преданного анафеме. По этому поводу у нас с братом не возникало разногласий. Как только отец подходил к дверям, мы шептали друг другу, пряча предательские, полные соплей бумажные салфетки: «Только не говори папе, что у меня насморк»[178].

Большинство своих оздоровительных мероприятий отец проделывал один: например, пил мочу или сидел в «оргоновом ящике»[179]. Но гомеопатию и акупунктуру он практиковал на нас. Когда мы заболевали, вернее, заболевали настолько, что не могли уже это скрывать от него, он впадал в неистовство, носился по комнатам, как смерч, и тратил огромное количество времени и энергии, чтобы выяснить, какое из гомеопатических средств применяется при нашей болезни. Если не помогало, он возвращался к книгам и снова часами рылся в них, все больше раздражаясь оттого, что время уходит, а работа стоит.

Гомеопатия иногда помогала брату, мне — очень редко, практически никогда. Акупунктуру он практиковал, используя не иглы, а деревянные палочки. Игл почти не замечаешь, как я позже имела случай убедиться. Другое дело — эти деревяшки: тебе как будто втыкают тупой карандаш. Тогда в Форт-Лодердейле брат подхватил такую простуду, что скрыть ее уже было нельзя, отец — я как сейчас вижу — явился со своими проклятыми штырьками и стал давить Мэтью на кончик мизинца. Мэтью разревелся. Когда тебе зажимают мизинец и протыкают чуть не до самой кости, это у кого угодно вызовет слезы, даже у взрослого, не то, что у маленького ребенка. Но отец, как и следовало ожидать, разъярился. Он отскочил к двери, истошно вопя: «Господи, боже мой! Что ты орешь, как будто тебя подстрелили? У тебя, у твоей матери и у твоей сестры самый низкий болевой порог, какой я только встречал». И хлопнул дверью.

Чаще всего отец бывал раздражительным, или «нетактичным», именно из-за причуд, одолевавших его, но я смотрела на вещи шире. Я никогда не сомневалась в правильности его суждений, однако, не могла избавиться от подспудного ощущения, будто что-то не так, будто происходит нечто непонятное и жуткое.

В тот год ранней весной я, восьмилетняя, принесла отцу ленч в его Зеленый дом и услышала кошмарные звуки. У меня мурашки поползли по спине. Отец находился снаружи, под навесом, где были установлены рефлекторы, чтобы загорать, — очередная оздоровительная блажь: в том году к апрелю он уже был совершенно коричневый. Когда я зашла за угол, отец мне объяснил, что это он говорил на разных языках (форма христианской глоссолалии: считается, что таким образом через человека говорит Святой Дух). В Нью-Йорке он зашел в харизматическую церковь Рок-Черч и увлекся их практиками.

А через несколько месяцев отец сделался совершенно зеленым, болезненного оттенка, и изо рта пахло, как из могилы. На этот раз он увлекся макробиотикой и голоданием. При воспоминании об этом запахе меня до сих пор выворачивает. Я боялась, что папа умрет.

15
Туристский лагерь и чай со льдом

Свою последнюю опубликованную повесть, «Шестнадцатый день Хэпворта 1924 года», отец закончил весной 1965-го. В журнале «Нью-Йоркер» она появилась в июне, за неделю или две до того, как закончились занятия в школе. Мне было девять лет, и я понятия не имела, что отец опубликовал какую-то повесть, и тем более повесть, действие которой происходит в летнем лагере. Но зато я понимала слишком хорошо, что идея летнего лагеря носится в воздухе, судя по тому, как скапливались пачки брошюр. Мне удалось на год отодвинуть неизбежное, но следующим летом, между пятым и шестым классом, когда мне было десять, час пробил. Я *не хотела* ехать, как не хотела брать уроки тенниса или прихлебывать чай со льдом за пределами поля вместе с «дачниками» из Нью-Йорка. Конечно, моя мать, как любая хорошо воспитанная молодая леди, прекрасно играла в теннис и таскала меня, неблагодарную и надутую, за многие мили в Хановер, на уроки. Чем я действительно хотела заниматься летом, так это плавать в пруду, ловить горлиц и играть в бейсбол — но войти в бейсбольную команду для девочки не было никаких шансов. Отец научил меня этой игре, во всяком случае, тем ее элементам, которым можно научиться в одиночку, вне команды. В хорошую погоду он приходил почти каждый день — был то на подаче, то кетчером, а то играл с нами в игру, которую мы называли «мяч об крышу»: городские дети играют в нее, бросая мяч в стену дома. Один бросает резиновый или теннисный мяч о черепичную крышу гаража, а другой должен этот мяч поймать после отскока. Если твой соперник не успевал поймать, и мяч падал на «законную землю» (у нас это была гладкая заасфальтированная площадка, покрывавшая подземный ход от дома к гаражу), ты получал очко. Это была хорошая тренировка, чтобы ловить и «свечи», и «ползуны» с неправильным отскоком, да к тому же не надо было опасаться удара в лицо тяжелым мячом, если ты его пропустишь. Мы любили бейсбол. Теннис — другое дело. Отец довольно язвительно и очень похоже передразнивал завзятых теннисистов (включая, конечно, мою мать); их речи и всю ту скрытую агрессию, какая в них ощущалась. (Очевидно, что все это происходило до того, как Макэнрой накричал на судей и сломал ракетку.) «Хорошая подача!» — тянул он голосом студента-паиньки, этакого веселого-хорошего-спортивного мальчика. Этот голос, этот тон я узнавала позже в его прозе, в героях из Лиги

плюща, вроде Лейна Кутеля, ухажера Фрэнни. А тогда, отправляясь на уроки, я стояла насмерть и не желала надевать обвисшую белую юбчонку, из-под которой, стоило нагнуться, выглядывали трусики. В конце концов мы с мамой сошлись на белых шортах. О, как я ненавидела эту пустыню из красной глины, белую сетку и линии, двоящиеся, как мираж! Я мечтала об оазисе, покрытом зеленой травкой, где мальчишки играют одной командой и сплевывают, и не улыбаются, как заведенные.

То же самое с верховой ездой. В какое-то лето мать возила меня на конюшню раз в неделю, и я, по меньшей мере, час училась ездить верхом. Там я умудрилась фактически лишиться девственности, налетев одним местом на луку ковбойского седла, когда эта чертова лошадь резко остановилась, переходя на рысь. Я наотрез отказалась «обратно залезать на лошадь», и на этом все кончилось. Но мне нравилось издали смотреть на лошадей Моргана: папа возил меня туда несколько раз, когда представление устраивали на большом выгоне неподалеку от Виндзора. Мы сидели на склоне холма, ели хот-доги с горчицей и смотрели сверху на лошадей. И было на что посмотреть: гнедые крупы блестят на солнце, трава зеленая, чудесно пахнет сеном и навозом, сбруей и лошадиным потом.

Хотя мои родители совершенно по-разному представляли себе летний лагерь, бурный поток их мечтаний все сметал на своем пути. Мать рассказывала мне истории о счастливых летних месяцах, какие она провела в лагере Вайонагоник. Показала фотографию: девочки в купальных костюмах, выстроенные, как обычно, в два ряда — впереди маленькие, большие сзади[180]. Там была и маленькая Клэр, она серьезно, широко открытыми глазами смотрела прямо в объектив; купальник прекрасно сидел на ней; волосы, красиво подстриженные, причесанные на косой пробор и подвязанные ленточкой с бантом, едва прикрывали уши. Мама указала еще нескольких девочек: «Это — принцесса Маргарет, а это — леди такая-то».

Я должна была ехать в лагерь Биллингс в Вермонте, и могу вас уверить, что ни одна принцесса отродясь не ступала на берега этого озера. Тем не менее мы отправились покупать экипировку для лагеря, так, как будто я была одной из тех юных леди с маминой старой фотографии. Нам прислали список всего необходимого, и мать прикрепила его изнутри к крышке моего нового чемодана. Мне этот чемодан нравился, он был весь разделен на аккуратные, правильные отсеки, пахнущие кедровым деревом. Требовалась одежда цветов лагеря, темно-синего и белого, и к каждой вещи нужно было пришить метку с именем: «Пегги Сэлинджер». Даже к трусикам. Мне купили семь пар новых

белых трусиков, три пары белых носков и четыре пары синих, все — свернутые в опрятные узелочки; пять пар синих шортов, пять белых рубашек с застежкой спереди, с короткими рукавами и отложным воротничком; синий пуловер, белую кофту на пуговицах, пару теннисных туфель, купальный костюм и для воскресных дней — синюю плиссированную юбку и грубые кожаные башмаки. Мать разложила все это в чемодане ровными рядами и свертками. У меня появилась собственная сумочка для туалетных принадлежностей — туда положили непочатую бутылочку шампуня, мыло, зубную щетку в футляре, прямо из магазина, и нетронутый, девственный тюбик зубной пасты. Паста все еще была «Крест», старая, противная; она пахла ванной комнатой, а не корицей, как «Колгейт», которым пользовалась моя подруга Бекки. Я попросила «Колгейт», решив, что это в пределах достижимого, в отличие от той пасты, которую я действительно хотела, — новой, шипучей, под названием «Маклинз»: у меня от нее онемел язык, когда Виола мне дала немного попробовать. Это было в самом деле здорово и абсолютно недостижимо. Для англичан все слишком вкусное и слишком удобное в лучшем случае находится под подозрением, а в худшем — считается «французским» и неприличным; простые пудинги лучше изысканных пирожных, нетопленные комнаты с уймой свежего воздуха по ночам предпочтительней изнеживающего тепла. Так что мне купили практичный «Крест». Наверное, у меня были тапочки, но не помню, какие: их совершенно затмили те великолепные плюшевые, пушистые вещицы ярко-розовых и пастельных тонов запретной у нас дома палитры, какие надевали на ноги другие девчонки из нашего коттеджа.

Когда я приехала в лагерь, вид этого коттеджа, где мне предстояло жить, меня просто шокировал. Многоярусные койки у стен не оставляли ни дюйма свободного пространства. Было темно и грязно, и сюда совсем не вписывался мой новый чемодан. Зато вспомнилась фотография, которую я видела: барак в концентрационном лагере, где узники спят вповалку на нарах. Я все время боялась, что кто-нибудь уставится на меня сверху, как уставился в объектив фотографа человек-скелет в полосатой робе. И я заняла самую верхнюю койку, чтобы никто не мог смотреть на меня сверху голодным взглядом — хотя все мои подружки по коттеджу были упитанными девчонками от девяти до одиннадцати лет.

Нужник был темный, липкий от грязи, и там воняло. Помнится, я с неделю не могла опорожнить кишечник. В заросший плесенью душ я тоже не ходила. Несмотря на синюю

форму, в этом лагере никто не проверял, насколько ты чистоплотен и правильно ли застилаешь постель, не то что в лагере Симора, где мистер Хэппи, директор, «инспектировал» кровати всех мальчиков, дабы убедиться, что они заправлены туго, по-армейски. Нашим воспитательницам не сиделось по ночам в коттеджах, они бегали на свидания с парнями и устраивали пьянки. Однажды я подслушала, как две воспитательницы говорили между собой о выпивке, и подумала, что речь идет о шипучих напитках, которые дома были уже изгнаны из холодильника; мне это показалось очень сексуальным и возбуждающим — красться из коттеджей и ночью, в лесу, пить спрайт с мальчиками.

На второй день нас знакомили с правилами пребывания в лагере: мы сидели в столовой, а директор нам рассказывал, что можно и чего нельзя. Можно было купаться в озере и кататься в лодках, немногочисленных; нельзя было нарушать правила безопасности. В дождливые дни мы могли заниматься поделками в столовой. Я ожидала, что здесь будут лошади, и теперь одновременно радовалась, что меня не заставят ездить верхом, и сожалела, что не смогу просто болтаться возле конюшен[181].

Кажется, в лагере Биллингс мы чаще всего сидели в столовой за складными столиками и под руководством самого директора распевали песни, — теперь я знаю, что они были «христианские». «Жи-ил Ной, челове-е-ек, он построил, ковче-е-ег! Ко-овче-ег из ко-оры и сидел до по-оры. Всякой тва-ари по па-аре явилось ту-уда. Они там дожида-ались, когда схлынет во-ода! Де-ети Бо-ожьи!» И еще, например, «Кости снова оденутся плотью», она сопровождались взмахами рук и различными жестами, которые я и сейчас могла бы воспроизвести. Чего только не остается в памяти!

Пели-то мы о Боге, но первый обед в столовой скорее напомнил мне Содом и Гоморру. От изумления раскрыв рот, я смотрела во все глаза, что здесь позволялось делать, если тебе не по нраву еда. Вместо того чтобы есть, что подано, можно было взять ломоть белого хлеба, ноздреватого, какого у нас дома никогда не водилось, намазать его мягким маслом, о котором я знала, что оно буквально *кишит* микробами, стоит только вынуть его из холодильника на несколько минут, — и посыпать чуть-чуть, или с горкой: это, кажется, никого не волновало — сахаром из большой сахарницы, вроде тех, что стоят в ресторане в Виндзоре. А потом слопать этот сахарный бутерброд не таясь, да еще взять второй, третий… Я просто не могла в это поверить. Я попробовала, и мне показалось, будто на зубах у меня песок, но наслаждаться запретным плодом было так приятно. Позже, читая

рассказ о еврее, который впервые ел свинину и представлял себе, как его отец ворочается в гробу, я чувствовала, что у меня на зубах скрипит тот сахар.

Но мне совсем не нравилось, как девчонки из моего коттеджа развлекались в тихий час и перед сном. Они рассказывали страшные истории. Симору, конечно, такие вещи были нипочем, а меня пугали до полусмерти. Я забивалась на свою койку, затыкала уши пальцами и тихо мычала себе под нос, чтобы ничего не слышать. В чемодане у меня образовался кавардак: я не умела так ровно складывать вещи, так аккуратно сворачивать носки, как это делала мама. Грязное белье перемешалось с чистым.

Неприятности начались на третий день моего пребывания в лагере. Барбара Б., одиннадцатилетняя девчонка, выглядевшая лет на тридцать, уселась на пол и стала накручивать на бигуди свои белокурые пряди. Мы считали это верхом утонченности. Большинству из нас даже матери еще не завивали волос, где нам самим было уметь это делать. У нее в ящичке для туалетных принадлежностей было все, что угодно: духи, бигуди, крем для лица. Вдруг Барбара обвела всех взглядом и раскричалась: «Кто брал мой шампунь? Здесь на два дюйма меньше, чем было». Она подняла бутылочку и отмерила два дюйма большим и указательным пальцами с тщательно отполированными ноготками. Через день-два начали пропадать другие вещи, в основном у Барбары. Она же и наговорила другим девчонкам, будто воровка — я. Почему она выбрала именно меня, так и осталось загадкой. Блондиночка сама во всем разобралась и отдала приказ, чтобы другие девчонки в коттедже со мной не разговаривали. Целый день все от меня шарахались, а потом Барбара подстерегла меня на дорожке, ведущей к коттеджу, и поманила в сторону. «Я скажу девчонкам, чтобы они снова с тобой разговаривали, если ты мне поможешь обворовать магазин».

«Магазином» был сарай у пристани, где около часа в день продавали расчески, зубную пасту и карамельки. Я полагала, что воровство — невообразимый грех, за это злых, грубых мужчин сажают в тюрьму в Виндзоре. В Плейнфилдской школе кражи среди детей были неслыханным делом. Во-первых, красть было особо нечего, но я думаю, что яростное, свирепое уважение к частной собственности, укоренившееся в наших краях, делало воровство совершенно немыслимым. Взрослого, посягнувшего на чужую вещь, пристрелили бы на месте, ребенка бы отстегали кнутом. Я не была возмущена, я была напугана. Но Барбары я боялась больше, чем преступления, и согласилась. Этой ночью мы

выскользнули из коттеджа и подкрались к сараю. Барбара не хуже опытного взломщика вскрыла замок, забралась внутрь, и мы унесли полные пригоршни леденцов, жевательной резинки и чипсов. Добычу доставили в коттедж и устроили кутеж. Барбара была героиней. В разгар полуночного празднества одна из девчонок забыла о запрете и заговорила со мной. Барбара прижала тщательно отполированный, лиловый ноготок к ее губам и произнесла: «Ш-ш-ш-ш-ш-ш!»

Утром, проснувшись, я нашла у себя на одеяле сложенную записку. Там было сказано: «Я не верю, что ты брала эти вещи, но, пожалуйста, не говори никому, что я тебе это написала. Мэрилин». Худенькая, темноволосая девочка с птичьим личиком улыбнулась мне с верхней койки, расположенной под прямым углом к моей. Я произнесла одними губами: «Спасибо». У меня появилась тайная подруга[182].

Вечером Барбара решила устроить сеанс магии — поднять в воздух какую-то девочку, которую положили в центр круга. Я забилась в свой спальный мешок и стала молиться: «Не страшуся никакого зла, когда Ты со мною; Твой жезл и власть Твоя укрепляют силы мои». Я была напугана до умопомрачения. Я написала отцу, рассказала, что здесь творится. Но он не приехал забрать меня. Зато поблагодарил за «потрясающее» письмо и попросил разрешения переслать его Биллу (Шоуну). Поскольку я не знала, что он только что опубликовал «Хэпворт», письмо мальчика из летнего лагеря, то абсолютно ничего не поняла. У меня было такое ощущение, что он спутал мое письмо с чьим-то еще.

Сейчас мне кажется странным, хотя и не казалось в то время, что отца никогда ничего не задевало, не шокировало. Будто бы моя жизнь — нечто такое, что он прочел в романе или увидел в кино. «Глупышка Пегги, это ведь понарошку, они все актеры». *Майя.*

Однажды поздней ночью я увидела из окна коттеджа, как мелькает над горизонтом какая-то красная светящаяся точка. Я смотрела, как она медленно приближается, постепенно увеличиваясь. Потом произошел скачок во времени — не так, как во сне, когда какой-то внутренний механизм продолжает отсчитывать часы и минуты, но как под общим наркозом: свет вырубается, время останавливается, и часы надо ставить заново. Я пришла в себя, села на кровати и выглянула в окно: светила луна. Сотни маленьких, размером с тарелку, дисков медленно кружились на равном расстоянии друг от друга, как крупные снежинки безветренной ночью. Я задумалась, замечталась; мне

было покойно, как в снегопад, — ни страха, ни любопытства. Потом в мгновение ока они исчезли. Большой красный огонь над горизонтом все уменьшался и уменьшался, постепенно сливаясь со звездами. Я дала себе клятву запомнить, запомнить, запомнить. Я снова и снова мысленно проживала увиденное и, наконец, заснула. Утром, проснувшись, спросила Мэрилин, разумеется, тайком, видела ли та НЛО. Она покачала головой — нет, не видела, и прошептала: «Разбуди меня, если снова увидишь их. Обещаешь?»

В воскресенье вечером обитатели лагеря устроили в столовой конкурс талантов. Я преклоняюсь перед людьми, которые могут запросто выступить на конкурсе, импровизировать на ходу, в полной уверенности, что их хорошо примут. Сама мысль о том, что я могла бы решиться на что-то подобное, невозможна, неприемлема и глубоко смущает меня, как те бесконечные сны, когда тебе надо в туалет, а дверь туда исчезла, или когда ты сидишь на горшке посреди комнаты, где полно народу. Старшие девочки для забавы накрасились и нарядились; они выделывали всякие трюки, вились, скакали вокруг меня, словно какой-нибудь взбесившийся цирк. Все разбились на группы и радостно смеялись; каждая группа приготовила свое представление, веселое, остроумное, — а я в разделявшей нас гладкой стеклянной стене не могла даже нащупать трещины, чтобы поставить туда ногу. Я села за один из складных столиков и втянула голову в плечи — если Бадди и Симор устроили в Хэпворте блестящее представление, даже без каблуков и подковок станцевав чечетку на глазах у изумленной публики, то я старалась задвинуть как можно дальше в угол свою нелепую, глупую, бесталанную и всеми покинутую персону.

На следующий день я с самого утра почувствовала себя как-то странно. Медсестра измерила мне температуру: 101[183]. Но по какой-то вздорной причине или, скорее всего, просто по недомыслию меня заставили идти в горы вместе со всеми, как было назначено. Отец писал о таком же нелепом лагерном походе, в какой повели детей. Симору Глассу семь лет, он лежит в лазарете и пишет письмо домой. Вот что он пишет:

«После завтрака все младшие и средние ребята в обязательном порядке отправлялись по ягоды… К земляничным местам нас везли чертову пропасть миль в дурацкой, расхлябанной, как бы старинной, телеге, запряженной двумя лошадьми, хотя нужно было не меньше четырех».

Железный штырь, торчавший из колеса, вонзился дюйма на два в ногу Симора. Его отвез в лагерь мистер Хэппи, директор, на своем мотоцикле. С этим было связано «несколько мимолетных

забавных моментов… Я, кстати, заметил, что в достаточно смешной или комичной ситуации у меня немного унимается кровотечение». Симор пригрозил мистеру Хэппи судом, «если от заражения, потери крови или гангрены я лишусь своей дурацкой ноги».

К несчастью, я не могла так, как Симор, властвовать над своим дурацким, смешным телом. На середине склона у меня перехватило дыхание, воздух перестал поступать в легкие. Лежа на глинистой тропке, я слышала исходящие из моего горла ужасные хрипы. Подняв глаза, увидела воспитательницу, склонившуюся надо мной, и уловила страх в ее взгляде. Тогда и я перепугалась по-настоящему. Она мне сделала искусственное дыхание «рот в рот», и я немного ожила. Помню, хотя и не могу в это поверить, что мы опять стали подниматься в гору. Дыхание у меня перехватило снова, и следующее, что я помню, — я лежу в лазарете, и медсестра говорит по телефону с моей матерью. Она говорит, что у меня температура 103, но волноваться, скорее всего, незачем: она звонит просто потому, что полагается оповещать родителей, если температура поднимается выше, чем 102. Я вырвала у нее трубку и сказала матери всего одну фразу: «Забери меня отсюда».

Через много лет мама рассказала, что, услышав мой голос, побежала к дверям, даже не повесив трубку. Она сказала, что у нее самой был точно такой же голос, когда она звонила своей матери из монастырской школы, жаловалась, как ей там плохо, и просила поскорей ее оттуда забрать. Ее мать ей сказала, что она все придумывает. *Моя* мать приехала и забрала меня домой.

Из лагеря Биллингс я привезла тряпичную игрушку — нелепого индейца с огромным носом и крошечными, глупыми, близко посаженными глазками — то был лагерный талисман. Крайне уродливое напоминание о неудавшейся попытке преодолеть пропасть между грезами родителей и безобразной реальностью, в которой я очутилась. Моя подруга Мэрилин сказала, что, убираясь на чердаке в доме своей матери, она наткнулась на точно такую вещицу: уродец глупо таращился из коробки со старым хламом. Мэрилин так и не вспомнила, откуда он взялся, и выкинула игрушку.

Вскоре после моего краткого пребывания в лагере, летом 66-го, родители объявили, что собираются подавать на развод. Верней, *попытались* объявить. Это уже давно носилось в воздухе, так что я ничуть не удивилась. Когда они позвали нас в дом и сказали, что хотят с нами поговорить, чего они до сих пор никогда, ни разу не делали, — то есть не говорили с нами

обоими, как с командой, — я плюхнулась в наше красное, кожаное большое кресло и сразила их наповал. «Я знаю: вы *разводитесь*». «Ну да, разводимся», — согласилась мама и начала произносить заранее заготовленную речь о том, как взрослые иногда не могут ужиться вместе…

Прервал ее мой шестилетний братишка: он разразился слезами, выбежал из дома и припустил к дороге. На крыльце я заявила родителям тоном, не допускающим возражений: «Ждите здесь. Я сама с ним поговорю». Я нашла его на обочине, под насыпью: он свернулся калачиком на каких-то листьях и горько рыдал. «Мэтью, прекрати плакать и послушай меня», — сказала я. Нужно было начать решительно, потому что он впадал в истерику, он потерялся, закружился в вихре ярости и страха, который бушевал как в душе его, так и во всем нашем доме. За несколько месяцев до этого их объявления он за что-то разозлился на мать, сел на ступеньки и, давая выход напряжению, царившему в доме, с вытаращенными глазами, со вздутыми венами, хорошо видными на детской, тоненькой шейке, крикнул отцу, который что-то делал внизу: «Разведись с мамой! Разведись!» А мне и в голову не приходило, что он вообще знает такое слово.

Мэтью отвел руки от лица и взглянул на меня, шмыгая: носом. «Послушай, — сказала я, — ничего не изменится, когда они разведутся, разве что ссориться станут меньше. Они оба любят тебя. Они ненавидят только друг друга. Папа по-прежнему будет жить у себя в доме; мама, и ты, и я будем по-прежнему жить в нашем доме, и папа будет к нам приходить, и играть в «мяч об крышу», и гулять с собачками, и все прочее. Что тут такого? Ничего особенного». Он улыбнулся сквозь слезы, сказал: «Ага», — и поднялся на ноги. Старшая Сестра молвила свое слово. Я обняла его за плечи, и мы направились к дому. Родителям я сказала, что с Мэтью все хорошо, я ему объяснила, что ничего не изменится, разве что вы будете меньше ссориться, — тут я мрачно воззрилась на них. И все вернулись к тому, что каждый делал до «семейного совещания».

Через пару недель я получила приглашение провести оставшуюся, явно лучшую, часть лета в штате Мэн, в семье Макэндрю, в их загородном доме у моря. Мы с моей дорогой подружкой Рэчел встретились еще до рождения — миссис Кокс была дальней родственницей Макэндрю и познакомила наших будущих матерей. Она решила, что Шарлотта и Клэр составят друг другу хорошую компанию. И миссис Кокс, как всегда, оказалась права. Правда, пока отец жил с нами в одном доме,

подруги встречались не часто. Я знаю, что мама очень ценила дружбу умной и мягкой Шарлотты. И та здорово помогала моей матери воспитывать нас с братом и всячески скрашивала ее вынужденное уединение.

Муж Шарлотты, Колин, преподавал в Дартмуте, и весь учебный год они жили в Хановере, в чудесном старом доме, а летом перебирались в такой же чудесный старый дом в штате Мэн. Их дочь Рэчел была лучшей «внешкольной» подругой моего детства и раннего отрочества. Мои самые светлые воспоминания связаны с днями, которые мы провели вместе. Кроме того, вокруг роились ее старшие братья и сестры со своими друзьями, и это было здорово, потому что они говорили о свиданиях, о новых магнитофонных записях — обо всех тех крутых вещах, которые волнуют подростков. Мне повезло, что столько лет я была почти членом их семьи.

Все эти годы отец тоже был с ними связан. Ему очень нравилась Шарлотта и ее дети, но с Колином отношения были более проблематичными. Колин преподавал литературу в колледже, принадлежавшем к Лиге плюща, хорошо и с удовольствием играл в теннис и ходил под парусом; был, одним словом, великолепным образчиком тех людей, про кого папа с искренним, следует добавить, благоговением, говорил «проклятые ВАСП[184], черт бы их побрал с их самоуверенностью». Самоуверенность профессора была настолько неколебима, что он раз за разом приглашал отца принять участие в «развлечениях». Девять раз отец отказывался, но в десятый раз это уже могло показаться невежливым, тем более что Колин настаивал с таким добродушием, с такой уверенностью в себе. Обычно свой долг перед обществом папа оплачивал каким-нибудь коктейлем или обедом, но летом 66-го этим отделаться оказалось невозможно, и отцу пришлось заплатить чудовищную цену. Именно он, а не мама, которая чаще всего брала на себя функции шофера, в этот раз отвозил меня в Мэн, в дом Макэндрю.

Папа согласился выйти в море с Колином и ребятами. Представьте себе, что вы — Дж. Д. Сэлинджер: можно ли вообразить пытку страшней, чем несколько дней плавать в открытом море на маленькой яхте с дартмутскими профессорами? «Почему ты согласился, па?» — «Ах, Пегги, — тяжело вздохнул он, — я согласился потому, что устал отказываться. Это угнетает»[185]. Когда папа вернулся с морской прогулки, он едва мог ходить. Не прошло и шести часов с момента отплытия, как он стукнулся обо что-то коленом, и колено ужасно распухло. Отец приложил к нему арнику из

гомеопатической аптечки, которую взял с собой на борт. Без арники, промолвил он мрачно, было бы очень плохо. В довершение бед они попали в скверный шторм, с дождем и переменным ветром, и все, за исключением, конечно, Колина, бешено блевали, начиная от Новой Шотландии. Я бы не удивилась, если бы он, вернувшись домой в Корниш, встал на колени и поцеловал землю.

Я осталась в штате Мэн, но морские прогулки не для меня. Из-за того, что я отказывалась выходить в море, между мной и Колином происходили постоянные трения. Один раз в это лето он так настаивал, что пришлось позвонить папе при всех и попросить его сказать Колину, что я не обязана плавать под парусом. Качка пугала меня до обморока с тех пор, как я повредила руку. Почти каждый год мать пристает ко мне со своим «попробуй, дорогая», и я сижу, нахохлившись, сзади, у шлюпки, или болтаюсь спереди[186], представляя собой печальное зрелище, пока кто-нибудь из жалости (или в раздражении) не отвезет меня на берег.

Мне нравилось грести на лодке, которую не качает, к крохотным, необитаемым «овечьим» островкам, расположенным совсем близко от берега. Местные фермеры в начале лета отвозили туда овец и оставляли их пастись на свободе до самой осени (это право у них осталось еще с колониальных времен). Оуэн, старший брат Рэчел, спросил у нас двоих, не хотели бы мы отправиться с ночевкой на один из таких островков. Не хотели бы мы? О, боже! При одной мысли, что можно куда-то поехать с красивым, воспитанным Оуэном, я была на седьмом небе. Я влюбилась в него без памяти давным-давно. Помнится, я даже согласилась покататься с ним вдоль берега на парусной лодке. Из всех мальчиков, а может, и взрослых, кого я знала, он единственный щадил чужие чувства. Я ему доверяла, инстинктивно догадываясь, что если я чего-то испугаюсь, он тут же повернет к берегу, не делая из этого никаких трагедий. Чудесный, чудесный мальчик.

Вечером мы поплыли на лодке к острову, захватив с собой спальные мешки, воду и все необходимое для того, чтобы приготовить ужин на берегу. Мы с Рэчел пошли искать овец, а Оуэн занялся полезными делами: развел костер и вскипятил воду. Нам не повезло — единственное, что мы обнаружили, пока не уперлись в непроходимые дебри кустарника, были катышки овечьего помета. Так что мы вернулись на берег и стали помогать Оуэну собирать на ужин мидий.

После ужина мы рядком разложили на берегу спальные мешки. Стало несколько зябко, так что мы забрались внутрь и,

лежа на спине, принялись смотреть на звезды. Звезды были всюду. Глядя на небо и болтая, мы вдруг заметили, что одна звезда ведет себя как-то странно. Казалось, она зигзагами движется по небу. Мы видели настоящую летающую тарелку! Вот это по-настоящему круто! Мы вдоволь наговорились о разных НЛО и заснули.

Я проснулась посреди ночи, вскочила и едва успела забежать за скалу, как меня вывернуло наизнанку. Потом полилось с другого конца. О, как же мне было стыдно! Я знала, что Оуэн слышит, как я хожу по-большому и как меня рвет: он подумает, что я — самая отвратительная девчонка на всем земном шаре. Когда извержение закончилось, я позвала Рэчел и шепотом попросила принести рулон туалетной бумаги. Я стала подтираться, а Рэчел отправилась за зубной щеткой, пастой и водой: мне нужно было прополоскать рот.

Я не могла даже смотреть на Оуэна, когда вернулась назад и залезла в спальный мешок. Он спросил, в порядке ли я. Я кивнула. «Знаешь, — сказал он, — это от мидий, у тебя на них аллергия. Запомни это и никогда больше их не ешь. Обещаешь?» Я кивнула. А он положил руку на мой спальный мешок и обнял меня! Я была потрясена. Он взял мою руку, лежавшую поверх мешка, — так берут руку паралитика, — и обвил ее вокруг себя. Эта прелюдия к поцелую пробудила мое воображение, но не плоть. Гормоны, которые вырабатываются в момент объятий, еще дремали во мне.

Потом он меня поцеловал. В губы. Его поцелуй — самое чудесное, что со мной когда-либо происходило, но осознала я это только задним числом, рассказывая и вспоминая. А тогда была слишком возбуждена: быстро села и растолкала Рэчел, которая спала с другой стороны. Я сказала, что мне снова нужно удалиться, и попросила ее пойти со мной. Мы отошли к воде, и я выболтала свой главный секрет: Оуэн *поцеловал* меня. Первый поцелуй — ладно; самое классное — рассказать о нем лучшей подруге. Рэчел не очень-то поверила — для нас обеих настоящий поцелуй принадлежал к той запредельной области между сном и светом дня, вроде еще не оплодотворенного лона, где возможны НЛО и феи, и выходящие из-за угла, прямо тебе навстречу, битлы. Когда мы вернулись к спальным мешкам, я попросила ее поменяться местами и лечь рядом с Оуэном.

Осенью, в Хановере, Рэчел спросила Оуэна, «нравлюсь» ли я ему. Когда я приехала к ним на уик-энд, она сказала: «О господи, это, значит, правда, что ты целовалась с Оуэном! Я спросила, нравишься ли ты ему, и он ответил — «да»».

Я жила встречами с Оуэном. Он учился в интернате, так что

мы виделись только на каникулах. Когда мы катались на лыжах, я молилась, чтобы оказаться рядом с ним в грузовичке или на подъемнике, или за столом во время ленча. Больше ничего не «происходило», но это не нарушало совершенства наших чувств. Он подтвердил, что я ему «нравлюсь», когда Рэчел спросила. И теперь я могу по нему томиться — со щемящим чувством, уютно, издалека.

16
«Птицы» и пчелы: по Хичкоку

Пусть страсти необоримы, я клянусь погасить их.

Второй из Четырех Великих Обетов, которые цитирует Зуи в «Фрэнни и Зуи»[187]

Этой осенью, вернувшись в школу, мы, пятиклассники, вдруг услышали во время урока какой-то утробный вой, исходящий с игровой площадки. Весь класс вскочил и бросился к окнам. На площадке две собаки склеились вместе. Деревенские дети засмеялись первыми: они знали, что происходит. Остальные тоже не замедлили догадаться. Миссис Сполдинг застучала по окну. Потом повернулась с горящим взором и изрекла: «Не горячитесь так, детки. Детки! Я вам говорю: не горячитесь!» Но процесс кипения начался, пузырек за пузырьком; в нас бурлили новые страсти, и никто, даже директриса миссис Сполдинг, не смог бы это остановить.

Наши матери чувствовали бьющую через край энергию, движение корней и набухание луковиц под белым покровом зимы — и они пытались задержать процесс. Они безжалостно отсекали побеги, чтобы мы были по-прежнему целомудренными, по-прежнему под контролем. Моя мать снова стала заплетать мне косички, да так туго, что брови поднимались на лоб. Четыре шпильки как минимум всаживала она в мою шевелюру, чтобы волосы не падали на лицо. Меня обряжали в бесформенные шерстяные платья, такие уродливые и неприглядные, что даже я это замечала и ненавидела их. Мать Виолы выработала другую стратегию, имея в виду ту же самую цель. Виолу, девчонку-сорвиголову, отправляли в школу одетой как куколка: в кружевах, в нижних юбках и в кудряшках. Мать дома делала ей перманент, накручивая прямые пряди на проклятые бигуди.

Каждое утро, когда наши мамы оставляли нас в школе, мы с Виолой направлялись прямо на первый этаж, где совершали наш утренний ритуал. Виола мочила голову под краном, а я распрямляла ее кудряшки и сушила бумажными салфетками. Потом она помогала мне выпутаться из пятидесяти с лишним ярдов эластичной ленты, которой были стянуты мои косы, распустить их и вытащить все до единой шпильки.

Каждый день приходилось жестоко расплачиваться, когда наши мамы видели, что мы сделали это опять. «Честно, ма, они сами расплелись. Когда мы играли, на переменке. Ты что, хочешь, чтобы я *сидела* всю переменку? Го-о-осподи боже!» Они могли пороть нас до изнеможения, пока не отвалятся руки, — это нас не останавливало. Каждое утро локоны, «освеженные» с помощью бигуди, намокали под краном, и косы вырывались из плена.

С приходом весны изменения, происходившие подспудно, начали обнаруживаться в наших играх и поведении. Мы, девчонки, перестали играть в лесу в наши собственные игры и принялись вместо этого танцевать во дворе под звуки синего портативного магнитофона, который я приносила в школу. Мы разучивали новые танцы — те, которые видели в программе «Американская эстрада»: к твисту добавились пони и свим. И хотя танцевали мы друг с дружкой, а мальчишки демонстративно в сторонке играли в шарики, время от времени какой-то мальчик, какая-то девочка откалывались от группы и вместе ходили по площадке, иногда под руку; потом возвращались к своим шарикам и танцам. Общение мальчишек и девчонок ограничивалось такими невинными прогулками парами, но дело ведь не в том, *что* вы делаете вместе, а в том, что ты кому-то «нравишься». Теперь, когда мы играли в дочки-матери, девчонки хвастались брелками или сувенирами, которые попадаются в коробках с кукурузными хлопьями; и ценились эти безделушки дороже алмазов: то были подарки от «парней», с которыми они «встречались». От старших сестер многие знали, что завести постоянного «парня» и «гулять» никому не позволят до средней школы, но эти знаки внимания очень возбуждали. Меня охотно выбирали в команду для игры в пятнашки или в «рыжего пирата», или в веревочку, но в этой новой игре пары установились, и никто не выбрал меня.

Как-то раз мы с папой в Виндзоре зашли в центр распродаж Дж. Дж. Ньюберри, и там я, как тот тщедушный мальчишка, который решил выпить Напиток для тяжеловесов, увидела свое чудо. Там, в корзинке с бижутерией, лежал кулон с большой золотой буквой на пластмассовом, под дерево, кружке, подвешенный на золотой цепочке длиною в добрый фут. Он был восхитительный. Папа, слава богу, не спросил, почему я покупаю кулон с буквой Р. Может быть, он не заметил.

В понедельник я надела его в школу, спрятав под блузкой. На переменке рассказала девчонкам, что в выходные познакомилась с очень симпатичным мальчиком. Он из Клермонта, и его зовут Ритчи Дэвис. Вскоре меня окружили девчонки и стали расспрашивать всякие подробности о Ритчи, который все время

живет в Клермонте, где есть кинотеатр и всякое такое. Ритчи водил меня смотреть фильмы, которых уже лет тридцать нигде не показывали. Я рассказала девчонкам и даже некоторым мальчишкам весь фильм «Тридцать девять ступеней» и как Ритчи держал меня за руку, когда становилось страшно. Потом я медленно извлекала кулон из-под блузки — длина цепочки позволяла выдержать изрядную, истинно хичкоковскую, драматическую паузу — и заявляла: «Мы решили встречаться».

Какие-то девчонки через год-два нашли свой особенный выход: от игры в куклы они переключились на лошадей и сделались счастливы. Они рисовали лошадей, говорили о лошадях, ездили на лошадях, чистили их, гладили, кормили, поили, а на переменках играли в лошадки. Но мы, оставшееся большинство девочек и мальчиков, охотно переносили примеры из жизни гусениц, птичек и жаб прямо на род человеческий, обходя всяких лошадей.

Наше сексуальное воспитание и ограничивалось этими наблюдениями, совершенно неизбежными в сельской местности. Естественно, деревенские дети лучше знали закон размножения в его ветеринарном аспекте. Но когда мы пытались представить себе, как «это» делают люди, что они делают при «этом», все без исключения терялись в догадках, высказывали самые различные предположения, основанные на сопоставлениях да на преданиях, переходивших в наследство от старших детей. Невинные прогулки с мальчиками по игровой площадке перемежались грязными шугочками и анекдотами, которые мы взахлеб рассказывали друг другу, силясь проникнуть в великую тайну взрослых.

Чем только не заполняли мы этот информационный вакуум! Жуткий отстойник некрофилии, каннибализма, экскрементов бурлил на нашей игровой площадке, бил в небо, как нефтяной фонтан. В одной грязной истории говорилось о парне, который заблудился и просится к фермеру переночевать. Конечно, говорит фермер, заходи, только тебе придется лечь в одну постель с моей дочкой. Ладно, отвечает усталый путник. Утром фермер предлагает гостю позавтракать, но тот отказывается, говорит, что сыт. На следующее утро то же самое. На третье утро гость все-таки признается фермеру, что с ним творятся странные вещи: «Я хотел поцеловать твою дочку, но мне в рот набилось полно риса». А фермер говорит: «Риса? Да это не рис, а черви: моя дочка вот уж год, как померла».

Другая история была про парня, который съел женщину. Надо думать, кто-то услышал фразу типа «я бы так тебя и съел», «какая ты сладкая», и понял ее буквально — что в этом странного? Этот

парень в истории ест женщину, слой за слоем, и ему попадается разная пища — чем ярче ее описываешь, тем лучше. Убойное место — когда обнаруживается каким-то образом, что этот парень, на манер археолога, поглощал слой за слоем то, что выблевали другие парни, которые уже этой женщиной угощались. Мило, да?

Холден выражает нашу общую мысль, когда говорит: «Нет, не понимаю я толком про всякий секс. Честное слово, не понимаю». Но Холден, повесть о котором была опубликована в 1951 году, уже не был частью отцовского мира к тому времени, как я достаточно подросла, чтобы интересоваться этим. От человеческого смятения Холдена отец перешел к Тедди и юному Симору, к их предвечному, совершенному знанию. Семилетний Симор, например, пишет родителям о директоре лагеря и его жене и объясняет, что все проблемы в их браке происходят оттого, что «им не удалось стать до конца единой плотью». С помощью Дезире Грин, «очень смелой и открытой девочки для своих восьми лет», он показал бы им нужную технику «сравнительно в два счета».

Мы с Виолой только что закончили расплетать косы и растрепывать локоны, как она сказала: погоди чуток, хочу пописать. Через минуту она позвала меня из кабинки: «Пегги, не могла бы ты пойти и попросить у миссис Сполдинг вату и бинт? Тут у меня кровь на трусиках. Наверное, вчера уселась на стекло в ванне». Она была в ужасе, когда кровь не унималась несколько дней, и это стало повторяться с интервалом около месяца.

Я тоже сделала ужасное открытие. Сидела в ванной — и вдруг увидела их. Ни с того, ни с сего два темных волоска вылезли из того места, которому нет названия[188]. Так, когда весной тает снег, появляется не пышная зеленая травка, а грязь и сплошной колтун спутанных, желтоватых корней, а рядом — окаменевшие, белые, рассыпающиеся в пыль прошлогодние собачьи какашки; все выглядит так, будто только что выползло из-под огромного валуна. Мы с подружками, завороженные, поглощенные ужасом, наблюдали, как эти формы из иного мира пробиваются на поверхность: так маленькие, лохматые, с булавочную головку, папоротники и грибы, только-только проклюнувшиеся из земли, не похожи на до конца развившиеся особи, видные всем. Нечто влажное, земное, со странным запахом, слишком красное и блестящее, и закругленное. Почему один сосок втянутый, а другой выпуклый? И некому объяснить, утешить, сказать, что ты не останешься уродиной на всю жизнь. Мы бы скорее умерли, чем показали это кому-то еще, кроме

близких подруг, — а между собой мы устраивали тайные сеансы на сеновалах и в трех домах: раздевались и осматривали друг дружку, как прокаженные в поисках новых язв.

На чердаке у одной подруги, под старым сундуком, мы обнаружили тайную книгу познания. Искали мы старую одежду. А нашли тайник, где ее старший брат хранил журналы «Плейбой». Мы пялились, остолбенев от зависти, на совершенные округлости грудей и ягодиц. Девочки «Плейбоя» в начале шестидесятых были как куклы Барби — никаких торчащих волос на лобке; на самом деле и лобка-то не видно: одни только большие, глянцевые, словно из мороженого, шары. Пропасть между этими девочками и нами была непреодолимой. Даже в самых диких, самых смелых мечтах мы не могли совершить такой прыжок: мы принадлежали к разным биологическим видам. И мы решили, что будем «лесби». Мы не очень хорошо себе представляли, кто они такие и чем занимаются, но мы знали, что это — девочки, которых влечет к девочкам, а не к мальчикам, и, по крайней мере, я по этому поводу очень переживала. Да, меня влекло к мисс Марч, и я с удовольствием думала о ее роскошных грудях, но не могла себе вообразить, что можно думать о «штучках» Герби или Генри, которые они мне показывали еще в третьем классе иначе, как о чем-то совершенно неприличном; а представить себе, что кто-то из этих мальчишек воткнет свою «штучку» в меня и станет мочиться, как кобель в суку тогда, на игровой площадке, выходило далеко за пределы самой ужасной непристойности. И еще: животные кричали, моя мать кровила на «котэксы», которые выбрасывала в ведро под раковиной; а вспомнить, как ее зашивали, когда братик родился, и она сидела на резиновых прокладках…значит, это не только непристойно, это еще и мучительно: это разрывает тебя пополам. Да, я — первостатейная «лесби».

Еще одним средством совлечения покровов с тайн явился журнал «Нэшнл Джеографик». Но груди на тех фотографиях свисали и были бесполыми, как коровье вымя. Этих журналов в нашем доме было полно, я на них не очень обращала внимание, пока однажды *прямо на кофейном столике* не заметила номер, где поместили фотографию девочки-туземки с едва развившейся голой грудью. Одна из нас! Я чуть не упала, так у меня закружилась голова при одной мысли, что родители могли увидеть журнал прежде меня и рассмотреть во всех подробностях, как она, я, мы все — выглядим. Пусть это будет нашей тайной, не дадим им смотреть, иначе они узнают, что скрыто под моей рубашкой и в моих трусиках. Страх парализовал меня, от стыда вся кровь бросилась в лицо: я едва могла думать. Я схватила

журнал и выбежала за дверь. Бежала, не останавливаясь, пока не очутилась в самой чаще леса. Там я вырыла ямку и похоронила улику.

Пока я предпринимала отчаянные попытки «пригнуться и закрыться», сексуальность моей матери после долгой зимы монастырских школ, неведения и пренебрежения тоже начала пробуждаться. Сейчас я могу определить это так, но той весной мне казалось, что она превратилась в животное. Секс, который я видела или слышала в природе, представлял собой бурлящий водоворот безумия и насилия. Когда наступал сезон спаривания, страшные, визгливые крики доносились из лесов. Наш пес Джои будто взбесился, исчез на несколько дней, а потом, вернувшись, уселся на кушетку и принялся вылизывать свою воспаленную, распухшую «красную штучку», как мы с братом это называли. Кровь и похоть были тогда для меня нераздельны[189].

В январскую оттепель мать и брат, и я слегли с гриппом, который сопровождался рвотой и высокой температурой. Отец принес нам какие-то гомеопатические пилюли. Мать лежала в постели. Я стояла в дверях, когда она вдруг приподнялась на кровати, театрально указала на отца пальцем и завопила: «Ты *травишь* детей! Я больше ни минуты не выдержу. Уезжаю к матери». Нас, «отравленных», она брать с собой не собиралась.

Позже, в том же году, я узнала, что она вовсе не поехала к своей матери, а отправилась с приятелем в Калифорнию, на романтическое рандеву. Какой-то ее бывший воздыхатель случайно застукал их там, в каком-то ресторане. Этот подлый змееныш немедленно донес об этом отцу, а отец — мне. Я держала это в себе около года, а потом, в нужный момент, выложила матери, чтобы ее припугнуть, притвориться всеведущей: «Ах, кстати, я знаю, где ты была в прошлом году, когда всем нам сказала, будто едешь к своей маме в Нью-Йорк». И выложила ей, где она была и с кем, только не захотела сказать, откуда мне это известно.

Я могла сколько угодно притворяться всевидящей и всезнающей, но когда глаза матери заволакивали страсть, ненависть, гнев, страх, желание, мне было совершенно ясно, что она не видит меня, — я для нее не существую. Она становилась как торнадо, как разлившаяся река, как горящая степь. Той весной она, как молния, ударила близко к дому, разрушила наш общественный имидж, публично опозорила нас на весь Корниш.

Отец заехал на дорожку, ведущую к гаражу, выскочил из машины, побежал к дому. «Где твоя мать? Я должен с ней поговорить. Клэр?» — позвал он напряженным тоном, каким

всегда разговаривал с ней. У него буквально спирало дыхание, он хрипел — такого громадного напряжения стоили ему эти разговоры. Он зашел в дом и встретил ее на лестничной площадке. Мы с братом заняли места в первом ряду центральной ложи, на ступеньках. «Клэр, мне сейчас звонила Мэри Джонс, в слезах. Она сказала, что Джо бросает ее и хочет жениться на тебе. Это правда?»

Родители никогда не выставляли нас из комнаты, не говорили, что им нужно кое-что обсудить с глазу на глаз. Мать иногда брала на себя великий труд и втолковывала нам, что папа у нас хороший, но отец не сдерживался ни в обвинениях, ни в бранных словах, ни в проявлениях дурных чувств: все грязное белье, как свое, так и материно, он при случае вытряхивал наружу. Для человека, создавшего целый культ из своих личных дел и своей работы, которых никто не смел касаться, он очень мало понимал в том, о чем можно, а о чем нельзя говорить в присутствии детей, — на самом деле, меньше, чем кто бы то ни было из взрослых, которых я встречала. За завесой добродетели — приватный столик, накрытый на одного.

Как только отец спросил, правду ли сказала Мэри, я не сводила глаз с лица матери. То, что я увидела, сразило меня. Я была почти уверена в ее вине, но ожидала, что она будет защищаться, отнекиваться с оскорбленным видом, протестовать. Но моим глазам явилась глупая, испуганная улыбочка. Она вся вспыхнула, но не от стыда или смущения, а как взбудораженная, возбужденная девчонка. Будто она вернулась домой со школы, а отец спросил: «Я слышал, что маленький Джои Джонс макнул твою косичку в чернильницу, — это правда?» Когда она заговорила, было ясно, что она лжет, но лжет, как ребенок от трех до пяти, который глядит на печенье в карманчике своего фартука и говорит, что, наверное, собачка бросила его туда. У ребенка это может получиться наивно и мило; во взрослом это несказанно бесит. Мне хотелось колотить ее головой об стену, чтобы стереть подлую, глупую улыбочку с проклятых губ, или дать как следует по зубам, чтобы она перестала ломаться и заговорила, наконец, как взрослая женщина.

Я подложила под себя руки, как часто делала в детстве и отрочестве: боялась, что они сами собой сомкнутся на ее горле, и их уже будет не остановить. Я не шучу: мне приходилось так тяжко бороться с собой, чтобы ее не задушить, что я иногда впадала в полное изнеможение. Она сказала отцу, что просто не может понять, *почему* глупый Джо влюбился в нее — уж она-то, *конечно*, и не думает выходить за него замуж.

Это, я знала, было правдой — она не думала за него

выходить. Такая колоссальная несправедливость просто придавила меня. У Джо были короткие ноги и маленькая крепкая задница; когда мы играли в софтбол, он носился как угорелый. Они с матерью были не пара, и тогда, сидя на ступеньках, я думала: «Выбрала бы кого-нибудь себе по размеру, нахалка». Конечно, она «делала это» с Джо, думала я, но он, дурачок, влюбился, а она с ним только играла, как наша кошка Перли играет с бурундуком, который был настолько глуп, что попался к ней в лапы. Это было нечестно. Прежде всего, по отношению к Мэри и детям.

Джо уехал в Калифорнию. Я была уверена, что Мэри никогда больше не пустит нас к себе, не позволит играть с детьми. Но Мэри всячески давала нам понять, что мы не виноваты, что случившееся касается только взрослых. Не думаю, чтобы она это говорила, но ощущение было такое. Но я сходила с ума, видя, как дети скучают по отцу, как оказалась разрушена их жизнь, — и насколько мало это отразилось на моей матери. Иногда она казалась умственно неполноценной: она не только утратила чувство ответственности, но даже и не задумывалась о последствиях своих поступков. Как ребенок, который прячется с головой под одеяло и думает, что никто его не увидит, так и мать сообщала, глупо хихикая, что ей пора идти на важную встречу. Я все знала; я видела похоть, стиравшую с ее лица все человеческое.

Отец говорил, что она «патологическая лгунья». Он перевел все в плоскость морали; теперь, по крайней мере, у меня были для «этого» слова. Я могла выражать свое возмущение, клеймить ее грехи с точки зрения нравственности. Он снабдил меня языком, дал выход моей ярости, так что я уже не должна была так часто подкладывать под себя руки. Однажды вечером я столкнулась с ней на кухне и сделала выговор за то, что она теперь, ко всему прочему, оставляет у себя любовников на ночь. Мне-то все равно, говорила я, но вот брат — другое дело. Каково мальчику видеть, что его мать — шлюха? Она попыталась залепить мне пощечину, но я увернулась и убежала.

Но отца заботили не мы, ему просто не нравилось, что он должен платить бывшей жене алименты по 5000 долларов в год. Или, как он считал, «кормить ее хахалей». «Ты же не гадишь там, где ешь», — твердил он мне, девяти-или десятилетней, по дороге домой, имея в виду маминых ухажеров. Он без конца ныл по поводу этих алиментов. Позже, когда я попыталась заставить его заплатить за мое обучение в колледже, — а это он обязан был сделать согласно условиям развода, — я поняла, что за свои действия в реальном мире он отвечает не в большей степени, чем моя мать; другое дело — его работа. Алименты, содержание

животных, одежда, плата за обучение — составляющие великого заговора с целью «выжать» его до капли.

Но когда я была ребенком, он мне казался безупречным: немного тяжелым, иногда по-настоящему странным — но в нравственном отношении абсолютно безукоризненным. Мы с отцом, как присяжные, вынесли вердикт, что мать виновна в преступлениях против морали. Я чувствовала себя оскорбленной и уже не боялась ее. Но меня продолжало пугать то неопределенное, невыразимое ощущение, для которого не было слов: с моей мамой что-то не так, и это непоправимо. Меня приводили в ужас ее телесные проявления, я старалась не прикасаться даже к ее одежде, избегая ее как чего-то нечистого, будто мать заразилась или завшивела.

Я не могла объяснить себе, как это получалось: в какую-то минуту Клэр — моя мама и любит меня, а в следующий миг — словно самум пролетал в пустыне — все узнаваемое, человеческое стиралось с ее лица. Иногда мне казалось, что она сумасшедшая, но потом я решила, что просто злая. Мне уже было за двадцать, и я работала в приюте для неблагополучных детей, когда я снова увидела этот «нездешний» яростный взгляд и блуждающую глупую улыбочку. Я была тренером по баскетболу у девочек и определяла у младших степень развития большой моторики. И заметила, что пока ребенок нормально играет и находится в контакте с другими — все хорошо, но как только речь заходит о телесных отправлениях, например кто-нибудь просится в туалет; или вдруг заходит преподаватель-мужчина, который нравится девочке, — в ту же секунду с ней происходит что-то странное, будто личность распадается, и тогда взгляд тускнеет, лицо вспыхивает и на нем появляется та самая жуткая улыбка.

Второй раз я увидела такое преображение лет через десять, после тридцати. Тогда я жила в начале Марльборо-стрит, в одном из «лучших» кварталов Бостона, в доме, принадлежавшем бывшей проститутке, которая все еще держала при себе нескольких девиц, сдавала им комнаты в первом этаже с выходом в боковой проулок. Я прожила там двенадцать лет, и летом, вечерами, не раз болтала на крыльце с девицами, выходящими на работу. Они подумывали о завершении карьеры. Одна купила домик в Теннеси и собиралась уехать туда, поближе к семье, когда бросит свое ремесло. Она мне рассказала, что начала этим заниматься, потому что в молодости влюбилась «не в того парня», который ее обобрал; а еще, прибавила она, из-за этого, — показывая на свою огромную грудь. Она бесплатно обслуживала слепого, который приходил сюда со своей собакой. Слепой был мягким, нервным человеком, и он входил через парадную дверь, как джентльмен, а

не через боковой проулок, как клиент. Мы всегда с ним здоровались, так, будто он пришел к ней на свидание. Другую девицу, Вики, пустил по рукам собственный папаша.

Однажды вечером я стояла на крыльце с Марселью и Вики. Мы вдруг заговорили о нашей соседке со второго этажа, приличной девушке, которая работала в Музее изобразительных искусств. Кажется, предыдущей ночью она принимала у себя своего нового парня, банковского служащего, и они довольно шумно занимались любовью. Марсель и Вики хихикали, как школьницы, сплетничая об этом. А я-то думала, что половой акт так же интересен уходящей на покой проститутке, как гайки и болты — рабочему с конвейера. И все эти годы я время от времени наблюдала ту же сцену: женщины за сорок, мило болтающие о розах (у нас были посажены красивые розы у парадного крыльца), превращались в пятиклассниц в ту самую минуту, как речь заходила о сексе. Девчонки сосуществовали с женщинами зрелых лет, и эти два возраста не смешивались, не пересекались. То ты видишь одну, то другую. Леди исчезает[190].

17
Вечно десятилетняя

Когда той осенью я пошла в шестой класс, в новую школу, мне уже не понадобился кулон с буквой Р. Я с благодарностью распрощалась со своим воображаемым другом Ритчи, который оказался таким галантным и так хорошо за мной ухаживал: водил в кино и дарил подарки, когда никто другой не хотел этого делать. Шел 1966 год, и мать решила отправить нас с братом в среднюю школу в Норвиче, штат Вермонт. Норвич — городок, который стоит на реке, прямо напротив Хановера с его Дартмутским колледжем. В школе было шесть классов, а с седьмого по двенадцатый все дети из Норвича перебирались учиться в Хановер. Школа была хорошая, прекрасно оборудованная, и она всех устраивала, кроме Виолы и меня, — мы уже не могли проводить столько времени вместе до тех пор, пока не стали взрослыми.

Мы, шестиклассники, были самыми старшими в школе, а поскольку брат у меня учился в первом классе, я очень ответственно относилась к своей роли наставника. Нас разбили на пары, провели инструктаж, и мы стали дежурить на улицах, у переходов, помогая малышам, идущим в школу, правильно переходить дорогу. Во время дежурства мы носили белый пояс из грубой холстины и ленту через плечо. Закончив дежурство, эту амуницию нужно было свернуть особым образом и торжественно, как знамя, передать на хранение до завтра.

Мы серьезно относились к своим обязанностям: не высмеивали друг друга и, что самое удивительное, не зазнавались и не командовали без нужды. Учителям удалось взять правильный тон, внушить нам чувство долга и ответственности. Хотелось бы знать, как, — я бы сохранила рецепт.

Самое лучшее в этих дежурствах, как я со временем обнаружила, было то, что пару тебе назначали, ты ее себе не выбирал. Каждый раз меня ставили с кем-нибудь из ребят, с которыми я при других обстоятельствах вряд ли когда познакомилась. И городских, и деревенских одноклассников можно было спокойно, не спеша, разглядеть и узнать. Всю осень я дежурила с тихой, застенчивой Линдой Монтроз, у которой оказалось замечательное чувство юмора. Весной я ходила с Полиной Уэлен, единственной девочкой, которая смогла подружиться с Этелью, самой бедной среди нас, судя по З.Т., размеру груди и тому, сколько лет просидела она в одном классе.

Этели было пятнадцать или шестнадцать лет, она была уже вполне развита, но круглый год носила жуткие, все истрепанные ситцевые летние платья, которые, скорее всего, принадлежали ее матери. Всю долгую зиму она носила не теплые чулки, как все мы, а мужские носки по щиколотку, или вообще ходила с голыми ногами. Однажды на дежурстве Полина рассказала мне, что на этот раз отец по-настоящему крепко выпорол Этель, она даже показывала Полине ужасные полосы на спине.

На следующий год, в седьмом классе, Этель расхаживала по коридорам, как всегда, румяная, в вылинявшем, старом хлопчатобумажном платье — и беременная, как амбарная кошка. У нее *не было* парня. Все это знали, но никто ничего не предпринял. Таков был мой мир. Рассказывать что-то взрослому, значило ябедничать, навлекать на кого-то беду. Никогда, ни разу не думала я, что взрослые способны *выручить* кого-то из беды[191].

То же самое было и в Плейнфилде. Все знали насчет Рут Энн, девочки, которая была классом старше меня, что ее отец был ей также и дедом. Рассказывали, что когда у него умерла жена, он стал спать со старшей дочерью и прижил целое новое поколение ребятишек, включая и Рут Энн. Что человек делает в своем собственном доме, никого не касалось — вы, конечно, можете возмутиться, но вмешаться никто не позволит. Полина позволила мне взглянуть на темную сторону невмешательства в личную жизнь, когда ничем не сдерживаемая свобода родителей поступать так, как им вздумается, оборачивается маленьким, приватным адом для их детей.

Я также обнаружила, что если сломать стены, перестать таиться от окружающих, поделиться своими проблемами с другом, то перестаешь чувствовать себя такой одинокой и непохожей на других. Именно в Норвичской школе я обнаружила, к своему облегчению, что не у одной меня мать «шлюха». Мы с моей одноклассницей Никки однажды разговорились о младших братьях, и выяснилось, что мы обе ради их блага пытались выжить из дому материнских любовников. Мать Никки была хорошенькая, бойкая; она недавно развелась, как и моя; и, как и в моем случае, не обращала внимания на то, что ей говорят. Это нас возмутило. Ладно, пусть они «делают это» — но мужикам полагается тайком проникать в дом через черный ход, по-лисьи, с поджатым хвостом и выметаться до зари. А то вот он, любовничек, рассядется за завтраком, гордый, как петух. Глаза бы не глядели. Мы кипели, просто кипели бессильной яростью.

Никки оставила школу в девятом классе. В Хановере это было неслыханно, но в Нью-Гемпшире вполне законно. Восемь классов

ты обязан закончить, а дальше — дело твое. Уходили, правда, парни, которые в восьмом классе уже брились, а не тринадцатилетние подростки: эти доучивались, не болтались без дела. Никки часто ходила в Центр Хопкинса на факультет искусств Дартмутского колледжа. Я видела ее в студенческом кафе: она там курила, пила кофе и читала. Она везде себя чувствовала непринужденно — даже в тринадцать лет выглядела так, будто ей здесь самое место, будто она пишет диссертацию или еще что.

Позже, когда я училась в интернате, отец время от времени встречал ее в Хановере и писал мне об этом. Однажды сообщил, что стоял рядом с матерью Никки в супермаркете, в очереди в кассу. Он допускал, что она, должно быть, падшая женщина, но, писал он дальше, «твоему глупому отцу» понравилось разглядывать ее личико. Тогда он, как Холден, честно признавался, что его влечет хорошенькое личико, и желания, определяемые гормонами, не совпадают с тем, что почитает за лучшее ум. Но меня это не беспокоило, я была абсолютно уверена, что он, в отличие от матери, может контролировать себя. Я допускала, что он когда-нибудь снова женится, но унизительная мысль о том, что отец с кем-то «встречается», даже не приходила мне в голову — так был он возмущен разнузданным поведением матери.

Если вы думаете, что когда ваш отец — писатель Дж. Д. Сэлинджер, — это круто, то вы ничего не понимаете. И в шестом классе, и дальше это не вызывало у моих друзей ни искорки интереса. В нашей компании считалось: что бы ни делал *предок*, все будет полной противоположностью крутизне. Все родители, учителя, и младшие дети считались невыносимыми занудами; а мы, с упорством и выдержкой скалолазов, стремительно поднимались туда, где на вершине, в апогее крутизны, прохлаждались старшеклассники, и весь мир лежал у их ног.

Мой братик Мэтью уже в первом классе добился определенного положения в своем мирке. Он стал королем шариков. Начав, как и всякий мальчик, с маленького мешочка шариков, он на каждой переменке выигрывал у других ребят, и его запас становился все больше и больше. К середине осени он дома набил шариками несколько коробок из-под обуви — вот как их было много. Папа научил его играть в шарики пару лет тому назад, и теперь он стал грозой школы. Не знаю, обучил ли его папа технике Симора[192], — мальчики не посвящают никого в свои тайны, а игра в шарики была великой тайной, под стать тому, как мочиться в писсуар. Наши с братом пути в то время

нечасто пересекались. В школе нас многое разделяло: младшие не общались со старшими, мальчики с девочками. Дома, а также по дороге в школу и из школы мы просто терпели друг друга. Насколько я помню, единственным, что мы делили в то время, были обеды с отцом. Папа продолжал играть с братом в шарики, машинки и прочее, но, кажется, уже не знал, что делать со мной.

Походы в рестораны — во всяком случае, наши, провинциальные, — и в подметки не годились тем давним уже вылазкам за грибами, когда мы дома готовили из них омлет. Рестораны в наших местах ничуть не похожи на экзотический «Вольфи» во Флориде, или на «Русскую чайную» в Нью-Йорке. Наши принадлежали к трем основным разрядам.

Первый — «шикарные» места, где тебе могут подать креветочный коктейль. Они состояли из одного похожего на пещеру зала, битком набитого столиками со скатертями; лампочки там светили тускло — для «атмосферы». Когда мы ходили в «Монтшир Хаус», или в «Аэндер», или в «Виндзор Хаус», папа неизменно жаловался на освещение, довольно громко. И неизменно говорил официанту, что в следующий раз принесет с собой фонарик, чтобы прочесть меню. К следующему разряду принадлежал «Ховард Джонсон», где ухитрялись делать крабовый салат без крабов и подавали конусы мятного мороженого с настоящей карамелью.

Рестораны третьего типа представляли собой маленькое помещение, вмещавшее с десяток пластмассовых столиков или большую стойку. Там мороженое подавали в высоких, под олово, исцарапанных металлических креманках, поставив их на тарелку, покрытую бумажной салфеточкой. Я всегда брала шоколадное с сиропом, а брат — ванильное с шоколадом. Мы придирчиво рассматривали порции друг друга, прикидывали, кому больше повезло с «ожерельем». Это «ожерелье», существовавшее до эры огромных, раблезианских фасовок, было маленьким ободком, окружавшим плотно сбитый шарик. Если повезет, и мороженое немного подтаяло (или официант задержался), «ожерелье» могло составить еще половину порции. Если оно было хорошо замерзшим, ты получал лишь свой шарик, идеально круглый. Отец всегда позволял нам заказывать мороженое, но всегда твердил, что «замороженный протеин — это яд для печени, он практически не усваивается»[193].

Единственный ресторан, куда мне нравилось ходить и где я чувствовала себя счастливой, была пиццерия Тони на дороге в Клермонт. Тони готовил пиццу, а его красивая дочурка Мария, ровесница Мэтью, время от времени подходила к нашему столику и что-нибудь нам приносила. Мы всегда заказывали одно и то же:

пиццу с двойным сыром, имбирное пиво для меня, апельсиновую шипучку для Мэтью, а папе для начала — мартини с оливкой, а потом — бокал кьянти. Однажды, вскоре после того, как Тони открыл свое заведение, папа сказал ему, что такой вкусной пиццы он нигде не едал, разве что в нью-йоркском Литл-Итали, у Розы, фамилии он не помнит. Тони прищурился, вытащил сигару изо рта и назвал полный адрес пиццерии в Литл-Итали: дом, улицу, перекресток. «Да, да, это там! — воскликнул отец. — Неужели и вы там были?» — но не успел отец закончить этот вопрос, как Тони кинулся его обнимать, хлопать по спине; в глазах его стояли слезы. «Ту пиццерию держит моя мать! Это моя мать готовит такую пиццу!» Если вы напишете что-то подобное в книге, вам никто не поверит.

А еще мы с братом вместе обязаны были выслушивать дежурную проповедь. С тех пор, как я себя помню, отец читал нам одну и ту же литанию, отчаянную и страстную. Не могу сосчитать, сколько раз я слышала ее подрастая, — по меньшей мере, раз или два в месяц, с тех пор, как мне исполнилось семь лет, и до того момента, как я уехала из дому и стала считаться совсем пропащей. Я не преувеличиваю. Пик пришелся на тот год, когда мне было десять. Участились ли отцовские речи в ответ на перелившуюся через край сексуальность моей матери, или явились прелюдией к пробуждению моей, я не знаю. Начинались они с такой сентенции: «Прежде чем вступить с кем-нибудь в брак, убедись хорошенько, что вы смеетесь над одним и тем же». Иногда отец добавлял какую-нибудь назидательную историю, например, как он встречался с девушкой, которая в кино во время сеанса взяла и расхохоталась над какой-то грубой фарсовой сценой, и какую боль ему это причинило, и так далее. Другие родители твердят одно и то же день за днем, до тошноты, добиваясь, чтобы дети не повторили их ошибок: «не бросай школу, получи образование, специальность — иначе, как я, будешь всю жизнь подметать полы». Отец своими литаниями тоже предостерегал от ужасной ошибки, которую он совершил, женившись на такой женщине, как наша мать. Тест на совместимость, лакмусовая бумага — это когда вы и ваш партнер смеетесь в кино над одними и теми же вещами. «Крайности притягиваются, но ненадолго». Потом он устремлял взгляд вдаль, и на лице его отражался весь тот опыт, вся мудрость, которой он готов был с нами поделиться (ах, господи, опять *все то же*). «Лечи подобное подобным», — говаривал он. «Подобное — подобным» — основной принцип его излюбленной гомеопатии.

Но кто подобен, кто — ландсман, кто подходящий товарищ?

Если следовать его критерию — тот, кто смеется над теми же фильмами, — тогда Холден и Фиби идеально подходят друг другу, так же, как Бэйб и Мэтти, а еще — отец и те его идеальные читатели, которых он воображает, к которым обращается в «Над пропастью во ржи» и которых откровенно, беззастенчиво обхаживает, протягивая «скромный букет первоцветов-скобок: «(((())» — на первых страницах повести «Симор. Введение».

В отличие от меня, его десятилетние героини, мои вымышленные сестры, были совершенными, безупречными, отражали в себе все, что нравилось отцу. Любимая сестренка Холдена, Фиби, вела себя правильно всегда и везде:

«Такой хорошенькой, умной девчонки вы, наверное, никогда не видели… Ей всего десять лет… Вам бы она понравилась. Понимаете, ей что-нибудь скажешь, и она сразу соображает, про что ты говоришь… Например, поведешь ее на плохую картину — она сразу понимает, что картина плохая. А поведешь на хорошую — она сразу понимает, что картина хорошая… Любимый ее фильм — «Тридцать девять ступеней» с Робертом Донатом. Она всю эту картину знает чуть не наизусть…»

Десятилетняя сестричка Бэйба, Мэтти, тоже ведет себя правильно. В одной из сцен Бэйб ждет ее у школы, где она и еще несколько девочек задержались: учительница после уроков читает им «Грозовой перевал». Бэйб видит, как девочки выходят из школы:

«Небось им нет дела ни до какого «Грозового перевала». Просто подлизываются к учительнице. Но только не Мэтти. Спорю на что угодно, ее эта книга сводит с ума, и она мечтает, чтобы Кэти вышла за Хитклифа, а не за Линтона…»

— Бэйб! — завопила она. — Ура-а!..

— Ну, как книжка? — спросил Бэйб.

— Хорошая! Ты ее читал?

— Ага.

— Я хочу, чтобы Кэти вышла за Хитклифа. А не за этого зануду Линтона. Ну его в болото! — затараторила Мэтти…»[194]

Идеальные читатели отца тоже ведут себя правильно. Через несколько страниц после рассказа о Фиби Холден описывает, как толпа в ночном клубе принимает пианиста, бьющего на эффект. Холден обращается прямо к читателю:

«Вас бы, наверно, стошнило. С ума посходили. Совершенно как те идиоты в кино, которые гогочут, как гиены, в самых несмешных местах… Они всегда не тому хлопают, чему надо».

Однажды — думаю, мне было тогда лет восемь — я сказала отцу, что люди ему нравятся только в гомеопатических[195] дозах.

Он счел мое наблюдение таким верным, таким проницательным, что вечно повторял его всем своим знакомым, как другие родители повторяют первые слова своих детей, хвастаются первыми наградами и призами. Я тогда имела в виду — и, думаю, он так это и понял, — что люди ему нравятся только в очень маленьких дозах, но теперь я осознала, что мое наблюдение верно и на другом уровне. Отцу нравятся только подобные ему люди, гомеопатически подобные, идентичные субстанции с идентичными свойствами, различающиеся лишь размером и формой. Подобное — подобным.

Я была очень чуткой и восприимчивой, поэтому мне удавалось почти все время сохранять его расположение, быть славной девчонкой, той самой, которая смотрела в зеркало, когда он брился. Так я продолжала пребывать в волшебном мире, где он рассказывал мне истории, где мы собирали в лесу грибы и завтракали в гостиницах и куда не было доступа взрослым с их «пустозвонными» правилами и нелепым чванством. Но цена, которую приходилось платить, чтобы в этом мире оставаться, оказалась чересчур высокой. Чтобы обычная, реальная девочка могла войти в его мир, ей нужно было в каком-то смысле стать выдуманной, отделить себя от глубины, сложности, несовершенств всамделишного, трехмерного человеческого существа. Требовалась изощренная умственная гимнастика, чтобы всегда отражать его точку зрения и никогда не доводить до отторжения с его стороны, — а значит, выказывать себя крайне осторожно, выборочно, подчеркивая только одну сторону своей личности. Мой духовный мир не утратил самобытности, но расщепился; во мне, можно сказать, сосуществовали две личности: одна играла с подругами и предавалась собственным тайным помыслам, а другая представляла собой сколок с отцовского мира и позволяла мне оставаться его любимой дочкой. Я тогда так не думала, я этому просто научилась. Такая реакция стала автоматической, психическая структура — надтреснутой, как подвергнутое удару стекло[196].

Читая отцовскую повесть «Зуи», я удивилась, когда обнаружила, что отец эту особенность своих отношений с людьми отчасти осознавал. Его мать, во всяком случае, понимала, в чем тут дело. Бесси Гласс говорит своему сыну Зуи: «Ты нагоняешь на людей страх, молодой человек… Если кто-то тебе не понравился в первые две минуты, ты с ним не желаешь иметь дела, и все». То, что Бесси говорит о Зуи, совершенно верно и в отношении моего отца и меня. Когда я переставала с ним совпадать, синхронизироваться, как звук и изображение в кино, он реагировал мгновенно и остро. Однажды по дороге из школы

между нами произошла размолвка, и он позже позвонил мне по телефону, чтобы выяснить отношения, — в десять лет я сочла, что это очень по-взрослому. Я отчетливо помню тот разговор. Он сказал, что лучше нам найти какой-то путь к примирению, ибо «если я с кем-то перестал водиться, значит, *перестал*». И потом рассказал, как поссорился с одним близким другом и больше никогда с ним не разговаривал. Но мне не нужны были подтверждения и примеры: на моих глазах это происходило не с одним гипотетическим другом, а с большинством из тех немногих друзей, какие у него еще оставались. Он закончил словами: «любить тебя я буду по-прежнему, но если я перестал уважать человека, его больше нет для меня. Конец».

Хотя от его слов у меня все переворачивалось внутри, я думала, как это здорово, что он обращается со мной, как со взрослой. Теперь, на самом деле став взрослой, я думаю — да ты что, с ума сошел? Так говорить с десятилетней девочкой, *твоей* дочерью! Но, как Зуи втолковывает своей сестре Фрэнни:

«И не повторяй, что тебе было десять лет. Я говорю о том, к чему твой возраст не имеет никакого отношения. Никаких существенных *перемен* в возрасте от десяти до двадцати лет не происходит — и от десяти до восьмидесяти, кстати, тоже».

Юный Симор (семи лет), герой повести «Шестнадцатый день Хэпворта 1924 года», в письме домой из летнего лагеря поучает своих трехлетних братьев-близнецов — трехлетний возраст-де не оправдание для того, чтобы отрываться от «выбранных профессий», например чечетки, больше чем на несколько часов кряду: «мне просто смешно вспомнить, оглядываясь назад, какие примитивные речи и поступки приписывают трехлетнему возрасту!» Потом Симор подает такие же несоответствующие его возрасту советы своим сестрам. В этой последней опубликованной повести отца взрослый и ребенок сливаются до такой степени, что в результате получаются герои, которые, будто бы с помощью эликсира Алисы в Стране чудес («Выпей меня»), созданы в равной пропорции из младенца и старика: они кажутся скорее рукотворными манекенами, чучелами, чем людьми из мяса и костей, которые появились на свет в результате реальных, плотских отношений. В них нет крови, соков, грязи, испражнений. Эти маленькие индейцы хранятся неизменными, под стеклом, как в любимом музее Холдена.

Когда мне было десять лет, я больше всего старалась скрывать от отца, пусть даже и под стеклом, что я испытываю хоть какой-то интерес к мальчикам. (Сейчас я поставила бы вопрос немного по-другому и сказала бы, что чувствовала настоятельную необходимость скрывать от него мою «сексуальность».) Когда в

фильме, который мы вместе смотрели, пара целовалась, я, как мне ясно помнится, говорила «фу-у-у» и при этом прекрасно осознавала, что кривлю душой. Как в стихотворении его героя, Рэймонда Форда, я с виду не менялась, сохраняла свои совершенные десять лет, но это — на поверхности, а в глубине, под почвой, не пустыня, но перевернутый лес с новой, пробивающейся листвой[197].

Опасностью вечного детства, этого слияния ребенка и взрослого, является то, что в результате возникает ребенок, похожий на взрослого, «умный ребенок». С того момента, как где-то года в четыре с половиной я поняла, что лучше родителей представляю себе, в чем нуждается мой маленький братик, я себя стала считать более взрослой, чем окружавшие меня взрослые. С одной стороны, это укрепило мою жизнестойкость, а с другой — создало реальную угрозу для жизни. Я часто полагалась на шестое чувство маленького солдата, которое помогало мне избегать опасностей. Но оттого, что я была «взрослым ребенком», мне было трудно судить, что подходит для *детских* игр, а во что играть небезопасно. Теперь я прекрасно понимаю, почему в десять лет я считала парня, которого наняли смотреть за нами, моим ухажером, хотя на самом деле он был настоящим педофилом. В моем «перевернутом лесу» я не была шокирована и не испытывала чувств, какие можно было бы ожидать от десятилетней девочки, когда двадцатидвухлетний парень забирается с ней в постель. Мне, как Фрэнни Гласс, внушили, что между восемью и восьмьюдесятью годами особой разницы нет.

Мак, парень, который за нами присматривал, учился в старшем классе в Дартмуте и работал ди-джеем на радиостанции колледжа. Он забирал меня из школы на своей спортивной машине и, отвозя домой в Корниш, сжимал мою руку на переключателе передач. Когда Мэтью отправлялся спать, Мак помогал мне с домашним заданием, награждая за правильные ответы долгими французскими поцелуями. Сами по себе поцелуи мне не очень-то нравились: будто рыба плещется во рту, но я думала, что дело в привычке — когда начинаешь курить, тоже сначала мерзко во рту и кружится голова, но мысль о том, как это круто, перевешивает. Щупая меня, он говорил, что по-настоящему не должен бы этого делать, но я не понимала, *почему*[198].

Я думала, как это круто — ходить со студентом колледжа, хотя, оглядываясь назад, вижу, что мы никуда и не ходили.

Когда моя подруга Бет, оставшись у меня переночевать, рассказала, что Мак «щупал» многих девочек, присматривать за которыми его нанимали, и одна девочка пожаловалась маме, до меня вдруг дошло, что он вовсе не мой ухажер, а попросту

извращенец. Мне было очень скверно.

И я, конечно, никому не стала жаловаться.

18
Записки из-под земли

В 1967 году весь мир покрылся цветами. Девочка одиннадцати лет, даже высокая, могла легко утонуть в море подсолнухов. На стенах спален благодаря усилиям «Дей-гло»[199] появились плакаты с переливающимися маргаритками, плечи облеклись пестрыми шалями, хипповские дашики[200] окрасили черно-белый мир во все цвета радуги, длинные девичьи ноги в одночасье показались из-под укороченных юбок, а запахи тела уже не могли пробиться сквозь бесконечные волны Английской лаванды Ярдли, лимона Жана Нате, ладана и мяты.

Перед началом занятий — о манна небесная! — мать разрешила мне самой купить для себя одежду. Не знаю, почему она наконец прекратила обряжать меня в тусклые, кусачие, похожие на кокон платья из твида, фетра и шерсти, какие носят английские школьницы. В тот день я вышла из магазина в Хановере с красивым, мягким, голубым, пушистым мини-платьем из акрила, к которому я подобрала белые чулки «с переплетом»[201] и пояс — причем не в том магазине, где мы обычно покупали практичные белые трусики «Картер Порки»: от названия этой фирмы меня всю передергивало, да и сама по себе покупка белья была неблагодарным занятием[202].

Еще я купила пестрое мини-платье, оранжевое с желтым, — цвета, до тех пор неприемлемые в моем гардеробе, — и темно-синее, с желтыми и красными продольными полосками. Это последнее платье было не только яркое: самое крутое в нем было то, что по подолу шел ободок в полтора дюйма толщиной, вроде хула-хупа, зашитого в ткань. Последний «писк».

Впервые в жизни мне разрешили купить нормальные туфли, такие, как у других девочек. Мать была уверена, что я вконец испорчу себе ноги. Ноги у меня были вполне здоровые, но каждый день с тех пор, как я научилась ходить, мне приходилось таскать «практичные» шнурованные полуботинки, похожие на ортопедические, даже на дни рождения, где другие девочки носили легкие кожаные лодочки. Мы купили туфли девятого размера (я носила восемь с половиной, но запас в полразмера предназначался для того, чтобы я не испортила себе пальцы в тот самый момент, как надену туфли), кожаные темно-синие лодочки, на которых — о счастье! — был каблук высотой в одну восемнадцатую дюйма. То были настоящие лодочки! Боже правый! Каблуки. Я купила еще и голубой плащ, «сликер», хорошо

известный поклонникам «Битлз», с большой молнией спереди и ярко-желтым, шириною в фут, поясом. Как чудесно впервые в жизни ощущать, что ты выглядишь классно, а не кошмарно. Знаю: большинство людей в мире заботятся лишь о том, чтобы прикрыть наготу и защититься от холода. Но как все-таки хорошо чувствовать себя красивой: это случилось в первый раз в моей жизни[203]. Я могла бы «танцевать всю ночь» — и не испортить пальцы.

Когда мы вернулись домой, мать позволила мне вытащить из шкафа старые платья и сложить их в сумку, чтобы отдать «бедным детям». На этот раз, правда, «бедные дети» уже не были сестрами одноклассниц, которых я знала в лицо и о бедственном положении которых догадывалась; теперешние бедняки жили далеко, были простым понятием. В сумку, предназначенную для них, отправились три старых платья: три злобные, безобразные сводные сестрицы. Туда отправился узкий, коричневый с бежевым клетчатый шерстяной сарафан, который я носила два года с бежевым или коричневым свитером под шею, белыми короткими носочками и «практичными» полуботинками. Туда отправился темно-синий шерстяной джемпер с сине-белой плиссированной юбкой, которая топорщилась под каким-то нелепым углом и была ужасно кусачей; туда отправился наконец самый ненавистный из всех грязно-бурый сарафан из шляпного фетра, такого жесткого, что он сгибался, как картон, когда я садилась. Боже, как я ненавидела этот сарафан. Я бы с радостью повесила его, а потом сожгла, как чучело противника в Дартмутском колледже перед игрой. Или утопила бы его в заливе, устроив что-то вроде Бостонского чаепития, о котором мы читали в школе, в учебнике по истории — протест против несправедливого налогообложения. Свобода.

И снова, тайком потратив доллар в Виндзорском центре распродаж «Ньюберри», в том самом, откуда был родом мой «золотой» кулон с буквой Р, я приобрела контрабандные аксессуары, благодаря которым как-то выделялась среди одноклассниц: купила клипсы с огромными круглыми «жемчужинами», которые так чудесно раскачивались на двухдюймовых «золотых» цепочках, и тюбик бесцветной губной помады. Эти прелести я тайно проносила в школу. Когда-то только мы с Виолой направлялись прямиком в туалет, где без спросу распрямляли локоны и расплетали косы, а нынче легионы девчонок толпились там перед занятиями, накладывая макияж, милями подворачивая юбки, чтобы достичь вожделенной мини-длины; иные даже курили в кабинках. В воздухе носилось возбуждение.

В первый же день занятий каждому семикласснику выделили личный шкафчик. Это мне очень понравилось: то, что первым делом тебе предоставили потайное местечко, куда можно складывать разные вещи. Клочок бумаги с кодом был для меня столь же волшебным, как и те скрытые от всех, залитые лунным светом миры фей и лесных духов, хозяйкой которых я была много лет назад. То был ключ к моему собственному миру, недоступному для родителей. В шкафчике был крючок для пальто, нижняя полка для ботинок и верхние полочки для книг, блокнотов, щетки и расчески, пакетика с ленчем или кошелька, если ты собираешься завтракать в кафетерии. Шкафчик служил и почтовым ящиком для друзей, которые могли оставить записку сверху или сунуть ее в щель. Иногда шкафчики проверялись, но я никогда не принимала этого близко к сердцу: проверки делались, чтобы защитить нас всех от противных мальчишек, которые оставляли там вонючие после физкультуры носки или бутерброды с ветчиной, отчего в коридоре неделями бывало не продохнуть. Наркотики в средней школе тогда еще не водились: эти проверки не походили на полицейский обыск. Между нами ходили слухи о «хиппи», которые курят «травку», но слухи эти, как далекий дымок над горизонтом, были живописными и комфортными, не таящими близкой угрозы.

С началом каждой четверти мы меняли класс, а коридоры оставались общими. По этим коридорам я пробиралась, скользя среди снующих туда-сюда учеников, как на доске среди волн, упиваясь своим умением и трепеща от сознания опасности. Мы ходили мимо старших: на самом верхнем этаже, где в коридоре лежали ковровые дорожки, они сидели на полу у своих шкафчиков, болтали, разбившись на группки, бесцельно бродили взад-вперед, перебрасываясь шуточками. Потом по интеркому звенел звонок, и коридоры пустели; только те, у кого был пропуск, который нужно было показывать дежурным по коридору, могли пройти. Вскормленная здоровой пищей, шпионскими фильмами о Второй мировой войне, я не могла не обратить самое пристальное внимание на эту систему: пропуска, патрули, запретная территория. В одиночку направляясь в девчоночий туалет, с коридорным пропуском в руке, я собирала данные о расположении противника. Я делала это почти машинально. К концу третьей недели занятий я вычислила всю систему. Мой час настал в конце месяца, когда мне понадобилось пропустить целый день, я уже не помню, зачем; возможно, из-за зубного врача: чтобы получить освобождение, нужно было собрать подписи всех учителей на бланке. Я скопировала все подписи перед тем, как сдать бланк в канцелярию. Теперь оставалось

только добыть пропуск, который какой-нибудь кретин заполнил бы карандашом. Всю мою жизнь дома я пробиралась по настоящему минному полю, между вспышками материнского гнева и узкой тропою отца, а в школе была мирная передышка. Перед папой я притворялась, будто до сих пор «не понимаю парижан, которые думают, что любовь — это такое великое чудо; о, они говорят о любви, не могут жить без любви, о, я парижан не понимаю» («Джиджи»), В школе, однако, *je suis une boulevardiure* [204].

Те немногие места, где школа и дом соприкасались, были самыми труднопреодолимыми. Думаю, я — не единственная девочка-подросток, чей отец «выходил из себя» в среднем раз в две недели. Мои модные чулки доводили его до белого каления. Прямо он этого не говорил, но когда забирал меня из школы, что иногда случалось, окидывал взглядом моих одноклассниц, ждущих автобуса или машины, и объявлял их всех «кокетками, модными куклами, глупыми овцами», поскольку все они носят «униформу фешенебельного нонконформизма». Однажды он взбесился не на шутку. Сидя в коридоре, я нарисовала ручкой на ноге маленькую эмблему борцов за мир. «О боже мой!» — завопил он и прикрыл рукой глаза, будто увидел нечто нестерпимо ужасное. Потом вытянул палец и указал на мою ногу. «Что…это… за чертовщина?» — произнес он медленно, ровно, с презрением выплевывая слова. Ну, ребята: у меня забурлило в животе. — «Ничего. Я не знаю. А что?» Я думала, он ударит меня. «Боже всемогущий. Да ты хоть представляешь себе, что случится, если мы уйдем из Вьетнама? Кровавая баня, — заорал он. — Вот что там случится, придут коммунисты, и начнется кровавая баня. Ты не знаешь, какие они, не знаешь, на что они способны». Я послюнила палец и стала оттирать эмблему. Пригнись и закройся.

Не то, чтобы я была с ним не согласна: я почти ничего не знала о войне во Вьетнаме, только скупые сводки о потерях, какие читали в вечерних новостях Чет Хантли или Дэвид Бринкли. Но в этой холодной статистике было что-то более страшное, более реальное и зловещее, для меня, во всяком случае, чем, например, в «прямых авторских» репортажах о войне в Персидском заливе, передаваемых по СНН. Так, черно-белые фотографии иногда кажутся более правдивыми, чем цветные. Меня до сих пор охватывает дрожь, когда я пишу об этом. Теперь я понимаю, почему, увидев на дочери эмблему борца за мир, отец почувствовал себя так, будто увидел свастику: он почуял угрозу тому, за что сражались и умирали его однополчане. Но тогда я просто до смерти перепугалась. Я понятия не имела, что я такого

сделала.

Казалось, все новые веяния в моей одежде, в стиле поведения (собственно, и эмблема борца за мир была для меня в то время всего-навсего стильной; вот мать, та действительно оказалась серьезно вовлечена в антивоенное движение) — все то, что помогало мне войти в школьную среду, вызывало у отца вспышки ярости. Я его предавала: я становилась такой же, как другие люди; люди, не похожие на него. Иногда за скандалами следовали многословные, отчаянные мольбы о прощении, будто я была ему женой или кем-то еще, и это было хуже воплей, это меня *действительно* трогало и смущало.

Мне становилось все труднее и труднее сохранять его расположение. Однажды во время ссоры папа обвинил меня в том, что мне дела нет до него, до брата и вообще до всей семьи: для меня существуют только мои друзья. «Ну, а у тебя и *друзей*-то нет», — парировала я. А он, как и во многих других случаях, возразил, что не испытывает такой нужды в друзьях, какую, кажется, испытываю я, намекая, разумеется, что с моей стороны это слабость.

Тогда я не находила для этого слов, но чувствовала каждой клеточкой своего существа: чтобы войти в число родных отцу людей, стать его совершенной Фиби, нужно, как Дафна, превратиться в дерево[205]. Теперь я понимаю, почему сохранила все записки, которыми мы с друзьями обменивались в тот год в школе: в них снова распускается та «подземная листва» — секреты о том, кто кому нравится; тайные поцелуи; танцы впритирку под гирляндами из гофрированной бумаги; да, я сохранила их, и сохранила с нежностью, в то время как многие другие памятки понемногу выбрасывались от переезда к переезду. Уверена, папе наши заботы — если бы я была настолько глупа, что поделилась с ним, — показались бы мелочными и достойными презрения. А мне, тем не менее дорого то время, когда я включилась в пляску жизни, плескалась и кувыркалась на отмелях, скрытых от моих домашних, вместо того, чтобы сидеть на одиноком утесе среди волн, созерцая свой пуп. Точно так же, как отцовские Глассы оказались лишенными радостей детского чтения, погрузившись во взрослые книги и заботы, так, я думаю, они были лишены радостей и горестей, связанных с жизнью души и тела, с миром одиннадцатилетних. Всему своя пора, и настал наконец мой черед жить в соответствии с возрастом.

В средней школе Хановера я впервые вошла в компанию. Я не помню, как познакомилась со всеми. Просто познакомилась — и все. Меня определили в 7-1А класс, где учились самые

компанейские ребята. О компаниях, наверное, легче писать со стороны. А когда ты в компании и тебе одиннадцать лет, ты просто не знаешь, что вокруг тебя творится: тебя это не интересует. У нас была крутая, «бульварная», компания, класс А-дополнительный: мы тайком писали друг другу записки о том, кто кому нравится, и, собираясь в коридоре, планировали вечеринки,

Самые умные ребята учились в классе 7–1; они были не похожи на нас: они действительно учились. Они даже *говорили* о занятиях. Нелегко делить ребят по уровням, сводить вместе тех, кто друг другу подобен. Уверена, что такое деление укрепляло, увековечивало уже установившуюся экономическую градацию — ребята с З.Т. попадали в класс 7–4, где занимались домоводством и разными промыслами, и далее по возрастающей; но в те времена эта шкала так хорошо отражала существующий порядок, что казалась объективной и истинной, а вовсе не навязанной общественным строем. Подобное — с подобным.

Некоторых ребят, правда, распределили неверно. Например, Гэйл по социальному положению относилась к нашей группе, но какие-то уроки посещала вместе с менее развитыми детьми. Помню, в шестом классе она не могла разбивать слова на слоги. Она не понимала почему *гёрл* — один слог, а *герла* — два? Она на самом деле была неглупа и хорошо говорила, но некоторые вещи просто не доходили до нее; ее письменные работы все были исчирканы красным. Сейчас для ее трудностей есть название, ограниченная обучаемость, но тогда они были загадкой. Гэйл была лично знакома с Джоан Баэз. Она ее называла Джоани, и знала, как правильно произносить ее фамилию — Байз, а не Баэз, как все мы, глупые, говорили. Классно.

Еще одна из наших подружек не вполне соответствовала установленному для нее уровню — Анна, которая посещала некоторые уроки в классе 7–1. Она была гораздо более зрелой, чем остальные, как физически, так и умственно. Ей на самом деле был нужен бюстгальтер, который мы, девчонки, носили лишь в надежде когда-нибудь чем-нибудь его заполнить. Казалось, она способна бороться и с домашними заданиями, и с гормонами, никогда не теряя чувства юмора и прирожденного изящества. Анна самым естественным образом сочетала в себе крайности: и умная, и прикольная, и крутая в одно и то же время. Было бы замечательно узнать, как сложилась ее жизнь. Она нам рассказывала о ребятах из класса 7–1, позволяла взглянуть, как поживает племя на другой оконечности острова:

«Дорогая Пегги, что творится у тебя дома, я тебе звонила 4 раза, но все время было занято — дззз-дззз-дззз. Может, Рэчел хочет, чтобы мы ее жалели — или как?

А этого паренька (Ван Орден?) не было в классе (на уроке мисс Беркс), когда нам объявили, что его оставили после уроков за то, что он со мной обжимался. УЖАС!!!! Его представили каким-то секс-маньяком.

Знаешь Марту, Джуди и всю их компанию? (7–1) Так вот, они не «осмеливаются» произнести слово «секс». Они думают, что это дурное слово, и произносят его (когда произносят) по буквам: С-Е-К-С. Тссс! О боже, боже.

С любовью Анна».

Слияние ребят из Норвича и из Хановера проходило не так уж гладко. Верность подвергалась испытаниям, компании, сложившиеся в шестом классе, меняли состав. Моя лучшая подруга Рэчел Макэндрю, с которой я проводила летние каникулы в Мэне, и к которой ездила с ночевкой на выходные, училась вместе со мной в классе 7-1А. Те две девочки, с которыми она больше всего дружила в шестом классе (имеется в виду, в школе; мы с ней были лучшими подругами вне школы), попали в 7–1. Я ревновала ее к ним, она ревновала меня к моей новой подруге Анне и к моим норвичским друзьям. Но в середине учебного года наш класс 7-1А переключился на очень серьезный вопрос о том, «кто кому нравится» между девочками и мальчиками, хотя с повестки дня не снималась и проблема «подобного — с подобным» — отношений внутри мальчишеских и девчоночьих компаний.

Эта работа — я имею в виду выявление того, кто кому нравится, — в основном проходила в комнате для занятий, где мы без конца обменивались тайными посланиями. Эта комната была просторной, находилась на недавно отремонтированном, покрытом коврами третьем этаже; там стояли ровными рядами столы, разделенные на три блока. У окон, на полке, стоял огромный словарь. Он занимал удачную стратегическую позицию, наиболее удаленную от стола дежурного преподавателя, и служил нам почтовым ящиком. Друзья обмениваются паролем и кладут записку на соответствующую страницу в словаре; тот, кому она предназначена, встает, идет к словарю и забирает записку: не приходится передавать бумажки через весь класс, чтобы тебя застукали. Никто ни разу не стащил записку, предназначенную

для кого-то другого: это было не принято. По понедельникам мы с Рэчел выбирали новое слово на всю неделю:

«Пегги, я полезла в словарь и посмотрела слово «однополый» — относящийся к одному полу.
Кастрировать — удалять мужские железы.
А про любить — у них там ничего нет. Дешевка.
Это мое любимое слово.
Пока. *Рэчел!!!*
P.S. Твоя коленка лучше? Похоже, что так. Пока».

За этот год я вытянулась почти на шесть дюймов, и у меня иногда подгибались коленки. Зато юбки становились коротки! Длина, приличная в начале года, сделалась приличной — наше словечко для крутого, или потрясного — в январе. Я попала в самую «теплую» компанию, в компанию Дэйва Стоуна, в начале года. О Дэйве я слышала еще до того, как встретилась с ним: его отец, доктор Стоун, принимал роды у моей матери и был моим педиатром. Во время последнего осмотра, перед поступлением в седьмой класс, он мне сказал, что мы с его сыном Дэвидом будем учиться вместе. Не то, чтобы я была этим поражена, но меня снедало любопытство: какой он из себя, этот «милый мальчик доктора Стоуна», и хватит ли у меня духу спросить, что стряслось с ногой у его папы? (У доктора была деревянная нога, это мне сказала мама, когда я спросила, почему он так ковыляет.) Первые недели были обескураживающими:

«Дорогая Рэчел, думаю, я выйду из той компании. Дэйв и прочие вчера дружили со мной, а сегодня знать не хотят».

Потом я познакомилась с Уиллом, мальчишкой, принадлежавшим к той же самой компании, и мы помогли друг другу раскрыть множество тайн. Сначала следовало разъяснить, «нравимся» ли мы друг другу. Разрешив этот вопрос, мы заключили настоящий союз. Какая удача: иметь друга противоположного пола, с которым можно поговорить, обменяться секретами. Иначе ты, как Холден, вечно мучаешься, ошибаешься, блуждаешь в потемках. Кстати, вот она, историческая записка, ее необходимо привести — под сексом мы подразумевали П.О.Ц.Е.Л.У.И — слово, которое скандируют девчонки, прыгая через скакалку. «Тили-тили тесто, жених и невеста».

«Дорогой Уилл!

Я не такая «тупая», чтобы не разобрать твой почерк. Ты бросил миллион девчонок по той причине, что они с тобой недостаточно игрались. Значит, ты думаешь больше о сексе, чем о Любви. Если бы ты действительно кого-то любил, тебе было бы все равно, занимаетесь вы сексом или нет. Сейчас я буду тебе хорошей подругой. Потом все может измениться. Очень измениться. Но это в будущем. —

Пегги.»

«Пегги!

Ты совершенно права. Я как-то никогда об этом не думал.

Спасибо.

Уилл».

«Дорогая Пегги!

Кто там вокруг тебя? Я запутался. Я хочу, чтоб мы с тобой были друзями (хорошо?) и еще хочу дружить с Джоан. Мне больше хочется, чтоб мы с тобой были друзями, чем чтоб ты была моей девушкой. (Я тоже так чувствую.) Потому так лучше. Я не хочу шататься по школе, потому лучше буду сидеть в комнате для занятий. (Тебе нравится комната для занятий?)

Пока.

Уилл.

P.S. Кто бы мне мог понравиться?»

«Уилл, тебе нравится Джоан, да? (Чтоб мы были друзями, так лучше.) Если не нравится, так больше никто не хочет ходить с тобой. А я тебя спрашивала только так, для смеха, вот и все. (Знаю.) Мы с тобой во всем разобрались, потому что ты мне очень нравишься. А не потому, что я тебя люблю. (То же самое.)»

«Привет, Пегги!

Я с тобой согласен. Пусть так будет. Ты тоже мне очень нравишься! Но тоже тебя не люблю.

Я знаю мальчишек больше, чем ты. А ты, наверно, лучше знаешь девчонок. Мне нравится Линда Н., но, боюсь, это безнадежно. Кто, ты думаешь, может мне понравиться? Или кому я нужен, кому нравлюсь. Пожалуйста, скажи.

Напиши.

Уилл».

«Уилл, попробуй с Рэчел. Я у нее спросила, что она о тебе думает и хочет ли ходить с тобой. Она сказала: «Я совсем его не знаю. Но, может, что и выйдет». Вот что она сказала.

Напиши ответ. *Пегги*».

Записки, которые я храню, относятся и к новогоднему балу, источнику волнений, интриг и ошибок. Ну, можно ли поверить этому парню?

«Пегги, это тебе пишит бедный (Рон). Если кто-то, кто тебе нравится, тебя пригласит на танец до того, как ДЭИВ пригласит, ты пойдешь?

Ронни».

«Пегги,

прости что я сказал «когда ты последний раз мыла голову?» Не говори Рэчел, что я так сказал, я не хотел. Она будет смеяться. Если я тебя приглашу танцовать, ты пойдешь? Рэчел я не могу пригласить из-за того, что сказал тогда в класной комнате.

Ронни».

К счастью для меня, явился Дэйв во всей своей красе.

«Пегги, после ленча или когда-нибудь еще, надо встретиться, только не в классе, я тебе должен что-то сказать.

О.К.—Д.С.»

«Пегги, вот что я хотел сказать тебе… Если кто-то тебя будет звать на школьный бал, скажи, что тебя уже пригласил другой — я.

О.К.?

ДС.».

Еще чудеснее, чем школьные балы, были вечеринки, которые мы устраивали в конце недели, по очереди. Самый подходящий для вечеринок дом был у Рэчел (была еще одна девочка, у которой дома был закрытый бассейн, но это было настолько из ряда вон выходящим, что даже не принималось в расчет). Макэндрюсы только что устроили в подвале, под гостиной и столовой, огромную детскую. Там были телевизор и камин, и большой диван с подушками, которые можно было разбросать по полу, и прямо на них ложиться, и жевать попкорн, и никому не было никакого дела. У Рэчел было трое старших братьев и сестер, так что когда настал ее черед устраивать вечеринки, все битвы были проведены и выиграны. Родители уходили в другую часть дома, а детскую на весь вечер предоставляли исключительно младшим детям. Дверь наверх закрывалась, врубалась музыка, а ближе к ночи постепенно вырубался свет.

Сами по себе вечеринки Рэчел совершенно затмил в моей памяти один из самых замечательных моментов в моей жизни. Один из тех немногих моментов, когда время останавливается, и все вокруг преисполняется совершенства. Саймон и Гарфункель пели песню «Звуки тишины»: «Здравствуй, тьма, мой старый друг, я опять пришел к тебе поговорить и под ореолом фонаря поднял воротник от ветра и дождя» — мы с Дэйвом танцевали медленный танец, луна светила в окошко полуподвала; его щека касалась моей, и мы были нераздельны. Никогда я не испытывала такой нежности, до тех самых пор, как впервые поднесла к груди своего сына и прикоснулась к его лицу; только он и я в ночной тишине.

И видение осталось, и живет до сих пор,
И эхом отдается в колодце тишины.

Когда в этом году пришел День благодарения, мне было за что благодарить судьбу. На короткий период все мои звезды высыпали на небеса. Даже мама правильно повела себя в

отношении мужчин. Раньше она водила к нам домой молоденьких мальчишек. Таких, как Алекс, студент колледжа, с которым она встречалась: однажды он явился ко мне в комнату, надутый, как индюк, собираясь прочесть классную нотацию типа «папочка лучше знает» — надо, мол, относиться добрее к моей бедной, милой маме; а у самого еще только-только ломался голос. «Ослиная задница, — сказала я с усталым, полным отчаяния презрением. — Убирайся на хрен из моей комнаты»[206].

Я рассказала папе, как Алекс пытался со мной поговорить, а я обозвала его ослиной задницей. Папа рассмеялся и спросил: «Ты в самом деле так его назвала?» — «Угу». — «Бьюсь об заклад, он был потрясен». Я пожала плечами — я не собиралась произвести впечатление, я просто назвала вещи своими именами. Что я в *действительности* чувствовала, милого Алекса никак не касалось. А чувствовала я вот что: да кто ты такой, черт тебя возьми, чтобы говорить со мной, особенно о матери: мальчишка, сопляк. Да как ты смеешь.

Перед Днем благодарения мать начала встречаться с мужчиной. С настоящим, взрослым мужчиной, одним из двух настоящих, взрослых мужчин, с какими она на моей памяти встречалась. Второй, Алан Т., до сих пор играет важную роль в жизни брата и моей. Общение с ним доставляло истинное удовольствие — и когда я была ребенком, и потом, когда выросла; но, помимо всего прочего, не знаю, что бы я делала без Алана в некоторые переломные моменты моей жизни; он тогда служил связующим звеном между мной и реальным миром — в случае, например, когда при разводе мой адвокат стал клеиться ко мне, грозясь, что выставит непомерный счет, если я откажусь его удовлетворить. Алан свел меня с «большими шишками», конкретно — со своим старым приятелем, адвокатом, который занимался разводами «звезд», и тот в мгновение ока поставил на место этого мелюзгу. Алан, в отличие от моих родителей, всегда был рядом; недаром ведь говорят: «Когда Бог закрывает дверь, Он открывает окно».

Хотя Алан сыграл более важную роль в моей жизни, здесь я пишу о Рее, потому что Алан так долго был нам близок, что мне кажется, будто я знала его всегда. Не помню, когда Алан начал встречаться с мамой; думаю, они познакомились еще до того, как она узнала моего отца; зато помню, как тяжело я переживала их разрыв, случившийся как раз тогда, когда мне был обещан визит к моему герою, Стиву Маккуину, самому красивому мужчине в мире: как он ездил на мотоцикле в «Большом побеге», одной из серий фильма Алана, «Дело Томаса Кроуна», — а может, это был «Буллит», я не помню. Алан все равно повез бы меня, но мать

запретила, твердя что-то о Фэй Данауэй, — как он, дескать, может[207].

Встретившись с Реем, я сразу поняла, что он, как и Алан, не пытался понравиться мне, чтобы угодить моей маме. Дети чуют это за милю. И душок препротивный, поверьте. Кажется, Рей был вдовцом, хотя я не уверена, и с ним жил его сын. Он любил сына, и хотя Скип учился в старшем классе — а в этом возрасте мальчики не очень-то склонны выказывать свою любовь к родителям, — сразу бросалось в глаза, что Скип тоже любит папу. Рей сообщил мне, что Скипа не всегда звали Скипом. До шестого класса его звали Билли. Однажды он пришел домой из школы и сказал: «Па, я хочу, чтобы меня звали Скип» — и это было решено. Рей, казалось, не замечал тяжелой брони, в которую я облачалась. Он по-медвежьи обхватывал меня, хлопал по спине, словно я была маленькой девочкой. И ни разу не оставался у нас ночевать. А если бы и остался, то только как муж, а не просто потрахаться. Даже когда мы вместе пошли в поход, я не должна была поминутно прикидывать, чем они заняты, и не увидит ли брат, как они «делают это». Даже такой мысли у меня не возникало. Он без конца возился с моим братом, и я чувствовала, что сама могу расслабиться и отдохнуть.

Мы с братом совсем недавно припоминали этот поход. Мы оба удивились, как крепко засел этот уик-энд в нашей памяти. «Красный мяч, — сказал он, — помнишь, дул ветер, и я уронил в озеро мой красный мяч, и Скип поплыл на лодке через озеро, и достал его?» Мне даже не нужно было припоминать, это запечатлелось у меня в мозгу. Небо призрачно-серое, озеро серое, и на нем рябь; деревья серые перед снегопадом — и только одно яркое пятно: красный-красный мяч, прыгающий на волнах. Брат плачет, и Скип, не говоря ни слова, сталкивает лодку в воду. Мы прыгаем в лодку, и Мэтью прекращает реветь. Скип гребет на ту сторону, лодка мчится быстрее ветра, и вот я протягиваю руку и хватаю мяч, запутавшийся в водорослях у противоположного берега. Когда мы приплыли назад, Рэй развел огонь в хижине, там уютно, тепло, и скоро поспеет ужин.

Мы единственный раз ночевали в доме у Рея: это было после похода, когда разыгралась вьюга. Он рассудил, с позиции здравого смысла, что нам лучше остаться, чем ехать еще двадцать миль от Хановера до Корниша. Утром Скип отвез меня в школу на своем MGB. Скип, надо сказать, был не только на редкость добрым и отзывчивым мальчиком, но и самым красивым во всем своем классе. Не одна я так думала. Он носил волосы коротко подстриженными на висках, но с длинной челкой типа «Встречайте Битлз», и все время встряхивал головой, потому что

пряди лезли в глаза. «О боже мой, Рэчел: я, может быть, стану Скипу сводной сестрой». Хиханьки и хаханьки, и «О боже мой», и непритворное оживление Рэчел. «У него такая классная гостиная, с большими окнами, все такое светлое, новое». Они жили в одном из немногих тогда «современных» домов. «Может быть, в ближайшее Рождество мы поставим елку в гостиной, и утром придем за подарками, и Скип будет в пижаме». — «О боже мой, Пегги, вот эээто круууто. Повезло тебе». — «…Ладно, будем надеяться, что она не пустит все прахом».

Рэй повез нас на «Экспо-67» в Монреаль. Там везде были громкоговорители, и отовсюду звучала новая песня Биттлз «Все, что тебе нужно, — это любовь». Мы стояли в огромных очередях, на ровных, как в Форт-Лодердейле, дорожках, чтобы войти в павильоны самых разных стран. *Павильон*. Правда, красивое слово? Каждый из нас выбрал какую-то страну. Я выбрала Испанию — думаю, за яркие цвета. Мама выбрала Францию. Во французском павильоне, в ресторане, они заказали блюдо под названием «бифштекс *по-татарски*»; и, по-моему, он был просто сырой. Меня чуть не стошнило.

Я горела желанием рассказать об этом моему приятелю Дэйву, когда мы вернулись.

> «Дорогой /зачеркнуто/ это слишком личное. Дэвиду.
>
> Нравятся тебе уроки по искусству? Думаю, они О.К. — только немного странные. Я рисую всяких чудаков. Надеюсь, что смогу пойти на вечеринку. Уилл — дебил. Рэчел его терпеть не может.
>
> ПАРЕНЬ, Я ТЕБЯ ТОЖЕ ТЕРПЕТЬ НЕ МОГУ, ХА-ХА-ХА.
>
> Я хотела сказать совсем обратное. Ха-ха-ха.
>
> В День благодарения мы ездили на Экспо и родители меня заставили попробовать кусочек бифштекса по-тартарски. Знаешь, что это такое? СЫРОЕ мясо!!! Мистер Бромли застукал меня, когда я писала, а теперь я — на английском.
>
> Мы с Рэчел теперь враги, потому что Рэчел реунует, что мне нравится Анна, а Рэчел не любит Анну.
>
> Л. (почти-почти — и скверно).
>
> Пегги Блевота-Рыгота».

Кто мог бы передо мной устоять? К счастью, я все равно ему нравилась. Уроки рисования были странными потому, что

учитель, мистер Бромли, ходил с сестрой одного мальчика из моего класса. Она училась в старшем классе, и под ее фотографией в ежегоднике было написано: «Безумно любит Боба Дилана и Бромли… виртуозно прячет сигареты в рукав, когда выходит из класса, направляясь в……?»

Однажды Анна подслушала, как мистер Бромли обсуждал с мистером Лэвеллом, учителем математики, такую проблему: по-настоящему ли мы, дети, его *понимаем*. Бэ-э-э-э. На уроках по искусству я обнаружила, что если катать по парте резиновый клей, слой за слоем, целый урок, то получаются отличные супершары. Когда Гэйл устроила вечеринку в честь моего дня рождения, ребята надарили мне всяких подарков — подарили, в частности, вазу из резинового клея, которую я сама вылепила: это была шутка, потому что ваза была единственным, что я произвела на уроках по искусству. Родители Гэйл обвинили меня в том, что я, якобы, нюхаю клей, и всех разогнали. Ребята знали, что это неправда, но родители им не поверили. Вообще-то не их вина, что они так подумали, но это было так глупо[208] — если бы они нас действительно знали, сама мысль о том, что кто-то из нас нюхает клей, просто не пришла бы им в голову.

Дело было перед самым Рождеством, и для некоторых ребят началась запарка. Скоро должны были выставить оценки. Отец недвусмысленно дал мне понять, что оценки — чушь собачья. Это было для меня большим облегчением в те годы, когда я училась кое-как, и не очень нравилось, когда я наконец выправилась, реакция оказалась такой же.

> «Пегги… меня втопчут в грязь из-за этих оценок. Они говорят, что если я не получу хороший табель, они меня сотрут в порошок. А я, наверное, получу три удовлетворительных. На самом деле, они так бесятся потому, что у меня хорошие способности, я могла бы быть среди лучших 10 % в классе. Согласна — но я умру от скуки, и меня сожгут в крематории.
>
> Пиши, *Гэйл*».

Каникул я не помню. Скорее всего, я каталась на лыжах, одна, на горе Эскатни: этим я обычно занималась в каникулы. В школу вернулась в январе, и наши с Дэйвом отношения стали продвигаться, от записки к записке. Мне больно об этом говорить, но проблемы создавала я, раздражаясь по пустякам. Уж лучше начистоту: у меня был тяжелый характер. Беда заключалась в том, частично, что папины уроки настолько глубоко запали мне в

душу, что было невозможно их оттуда извлечь. Каждый раз, когда возникало зияние, разрыв, когда нарушался принцип «подобное — подобным», и моему приятелю нравилось что-то, что не нравилось мне, и наоборот, я впадала в панику. Только в моем теперешнем замужестве я научилась контролировать себя в этом плане, да и то не совсем. Брат однажды признался мне, что и ему долго пришлось повозиться, чтобы избавиться от этой черты. Дэйв был невероятно мягким и терпеливым.

> «Пегги, пожалуйста, объясни: в чем дело? Ты взбесилась! Пожалуйста, скажи, на меня ты сердишься или нет. Мне еще хотелось бы знать, нравлюсь ли я тебе? Ты мне все еще нравишься. Пожалуйста, напиши *побыстрее*!
>
> Д Стоун».

> «Пегги, сожалею, что так себя вел, но теперь я знаю, чего ты хочешь, и это лучше (надеюсь). Было в самом деле тяжело, потому что я не знал, чего ты хочешь. Теперь я знаю, чего ты хочешь, и могу вести себя так, как ты хочешь. Тяжелей быть мальчиком, потому что знать не знаешь, хочет ли девочка, чтобы он надел на нее пальто и все такое. И если ты этого не делаешь, девчонки бесятся все больше и больше. Только, пожалуйста, не бросай меня, я исправлюсь.
>
> Дэвид Стоун. P. S. ЛЮБОВЬ?».

Валентинов день был не за горами. Я хотела подарить Дэвиду что-нибудь красивое, но не слишком, чтобы мне не смущаться. Я долго бродила по Хановеру, выбирала подарок. Маме я сказала, что пошла за покупками, и она не стала расспрашивать, что само по себе было здорово. Я наконец наткнулась на целый прилавок психоделических открыток с разными оптическими иллюзиями. Мне очень понравились две из них, я не могла выбрать и купила обе. Я знала, что они и Дэвиду понравятся. Я собиралась положить их на его шкафчик с самого утра, чтобы он успел и мне приготовить «валентинку», даже если забыл накануне. Я очень нервничала. То, что я нашла у себя на шкафчике, было одним из самых прекрасных сюрпризов во всей моей жизни. Никто из моих знакомых, даже старшеклассников, не дарил девушкам цветы. Но вот она, на моем шкафу, — одинокая красная роза. Мама Дэвида

помогла поместить стебель в маленькую зеленую трубочку с водой, какие используют флористы, — так что роза моя не увяла. Дважды благословенные цветы.

А вот с этого места вымысел смотрелся бы лучше. Девочка должна была бы вырасти, выйти замуж за прекрасного принца и жить счастливо. На самом деле случилось другое. Март. Сезон грязи. Мама и Рей перестали встречаться, и вернулись ее мальчишки. Я решила устроить вечеринку и подумала, что будет круто пригласить «мужчин» постарше. Анна какое-то время ходила с восьмиклассником. Она с ним уже порвала, но я его все равно пригласила. Никто из нас, семиклассников, еще никогда не приглашал восьмиклассников на вечеринку. Внизу, в гостиной, я ввернула синие лампочки и обклеила стену плакатами. Наш дом был гораздо меньше, чем у остальных ребят, и трудно было добиться иллюзии уединения — пристанища только для нас, подростков. Комната все равно смотрелась как гостиная родителей, хотя синие лампочки немного скрасили атмосферу. Другая причина, по которой трудно было создать иллюзию нашего собственного, крутого, независимого мира, — то, что наш дом находился на отшибе: родители не могли вас туда подбросить и по волшебству превратиться в тыквы и мышей. И началась обычная родительская бодяга: машина-де может увязнуть, и ехать далеко, и по сельским дорогам, и по грязи. Было решено, что в 10 вечера всех мальчиков развезут по домам в паре фургонов, а девочки останутся ночевать.

Вечеринка моя провалилась самым позорным образом. Несколько пар поссорились, я почти весь вечер танцевала с Тимом, восьмиклассником, даже не замечая, что Дэйв сидит один, потерянный, пока, наконец, Рэчел не устроила мне выволочку — но к тому времени мальчикам пора уже было разъезжаться. Благодаря моей великой идее пригласить старших ребят, вся средняя школа, седьмой и восьмой классы, узнали, что у меня была на редкость пакостная вечеринка. В понедельник, в школе, Дэйв даже не смотрел на меня, и я его не виню. Я думала, что теперь буду гулять с Тимом. В этот уик-энд я написала Дэйву письмо:

«Воскресенье — бля — вечер
1968

Дорогой Дэвид!

Теперь я понимаю, какой была дурой, и как обидела кучу народу. Тим — не первый парень, на которого я

запала без особой причины, но обычно я не захожу далеко с ними, потому что знаю: это через день-два пройдет, так что голова у меня в порядке. Насчет Тима я поняла, что он вовсе не такой, как мне казалось: он приятный и все такое, но он не для меня. Я просто хотела тебе это сказать, но многого не ожидаю: я на твоем месте никогда не помирилась бы с кем-то, кто меня так третировал, как я тебя. Нам обоим досталось, и вечеринка моя была дрянь — не такая скверная, как у Гэйл или Брайена, — но все-таки дрянь.

От меня».

Письмо это до сих пор у меня: я его не отдала. Мне было слишком стыдно.

И эхом отдается в колодце тишины.

19
«To sir with love» [209]

Песня цикады не скажет, сколько ей жить осталось.

(Цитирует Тедди из «Девяти рассказов».)

Весенние каникулы были не за горами, и папа собирался на две недели повезти нас с Мэтью в Англию и Шотландию. Я не могла дождаться этого часа. В то время я и понятия не имела, что мы в последний раз куда-то едем на каникулы, как настоящая семья. Писать о нашем последнем совместном путешествии и горько, и приятно одновременно: похоже на бабье лето, временную передышку перед длинной зимой. И, как во всяких повествованиях о расставании с домом, о конце эпохи, что-то теряется, а что-то приобретается.

Папа, Мэтью и я отправлялись в Лондон. Мама отвезла нас в аэропорт Лебанон, — вся поездка заняла пятнадцать минут. Дорогу в аэропорт не так-то легко распознать. Она начинается сразу за свалкой, которую нынче именуют «санитарной зоной», и старой каменоломней. Вдоль этой дороги, за каменоломней и свалкой, раньше простирались на многие мили поля, засеянные кормовой кукурузой. Теперь там сплошные магазины и закусочные. Именно на этом участке шоссе 12-А я увидела свой первый «Макдоналдс» и следила за светящимся табло, словно завороженная, но при этом испытывая отвращение: так глазеют на автомобильную аварию. Цифры все увеличивались и увеличивались — продано 7 миллионов, 11 миллионов гамбургеров. Я представила себе огромную кучу на автомобильной стоянке у «Макдоналдса» в западном Лебаноне.

Аэропорт представлял собой хлипкую лачугу на взлетной полосе. Внутри лачуги находился маленький, на пять табуретов, буфет, где можно было съесть бутерброд, выпить кофе и заодно понаблюдать, как приземляются самолеты. В буфете, рядом с кассой, стояла проволочная корзинка с жевательной резинкой «Ригли Спермint» и желтыми пакетиками «Джуйси Фрут». Рядом — еще одна проволочная корзинка, с тюбиками леденцов «Лайф Сэйверс», «спасателей», обоих видов — для взрослых, с привкусом зубной пасты, которые мама, в ее нескончаемой битве против несвежего дыхания, покупала, если забывала свои зеленые, *не*

карамельные, «Клоретс» с настоящим хлорофиллом; и разноцветные — для детей. Я расправлялась с тюбиком по такой системе: красный — ням; зеленый — фи: отдать Мэтью; оранжевый — так себе; желтый — так себе; а белый — некая тайна: утонченный, изысканный вкус, недоступный детям. Мэтью не терялся: он говорил «фи» и отдавал мне белые леденцы в обмен на зеленые. Мне нравилось, как эти пакетики резинки и тюбики леденцов аккуратно разложены, каждый на своем месте, еще немного — и сюда тоже вторгнется вселенский беспорядок, настораживающее смешение того и другого, жевательной резинки и леденцов в образе «жевательной конфеты». Когда этот продукт появился в магазине Барто в Плейнфилде, он пахнул хорошо, «по-спасательски», но тут же разжевывался и почти мгновенно терял свой вкус. Можно было запихнуть в рот целую пачку — и остаться с пустыми обертками и огромным, безвкусным шаром цвета воды, в которой мыли кисти.

Нам надо было как-то убить два часа до самолета в Нью-Йорк. Путешествие включало в себя не только ритуальное вставание на заре, но и — вплоть до 1965 года — белые перчатки. Я прекрасно помню, как ездила в нью-йоркских такси, разглядывая свои руки в перчатках. Эти ритуальные обозначения того, что ты перемещаешься в другое место — к бабушке, в город, в церковь, на корабль, — понемногу исчезали. Во времена моего отрочества понятие места было более осязаемым, чем теперь; мир походил на лоскутное одеяло — вот мое любимое летнее платье, а вот комбинезон брата; а потом фабричное одеяло, форма и так далее. Я очень не люблю социальную функцию костюма, то есть, когда по одежке видно, кто — потомственный богач, кто — нувориш, кто — из народа, а кто и вовсе неприкасаемый и т. п. Но все же, часто приятно, когда одежда соответствует месту и событию. В конце концов, повязываем же мы на голову платочек, когда входим в католическую церковь.

В том мире одежда обозначала не только время как таковое, но и *род* времени. Когда я в нью-йоркском такси смотрела на свои руки в белых перчатках, меня охватывало спокойное, мечтательное настроение; было известно, куда и когда прибудет такси, но к настоящему моменту сборы в дорогу, хлопоты, погрузка, всяческая «деятельность» оставались позади; наступала передышка, время «существовать», попросту сидеть в такси и смотреть на свои руки в белых перчатках. В мои зрелые годы белое литургическое облачение означает наступление *особого* времени — времени для церкви. Я стою за ограждением, предлагаю пастве вино и хлеб Причастия и переживаю про себя, не кончатся ли облатки, успеют ли все причаститься прежде, чем

смолкнет музыка, оставив после себя неловкую тишину, в которой все приватные, телесные звуки — глотание, хруст — станут всеобщим достоянием, распространятся на всю нашу чудесную церковь, обладающую великолепной акустикой; и еще — не пролью ли я вино на какую-либо из миниатюрных коленопреклоненных старушек: нелегко протягивать чашу из-за ограждения, да не дай бог, на какой-нибудь из них будет широкополая шляпа, так что и не видно, где у нее рот, — все это отнюдь не способствует благоговейному настрою. Но вот наконец месса закончилась, наш пастор или какой-нибудь гость произносит проповедь или совершает большую литургию; я же сажусь на скамью причетника и гляжу на свои руки в широких рукавах облачения: они как будто не совсем мои, от них исходит конопляный запах холста и пыли. Я — ребенок, навзничь лежу в амбаре, на перевязанных веревками кипах сена, и смотрю, как пылинки танцуют в солнечных лучах, которые пробиваются сквозь щели в досках. Амбар поглощает, вбирает в себя эти чудесные воздушные стрелы. Облако проходит между солнцем и витражами: они перемигиваются, щурятся, словно кошачьи глаза в ярком свете. Звучащая речь омывает меня, падает на мою душу, как теплый дождь на иссохшие корни. Сейчас не время реагировать на слова, соглашаться или не соглашаться. Сейчас время другого рода: время лежать на зеленом лугу, у спокойной воды; целительное для души время.

Служитель в форме объявил посадку. Мы вышли из хибары. Низкая, по пояс, проволочная изгородь отделяла нас от взлетной полосы. На наших глазах рабочие подкатили трап к двери самолета, расположенной высоко от земли, и потом кто-то открыл маленькие воротца в изгороди, через которую большинство из нас могли бы перешагнуть, и пригласил нас в салон. Я поднялась по трапу в самолет. Пол в салоне круто поднимался к носу, и я, пробираясь к нашим местам, машинально цеплялась за спинки сидений. Мы с братом заглянули в кабину. Капитан поговорил с братом, показал ему приборы. Когда мы все расселись, капитан стал, судя по звукам, заводить моторы. Стюардесса любезно поприветствовала нас, проверила пристежные ремни, и мы взлетели. Позже она принесла лимонад с круглыми кусочками льда и «кое-чего перехватить» — вещь, совершенно недопустимая в нашем доме. Папа пришел в ужас, когда мы с братом съели по целой упаковке «Лайф Сэйверс». Он изрек: «Разве нельзя было съесть одну или две штуки, а остальное положить в карман и оставить на потом?» — «Нет», — красноречиво промолчали мы.

Кто-то сказал мне, что розоватая пелена над Манхэттеном, —

это смог. Я испугалась, и мне до сих пор страшно. Я дала себе зарок пореже дышать, когда мы приземлимся. Аэропорт Ла Гуардия в моей памяти смазан: мы вышли из самолета (ублюдочное сочетание «идти на высадку» еще не было придумано), забрали багаж, взяли такси и отправились в город, где должны были переночевать. У отца вроде были какие-то дела до отправления в Англию; я точно не помню.

Мне было двенадцать, брату восемь, отцу — сорок девять. Отель «Плаза» разонравился отцу, а мне разонравились карусели. Мы остановились на Пятой авеню, в «Шерри Незерлэнд». Я чуть не сошла с ума, когда горничная, объятая трепетом, поведала, что «Биттлз» только что покинули наш номер. Я была по уши влюблена в Пола Маккартни. (Ах, годы, годы: пришлось проверить, как это имя пишется!) Я *часами* искала пряди волос и тому подобные сокровища — увы, тщетно. Братик мне сочувствовал и тоже искал; конечно, когда мог оторваться от окна, в которое выглядывал, считая такси. Он то и дело подходил ко мне, помогал, утешал.

Но вскоре мне представится еще один шанс быть вблизи от моего любимого Пола — в Англии, центре вселенной. Мы заказали такси до Международного аэропорта. Это «стоило кучу денег», возмущался отец.

Через несколько лет я увижу собор Святого Марка в Венеции и услышу, как поют с его хоров «Вечерю» Монтеверди на четыре голоса, с севера, юга, востока и запада, но моим первым собором, до сих пор не превзойденным по изумительной высоте и внушающим благоговение размерам, было новое здание международного аэропорта. Интересно, почему размах и простор, ограниченные стенами, вызывают такие чувства? Здесь были сверкающие дорожки, подвешенные в воздухе, как две руки, протянутые к небу. Похоже на «Джетсонс», но гораздо лучше. Здесь даже росли деревья, каждое в своей кадке; в самых диких своих фантазиях я и представить себе не могла лесной опушки под крышей. Корни деревьев прикрывали гладкие, черные, как гагат, камешки. Отец взял такой камешек, погладил его большим пальцем. Сказал, что было бы чудесно иметь такие камешки дома. Потом бережно положил обратно.

Мы поднялись в ресторан, где через огромное, от пола до потолка, окно можно было наблюдать, как взлетают и садятся самолеты. Постепенно зажигались огни. Голубые и белые прожектора осветили сцену, на которой перед нашими глазами разворачивался спектакль. Нам давно уже было пора спать, и мы это знали, и это возбуждало нас еще больше.

Когда мы поднялись в трансатлантический лайнер, меня

ожидал еще один поразительный сюрприз. Папа купил билеты в первый класс. Кресла были здоровенные. Отец никак не мог успокоиться, сожалел о расходах: дороговизна потрясающая, ради себя он бы на это не пошел, но подумал, что дело того стоит, когда путешествуешь с детьми, — «тут вы, ребята, сможете лечь и поспать», объяснял он, оправдываясь неизвестно перед кем.

Мэтью собирал всякие сувениры. Некоторые мальчишки похожи на ворон. Он собирал крошечные солонки и перечницы, влажные салфетки, чтобы протирать лицо; маленькие, завернутые в бумажку индивидуальные кусочки мыла; бутылочки одеколона из туалетных наборов. К концу каникул у него было больше бутылочек с одеколоном и кусочков мыла, чем у любого восьмилетнего мальчика на всей планете. Будто бы какой-нибудь восьмилетний мальчишка хоть когда-нибудь «освежался» одеколоном, к чему призывала надпись на флаконе. Все это прямиком отправилось в коробки из-под обуви и ящики комода, где уже хранились шарики и спичечные этикетки с автомобилями. Мэтью не был похож на тех ребят, которые подбирают предметы, заталкивают их в ящик и забывают о них. Он наслаждался своими коллекциями. Он вытаскивал их снова и снова, и не просто, чтобы посмотреть: он ласкал вещицы, сортировал их, перебирал одну за другой. Процесс накопления дарил ему настоящую чувственную радость. Однажды, когда он учился во втором классе, он мне сказал, что хотел бы быть таким, как Ричи Рич (богач из комиксов): тогда бы он заполнил целую комнату золотыми монетами и просто купался бы в них.

Я, со своей стороны, слушая песню «Закрой глаза, и я тебя поцелую», хотела ощутить губы Пола на своих губах. В шестом классе я вырезала из журнала большую фотографию Пола, прилепила ее к подушке и стала практиковаться в поцелуях. Насколько широко следует открывать рот — вот что волновало меня: хотелось найти правильную дистанцию между Сциллой детского поцелуя закрытым ртом и Харибдой неприлично движущегося языка. Подушка — неважная замена, это ужасно обескураживало: точно так же мы с моей подругой Рэчел лежали в детстве под открытым небом, смотрели на звезды и хотели взлететь. У нас почти получалось, мы чувствовали, как поднимаемся, но не могли оторваться от земли. Так близко и вместе с тем так далеко. Но каждая миля, которую наш лайнер пролетал над Атлантикой, приближала меня к сладчайшему объекту моего желания. Отец сказал, что, может быть, через его издателя получится познакомиться с Джоном Ленноном, но твердо ничего не обещал. А где Джон, там и Пол…

После ужина я надела тапочки, прикрыла глаза специальной

повязкой — то и другое находилось в косметичке, которую выдавала авиакомпания, — и попыталась уснуть. До сих пор я спала только в кровати, лежа, поэтому попыталась улечься на кресле. Мой брат прекрасно там поместился и заснул среди ублаготворяющего мерцания ночных ламп, встроенных в ручки кресел, и уютных озер света, сияющего над одинокими читателями. Я все старалась поджать ноги, как те многослойные хитроумные проволоки, которые нужно правильно сложить, чтобы решить головоломку. Наконец я перекинула ноги через ручку братикова кресла; если бы он проснулся, то, конечно, издал бы вопль протеста, и, наверное, начался бы пограничный конфликт. Но сейчас это было безопасно, и я уснула.

Мы проснулись при ярком свете; нам принесли махровые полотенца и апельсиновый сок. Капитан сообщил, что мы приземлимся в аэропорту Хитроу через двадцать минут, и что местное время — 7 часов 25 минут утра. Брат скушал завтрак и подобрал еще пару вещиц с подносика. Мы сняли принадлежащие авиакомпании тапочки, надели свои башмаки, почистили зубы прикольными зубными щетками, которые собрали из двух половинок, лежавших в пластиковом футляре, и выглянули в иллюминатор, высматривая землю. Англию.

В Хитроу мы отшагали целые мили коридоров. У папы было такое правило, что ты должен сам тащить свою ручную кладь — не чемоданы, сданные в багаж, а то, что ты взял с собой: игрушки, сумочки, косметички — и нести за нее полную ответственность. Мне это казалось справедливым и разумным, и в корне пресекало всяческое нытье типа «понеси меня», «понеси это» и тому подобное. К тому же я была горда, что несу груз, равный собственному весу. На таможне человек с английским акцентом спросил у отца, совершает ли он деловую или увеселительную поездку, и папа ответил ему кратко и вежливо. Он часто задирался, но, поскольку служил в армии, то всегда знал, когда этого лучше не делать. Я никогда не видела, чтобы он насмехался над кем-нибудь со стороны — будь то стюардесса или регистратор у стойки — короче, над человеком, который не мог искренне посмеяться и порадоваться шутке. Он потрясающе разбирался в подобных вещах. Он никогда не подтрунивал над посторонними — в крайнем случае приглашал их посмеяться вместе. И нам никогда не приходилось краснеть от стыда, как другим детям, чьи отцы отваживались шутить на публике. Таможенный служащий поставил штамп в наши паспорта, и мы продолжили путь.

Встали в очередь на стоянке такси, чтобы отправиться в гостиницу. Наконец, уселись во вместительную черную машину,

шофер которой терпеливо ждал, не сигналя и не крича: «Ну давай, Мак, пошевеливайся, педаль справа», — как в Нью-Йорке. Отец поднял руку и дотронулся до верха машины, словно благословляя. Отцу нравятся высокие потолки — в лондонских такси, в хороших квартирах — и все, что не соответствует стандарту, он воспринимает, как личное оскорбление. В пристройке к Красному дому, которую спланировала моя мать, он доставал рукой до потолка, мрачнел и разражался бранью всякий раз, как входил в комнату. Кажется, каждый раз, когда мы за время этой поездки брали такси, он дотрагивался до потолка и замечал, какие чудесные в Лондоне машины. Я съем свою шляпу, если он не проделывал то же самое, вплоть до последнего жеста и слова, в прошлом году, когда ездил в Лондон со своей новой женой.

Мы вышли из такси у отеля «Кадогэн» на Слоан-сквер. Напротив — небольшой ухоженный парк, весь сияющий в ярком утреннем солнце. Отель был не такой большой, как тот, к которым я привыкла в Нью-Йорке; он больше походил на старые, уютные особняки в Верхнем Ист-сайде, с его ярко начищенной медью и восточными коврами в отличие от внушительных светильников и целых полей плюшевой обивки в «Плазе». И то, и другое мне очень-очень нравилось. Не понравился мне только похожий на птичью клетку лифт, на котором мы должны были подняться в наш номер на третий этаж. Я никогда такого не видела, и когда лифтер отодвинул складную дверь, чтобы нас впустить, я остановилась, как вкопанная. Я внезапно и со всей очевидностью поняла, что нет абсолютно никакой возможности заставить себя войти. Норовистые лошади, нацисты — нет уж, с меня довольно. Думаю, я стояла, загораживая проход, достаточно долго, чтобы лифтер стал поглядывать на меня с нетерпением, этак пристально, свысока, как только британцы могут смотреть, когда им придет охота. Я просто сказала: «Не могу». Отец не упрекнул меня ни единым словом; он только сказал лифтеру, что мы предпочитаем пойти пешком, и мы потащились по лестнице с чемоданами и прочим, словно вдруг застыть на пороге лифта — самая естественная в мире вещь. Иногда отец воспринимал нормальный мир шиворот-навыворот, вроде Алисы в Стране чудес, и это было удивительно. Он был единственным, кто, по крайней мере, не пытался уговаривать меня более или менее терпеливо: «Ах, милая, не глупи: тут нет ничего страшного».

Когда мы поднялись, носильщик открыл нам наш номер, и мы с братом направились в комнату с двумя кроватями. Папа последовал за нами и махнул мне рукой, чтобы я шла дальше. Мне предназначалась отдельная комната. Без моего ведома он

мне заказал отдельный номер, а они с братом разместились в двухместном. Он изрек деловым тоном, что я уже достаточно взрослая, чтобы иметь собственную комнату. А мальчики как-нибудь потеснятся. Так или иначе, мы с братом почувствовали себя особенными.

Мне досталась прелестная комната. На обоях — голубые цветочки, прямо в комнате — раковина с тугими белыми льняными полотенцами. Наверное, впервые в жизни я умылась с охотой. Уселась на кровати, возле окна, и стала смотреть в парк. Он был зеленый, зеленый, зеленый. Я никогда не видела ничего подобного. Он не был пыльным, как нью-йоркские парки, или диким, как поляны в Нью-Гемпшире, или искусственным, как засаженные бархатцами садики у банков, или у судов, или на островках безопасности. Он зеленел роскошно, трепетал каждым листочком; каждое растение, каждый цветок переполняла сила; эти зеленые кущи кувыркались и хохотали, как дети на переменке, а не выстраивались в шеренгу, как солдаты. И все же во всем царил приятный для глаза порядок: каждому растению хватало места, чтобы раскинуть крону, не тесня при этом соседа. На прелестных зеленых лужайках выделялись островки и отмели цветов — на этом просторе покоился глаз, отдыхали ум и душа.

Мы отправились в Сент-Джеймсский парк и кормили там уток, поражаясь их разнообразию и успешно различая их с помощью плаката, где были обозначены водоплавающие птицы Англии: администрация парка очень продуманно поместила его здесь для всех, кто интересовался подобного рода вещами. Мэтью кормил арахисом маленьких, упитанных черных белок, дальних родственниц наших, американских — больших и серых.

Мы пошли к Букингемскому дворцу посмотреть на смену караула. Мэтью смотрел секунд десять, потом отвернулся и вновь принялся фотографировать автомобили. С благословения отца он изводил ролик за роликом пленки именно на то, что интересовало только его, и никого больше. У нас сохранился почти полный альбом фотографий, на которых нет ничего, кроме машин да изредка случайного прохожего, каким-то образом попавшего в кадр, когда Мэтью снимал очередную машину, или грузовик, или такси.

Мой отец опять-таки был изумителен: он не навязывал нам музеев или чего-то еще, что «нужно» показать детям.

Мы катались по Темзе на экскурсионном теплоходике, какой-то тип все время разглагольствовал о Гринвичском меридиане и на несколько минут высадил нас на берег, предположительно в Гринвиче, где мы ровным счетом ничего не увидели. Кто-то, уж не помню, кто, нагрубил отцу. Тот разозлился, не столько на

грубость саму по себе, сколько на несправедливость того, что британцы перед американцами задирают нос. «Они забывают, что это мы их выручили во время войны», — возмущался он. Небезопасно обращаться свысока с янки-англофилом. Я навидалась их, пока училась три года в Оксфорде. Некоторые в отместку становились больше британцами, чем сами британцы. Ей-богу, не вру: один аспирант первого года, когда я спросила его на вечеринке с коктейлями, откуда он родом, думая, что из Сассекса или из Саррея, объявил шекспировским alto voce[210]: «Гэди, Инди-онна!» (Попросту говоря: Гэри, Индиана.)

Другие янки, такие, как я, привыкшие говорить *бьюки* и *помидои*, вдруг начинали испытывать неведомый им доселе прилив патриотизма: у меня возникло искушение пойти и купить «спортивный костюм», то есть, тренировочные штаны и футболку, где на одном плече изображен американский флаг, а на другом написано ПЕГГИ № 1. (Надеть обычную поношенную одежду на спортплощадку для британца все равно, что выйти из дома в пижаме; так никто не *делает*, дорогая, кроме, конечно, этих ужасных американцев, играющих во фрисби, от которых не продохнуть в садах колледжей.)

Отец прекрасно себя чувствовал в компании не-вполне-английских британцев, выходцев из бывших колоний. При любой возможности мы ели индийскую пищу и слушали папины разглагольствования о том, какой чудесный народ индийцы. Он восхищался их изящными руками и запястьями, мягкими манерами, а также религией, которую называл сокровищем Востока. Эта его любовь, как и все прочие, была счастливой только на расстоянии. Если бы он поближе познакомился с обыкновенными людьми, с назойливой, запутанной бюрократической системой, с выматывающими душу порядками на почте или в поездах, а не только с официантами лондонских ресторанов или святыми людьми из книжек, думаю, пыл его остыл бы так же быстро, как и от физического обладания желанной женщиной.

Утро мы провели в универмаге «Хэрродс». Отец дивился огромному продуктовому залу: мы едва его увели. Наконец он поднялся наверх и купил брату красивый костюм из харрисского твида. Я выбрала синюю мини-юбку с замшевыми пуговицами спереди и замшевым пояском с бахромой. Она стоила десять фунтов, и отец был совершенно потрясен ценой. Он почти испортил мне удовольствие, но не до конца. Я содрала ярлычки и тут же надела ее, потому что мы направлялись на Карнэби-стрит. За время прогулки он успокоился, и когда мы пришли на Карнэби-стрит, скромно остался позади, пропустив меня немного

вперед, чтобы все эти крутые ребята не могли тотчас же распознать, что за мною тащится *предок*. Я не рискнула, пока он крутился рядом, накупить всяких прикольных штучек, типа длинных пластмассовых сережек в форме маргаритки, но дала себе слово как-нибудь на неделе улизнуть и вернуться за ними.

Шанс представился, когда мы отправились навестить семью, с которой познакомились в Мэне: они приехали в Лондон на субботу. Их сын Кит, предмет страстных воздыханий далекой Рэчел, был моим ровесником и снимался в кино. Этот блондин с прической под битлз предложил показать мне город. Отец потом сказал, что в доме Макнамара смотрел из окна, как мы идем через парк. «Вы, ребята, здорово смотрелись вместе», — заявил он.

Мать Кита в прошлом году подошла ко мне на чьих-то похоронах. Я не видела ее лет тридцать; она спросила, помню ли я, как навещала их в Лондоне. «Твой отец переживал, что ты больше ходишь с Китом, чем с ним, — помнишь?» Нет, этого я не заметила — так торопилась вырваться на волю. Кит повел меня в Музей мадам Тюссо, а потом опять на Карнэби-стрит, и мы все время держались за руки. У него был значок с надписью: «Если вы этой ночью занимались любовью, улыбнитесь!» Позже мы встретились с папой и братом в Уимпи, где ели гамбургеры, и папа хохотал так же громко, как мы, над тем, как реагировали взрослые на этот значок. Молоденькая официантка, обслуживавшая нас, густо покраснела и захихикала, будто мы ее в чем-то уличили.

На следующий день мы отправились в Хэмптон-Корт, пройти лабиринт и повидаться с одним из самых старых папиных друзей, Бет Митчелл. Она и ее бывший муж Майк были ближайшими друзьями и соседями отца, когда он жил в Вестпорте, Коннектикут. Мэтью понравилось носиться по дорожкам лабиринта из живых изгородей в Хэмптон-Корте. А я запаниковала и, как ни прискорбно об этом говорить, стала продираться сквозь шестифутовую изгородь, ориентируясь на солнце, и наконец выбралась оттуда к чертовой матери. Бет повела нас на ленч, и я заказала утку a l'orange[211], что звучало шикарно и по-взрослому, я старалась не опозориться с ножом и вилкой. Бет, как и те люди из «Нью-Йоркера», полностью включала меня в разговор; спокойно, уважительно, с большим интересом слушала, если мне хотелось что-то сказать, но с равным уважением оставляла меня в покое, когда мне говорить не хотелось. Каким-то образом я чувствовала себя включенной, даже когда молчала и не «принимала участия» в обычном, условном смысле.

После ленча папа, Бет, брат и я отправились с визитом к Эдне О'Брайен на весь оставшийся день. Отец, заговорщически подмигнув мне, сказал, что Эдна — хороший писатель и чертовски компанейская баба, но она писала какие-то жутко неприличные вещи. (Не паршивые, неприличные по существу, а сексуальные, злостно неприличные.) Как мальчишка, рассказывающий об испорченном, дерзком однокласснике, он был откровенно шокирован предметом ее писаний и гаденько хихикал. Интересно бы знать, все ли авторы книг, вызывающих возмущение, на самом деле так благонравны.

После чая Эдна повела нас в парк, где происходило какое-то действо, предположительно интересное для детей. В парке было полно народу, и со мной случился приступ клаустрофобии. Мне стало трудно дышать, и я тихо, чтобы другие не слышали, сказала об этом отцу. Он поднял меня и посадил к себе на плечи, высоко над толпой. Он сказал остальным, что в такой толпе все равно ничего не увидишь, и спокойно пошел через парк, будто нести двенадцатилетнюю девчонку ростом в пять футов семь дюймов — самая естественная вещь в мире: он, наверное, так это и воспринимал.

Единственное, что в этом путешествии оказалось не столь забавным, была главная его причина, которая, собственно, и подвигла отца на поездку. Он переписывался с молоденькой девочкой, школьницей, и у них завязался настоящий роман в письмах. Теперь они впервые должны были встретиться. Мы планировали проехать вместе с ней через всю Шотландию, отыскивая место, где снимался любимый фильм отца «Тридцать девять ступеней».

В Эдинбург мы летели самолетом, и девочка встречала нас в аэропорту. Я почуяла неладное в тот самый миг, как они поздоровались. Я понятия не имела, что тут не так, пока позже, во время путешествия, отец не признался мне, какую ужасную неловкость почувствовал он, увидев эту девицу. Неловкость и вину. Я спросила, почему, а он воззрился на меня, поражаясь моей тупости: дело ведь слишком очевидно, как длинный нос на ее лице. «Она ужасно некрасивая, бедняжка: я и понятия не имел». Девочка эта не была уродом с двумя головами, не была она и безобразной: она просто не была красавицей. А это для отца много значило. Тогда, не мудрствуя лукаво, я вывела для себя закон: мальчики не ухаживают за девочками, которые носят очки. Кто знает, может, и она не сочла его таким уж сокровищем. Правда, в этом я сомневаюсь.

Она была довольно милая, хотя изрядно застенчивая и неуклюжая, и мне пришлось делить с ней комнату все время

нашего путешествия. Они бы все равно не ночевали в одной комнате, будь она даже привлекательна, поскольку, в отличие от матери, отец не принадлежал к тому поколению, среди которого было принято выставлять напоказ сексуальные отношения, даже если таковые и имели место, да и склад ума у него был совсем другой. Я чувствовала огромную разницу: он вел себя прилично в моих глазах, не проявляя открыто своих связей, не то, что мать, чье поведение меня унижало и отталкивало. И все же для этой девчонки было бы лучше, если бы у нее была собственная комната. Мне было так ее жаль: она, наверное, хотела поплакать, но в моем присутствии не могла. По ночам она частенько шмыгала носом, но я боялась что-либо ей сказать, как-то утешить: судя по ее виду, у нее вполне могла быть аллергия или аденоиды, и не хотелось окончательно обескуражить ее, если она действительно сморкалась, а не плакала. Дальше я помню смутно, потому что посмотрела «Психо» Хичкока в местном шотландском кинотеатре, и этот фильм так расстроил меня, что следующие два дня превратились в расплывчатую пелену: все вокруг я видела будто бы сквозь завесу ливня.

То, что мне удалось увидеть в Шотландии, пока мы ехали из Эдинбурга к западному побережью, было, думаю, сногсшибательно красиво, как в кино или на плакате, но меня почти все время ужасно укачивало в машине: я либо блевала, либо тихо лежала на заднем сидении, прикрыв глаза и сдерживая приступы тошноты. Немного пейзажей мне удалось разглядеть, и они далеко отстояли друг от друга: в основном те места, где можно было съехать с автострады и дать мне возможность проблеваться на свежем воздре. На какое-то время я выходила из машины, в лицо дул холодный ветер; после того, как меня выворачивало наизнанку, я испытывала облегчение — все это превращало и без того красивую сельскую местность в природу первого дня творения, только-только созданную Господом. Влажный вереск пах божественно, озера сверкали, как Жемчужные Врата.

Отец был в совершенном восторге, когда дорогу нам загородило стадо овец. Именно это в «39 ступенях» дает герою и героине, прикованным друг к другу, возможность бежать из машины человека, который их поймал. Овцы загородили дорогу, и пока водитель отгонял их, герои выбрались через заднюю дверцу и спрятались под каменным мостиком через ручей. Мы стали высматривать указатели на Алт-на Шеллох, но ничего не обнаружили.

Через много лет, вернувшись из Оксфорда, я встречалась с британским банкиром, семья которого имела домик и ферму в

Шотландии. Когда они вместе играли в гольф в Виндзоре, папа спросил его о «39 ступенях» — не знает ли он, где снимался этот фильм. Мать моего друга не только знала, где это было; она прекрасно помнила съемки, и когда я приехала в гости, показала тот самый дом, все еще с прелестными звездчатыми оконными переплетами, куда привели Роберта Доната «вверх по тропинке или вниз, я в этом не уверен». Я послала отцу фотографии дома и каменного мостика через ручей, где герои прятались.

Мы пересекали Шотландию с востока на запад, от Эдинбурга до Обэна. В Обэне — или это было севернее, в Маллэге, — мы сели на паром до Айл оф Скай. Большущая чайка клюнула брата в палец, когда он стоял у перил, протягивая кусок хлеба. Помню, как он плакал, — проклятая птица расклевала палец до крови, — и как переживал отец, что позволил кормить чаек из рук. Отец *негодовал* на чаек.

Все наладилось, когда мы расстались с его неудавшейся возлюбленной, взошли в Саутгемптоне на борт «Куин Елизабет II» и поплыли домой. Слава богу, меня тошнит в машинах и на парусных лодках, не на океанских лайнерах. Разведав все входы и выходы, все спасательные шлюпки, я расслабилась и стала радоваться жизни. На второй день повстречалась с компанией молодежи, и стало совсем весело. Однажды вечером я засиделась с ними. Папа пошел искать меня. Я держалась за руки с каким-то парнем; мы шли по коридору с кучкой старшеклассников, направляясь к танцевальной площадке. Мы завернули за угол, и я увидела отца, идущего нам навстречу. Я укрылась в какой-то каюте, втащив туда и своего кавалера. Папа не ринулся за нами. Он позволил мне притвориться, будто я его не заметила, и вернуться через несколько минут как ни в чем не бывало; одним словом, сохранить свое достоинство. В возрасте, когда само существование родителей унижает, папа старался давить на нас как можно реже.

Я вернулась в школу, к граду записок, вопросов о битлз, новым танцулькам, с грудами легко рвущихся шикарных буклетов. В этом грустно признаваться, но новостей о битлз у меня не было. Пусть это звучит нелепо, но, вспоминая свое детство, я жалею лишь об одном — я имею в виду тоску по тому, что могло бы случиться, а не какие-то с трудом осуществимые желания, например, чтобы у меня были нормальные, душевно здоровые родители. Я очень, очень жалею, что не встретилась с Полом. Именно тогда. Хотя отец пообещал, что если через пару лет мое увлечение не пройдет, он постарается устроить эту встречу, волшебство, разумеется, не могло длиться вечно, хотя в

то время я этого и не знала. Оно не принадлежало к царству, где нет разницы между десятью годами и двадцатью, или десятью и восьмьюдесятью. Оно принадлежало ко времени, когда весь мир покрылся цветами, и двенадцатилетняя девочка, даже высокая, могла легко утонуть в море подсолнухов; когда на стенах спален, благодаря усилиям «Дей-гло», появились плакаты с переливающимися маргаритками, плечи облеклись пестрыми шалями, хипповские дашики окрасили черно-белый мир во все цвета радуги, а запахи тела уже не могли пробиться сквозь бесконечные волны Английской лаванды Ярдли, лимона Жана Нате, ладана и мяты.

20
Тихая пристань: короткая интерлюдия между островами

Летом 68-го года, перед восьмым классом, я в июне поехала в лыжный лагерь, расположенный на леднике где-то в Монтане. Я научилась не только слалому, но и кое-чему гораздо более важному для меня. Я научилась жить в большой семье, приютившей островитянина. Моя техника в обеих областях — как в семейной жизни, так и в катании на лыжах — была далека от совершенства. Я завоевала пару наград, но только в скоростном спуске, где, во всяком случае, в те времена, мог выиграть только тот, кто умел жить на тонкой грани между полетом и падением и при этом сохранять ясную голову. Я выделилась и в гигантском слаломе, где ворота ставятся далеко друг от друга и, опять же, больше требуется скорость, чем изящество. Проклятием для меня были соревнования по слалому, с бесчисленным количеством стоек, поставленных так тесно, что нужно было делать настоящие пируэты, чтобы проехать между ними: требовалась и быстрота, и ловкость, и грация. Я была энергичной, сильной лыжницей, но не более изящной, чем пушечное ядро. Мне попросту не хватало верткости: я не могла и ехать вперед, и одновременно делать все эти мелкие выверты. Я почти всегда проезжала мимо ворот или зацеплялась и падала.

В аэропорт пришел автобус, и из Биллингса, Монтана, мы отправились в Кук-Сити, а потом в лагерь. Не помню, сколько времени мы ехали, наверное, несколько часов, зато помню, как думала, что все мы вот-вот погибнем. Никогда еще я не ездила по таким узким горным дорогам. Моя соседка выглянула в окошко на крутом повороте, и ее стошнило прямо на сиденье. Девочку жалко, но мне при этом повезло, как никогда в жизни. Если пути Господни неисповедимы, тут Он определенно прошествовал; я очутилась в объятиях семейства, которое по сей день много значит для меня. Девочка по имени Лиза предложила сесть рядом с ней, вместо того, чтобы сидеть в блевотине. В автобусе ехали Лизина мать и два младших брата, и к тому времени, как мы добрались до Кук-Сити, было решено, что мы с Лизой будем жить в одной комнате.

Городок был жуткий. Он походил на декорацию к фильму Клинта Иствуда, в начальной сцене которого какого-то мальчишку бесконечно долго бьют кнутом. (Не знаю, что было дальше, потому что я убежала из кинотеатра.) Весь какой-то

пыльный, с незаконченными дощатыми строениями; в таком местечке уборные вполне могут находиться во дворе, подумала я со страхом. Но увидев в витрине магазина большую вывеску «Здесь продаются фейерверки», я поняла, что все обойдется. Контрабанда — это круто. Возвращаясь из Венеции с бабушкой и мамой, я пронесла через нью-йоркскую таможню два венецианских стилета, один в красных ножнах, другой — в черных; мы их купили по случаю с лотка на улочке за собором Святого Марка, и оба лежали в моей миленькой темно-синей сумочке вместе с красивым стеклянным яйцом с острова Мурано и брошкой из тысячи цветов. Вам есть что указать в декларации?

В первую ночь мы с Лизой жутко перепугались. Какой-то противный мальчишка пялился в окошко нашего домика. Ее мама, миссис Р., тут же добилась того, чтобы нас перевели в главное здание. На следующее утро, после завтрака, целая колонна грузовиков доставила нас на снежные склоны. Там начиналась подвесная дорога: нужно было цепляться за трос и скользить вверх, к леднику. Был солнечный июньский день, снег сверкал, и я чувствовала себя уверенно: во-первых, я, одна из немногих, знала, как привязать лыжные палки к самодельному подъемнику и освободить руки; а во-вторых, меня радовало общество моей новой подруги. Лизина мама, местный инструктор по лыжам, намазала нам уши и носы цинковой мазью от солнечных ожогов. Все крутые инструктора намазались точно так же, заметила я с облегчением. Я не могла дождаться старта.

По мере того как подъемник тянул нас все выше и выше, я стала жадно ловить ртом воздух и вдруг поняла, что воздуха нет. Все лотемнело у меня перед глазами, вернее, покраснело; зигзаги, закрывавшие от меня внешний мир, были красные, не черные. Не знаю, как оказалась я в той зоне, где воздухом уже было можно дышать. Мне объяснили, что это — высотная болезнь, она пройдет через несколько дней, но как я ни старалась, она не проходила. Лизин младший брат Джоэл увлекался лыжами, но остальные члены семьи не испытывали сильного энтузиазма, так что миссис Р., не пропускавшая ни единого шанса посмотреть что-то новое, наняла фургон, и следующие несколько дней мы разъезжали по Иеллоустонскому заповеднику. Это было здорово: мы словно попали в одну из моих научно-фантастических книжек — в ямах бурлила грязь, лопались сернистые пузырьки; какие-то потусторонние, сине-зеленые, будто самоцветные кратеры и гейзеры горячей воды приносили запахи от центра земли.

Еще более странным было для меня войти в эту дружную семью, где родители и дети большей частью жили единой жизнью. Мне туг не на что было опереться, негде найти модель —

даже в книжках, которые я читала, герои были сиротами, или жили с какой-нибудь теткой, или блуждали на каникулах вдали от дома с компанией друзей. Эти невиданные «приключения» я понимала, а повседневная жизнь семьи была для меня, как «терра инкогнита». После лагеря я провела почти весь остаток лета у них дома, в Пенсильвании. Лизины братья, Сиг и Джоэл, жили в комнате, обклеенной плакатами, где изображались лыжные гонки и авторалли; а мы с подружкой расположились в «покоях принцессы», маленькой спаленке единственной любимой дочки, пышно, «по-девчоночьи» разукрашенной благодаря бабушкиной швейной машинке и универмагу братьев Курц, совладелицей которого была миссис Р. Я провела чудесное лето, катаясь на лужайке за домом на самокате Джоэла, разъезжая на машинах с мальчиками, знакомыми Лизы, которой уже исполнилось шестнадцать лет. Я всячески пыталась в то время игнорировать среднего брата: ему исполнилось тринадцать, он был, строго говоря, на год старше меня и таким образом представлял собой ходячую угрозу моему раздутому самомнению. Невозможно, чтобы я была *до такой степени незрелая*, думала я, глядя на него и закатывая глаза к потолку.

Когда Бог распределял терпение и жизнерадостность, миссис Р. получила тройную долю. Я понятия не имела, как вести себя в семье, где никто ни с кем не воевал и где родители не устранялись от активной ответственности. Миссис Р. до сих пор поддразнивает меня: «Помнишь, как ты разозлилась, когда мы тебе сказали: нет, так делать нельзя?» Я в самом деле готова была сжать кулаки и биться насмерть за всякий пустяк. «Обычно ты говорила, что папа тебе это разрешает». (Про себя я думала, что маму я просто посылаю на три буквы.) Своей реакции я не помню; помню, как они говорили, твердо и ласково: «Ну что ж, дорогая, теперь ты у нас в доме, а мы говорим — нет». Я по-крупному дулась на миссис Р., но это, похоже, совершенно ее не трогало. Она была взрослая женщина, я — девчонка; хочется дуться — и на здоровье, ей от этого ни жарко ни холодно. Я дуться перестала.

Но когда с меня сбили спесь, я все равно себя чувствовала грубой, неловкой, как слон в посудной лавке. Меня так и подмывало переть напролом там, где нужно ступать осторожно, культурно. Я не имею в виду, что я не могла выбрать нужную вилку или чайную ложечку; для меня вообще был странным, невиданным такой образ действия, который предполагал, что в любых обстоятельствах, что бы ни случилось, ты должен все уладить, найти решение, потому что ты — в семье и останешься в семье, пока смерть не разлучит вас, и после смерти тоже.

Все последующие годы эта семья была рядом со мной; на

моей первой свадьбе, первых похоронах, первой бар-мицве; в дни радости и печали, торжества и уныния. И те же самые двоюродные братья и сестры, тетушки и дядюшки, бабушки, дедушки и внуки год за годом являлись в дождь и вёдро на семейные праздники. Если кто-то не мог приехать, или был болен, или умер, они все равно присутствовали, о них говорили, рассказывали их историю. Даже бывшая жена (долгое время такая была одна в большой, разветвленной семье) не канула в забвение; достаточно было упомянуть двух ее ужасных пуделей, Божоле и Бабблса (Бобо и Бабби), и ребятишки за детским столом отчаянно фыркали в стаканы с имбирным пивом или молоком.

Есть что-то особенно прекрасное в таком жизненном опыте, когда с детского стола, куда тебя сажают во время семейных торжеств, ты переходишь в группу подростков, потом — молодежи-которой-пора-завести-семью; потом — в разряд благословенных производителей ВНУКОВ (ой, у нас где-то были фотографии), тех ребятишек, которые сидят теперь за детским столом. Какой противовес неудержимому вращению планеты, какой чудесный способ проверить себя, осмотреться, выбрать правильную перспективу, почувствовать себя включенным, встроенным в прихотливый узор жизни в любом случае, невзирая на то, сильна ли, слаба твоя хватка в данный конкретный момент. Это — не вымысел о совершенном семействе типа Уолтонов. Чемоданы стучат на багажной полке, но ни один не остается невостребованным. И всегда остается место для Илии.

К концу лета вся семья — мистер и миссис Р., Лиза, Сиг, Джоэл и я — набились в фургон и поехали отвозить меня в Корниш. Миссис Р. недавно спрашивала, помню ли я, как мои родители крупно поссорились сразу после нашего приезда. «У тебя было красное горло, и Клэр хотела дать тебе антибиотик. А Джерри хотел лечить тебя гомеопатическими средствами. Вроде бы твоя мать победила». Она улыбнулась, покачала головой. Plus ça change[212].

Этой конкретной ссоры я не помню — да и как помнить, если вариации на данную несчастную тему я слышала всю жизнь. Даже если ссора и была из ряда вон выходящей, ее затмили последующие события. Вскоре после отъезда семьи Р. папа позвонил и сказал, что повезет нас в Виндзор, поплавать в бассейне Коксов. Мы частенько туда наезжали каждое лето, нам не требовалось особого приглашения. Я надела новый раздельный купальник, купленный в универмаге мистера Р., накинула фуфболку и шорты и вышла на дорогу, где отец должен был подобрать нас с братом.

Я сижу на переднем сиденьи джипа. Папа внезапно смотрит

на меня так, будто никогда прежде не видел. О боже: он смотрит прямо на мою грудь. «Это правда ты там, под этим?» — спрашивает он. Что тут ответишь. В любом случае ты — пошлячка, пустозвонка.

Не то, чтобы они были накладные; во все купальные лифчики в те времена вставлялись чашечки. Не могу сказать, что эффект мне не нравился — но не тот эффект, какой произвели они на отца. Груди были настоящие… ну, почти настоящие, но я тут же заметила перемену в его отношении ко мне. Он стал пристально следить за мной, подозревая во мне одну из тех, ненавистных пустозвонок. С этого момента я попала в поле его подозрительности и ироний, какие он раньше приберегал для моей матери, а также почувствовала на себе внимание всех мужчин атлетического сложения и преподавателей колледжей.

В то же самое время, когда половое созревание выбросило меня прочь из отцовского мира, жизнь в доме матери становилась все более сексуально напряженной и небезопасной. Она спала уже с совсем молодыми парнями, студентами колледжа, и по мере того, как я росла и хорошела, они заглядывались на меня, бросали жадные взоры. Как это унизительно, когда мать ведет себя вроде распущенной, непокорной сестры. Из нескольких разных источников, большей частью от мальчишек, у которых были старшие братья, я узнала, что в Дартмутском кампусе ее прозвали миссис Робинсон. Я не понимала всего значения этого прозвища, пока не посмотрела фильм «Аспирант», где, к моему ужасу, и мать, миссис Робинсон, и ее дочь были объектом сексуальных домогательств героя, которого играл Дастин Хоффман. Это заставило лишний раз вспомнить унизительную, отвратительную историю с Маком, которого наняли «присматривать за детьми»: он, наверное, тоже мечтал о таком сценарии. Я увидела в этом некое предзнаменование и решила во что бы то ни стало убраться из этого дома, пока я еще не совсем развилась: рано или поздно один из этих парней разбудит меня среди ночи, а когда я скажу «нет», не станет слушать. Я засыпала, сжав кулаки, положив под кровать бейсбольную биту.

Я хотела перебраться к папе и продолжать учиться в Хановерской средней школе, где провела первый в своей жизни счастливый год. Осенью, перейдя в восьмой класс, я, возможно, осмелюсь написать Дейву — посмотрим, вдруг я снова понравлюсь ему; а возможно, мама снова сойдется с Реем и успокоится. Никаких «возможно» — все это даже не обсуждалось. Слишком большая помеха отцовской работе. Когда эта дверь захлопнулась — пусть изумляются поклонники Холдена Колфилда, который ненавидел закрытые школы, — меня в

двенадцать лет отправили в интернат на все мое оставшееся «детство». В доме моих родителей больше не находилось для меня места.

Часть третья
За Корнишем

И мир мелькает в зеркалах,
Висящих у нее в сенях,
И часто грезит о тенях,
В ночи витающих впотьмах,
Слетаясь в Камелот.

Альфред, лорд Теннисон.
Госпожа Шалота

21
Остров-крепость

Конечно, здесь бывает очень хорошо и интересно, но мне лично кажется, что на свете есть такие дети, например, ваш замечательный сын Бадди и я, которых в лагерь лучше все-таки отправлять только в случае самой безвыходной необходимости или раздоров в семейной жизни.

Шестнадцатый день Хэпворта 1924 года

Пришел проспект школы Кросс-маунтэт. Уже давно решили, что если отправлять меня в интернат, то только в Кросс-маунтэт: там в свое время учился мой двоюродный брат, сын Гэвина, и бабушка соглашалась платить за мое обучение лишь в том случае, если я поступлю именно в эту школу. «О дорогая: там дети всех приличных людей: Рокфеллеров, Биддли, Аги-Хана, центральноамериканских диктаторов, богатых наследников, людей искусства — писателей, продюсеров, кинозвезд». Я села рассматривать фотографии. Школа расположена среди Адирондакских гор. Около восьмидесяти детей, от семи до тринадцати лет, с четвертого по восьмой классы, живут здесь припеваючи с сентября по май. При желании родители могут оставлять детей и на лето, в лагере, с июня по август. Как и школа Пэнси, где учился Холден Колфилд, школа Кросс-маунтэт гордилась тем, что «выковывает характеры». Холден так комментирует рекламный проспект школы Пэнси:

«С 1888 года в нашей школе выковывают смелых и благородных юношей».

«Вот уж липа! Никого они там не выковывают, да и в других школах тоже. И ни одного «благородного и смелого» я не встречал, ну, может, есть там один-два — и обчелся. Да и то они такими были еще до школы»[213].

Школа Кросс-маунтэт обещала воспитать детей «Несгибаемыми, Находчивыми, Неунывающими»: они это называли «три Н». (Я вспоминаю, как Уинстон Черчилль переиначил БЗ-Стандарт, стандарт британской закрытой школы.

Мы были, говорит он, «Безответные, Забитые и Сопливые».) С фотографий в проспекте улыбались краснощекие ребятишки: они собирали овощи на школьном огороде или работали в хлеву — ни дать, ни взять, сказка о Рыжей курочке. Ни платьев в цветочек, с оборочками, ни чулок. Из школы прислали список необходимой одежды, поистине спартанской: грубые ботинки; резиновые боты; ватник, джинсы, спецовка, теплые подштаники, толстые носки. Платья разрешалось надевать только к воскресному ужину.

Если бы я знала, что делали основатели школы, Герберт и Кит Уотсон, до того, как они решили заняться педагогикой, то беспрестанный леденящий ужас от кошмарной мысли, что я вот-вот войду в чей-то сон, были бы вполне объяснимы. Недавно я прочла биографию Уотсонов в памятке для учеников. Вот так, черным по белому, прописными буквами, озаглавлена история Герберта Уотсона:

ВСЕ, ЧТО ЕСТЬ В ЭТОЙ ШКОЛЕ, ПРИШЛО ИЗ МОЕГО ДЕТСТВА

Ребенком я могла бы подумать: «Вот это да, вот это здорово»; так же, как мне бесконечно твердят: «Вот это да, вот это здорово, когда твой отец — Дж. Д Сэлинджер». Когда *молодые* люди, для которых отец, по его утверждению, пишет, читают ответ Холдена сестренке, которая спрашивает, кем он будет, когда вырастет, они, полагаю, реагируют совсем не так, как люди по-настоящему взрослые, для которых совсем не все приходит прямо из детства, минуя возраст зрелости. Холден говорит:

«Понимаешь, когда я себе представил, как маленькие ребятишки играют вечером в огромном поле, во ржи. Тысячи малышей, и кругом — ни души, ни одного взрослого, кроме меня. А я стою на самом краю скалы, над пропастью, понимаешь? И мое дело — ловить ребятишек, чтобы они не сорвались в пропасть. Понимаешь, они играют и не видят, куда бегут, а тут я подбегаю и ловлю их, чтобы они не сорвались. Вот и вся моя работа. Стеречь ребят над пропастью во ржи. Знаю, это глупости, но это единственное, чего мне хочется по-настоящему»[214]

Когда я в зрелые годы, имея собственного ребенка, прочла этот отрывок, моей первой реакцией было возмущение. Не Холденом: для мальчика это красивая мечта. Меня возмутил тот факт, что и я ведь резвилась среди таких же детей. А где были взрослые? Почему детям разрешили играть над пропастью? Куда подевались ответственные, зрелые люди, которые могли бы устроить для этих детей безопасную игровую площадку, или, по

крайней мере, обнести поле изгородью, чтобы мальчишка вроде Холдена или девчонка вроде меня не должны были беспрерывно кого-то спасать?

Моя взрослая реакция на заглавие биографии Герберта Уотсона — изумление: да научился ли ты хоть чему-нибудь в зрелые годы? Если задуматься, то опыт моего пребывания в этой школе — история о том, что *на самом деле* может случиться, когда незрелые люди — «ни одного взрослого» — находят друг друга и решают поиграть в школу на самом краю скалы, над пропастью. Кит в своей автобиографии рассказывает: «Окончив колледж, я приехала в Нью-Йорк… Я не знала, чем бы мне хотелось заняться, чем я была бы *способна* заниматься. Мама вспомнила, что ребенком я собирала младших детей и играла в школу, устраивала базары и ставила спектакли. Я любила детей. Зашла в пару школ, где использовались передовые методы, — меня не взяли. Наконец подвернулась работа инструктора по играм, и я как-то продержалась первую зиму». Потом она обратилась к Харриет Джонсон, в Отдел экспериментального образования. Ее приняли, а на собеседовании, как она вспоминает, спросили: «Мисс Кэвендиш, знаете, почему мы берем вас на работу?» — «Нет, не знаю». — «Потому, что вы ничего не смыслите в воспитании детей». «У меня не было никаких предвзятых идей!» — ликует Кит.

История ее мужа Герберта начинается с семейной фермы на грани разорения. Окончив среднюю школу, он получил стипендию в Корнелльской сельскохозяйственной школе, на семестровый курс управления фермерским хозяйством. Чтобы свести концы с концами, он подрабатывал в другой части колледжа, на гуманитарном факультете: как он вспоминает, «прислуживал за столом богатеньким мальчикам в енотовых шубах» (тем самым богатеньким мальчикам и девочкам, чьи дети будут прислуживать за столом и чистить хлев в созданной Гербертом школе). Он прослушал курсы по ремонту сельскохозяйственных машин, ветеринарии, кормам и рациону кормления. «После семестрового зимнего курса в Корнелле я вернулся домой образованным фермером. Я начал с размахом — уже в ближайшее лето собирался сильно поправить дела. В один жаркий летний день я разрыхлял кукурузное поле конным культиватором, и тут ко мне подошел какой-то человек и спросил, что я собираюсь делать осенью. Я сказал — ухаживать за коровами и собирать, не в обиду будь сказано, коровьи лепешки. А он говорит: «Я ищу учителя в школу»

Я ему отвечаю, что не знаю никого такого в округе, а он мне: «Я ищу именно вас. Я говорил с директором средней школы, где

вы учились: он считает, вы справитесь»». Так, в восемнадцать лет Герберт Уотсон стал школьным учителем. Ему понравилось преподавать, и он поступил в бесплатное педагогическое училище, но этим не удовлетворился. Он понимал, что не сможет потянуть плату за обучение в Корнелле — почти такую же, как в Кросс-маунтэт, — и отправился в Антиох, где студенты могли работать и учиться. Там он работал на заводах Форда, на конвейере; продавал журналы, преподавал в мужской школе для умственно отсталых штата Нью-Джерси…

В речи, которую произнес Герберт на церемонии выпуска 1950 года, были, в частности, такие слова: «Вообще-то говоря, жизнь у нас слишком легкая, чересчур расслабляющая, требующая мало сил и опыта — во всяком случае, природного, исконного, первобытного. Здесь вам довелось пожить в окружении дикой природы, походить по лесу, испытать голод, жажду, усталость, промокнуть, замерзнуть, заблудиться; отгонять от себя слепней и слушать в кромешной тьме пугающие шорохи. Я бы хотел, чтобы и впредь у вас находилось время на приключения подобного рода».

«Фанатики видят сны, — писал Китс, — и плетут из них рай для своей секты»[215]. Но фанатизм и рай превратит в одиночную камеру.

В сентябре мама повезла меня в школу. Я не отрываясь смотрела в окошко. Час за часом горы становились все выше, а крохотные деревушки попадались все реже. Мною владело одно-единственное чувство: тяжелый свинцовый страх. Мосты были сожжены, даже дом в Корнише на этот год заперт. Пока я отдыхала в лыжном лагере, мать вывезла мебель из Красного дома и перебралась в Норвич, в частично обставленный коттедж. Школа, где учится Мэтью, — в двух шагах, и самой матери недалеко ездить в Дартмут на занятия: она собиралась закончить школу, которую бросила много лет назад, когда вышла замуж. Все разумно, все как нельзя лучше — но мною владело странное чувство. Мамины вещи поставили в спальню, вещи Мэтью — в комнату рядом; я узнавала нашу мебель из гостиной. Мама и Мэтью будут тут жить. Мои вещи: стол, кровать, игрушки, постеры, яркие этикетки от йогурта «Данной», наклеенные на дверь моей спальни рядом с «кирпичом», дорожным знаком; открытки с маргаритками — все, кроме одежды и лыж, оставалось в Корнише, куда мы с мамой и братом собирались вернуться только на лето. Предполагалось, что зимние каникулы я проведу в Норвиче, в комнате для гостей на первом этаже. Там стояли две двуспальные кровати, я могла выбрать любую, имелись отдельная

ванная и телефон, но все это сильно походило на мотель.

Пока мы ехали, я вспоминала недавно прочитанную книгу, историю молодой женщины восемнадцатого века: она отплывала на корабле в Австралию, забирала с собой все, что могла, и навсегда прощалась с домом, семьей, родиной. Не в пример тем людям восемнадцатого века, мир я себе представляла плоским. Далеко заплывешь — свалишься с края, но перед этим встретишь ужасных, невиданных змей и морских чудищ. Обитаемые земли для меня простирались или к востоку от Корниша — в Лондоне, в Венеции — или в теплых южных краях, на Флориде или на Барбадосе. Мы ехали не туда. К пустынным местам. Ко львам, тиграм, медведям. Боже мой! Какое унижение — поймать себя на том, что все время твердишь мысленно одну-единственную фразу: «Хочу к маме».

Узкая дорога вилась между высоких, суровых скал, которые гляделись в бездонные, черные ледниковые озера. Такие ландшафты любили изображать американские художники романтической школы: они стремились пробудить чувство благоговейного, головокружительного страха перед лицом великой драмы стихий. Мне известно теперь, что такой ландшафт считается сногсшибательно красивым.

Мать прервала длившееся несколько часов молчание и сказала бодрым тоном британской школьницы: «Ну, вот мы и *приехали*». Маленький придорожный указатель — вот и все, что говорило о наличии здесь школы. Мы свернули с автострады и поехали по грунтовой дороге мимо учебного хлева, потонувшего в навозе, мимо грядок с «экологически чистыми» овощами, которые рекламный проспект обещал — или которыми стращал, это как посмотреть. Наконец, мы заехали в тупик, где располагалось главное здание школы, состоящее из нескольких крыльев, в которых находились спальни, классы, столовая, офисы, и на первом этаже — студия для занятий прикладными искусствами. В окошко нашей машины заглянули какие-то ребята, объясняли по схеме, как проехать к нужному спальному корпусу, или «дому», как было положено говорить.

Меня определили в Стеклянный дом, который находился в трех минутах ходьбы от главного здания. Некоторые из «несгибаемых, находчивых и неунывающих» мальчиков старшего возраста ночевали где-то за милю отсюда: неплохая пробежка зимним утром, до рассвета, когда при минус сорока по Фаренгейту плевок замерзает, не долетев до земли, и хрустит под ногой, если на него наступишь. Выяснилось, что красивые спальни, которыми я любовалась в рекламном проспекте, сфотографировали в новых домах на холме. Они специально

проектировались для детского общежития, в них были большие ванные комнаты с множеством маленьких раковин, и гостиная, похожая на лыжную базу: масса диванов и кресел вокруг большого очага. Наверху, по обе стороны широкого, светлого, с потолочными окнами коридора, тянулись одна за другой двухместные спальни, устланные коврами, выкрашенные в яркие цвета, с уютной встроенной мебелью; между кроватями — окно, из которого открывается красивый вид.

А мне отвели спальню в старом доме, обычном жилом доме, где на второй этаж вела узкая лестница, где в четырех маленьких комнатках обитало восемь детей. И это был не «Стеклянный дом», а «Кроличья нора» — там было темно и мрачно. Герберт и Кит, директор с директрисой, занимали квартиру на первом этаже Стеклянного дома. Я туда ни разу не заходила. Ширококостная незамужняя особа, учительница верховой езды и математики, довольствовалась обычной комнаткой чуть ли не на чердаке. Она помогла нам с мамой затащить ко мне в спальню чемодан и постельные принадлежности. Я сама несла свой драгоценный портативный магнитофон, без которого наотрез отказалась куда-либо ехать; только что вышел «Белый альбом» — *надо* ли объяснять? Моя соседка еще не прибыла, так что я выбрала место поближе к окну; если бы знать, что в Стеклянном доме, как, спешу добавить, и в Корнише, полагалось на ночь выключать отопление, я бы такой ошибки не совершила. Умение мерзнуть приравнивается к моральным качествам — вот она, тысячелетняя чума стоицизма, от Древней Греции до Гордонстона!

Два моих платья мать повесила на плечики, зная, что они мне не скоро пригодятся, и заметила, как просторно в шкафу. Потом мы пошли обратно к машине. Мать помахала мне рукой на прощание — во всяком случае, должна была помахать, хотя я этого не помню. Помню одно: я неподвижно стояла и тупо глядела вслед машине, которая уезжала, поднимая пыль. Прошла целая вечность, прежде чем я повернулась и по дорожке мимо навеса, под которым держали корнеплоды, пошла к главному зданию.

Как раз тогда мир пошатнулся, и меня сорвало с якорей. Я пыталась продвинуть непослушное тело хоть к какому-нибудь просвету: им оказалась дверь в главное здание. Скользящая, струящаяся влага, в которую я превращалась, уже гремела у меня в ушах, когда я достигла края стремнины. Я текла по длинному коридору и меня колотило о десятки открытых шкафчиков, кукольных домиков без дверей: ни одного укромного местечка. Мне сказали, что на одном из шкафчиков будет написано мое имя: там будут лежать калоши, с меткой на стельках; там будет

висеть рабочая куртка, с меткой на вороте; все по стандарту: калоши — внизу, куртка — на крючке. Волны не запирающихся шкафчиков — а я скольжу вдоль стены, и солнце, врывающееся в коридор через высокие окна, слепит глаза, и в лучах вьются, пляшут пылинки.

В длинном коридоре показалась белозубая улыбка — улыбка Чеширского кота. Высокого, с меня ростом. Улыбка изрекла: «Привет, меня зовут Холли. А тебя как?»

Пегги. Пегги. Пегги. Слово, тяжелое, будто налитое свинцом, с трудом преодолело путь от легких до языка и, найдя наконец отверстие рта, вырвалось наружу: «Пегги. Мне… мне тут не нравится».

Улыбка сделалась еще шире и подтвердила: «Да, это действительно паршивое место. Уж мне ли не знать: я тут с десяти лет». Холли закатила глаза. Потом, то ли прочитав мои мысли, то ли потому, что острый «чеширский» взгляд уловил, что тело мое вытекает из одежды и вот-вот заструится по коридору к холлу и к канализационной решетке, она сказала: «Пошли, покажу потрясное укрытие».

Моя «чеширская» подруга всю жизнь подбирала брошенных животных. Я видела, как она подзывала на улицах Манхэттена бродячих кошек, одичавших и грязных, — и вот они уже нежатся на полу в ее кухне, задрав все четыре лапы, чтобы им почесали животик, и отзываются на клички Мэйхем, Хаос и Фьоруччи. Подростком она болталась за кулисами и обжималась на задних сидениях лимузинов с рок-н-рольными мальчиками. В двадцать лет она, единственная со всего курса, в первый день занятий явилась на юридический факультет Колумбийского университета в тесно облегающем костюме леопардовой расцветки и в высоких сапогах. В тридцать лет ее рейтинг как профессионала был так высок, что ее пригласили юрисконсультом в одну из крупнейших фирм звукозаписи, и тяжелые металлисты, да не кто-нибудь, а «Фастер пуссикэт» и «Скорпионе», побросав свои жала, рассаживались за ее кухонным столом и с восторгом смаковали лазанью.

Если Холли с тобой подружится — это на всю жизнь. Ты знаешь, что есть место, куда ты всегда можешь прийти, где будешь чувствовать себя как дома. Недавно мы отметили наш сороковой день рождения шампанским и шоколадом, сидя в *теплом* джакузи у нее в квартире на Беверли-Хиллз. Покидая Кросс-маунтэт, она поклялась, что больше никогда не будет мерзнуть, голодать и играть в выбивалу. Могу засвидетельствовать, что ни одна пара «практичных», на низком каблуке, туфель не пятнает собой ее обширный гардероб. «Здесь,

конечно, получше чем в камине», — изрекла она со своей широкой улыбкой, когда мы сдвинули бокалы с шампанским.

Камин был нашим святилищем весь тот долгий год в Кросс-маунтэт. Не прошло пяти минут, как мы познакомились, а она, готовая поделиться своим тайным убежищем, уже вела меня по коридору в библиотеку. Там в углу был старый заброшенный очаг, в котором вместо поленьев лежали подушки. Предполагалось, что это — уютное местечко для чтения. Но если заползти внутрь, поглубже, и вскарабкаться наверх, можно на высоте где-то в три фута обнаружить выступ: один ряд кирпичей — да славится он во веки веков! — был положен неровно, и, опершись о противоположную стену, там можно стоять почти во весь рост. В холодную погоду мы с Холли по два часа торчали в этом камине — а все думали, будто мы участвуем в «играх на свежем воздухе», от которых не могли избавить ни град, ни снег, ни слякоть, ни дождь[216].

В тот первый раз мы болтали в камине, пока мое тело не обрело прежнюю, твердую форму. К тому времени, как прозвенел звонок к обеду, я уже могла без опасности для жизни пройти валким, пихающимся коридором, полным ребятни, спешащей в столовую. Холли помогла мне разобраться в схеме, согласно которой ребята рассаживались. Мы ели «семьями» по шесть человек. Учитель сидел во главе стола, а дежурный — в конце: всю неделю он должен был приносить блюда с кухни, как это делается в семьях, а потом убирать со стола. Остальные четверо детей размещались между дежурным и учителем, по двое с каждой стороны. За столом, как и в большинстве спальных корпусов, были собраны разнополые и разновозрастные дети, опять же в подражание семье. Состав «семей» каждую неделю менялся.

Соседка по комнате нашла меня после обеда. Это было нетрудно, потому что я была единственной новенькой в выпускном классе. К Стеклянному дому мы направились вместе. Сразу было можно догадаться, что эта девочка не принадлежит к «крутым» ребятам; она слушала какой-то никому не ведомый альбом под названием «Шеклфордс Синг»; зато была ужасно добрая, душа нараспашку — я тут же поняла, что с соседкой мне повезло.

Через пару недель я разобралась, что к чему. Я вычислила, что надо записываться на работы по дому: накрывать на стол, подметать в холле, выполнять всякие другие задания по уборке помещений — все, что угодно, только бы не вставать на заре и не бежать в хлев. Уроки проходили гладко, друзей я заводила легко. Дружелюбие и великодушие тамошних детей до сих пор меня

изумляют. Мы, восьмиклассницы, «маленькие женщины», по собственной инициативе несколько часов в день проводили с девочками восьми-девяти лет, заменяя им маму: этим детям так нужна была материнская ласка, что мы забывали, насколько и нам она требуется тоже. Мы вставали среди ночи и гладили по головке плачущую, тоскующую по дому малышку, которую разбудил дурной сон, или обнимали в холле торжествующую — девчонку, которая только что научилась сидеть на лошади и должна была кому-то об этом рассказать. Больше всего меня удивляло, что никто в нашем классе не дразнился и не злобствовал, как это часто бывает среди детей. За целый год я заметила лишь три случая недоброго отношения. Каждый раз жертву изводили из-за какого-то внешнего недостатка. Один мальчишка назвал мою соседку по комнате «Паршой», и это было жестоко: она страдала каким-то легким кожным заболеванием типа экземы. Я пригрозила, что пробью его башкой стенку, если он повторит это еще раз. Черную девочку по фамилии Вагнер, у которой была пышная грудь, для нас, глупых белых детишек, просто необъятная, называли «Вагнер-Сиси»; и, наконец, прозвище «Три с четвертью» прицепили мальчику с вихляющей походкой — не знаю, был ли дефект органическим или нервным. Тем троим было обидно, ясное дело, и все же это необычно, когда восемьдесят детей от четвертого до восьмого класса живут рядом двадцать четыре часа в сутки и так мало друг друга изводят. Думаю, там подобрались исключительно хорошие ребята. Ко мне, во всяком случае, они относились хорошо.

Еще одна странная вещь, непохожая на то, что было в моей прежней школе: ребята в Кросс-маунтэт на удивление мало внимания уделяли сексу. Может быть, подсознательно боялись инцеста: ведь мы все жили одним домом, заменяли друг другу семью? Не знаю. Те немногие, кто завел пару, походили на образцово-показательную белую англо-саксонско-протестантскую супружескую чету средних лет, вроде тех, которые изображаются в каталогах Орвиса: они мирно гуляли по дорожкам, взявшись за руки; иногда клевали друг друга в щечку, желая спокойной ночи, да и то если ходили вместе год или два; иногда в знак взаимной симпатии бросались снежками. В Хановерской средней школе пары сходились и расходились каждый месяц, мы без конца устраивали или обсуждали танцульки и вечеринки — а здесь, в Кросс-маунтэт, мы, прыткие ребята, которые лунными ночами вылезали через окно погулять, могли себе позволить лишь то, что у нас называлось «покурить вдвоем». Тот, у кого была сигарета, предлагал мальчику или девочке, которые ей или ему «нравились», обмен дымом «рот в рот»: курильщик выдыхал дым

вам в рот, касаясь губ, а вы этот дым вдыхали. Было здорово. Но если бы кто-то за этот год дошел до чего-то более существенного, я бы прознала, уж поверьте.

И говорили мы о тех, кто нам «нравится», совсем, совсем по-другому, не так, как в прошлом году или в последующие годы моего отрочества. Не о том мы говорили, насколько далеко зашли или собираемся зайти, и не сплетничали о том, кто с кем ходит. Наши разговоры скорее походили на чинную беседу о мужьях и детях: такие веду я сейчас, в сорок лет, с другими мамашами на детской площадке. «Как Уилл: я слышала, он сегодня забил два гола? Интересно, сможете ли вы на следующий год пойти в одну и ту же школу?» И так далее. Странно[217].

До поры до времени все шло довольно гладко, но однажды вечером я, вернувшись к себе в комнату, почувствовала: беда. Что-то было неладно, я нюхом чуяла это. Быстрым взором окинула комнату, молниеносно проверяя, все ли на месте. Дошла до столика у кровати, и взгляд застыл на маленькой, размером с мою ладонь, шкатулке из Швейцарии, которую подарил мне отец, — голубенькой, расписанной вручную красивыми цветочками. К ней прилагался крошечный ключик: чтобы откинуть крышку, нужно было вставить его в скважину. Когда я утром уходила, шкатулка была заперта. А сейчас крышка чуть перекосилась. Вглядевшись пристальнее, я обнаружила, что петли сломаны, а миниатюрная замочная скважина выглядит так, будто взломщик пытался сунуть туда изрядных размеров отвертку. Ничего не пропало, потому что там ничего и не было. Повернувшись к шкафу, я увидела, что в наших вещах кто-то рылся: платья наполовину съехали с вешалок, спальный мешок вынут из чехла и развернут. Я села на кровать, прижала к себе подушку, которую привезла из дома. Не только молния на чехле была расстегнута, но и поролон вылез наружу; обрывки валялись на простынях. Упаковка «Лайфсэйверс», которую я прятала в подушке, исчезла.

Соседка вошла и, увидев мое лицо, застыла на месте:

— Пегги, что случилось?

— Нас обокрали, — произнесла я без всякого выражения. Потом встала и показала ей шкаф и все остальное.

— Нас обыскали, — поправила она деловым тоном. — По комнатам шарят, ищут припрятанные конфеты. Обычно после праздников, но никогда нельзя знать заранее.

— Но мою вещь *сломали*.

Она воздела руки и печально пожала плечами. Потом руки опустились и плечи поникли. Что тут скажешь?

Назавтра меня вызвали на первый из многих «сеансов» к

директрисе, Кит Уотсон, которая ребенком «собирала младших детей и играла в школу, устраивала базары и ставила спектакли». Боже мой: она до сих пор «ставила спектакли» с детьми, которых «собрала». Холли проводила меня до коридора, ведущего в офис Кит в главном здании. «Удачи. Жду в камине». Дальше мне невероятно трудно писать. Борюсь с клавиатурой, но пальцы будто налились свинцом. У живота грелка. Вчера я устала бороться с собой, закрыла файл, выпила две таблетки ативана (седа-тивного средства из «семейства» бензодиазепиновых) и не спеша гуляла вокруг пруда неподалеку от моего многоквартирного дома. Сегодня я испускаю ядовитый запах: из пор выходит ативан, и страх, и токсины. Интересно, можно ли прихватить с собой лэптоп в парную баню.

Я прошла по коридору, постучалась в дверь. Раздался голос: «Входи». Кит указала мне стул напротив своего стола и велела: *«Садись»*. Ей не требовалось много слов, чтобы нагнать страху. Большая, львиная голова; серьезное и строгое лицо. Короткие седые волосы, зачесанные назад, открывают квадратный лоб. Маленькие глазки и массивная челюсть: когда Кит говорила, обнажались поразительно крупные зубы, которыми она то и дело громко клацала и скрежетала: то была какая-то непроизвольная гримаса — будто приходится насильно стискивать эти зубы, иначе они выпрыгнут изо рта и вцепятся в жертву. На столе лежала упаковка «Лайфсэйверс», которую я прятала в подушке. Кит о ней ни разу не упомянула.

Холли предупредила, каким будет первый выпад. Кит, как по нотам, начала:

— Сразу должна сказать тебе, Пегги, что у нас с тобой будут проблемы. — Длинная пауза. — Ты не подходишь нам, правда. — Пауза. — Знаешь, Пегги, никто из детей не дружит с тобой по-настоящему. Они *хотели бы* дружить с тобой, в самом деле хотели бы, — но твое поведение, твое отношение к людям должны измениться, чтобы у них это получилось.

Я сдуру промямлила:

— Со мной многие дружат.

— Нет-нет: ты им *навязалась*. На самом деле они не хотят с тобой дружить. Уж я-то знаю: они приходят сюда и все мне рассказывают.

Я умолкла, но Кит поняла, что на этом меня не провести. Я не тряслась, не всхлипывала, не сходила с ума; «размораживание», как она и ее дочь Кэтрин называли тот момент, когда им удавалось «прорваться сквозь психическую защиту ребенка», еще не наступило.

— Мы хотим тебе *помочь*, но ты должна нам *открыться*,

рассказать обо всем.

Я сидела с каменным лицом, устремив взгляд куда-то поверх ее левого уха. Было в интонации ее речитатива что-то такое, от чего я не могла сбежать в своей обычной манере: отделиться от себя и переждать, пока все кончится. Я и сейчас могу спать, когда под окнами строят дом, забивают сваи и так далее, но если по телевизору или по радио слышны обрывки фраз, достаточные для того, что-бы пробудить любопытство ума, автоматически берущегося за решение головоломки, — все пропало. Мамины вопли были для меня копром, забивающим сваи. Отцовские проповеди — лязгом гильотины. А эта женщина яростно шептала, чуть не мурлыкала: так насильник, уложивший жертву в постель, что-то лепечет в подушку. Я сидела неподвижно, а она медленно перебирала телефонный провод, и вдруг — бац! — хлопнула массивным черным аппаратом по столу. Потом уставилась мне прямо в глаза, перегнулась через стол так, что я ощущала тепло ее дыхания, и, не меняя тона, исторгла из себя следующие слова:

— Ты *гадюка*. Змея подколодная. — Зубы громко, неудержимо клацали, расставляя точки. — Ты знаешь, зачем твои родители послали тебя ко мне? Знаешь, а…? Я тебя спрашиваю, *знаешь*? — Снова клацнули зубы. — *Им* не удалось вывести тебя на чистую воду, но я это сделаю.

Такие слова не забудешь. Подумайте: в то время наркотики еще не достигли закрытых школ, во всяком случае, этой: я припрятала пакетик леденцов для себя, не толкала одноклассникам героин. Меня потрясли и ужаснули не скверные, злые слова, даже не накал ярости — к этому я давно привыкла дома. Но совершенно выбивала из колеи ее мерзкая способность внешне оставаться спокойной, вполне владеть собой, извергая такую ярость. Честно скажу, я до смерти перепугалась.

Слезы заструились у меня по щекам. Кит долго смотрела на меня, а потом сказала:

— Я не могу больше выносить твоего вида. Иди с глаз долой. — Я поднялась, и она добавила, выставив в улыбке все зубы: — Скоро мы поболтаем с тобой еще, обещаю.

Меня так колотило, что я с трудом могла удержаться в камине. После этих «сеансов» мы с Холли каждый раз начинали бурно веселиться, чтобы сохранить нашу гордость, которую Кит старалась уничтожить. Вышибить из меня слезу не удавалось никому с тех пор, как мне миновало пять лет. Я была крепким орешком и тем гордилась. Но в каждый из «сеансов» проливалось хотя бы несколько слезинок, как ни пыталась я их сдержать. Холли ждала меня у кабинета Кит, шутками и смехом врачевала раны:

— Здорово ты потрудилась на этот раз, заставила ее отрабатывать денежки. Рекордное время: два часа и пятнадцать минут! — Она язвительно передразнивала Кит: — Вы — проблемные дети. Мы знаем, что у вас есть проблемы, и *действительно* хотим вам помочь, — клац, — но вы должны, — клац, — рассказать нам все.

Со временем Кит исчерпала весь свой репертуар. Опробовала методы, хорошо действовавшие на Холли и многих других ребят. Толковала, что дети втайне меня терпеть не могут, что у меня один друг — она, Кит, и так далее. Но меня нельзя было сбить с толку. Я знала, кто мне друг. Кит всегда добивалась слез, без этого она никого не отпускала — но «разморозить» меня так и не смогла. Однако чем крепче ты держался, тем дольше все это тянулось. Она никогда не прекращала сеанса, пока ты не признаешься в чем-нибудь, всхлипывая и трясясь. В глазах ее тогда вспыхивало торжество, и она выпускала тебя на волю. До поры до времени.

Понадобились месяцы ее так называемых «сеансов», чтобы найти у меня ахиллесову пяту. Тогда я впервые увидела в ее глазах улыбку. Теперь я знаю: обвинив ребенка на пороге отрочества в том, что он извращенец и в глубине души таит гомосексуальные наклонности, вы, скорее всего, попадете в точку. А тогда я думала, что злобная Кит обладает способностью проникать в мои мысли. Ей было ясно, как на ладони, что в пятом и шестом классе я глаз не сводила с мисс Марч. А купаясь летом в пруду, играла в «лесби» с другими девчонками, моими ровесницами: мы забирались под мостки, задирали купальные лифчики и «показывали», что у нас там, под ними. Одна девчонка, из молодых да ранняя, приехавшая к друзьям погостить между пятым и шестым классом, сочинила такую игру: все девчонки разделись догола, она была хозяйкой, а другая девочка — рабыней; рабыне понарошку отрезали грудь и присыпали рану солью; та дошлая девчонка даже слегка укусила ее за лобок. Сцена запечатлелась у меня в памяти, она и захватывала, и отвращала — но часто вставала перед глазами, особенно по ночам. Несмотря на множество поклонников и многочисленные гетеросексуальные «похождения», меня тайком охватывали сомнения, не лесбиянка ли я.

Когда Кит нащупала эту болевую точку, я раскололась. Она заставила меня прямо у себя в кабинете, на своей машинке перепечатать письмо матери, заготовленное ею заблаговременно, давным-давно. Процедура заняла несколько часов — я не умела печатать и, сделав ошибку, должна была начинать сначала. Письмо было признанием в том, что я — извращенка, лесбиянка,

более того: сумасшедшая с манией преследования. Ничто не могло меня спасти, а Кит все твердила: «Ведь мы хотели тебе *помочь*, но ты не открылась».

Удивительно, что мать не разобралась сразу, что это признание вырвано силой. По доброй воле я *никогда* не призналась бы своей матери даже в том, который теперь час. Клэр была чуть ли не последним на земле человеком, с которым бы я по своей охоте поделилась скрытыми сексуальными побуждениями и страхами. Думаю, мама так изголодалась по нормальному общению со мной, тринадцатилетней букой, вечно бурчащей что-то, презрительно скривив рот, что ей хотелось считать письмо доверительным, написанным по собственной воле. Кто знает. В ее пользу говорит тот факт, что она ответила ясно и четко на все нелепости, в том письме заключавшиеся.

(1969)

«Дорогая Пегги!

Спасибо за прекрасно отпечатанное письмо.

Меня очень взволновало известие о том, что ты & Дугал & Брайон /мальчики/ все поголовно лесби — не уверена, что могу логически это осмыслить; хотя, конечно, уверена, что вы должны быть этим глубоко обеспокоены (особенно Дугал & Брайон — интересно, знают ли их матери? Может, нам собраться вместе и обсудить это? Устроить смотрины?)

Что до остального, то ВСЯКИЙ может показаться непонятным кому-то и где-то, и если происходит разрыв, или вообще отсутствует возможность общения и понимания, кажется, что кто-то делает очень странные вещи. Не бери это в голову.

Сумасшествие возникает, когда что-то держишь в себе, а вовсе не от самовыражения. Человек сходит с ума, если не способен противостоять реальности или поделиться своими тревогами. Когда стресс или боль становятся невыносимыми, некоторые люди нарочно устраивают в себе короткое замыкание — боятся, что иначе погибнут. Короче говоря, сумасшествие — реакция на то, чего нервная система определенного типа не может вынести. Оно грозит слабым «эго», не сильным, так что, думаю, тебе беспокоиться не о чем.

Только не отгораживайся и не замыкайся.

Но, с другой стороны, принимай в расчет чужие слабые «эго» и их тенденцию к самозащите через

лицемерие или выдумки — и БУДЬ К НИМ ДОБРА. Если это невозможно, держись от них подальше. Если и это невозможно потому, что они имеют над тобой какую-то власть, не давай им себя в обиду и прислушивайся, если ты на это способна, к любому исходящему от них ценному или умному совету; в остальном же будь терпима к их слабостям — знай, что это их *слабости*, не твои. Не будь эти люди ущербными, тебе же было бы хуже.

Ты — смешно писать тебе об этом, но меня обеспокоило твое послание —

Не параноик,

Не сумасшедшая,

Не извращенка.

Озадачиваешь некоторых взрослых — ДА — определенно!

Если тебя кто-то сильно обидел, постарайся поразмыслить об этом трезво, на ясную голову, — может быть, ты и права.

Пожалуйста, будь благоразумна. Пожалуйста, не доводи до того, чтобы тебя выгнали из школы. Не стоит. Там много хорошего, по-настоящему хорошего.

Вроде все.

Я очень-очень люблю свою доченьку: извращенку или нет, лесбиянку или фею, сумасшедшую или в здравом уме, непонятную или простушку, неразвитую сексуально или развитую чересчур (все равно эти определения что-то значат лишь для других). Просто задумывайся над тем, что ты делаешь и для чего, насколько это тебе подходит, не навредишь ли ты кому-либо из окружающих или самой себе.

С любовью и с моралью *Ма*».

Я чуть не умерла от стыда, читая насчет «смотрин», но была рада, что мама, по крайней мере, поняла, как глупо называть мальчиков «лесбиками». Всем известно, что мальчики — «гомики», а девочки — «лесби». Если бы я тогда могла догадаться, у кого на самом деле грязные мысли…

Я умоляла отца забрать меня домой. Я каждую неделю звонила ему, разумеется, по спаренному телефону, используя тот единственный телефонный звонок, который нам разрешался по воскресеньям. Каждый раз было ясно, что кто-то слушает у параллельного аппарата. Старики часто дышат громко, сами того

не замечая. Но о чем я не догадывалась, пока Холли не ткнула меня носом в очевидный факт, так это о том, что письма домой, которые мы неукоснительно писали раз в неделю, рассевшись, словно в классе, в столовой, тоже просматривались перед отправкой.

— Как ты думаешь, почему мы должны отдавать их в незаклеенном конверте? — спросила она, возводя глаза к небу.

На «сеансе» с Холли Кит совершила ошибку, слишком близко к тексту процитировав письмо, которое Холли написала, и девочка сообразила, что Кит читает скорее в чужих письмах, нежели в умах. Такие вещи вовсе не упоминаются в бодреньких рекламных проспектах типа «Как выбрать хорошую школу для вашего ребенка». А следовало бы задавать школьному начальству вот какие вопросы: «Суете ли вы нос в чужую почту? Подслушиваете ли телефонные разговоры? Обыскиваете ли комнаты? Даете ли детям еду, когда они голодны? Поддерживаете ли зимой в жилых помещениях температуру выше нуля? Какие приняты у вас дисциплинарные взыскания? Мне бы хотелось узнать, как соблюдаются здесь основные права человека, а потом уже любоваться благоустроенными конюшнями и лабораториями, оборудованными по последнему слову техники».

Хоть и подозревая, что меня слушают, я все же рассказывала отцу обо всем, что со мной происходит, не касаясь, правда, унизительных обвинений в тайно лелеемой ложной сексуальной ориентации; жаловалась, что Кит меня совсем затравила. Он мне верил. Говорил, что много раз в своей жизни встречал таких «Кит». Особенно в школах и в армии. Рассказывал истории совершенно в том же духе; определенно, папа ее раскусил. Но не примчался забрать меня.

В День благодарения он явился с визитом. Родители могли навещать детей, но не разрешалось забирать их домой. Или просто я тогда так думала — ведь несколько лет спустя отец осенью ездил в Кросс-маунтэт и забирал брата домой на Дартмутский чемпионат по футболу, причем проделывал это по нескольку раз как в первый, так и во второй год его пребывания там. Может быть, правила изменились после того, как Кит ушла на пенсию.

Кит улыбалась, не переставая, когда отец приехал в День благодарения; даже обняла меня за плечи. Отец сказал, что она его ничуть не провела. «Она хочет, чтобы все думали, какая она *замечательная*, какой *передовой* педагог, но ее видно насквозь. Она тебе этого не простит, Пегги, не простит никогда». Отец сказал, что меня «Бог наказал таким лицом, на котором все можно прочесть», точно так же, как и его самого: я не могу

скрывать свои чувства, свое отношение к людям. Я увидела ее, как в зеркале, такой, какой она сама себя видела, и позволила прочесть свои мысли — «ты вовсе не выглядишь так, ты *ничем* не лучше остальных».

Отец также высказал ряд интересных соображений по поводу школьной программы. Мы устроили большое шоу для родителей — с музыкой, скетчами и прочими удивительными штуками, каким нас обучили. Дон, учитель музыки, сочинял песни и сценарий в великой спешке, за три дня, остававшихся до представления. Мы были потрясены (хотя большее потрясение довелось испытать мне через пятнадцать лет: заехав в школу на День благодарениями услышав ту же байку о спектакле, который сочинили и приготовили за неделю или около того, я вдруг узнала добрую половину мелодий) — и я в присутствии отца начала восторгаться: поразительно, как много смог сделать Дон за такое короткое время. Папа спросил: «Он ведь знал, что шоу готовится к Дню благодарения, так ведь?» Я кивнула. «Чем же тут восхищаться, если он до последней минуты не начинал работу?» Хм-м-м-м. Мне это не приходило в голову.

Папа называл вещи своими именами, но не удосужился обучить меня приемам, к которым прибегали его «несгибаемые, находчивые и неунывающие» герои Симор и Бадди Глассы, когда сталкивались с несносными директорами летних лагерей или школ. Симор, в совершенстве овладевший тремя «Н» еще в семилетнем возрасте, описывает, как столкнулись директор лагеря мистер Хэппи и маленький Бадди. Во время еженедельной проверки коттеджей, где живут мальчики, мистер Хэппи устраивает пятилетнему Бадди ужасный разнос за то, что он не так заправил постель, как заправлял сам мистер Хэппи, когда служил в армии. Отец часто рассказывал нам, что в военной школе то и дело проверяли койки — монета в четверть доллара, брошенная на постель, должна подпрыгнуть на определенную высоту, иначе койка по уставу не принималась. Симор говорит, что «не стал вмешиваться и заступаться», потому что «этот парнишка… способен за себя постоять в любой ситуации». И, конечно же, бесконечно находчивый Бадди посреди тирады мистера Хэппи вдруг закатывает глаза так, что видны одни белки, — знаменитый трюк, которому он научился, — и до чертиков пугает мистера Хэппи; тот улепетывает, даже «забыв записать вашему замечательному сыну очередное замечание!»

Возможно, отец переоценил несгибаемость и находчивость своей дочки. Все же во время этого визита в День благодарения папе удалось, как я понимаю, вызвать Герберта на откровенный мужской разговор и изложить все, что он думает об обращении со

мною Кит. Результаты были не особо воодушевляющие. Когда мы ели индейку в гостинице «Миррор Лейк», отец сказал, что Герберт был искренне смущен и удручен, услышав о том, какие яростные, ни с чем не сообразные чувства питает ко мне его супруга. Но, добавил папа:

«Герберт — слабак. Не думаю, чтобы ему удалось с ней совладать. На том дело и кончилось. Возьми шоколадного торта. Ручаюсь, он не такой вкусный, как у «Вольфи», но выглядит неплохо».

После обеда мы с братом спустились вниз, туда, где в отеле была комната для игр. В углу стояли два великолепных автомата с конфетами, объекты поклонения, идолы, ждущие приношений в виде серебряных монеток. Небесные дары — «Скай Бар», «Милки Уэй» и «Лайфсейверс» — посыпались в наши протянутые руки. Еда, еда, еда. Я всегда ходила голодная. В школе был установлен тотальный, абсолютный контроль над едой. Делать запасы строго воспрещалось. Даже если унесешь яблоко со стола, чтобы съесть его позже, будешь наказан. Нам дозволялось есть то, что ставили перед нами в часы трапез, а между трапезами — ничего. Если во второй половине дня ты находился неподалеку от главного здания, две кухарки, обе по имени Глэдис, могли, пользуясь разрешением администрации, выдать тебе горсточку «сластей»: жестких, как подошва, сушеных фиников, которые нужно было минут десять держать во рту, и только потом пытаться разжевать. Даже в британских закрытых школах «ящичек сластей» из дома практически считается неприкосновенным. Здесь такие вещи были строго запрещены. «Душегубы, нацисты», — шептали мы с Холли еле слышно, в пронзительно холодный день убирая с поля поздние корнеплоды. Потом изобразили, будто насмерть забили друг друга турнепсом.

По моей просьбе брат привез из дома пластиковую коробку с плотно прилегающей крышкой. Контейнер, не пропускающий воздуха, мне был якобы нужен для того, чтобы хранить образцы листьев. Мы доверху набили его мягкими белыми булочками и конфетами, и вечером, вернувшись в школу, я направилась прямо в лес, вырыла яму глубиной в фут и закопала контейнер. Если не пустят по следу собак, я, возможно, и выживу.

Кит бесилась оттого, что со своей ненавистью ко мне она оставалась в абсолютном меньшинстве, строго говоря, в полном одиночестве. При этом надо учесть, что учителя, ее окружавшие, не стеснялись выказывать неприязнь, даже отвращение к учащимся. Тому свидетельство — резкий тон характеристик, в которых прослеживалось, насколько успешно идет «выковывание»

наших характеров; их посылали родителям в конце каждой четверти.

/Моя характеристика за полугодие, подписанная директором/.

«Всю осеннюю четверть Пегги скорее искала, экспериментировала, задавала вопросы, даже выражала недовольство, — в весьма, правда, ограниченных пределах — чем предпринимала сознательные, результативные усилия. Она способна двигаться в нужном направлении и воспринимать общезначимые ценности, но слишком неуверенна в себе, чтобы, собрав все силы, преодолевать препятствия.

Весьма вероятно, что из этой девочки, восприимчивой, талантливой и целеустремленной, вырастет организованный, счастливый человек. Жаль, что из-за краткости ее пребывания в Кросс-маунтэт нам остается слишком мало времени, чтобы внушить ей уверенность в собственных силах и привить полезные навыки. Надеюсь, что мы многого добьемся за оставшиеся несколько месяцев. Она делает заметные успехи.

— Херберт».

/Первая годовая характеристика Холли, подписанная директором/.

«К концу первого, бурно протекавшего, года пребывания Холли в Кросс-маунтэт появились многочисленные признаки того, что она начинает лучше разбираться в себе и в своих отношениях с окружающими, подходить к своему поведению более ответственно. В ней все еще заметны черты сконцентрированного на себе, жалеющего себя, незрелого подростка /ну же, Херберт, не стесняйся, выкладывай все как есть/ — подростка, который храбро бьется, чтобы утвердить себя, определить свое место в мире — она бросает вызов миру, и этот же мир пугает ее…

По стандартному программному тесту, проведенному этой весной, она получила средний балл 11, 6 — очень высокий для ученицы, заканчивающей седьмой класс. Вообще-то говоря, тот же балл она

получила и осенью, и это показывает, что ее энергия была направлена скорее на попытки приспособиться к требованиям жизни в коллективе, чем на повышение успеваемости. /Или, может быть, это показывает, что мы не преподали ей ни черта с тех пор, как она у нас учится?/

Думаю, второй и последний год пребывания Холли у нас будет более эффективным /sic/ и продуктивным во всех отношениях; хотя она, как и все мы, обладает ярко выраженными индивидуальными чертами, которые нужно учитывать при воспитании.

— *Херберт».*

/Моя «домашняя» характеристика, данная «родительницей», Сью/.

«Пегги в целом прекрасно справилась с очень сложной ситуацией: она прибыла сюда из другой школы прямо в выпускной класс. Она довольно общительна, со многими подружилась и рке пользуется уважением сверстников. Она хорошо ладит со своей соседкой по комнате и с другими девочками в доме. Несколько небрежное отношение к собственным вещам и общественным обязанностям было ее главным недостатком, но и тут намечается значительный прогресс, хотя трудно поверить в это, глядя на ее комнату! Почти все время Пегги пробует то, что мы можем предложить, и ее ежедневник пестрит пометками: чем она займется нынче, чем — в следующий раз. В свободное время она немного занимается прикладными искусствами, очень много — музыкой; прочла порядочно книг, съездила в Монреаль, предварительно выдержав испытание — целый день нужно было говорить только по-французски; работала в прачечной и на лыжной базе; участвовала в комитете по организации велосипедных гонок и дважды — в комитетах по организации танцев; ходила в короткие походы по окрестностям. Это — уже достаточно зрелая, волевая девочка, и приятно наблюдать, как неуклонно совершенствуется ее характер. Мы рады, что она попала к нам.

— Сью».

/«Домашняя» характеристика Холли, подписанная Кэтрин — дочерью Кит — и ее мужем Джоном/.

«Начало пребывания Холли в Кросс-маунтэт было довольно бурным. Ее озабоченность только собственной персоной, ее ребяческие протесты, жалобы и крайне грубое поведение очень скоро привели к тому, что дети избрали ее мишенью для насмешек и травли. Понадобилось много сеансов, как с нами, так и с Кит, прежде чем она стала отдавать себе отчет в своем поведении и начала оттаивать, сдавать позиции… Такой коллектив, как наш, предъявляет серьезные требования, и Холли нелегко было в него войти… К примеру, когда речь заходила о лыжных походах или игре в мяч, Холли громко возмущалась, будто мы якобы рушим /sic/ ее «права», и отказывалась участвовать. Руководствуясь глубоким убеждением, что ни один ребенок не смеет рассчитывать на успех подобных демаршей, мы настояли на участии Холли, и вскоре она обнаружила, что в занятиях спортом можно найти немало хорошего. Думаю, единственный разряд мероприятий, которыми Холли пока не охвачена, это — наша туристская программа, ибо девочка до сих пор уверяет, что «ненавидит» походы… Я пригрозила, что если она не выработает другое, менее эгоцентрическое отношение к коллективу, то не сможет в полной мере возложить на себя ответственность, связанную с переходом в выпускной класс. Это, кажется, произвело на Холли впечатление. /Шутка ли! Угроза провести еще год в подобном месте./… Больше всего она по-прежнему интересуется чтением, но выбирает далеко не такие значительные произведения, как «Долина кукол» или «Ангелы Ада»; в последнее время она прочла «Я никогда не обещал тебе сад из роз» и «Заблудившийся автобус»… она ежедневно читает «Нью-Йорк Тайме» и просматривает большинство журналов в нашей библиотеке». (В другой «домашней» характеристике сказано, что Холли читает, по меньшей мере, три книги в неделю — неслабо, если весь день, с утра до ночи, занят «мероприятиями», — и приводится список, в котором значатся, в частности, «Жизнеописание Малькольма Х», «Рассказы южных морей», «Назови это сном», «Над пропастью во ржи», «Возвращение в рай», «Квартал Тортилья Флэт», «1984», «Джейн Эйр», «Грозовой перевал», «Убить пересмешника», «Тэсс из рода

д'Эрбервиллей», «Ветры под землей», «Черный, как я», «Посторонний». «Список неполный», — сказано в заключении.)

Есть в этой характеристике строки, которые Холли, когда она была юрисконсультом и вице-президентом по деловым контактам ведущей фирмы звукозаписи, или теперь, работая менеджером рок-групп «Мотли Крю» и «Дюран-Дюран», должна была бы вставить в рамочку и повесить на стене своего кабинета. Нашлось бы им место и в квартире, где она рке двадцать лет живет с мркем, крупным продюсером, который пишет песни для «тяжелых металлистов» — пусть эта сентенция красуется рядом с перечнем золотых и платиновых дисков, выпущенных при участии Холли.

«В данный момент любимые занятия Холли не предполагают общения с другими детьми. *Единственный повод завязать контакты — скорее всего, надуманный интерес к рок-н-роллу.* Надеемся, что с нашей помощью она приобретет те качества, которые позволят ей получать удовольствие от жизни в коллективе».

— Кэтрин и Джон (курсив мой).

Наш с Холли общий друг недавно прочел вышеприведенную характеристику, где упоминалось о «надуманном интересе» Холли к рок-н-роллу, и предложил перепечатать ее на бланке компании звукозаписи, а затем отправить в ту школу. Реакция Холли ошеломила его. Он рассказывал мне, что вместо Холли, которую он знал, — деловой женщины, одного из самых крепких менеджеров в этом бизнесе, трезвой, хладнокровной и лишенной каких бы то ни было сантиментов, — он вдруг увидел испуганную лань, застигнутую светом прожекторов. «Ни за что! — заявила она. — Иначе они дознаются, где я сейчас».

Все началось — и как началось — с первого утра в школе, когда Холли обнаружила, к ее великому, громогласно и красноречиво выраженному ужасу, что ей не дадут кофе, ни хорошего, ни какого-то еще, и — нет, нельзя читать «Нью-Йорк Тайме» за завтраком. Когда читаешь газету прежде, чем поработать на ферме или в мастерской, это подозрительно; кофе с сахаром — искушение сатаны. Придя в эту школу со слабыми знаниями, я должна была тянуться изо всех сил и понимала это, но Холли в седьмом классе находилась на уровне (11,6) класса выпускного. Она безумно скучала. Разумеется, это никому не приходило в голову. В храме науки, где заправляли мускулистые

англосаксы, умненькой, начитанной, цивилизованной еврейской девочке приходилось несладко.

> /Французский/ «Холли иногда читает на уроке посторонние книги, но во время «фронтального» опроса показывает хорошие результаты, несмотря на бесконечные жалобы, которыми, похоже, сопровождается любое усилие, предпринимаемое ею.
>
> — *Барри».*

> /Английский/ «Холли прекрасно пишет, у нее нет проблем с английской грамматикой и правописанием. Задания всегда выполняет хорошо и в срок… Поведение Холли в классе немного исправилось, и все же она порой чересчур громко выражает свое неодобрение. Думаю, она поняла, что ничего не добьется, наотрез отказываясь выполнять задания. Теперь она может, например, прекрасно выполнить тест по орфографии и в углу листка приписать: «Ну и мура!»
>
> — *Джеймс».*

Я порядком изумлена и разочарована тем, что Джеймс, мой тайный друг (Кит, говорил он, превратит его жизнь в ад, если узнает, что мы дружим), который вместе с семьей приезжал к нам в Корниш на летние каникулы, позволял себе такие выпады и участвовал вместе со всеми в «выковывании характера» Холли. По отношению ко мне он и его жена проявляли спасительную теплоту и заботу — единственные из взрослых в этом холодном заведении. В самом деле, на следующий год он писал мне в Кембриджскую школу, горько сетуя:

> «Ты — это тема, которую мы с Хербертом обсуждать не можем: я неохотно вступаю в такие беседы из-за сильной эмоциональной подоплеки моего к тебе отношения, но Херберт поднял этот вопрос через день после того, как я звонил в дом твоей матери. Старый спор извлекли на свет божий, стряхнули с него пыль и обнаружили, что разрешить его нельзя. Главный предмет обсуждения, как мне кажется, следующий; он-то и объясняет исконную невозможность этот спор разрешить.

Многие в школе обвиняют тебя в различных преступлениях. В большинстве из этих преступлений ты виновна. В мои обязанности не входит тебя защищать, да я и не собираюсь «защищать» тебя, потому что подвергаю сомнению те посылки, на которых основывается их понятие о «преступлении»… Мне противно говорить об этом, но при нынешнем устройстве мира чуть ли не вся наша энергия уходит на то, чтобы скрывать свои подлинные чувства и вместе с тем делать дело как можно эффективнее, но так, чтобы не вызывать гнев того, от кого мы зависим. В эту игру мы все обязаны играть. Мы не можем бросить ее только потому, что нам не нравятся правила: в наше время просто некуда больше податься. Это — немалое унижение, которое и тебе в будущем предстоит испытать. Сам я сыт этим по горло: ШКМ и ее распорядок вполне устраивает меня, но здесь, как нигде, строго соблюдаются правила ИГРЫ. Только перед двумя коллегами я могу раскрыться полностью: это Д. и Б. Общаясь с другими, даже с П., я чувствую, что каким-то образом, из какой-то щели Большой Брат наблюдает за мной. Иногда я думаю, что лучше было бы служить младшим клерком где-нибудь в рекламном агентстве — так ревностно соблюдается протокол, так неукоснительна «главная линия». Это меня заставляет изумляться…

С любовью, *Джеймс».*

Это и меня заставляет изумляться, «воздев руки к небу» (Марвин Гей). И напоминает разговор Холдена с его учителем: тот говорит, что жизнь — это игра, и играть надо по правилам. Вслух Холден соглашается с учителем, но про себя думает:

«Тоже сравнили! Хорошая игра! Попадешь в ту партию, где классные игроки, — тогда ладно, куда ни шло, тут действительно игра. А если попасть на другую сторону, где одни мазилы, — какая уж тут игра? Ни черта похожего. Никакой игры не выйдет»[218].

Недавно я пригласила Холли на ленч, хотела выспросить что-нибудь о школе — вдруг да пригодится для этой главы. Спросила, что она помнит о Кит. Когда мы с Виолой вспоминали мисс Чепмен, нашу учительницу в четвертом классе, которая так сильно тряхнула Виолу, что та намочила в штаны, нам было весело. А мы с Холли, напротив, впали в депрессию. Холли сказала, что старается думать о школе как можно меньше, даже

принимает таблетки, если требуется. Обычно ей это удается, но время от времени, гуляя по улице или заходя в вагон метро, она внезапно вздрагивает, словно сама смерть прикасается к ее рукаву. Потом понимает, что в поле ее зрения попала старуха, чем-то похожая на Кит.

22
Рождество

Папа должен был приехать, чтобы отвезти меня в Корниш на Рождество. Теперь, задним числом, я понимаю, что мать брала на себя черную работу — отвозить меня из дома и оставлять у чужих, а отец, наоборот, выставлял себя хорошим парнем, заезжая за мной на каникулы. Я собрала свои вещи, в основном лыжные принадлежности, поскольку обычно проводила каникулы на склонах горы Эскатни. Еще я упаковала несколько поделок, выполненных по школьной программе, — каждый из нас должен был отвезти домой и подарить родным эти свидетельства наших успехов. Некоторые ребята, например та же Холли, неделями трудились на ткацких станках, создавали по-настоящему чудесные вещи, экспериментировали с цветом и фактурой, приучались любить свой материал, буквально рисовали по шерсти, перебирая нити порхающими пальцами. Спустя несколько лет я порой испытывала нечто подобное, садясь за пианино. Нечто, независимое от умений и навыков, когда ты полностью постигаешь творение, и оно плавно, без сучка и задоринки, струится сквозь тебя и твой инструмент. Нечто, никак с тобой не связанное. Другие ребята изготавливали кувшины на больших каменных гончарных кругах с ножным приводом или вручную лепили сосуды причудливых форм из больших кусков глины. Потом тщательно выбирали глазурь для росписи. Потом, слепо доверяясь судьбе, помещали незавершенное изделие в печь для обжига, как в некое лоно, где алхимия творчества вступает в свои права. Какой-то процент сосудов, хорошо ли, плохо ли сработанных, рассыпается, трескается, чернеет. Дело тут не в каких-то изъянах подготовки, а в том, насколько удачно разместишь ты свое изделие в печи. Пламя по прихоти своей лобзает один кувшин и сжигает другой. На полках в гончарной мастерской стояло множество грубых пепельниц, но попадались и изделия, достойные «уголка жизни» в японском доме[219].

Что касается меня, то скупая, в две строчки, характеристика, данная учителем, говорит о многом: «Пегги большей частью не проявляла интереса и не добилась результатов. Она выполнила несколько рисунков, картин и глиняных изделий». Результатов я не добилась, это правда. Но на процесс взирала с благоговейным трепетом. Мои создания погибали, едва задуманные. Они не получали ни искорки жизни; из-под рук моих выходили корявые, бездарные, не согретые любовью кусочки ткани, такие мизерные,

какие только можно было произвести, не нарвавшись на неприятности. Как Пенелопа, я тайно распускала все, что умудрялась выткать за день. Я никогда не отваживалась настолько полюбить податливый комок глины, чтобы получить стройную форму на гончарном круге, который, вращаясь под умелой рукой, придает сосуду совершенство. Мои уродливые сосуды поднимались и вскоре вновь опадали бесформенной грудой.

Очень постаравшись, я могла весьма посредственно выполнить в классе обязательное задание, но было высечено на камне золотыми буквами, что мне никогда не сотворить хоть что-нибудь красивое. Эти неудачи служили очередным доказательством того, о чем говорили, вопили, шептали и пели мне в уши, а именно: я — не такая, я — хуже всех. Очень рано я узнала от матери, что есть во мне нечто глубоко постыдное. От отца я узнала, что нечто глубоко постыдное присуще любому несовершенству. Собственный творческий процесс он скрывал, как некую великую тайну. Он таил то, над чем работал, — да и себя самого, нужно добавить, — до тех пор, пока не достигал совершенства. Не стану повторять его яростные инвективы против «второстепенных» художников, артистов, писателей. Победить, прорваться в первый ряд, стать настоящим творцом, гением было не просто главной, а *единственной* целью. Помоги Бог недотепе, который старается изо всех сил, но не достигает, в глазах отца, уровня настоящего Мастера. Иметь бизнес, торговать чем-нибудь — вполне достойное занятие; только людей искусства выставлял он к позорному столбу, только на них обрушивался со всей яростью, со всем презрением: посредственность в искусстве совершает святотатство, пятнает нечто чистое, недосягаемо высокое. Я говорю не только о чьих-то попытках проникнуть в серьезную литературу. Я видела, как он, побагровев, набросился на хиппи, который на каком-то рынке плел кашпо из макраме и смел называть себя художником. Поделки домохозяек, продававшиеся на базаре в Корнише, были еще ничего: они просто нагоняли на него тоску. Но попробуй какая-нибудь из них заговорить об искусстве — отец взорвется, как порох, и не угомонится до самого дома, а если тебе не повезло, и ты сидишь пленницей в его машине и невольно слушаешь, это извержение затрагивает и тебя.

В восьмом классе у меня хорошо получалось только то, чему я научилась так давно, что не могла уже и припомнить, когда этого не умела. Ходить на лыжах я научилась в три или четыре года, играть на пианино — в три, читать — до того, как пошла в детский сад. Мой взгляд на творчество как на некое чудесное

непорочное зачатие поддерживался мифами по поводу моих ранних успехов, сложившимися не без помощи отца. Он рассказывал, например, как я, едва научившись ходить без посторонней помощи, протопала к пианино, и тотчас же, с первого раза, верно подобрала мелодию. В Кросс-маунтэт я с изумлением узнала, что не так уж и отличаюсь в музыке. У меня, конечно, есть способности, но другие дети занимаются по-настоящему: усидчиво, методично. Мой учитель музыки в тот год писал:

> «Работа Пегги на фортепьяно характеризуется стремлением перескочить через базовые навыки и достигнуть сиюминутного «эффекта». Она абсолютно не способна сконцентрироваться на каком бы то ни было упражнении, если оно не сулит моментального, непосредственного результата. У нее есть способности, и она, возможно, могла бы добиться значительных успехов, если бы приложила хоть сколько-нибудь усилий».

Я, конечно, понимала, что учитель имел в виду мою лень, но мне и в голову не приходило, что творчество — процесс, а не результат, который волшебным образом появляется сам собой, если у тебя есть талант. Если Сэлинджеры что-то делают, то достигают совершенства — или уж сидят, сложа руки. И не только в высоком искусстве, а в любом деле, какое только можно себе вообразить. Например, я никогда не готовила блюд по рецептам, пока не вышла замуж, искренне полагая, что готовить либо умеешь, либо нет. Я не умела, так стоило ли утруждать себя. И я ела полуфабрикаты — из банок, из коробок. Что же до уборки, до действительного контроля над материей повседневной, доподлинной жизни, не умственных манипуляций с грезами и снами, то я зарастала грязью по уши, глядя на беспорядок в паническом страхе, и лишь когда терпеть уже становилось невмоготу, испускала боевой клич и бросалась в атаку. Мой друг Дэвид, острый на язык, застыл однажды на пороге моей квартиры в Манхэттене и изрек: «Пегги, это не кухня, это — вопль о помощи». Преподаватель, руководивший в колледже моей дипломной работой, спрашивал меня почти при каждой встрече: «Пегги, как бы ты съела слона?» Правильный ответ: разрезала бы его на маленькие кусочки. Сэлинджеровский ответ: в одиночку, никого не позвав на помощь, утянула бы его в темную пещеру и там проглотила бы целиком — а потом, возможно, подавилась бы и померла. Или заявила бы, что есть слонов — презренное

занятие, и посвятила бы себя чему-нибудь другому.

Иная причина, более актуальная, чем стыд или неумение, заставляла меня скрывать любой интерес, любую тягу к чему бы то ни было. Если бы я хоть чем-то увлеклась, радость мою тут же почуяла бы Кит в своей берлоге. В ту осень как-то просочилось, возможно, через характеристики моей внеклассной работы, что я безумно хочу поехать верхом с ночевкой к водопадам Клиффорда. Каждый раз, когда такой поход намечался, я записывалась, и каждый раз Кит вычеркивала меня: придется, мол, подождать следующего раза. Наконец, когда планировался последний поход перед выпуском, она не вымарала мое имя, как прежде, а позволила ждать и надеяться до самого последнего вечера. И только когда я уже отправлялась спать, поймала меня у лестницы и сказала: «Мне очень жаль, Пегги, но я не думаю, что ты заслужила этот конный поход». Если бы я боялась лошадей, меня бы живо усадили в седло и заставили скакать не хуже, чем Энни Оукли.

Я запихала мои неприглядные рождественские подарки в чемодан вместе с плюшевым медвежонком и грудой одежды: если бы не метки, никто бы не сказал, что эти тряпки — мои[220]. Когда я застегнула молнию, зашла Дженни и спросила, приехал ли за мной отец. Она хотела, чтобы мы ее подбросили. Ее семья жила в Вудстоке, как раз по пути.

Чемодан она оставила внизу, у двери, но занесла ко мне наверх свою драгоценную скрипку. В седьмом классе Дженни уже была настоящей скрипачкой. Я иногда аккомпанировала ей на концертах, играла партию бассо континуо, а она парила на высоких нотах. На этой неделе Дженни, Джейсон — тоже скрипач — и я за роялем, играли концерт Вивальди для двух скрипок и клавесина, тот самый, который мы исполняли в День благодарения, во время «показательных выступлений» для родителей. На этот раз нас отвезли в микроавтобусе в дом престарелых. Я была немного напугана, оказавшись среди стариков. Напугана запахами дряхлости и болезни. Некоторые старики сидели в инвалидных колясках и что-то бормотали себе под нос: рассудок их блуждал за тысячу миль отсюда. Но надо было видеть радость, озарившую многие лица во время нашей игры. Я и не думала, что музыка способна вдохнуть жизнь в потухшие взгляды. Для меня это был самый ценный опыт. Думаю, это в порядке вещей, когда ощущаешь себя маленькой и беспомощной перед лицом великого страдания и нужды. Я чувствовала, сколь немногим могу поделиться. И до сих пор это чувствую. Но каким-то чудом наш скромный дар из хлебов и рыб

умножился и насытил толпы. Этот рождественский концерт придал мне смелости: год за годом я посещала и до сих пор посещаю больных, старых, одиноких, часто не принося ничего, но веря, что в самом прикосновении, в самом пожатии руки и заключается дар.

Я попросила Дженни ничего не говорить о концерте моему отцу. Просто сказала, что он немного странно воспринимает подобные вещи. Я точно знала, какой ждать реакции, но объяснить ее было трудно. Благотворительность в нашем доме была поистине взрывоопасной темой. Если мать совершала какой-то добрый, милосердный поступок и бывала достаточно глупа, чтобы поведать об этом отцу, тот фыркал: «О боже, опять леди Милостынька. Эго, эго, эго», или: «Леди Милостынька хвастает, какая она добрая, и милая, и щедрая. Фу!» Через двадцать лет, когда я прочла его книги, там мне не раз попадались те же проповеди, подозрения, разоблачения, относящиеся к любому по-женски непосредственному поступку в пользу ближнего. Холден, встретив монахинь, которые ходят «собирать лепту», думает, что его тетушка или мать Салли Хейс — обе много занимаются благотворительностью, — всегда это проделывают, вырядившись в красивые платья, накрасив губы, «и все такое», а окружающие должны «рассыпаться мелким бесом». Или вот, в рассказе «Хорошо ловится рыбка-бананка» четырехлетняя девочка спрашивает у Симора, где его жена:

— А где та тетя? — спросила Сибилла.

— Та тетя? — Юноша стряхнул песок с негустых волос. — Трудно сказать, Сибиллочка. Она может быть в тысяче мест. Скажем, у парикмахера. Красится в рыжий цвет. Или у себя в комнате — шьет кукол для бедных деток».

Мой отец — я не шучу — скорее переступит через умирающего с голоду, даже не пытаясь ему помочь, лишь бы, помогая, не возгордиться собой: какой, дескать, я молодец. Акт милосердия должен быть безукоризненным, чтобы левая рука не знала, что делает правая. Иначе благотворительность — чистый эгоизм, и грош ей цена.

«Когда к тебе подойдет какая-нибудь божья старушка, торгующая жевательной резинкой, дай ей доллар, если он у тебя найдется, но только если ты сумеешь сделать это не свысока».

«Но *для кого* благотворительности цена грош?» — можно было бы спросить. Получающий лепту даже не попадает в кадр. Мы созерцаем лишь человека, собирающегося совершить мицву. Остается в тени, пропадает огромное пространство между миссис Хейс и монахинями, между мерзавцем, который подает, втаптывая берущего в грязь, и воплощенным совершенством

Божьим. Для отца середины не существует, он не осознает, что Бог, или «благо», может использовать для своих целей и сосуды скудельные. Он не понимает, что это такое: быть довольно-таки добрым. Между совершенством и вечным проклятием никаких градаций нет. Нет между небесами и адом огромной круглой Земли, по которой можно ходить.

К счастью, детям не нужно ничего объяснять, когда у них просишь не рассказывать о чем-то твоим родителям. У родителей свои причуды. Дженни заверила — не беспокойся, я о концерте ничего не скажу.

Отец приехал, мы уселись в машину. Дорогой мы с Дженни пели, чтобы скоротать время. Этой осенью мы выучили немало песенок. Папа был в восторге. Мы пообещали прислать ему из школы запись, но, боюсь, так и не сделали этого. Частично потому, что мне было лень, и это, конечно, нехорошо; а частично из-за того, что у меня возникло странное чувство: отец принял меня за кого-то другого. Не то, чтобы он считал, что мы пели в машине прекрасно или там мило — для него наше пение было совершенным, было самой поэзией. Он так превознес наше пение, что я себя почувствовала обманщицей; если бы мы это записали, он бы сразу же понял, каким обыкновенным, всего-навсего милым — не великолепным — это наше пение было. Странное чувство — когда тебе приписывают силы, которыми ты совершенно точно не обладаешь, ставят на пьедестал, хотя бы и временно.

Через четыре часа мы приехали в Вудсток. Городок был уже украшен, всюду горели белые рождественские огни, зеленели еловые ветви и венки из остролиста. Мы распрощались с Дженни и направились через реку в Корниш.

Чтобы узнать, как по-настоящему выглядит его родной дом, ребенок должен уехать на какое-то время, а потом вернуться. На этот раз я многое заметила. Подъезжая к дому отца, нужно резко свернуть с грунтовки, причем на скорости, иначе не взберешься по крутому склону. Подъездной путь к дому засыпан щебенкой, страшно колючей, когда по ней ходишь босиком. Зимой она осыпается, коварно скользит.

Шебенка приводит к воротам гаража. Из гаража к дому наверх проложен подземный ход: несколько дюжин маленьких ступенек. Ступеньки по какой-то причине ниже стандартных, и приходится ступать мелкими, детскими шажками. Нас, длинноногих Сэлинджеров, это раздражает. Наверху — две двери. Одна — в подвал дома. Подвал больше похож на пещеру. Это потому, что участок, выбранный отцом, вовсе не подходил для строительства. Пришлось взрывать динамитом скалу, чтобы пристроить дом на самом обрыве — так альпинисты подвешивают

свои палатки на вертикальной стене. Подвал вырублен в скале, только пол залит цементом: нужно было сделать его достаточно ровным, чтобы поставить холодильник и стиральную машину с сушилкой. Через другую дверь попадают в дом. Но не сразу. Чтобы добраться до гостиной этого скромного одноэтажного шале, требуется еще подняться на целый лестничный пролет.

Потолок в гостиной — то, что на современном жаргоне называется «соборный», то есть, выше обычных восьми футов, несколько наклонный. Целый ряд окон выходит на гору Эскатни и соседний штат Нью-Йорк. Из Корнишского дома, где я росла, тоже открывалась широкая панорама, но там все же было чувство уюта, обустроенности — трава, деревья, а тут дом висит над обрывом, и нет ощущения твердой почвы под ногами. Будто ты не в настоящем жилом доме, а в аэроплане или на крыше небоскреба. На краю пропасти.

Не знаю, замечает ли это отец. Я о таких вещах с ним не говорила. Это могло бы его задеть. К тому же и пресловутый вид открывается редко. Отец держит шторы задернутыми или почти задернутыми, днем и ночью. Свет проникает туда, где шторы расходятся, ложась на спинки стульев или на столики. Пейзаж демонстрируется только в особых случаях — для гостей, совсем как в семьях среднего достатка, только для гостей снимают чехлы с «хорошей мебели». Дом моего брата, как я заметила в свой последний визит, столь же странно соотнесен с величием и красотой окружающего пейзажа. Брат построил дом на крутом склоне в Малибу, дешево купив землю, потому что агенты по недвижимости считали ее непригодной для строительства. Окно во всю стену выходит на Тихий океан, перед вами разворачивается настоящая панорама, которая выгодно оттеняется дорогим современным дизайном. Но при этом шторы из прелестной, вытканной вручную, похожей на рисовую бумагу, ткани опущены днем и ночью, 95 процентов времени. Поднимают их лишь иногда, чтобы полюбоваться закатом, или по случаю моего приезда — я люблю сидеть и смотреть на море.

Возможно, со временем, когда вид примелькается, его перестаешь замечать, он становится неотличимым от кирпичной стены, которую видно из окон дешевой квартиры: сначала кажется, будто ужиться с этой стеной невозможно, но проходят дни, и она становится невидимой, точно так же, как мебель и все прочее. Я меняла квартиры раз двадцать пять, большей частью в ранней юности и молодости. И постигла одну простую истину: если в первые две недели после переезда ты не изменишь что-то — не выкрасишь стену, не исправишь какую-то лезущую в глаза неполадку, не заменишь безобразный кафель, — ты не сделаешь

этого никогда. Со временем глаз становится удивительно хорошим редактором, исправляющим ошибки и недочеты. И только когда приходит гость, вместе с ним видишь свежим взглядом так и оставшиеся неисправленными безобразия.

Безобразия. Это приводит мне на память галерею в отцовском доме. Перила шатались с самого начала, на них лучше было не опираться. С годами доски прогнили во многих местах, возникало впечатление, будто ты идешь по висячему мосту через реку в джунглях; нога, как в кино, проваливается в щель между досками, а злодеи догоняют. Я бы *ни за что* не пустила туда своего сына. Галерея расположена при гостиной, с двух сторон, на высоте в четыре фута, по типу шале. Она могла бы быть прекрасным уголком, откуда созерцаешь дикую природу, не покидая надежного приюта: так смотрят на снегопад сидя у очага, или на дождь из-под навеса. Там хорошо пить коктейли, но было бы еще лучше, если бы все оказалось как следует прилаженным, чтобы возникало чувство полной безопасности, которое подкрепляет удовольствие. А тут, как будто смотришь со скалы в пропасть. Отец, словно видя галерею моими глазами и изрядно на меня за это злясь, обводил вихляющие перила суровым, недовольным взглядом. С таким же выражением он поднимал руку в доме с низким потолком, демонстрируя, что может его коснуться, или садился в любое такси, кроме своего любимого лондонского или нью-йоркского «с шашечками», где крыша высокая. Он вроде бы стыдился сломанных ступенек, ведущих на галерею, но чинить не чинил[221]. Он просто злился на вас за то, что вы их разглядели и тем самым вызвали к жизни, как падающее в лесу дерево из дзэнской притчи или апельсиновые шкурки, на которые смотрит Тедди.

Мои посещения, даже в детские годы, тем более потом, когда я стала старше, создавали этот эффект свежего взгляда, и, хотя я ни о чем подобном не упоминала, открывали отцу глаза на то, что его дом далек от совершенства. И от идеальной чистоты. Там было подметено и прибрано, но настоящей заботы о доме не ощущалось. Восточные ковры в гостиной, которые он годами скупал на окрестных аукционах, были прекрасны, как и подбор ламп и столиков. Но атмосфера со вкусом обставленного дома, в котором живет сельский джентльмен, мгновенно улетучивалась, стоило взору скользнуть на обшивку стен. Потолок в гостиной был ужасный, узловатый, весь в пятнах, из некрашеных досок — отец винил строителей, которые его уговорили оставить все как есть. Но, что греха таить: он *весьма* прижимист почти во всем, а ведь дом — самая яркая иллюстрация к известному выражению: «ты имеешь то, за что платишь». Паутина оплетает этот

шероховатый потолок, на него садится сажа из камина; за несколько лет он из «холостяцки запущенного» превратился в ужасающе неприглядный. Унитаз в ванной комнате для гостей, которой пользовались мы с братом, порыжел и покрылся пятнами за год или два — вода там жесткая, поступает в водопровод из артезианского колодца и, в отличие от воды в Красном доме, сильно воняет серой; сантехнику же никто регулярно не чистит. Для нас всегда вывешивались чистые полотенца, но как-то не хотелось класть на раковину зубную щетку. Не облекая это в слова, я знала, что если сама все вычищу, отцу будет неловко, он оскорбится: получится так, будто я уличила его в неряшливости. Он так ненавидел все убогое и грязное, что прозрение было бы немыслимо жестоким.

Одно время отец приглашал уборщицу, но эта женщина своими разговорами просто сводила его с ума. Будь она неприветливой или злобной, отец нагрубил бы ей и удалился к себе в кабинет безо всякого зазрения совести. Проблема была в том, что он видел, какая это добрая душа, а потому корил себя за то, что не может вынести ее болтовни. В конце концов, подобный контакт с человеческим родом сделался для него чрезмерным, и он эту женщину тихо спровадил.

Следом за гостиной начиналась обширная кухня и параллельно ей — узкая, длинная ванная; дальше — наша с братом комната. Нам она, конечно, не принадлежала, но так ее называли. Нам разрешили выбрать цвет для стен, дверей и прочего. Мы, дети, выбрали наши любимые цвета, яркие, вроде карандашей «Крайола»: аквамарин (акуамарин по нью-гемпширски) и фуксин. Пришлось довольствоваться нежно-розовым вместо яркого фуксина, и отделка была ярко-зеленая, не аквамариновая, но это не слишком отличалось от нашего замысла, мы были не слишком разочарованы. В шкафу висели папины выходные костюмы и куртки, а на верхней полке лежали шляпы и какие-то пакеты, в которые мы никогда не заглядывали. В шкафу находилось место и для нашей одежды, когда мы наезжали. Помнится, пара ящиков в «нашем» комоде тоже бывала свободна. Но в основном наши вещи просто лежали в чемоданах под двуспальными кроватями.

Не знаю, почему отцовские костюмы не помещались в его собственном шкафу, у него в спальне. Более тридцати лет посещая этот дом, я никогда не видела его шкаф или его ванную. Его спальня, ванная и кабинет расположены по другую сторону кухни. Дверь в ту часть дома всегда закрыта. Отец приглашал меня туда два или три раза за всю мою жизнь, когда хотел показать что-нибудь в своем кабинете. Один раз это были новые

книжные полки, которые он расхваливал. Другой раз отец показывал мне новую систему классификации, которую он придумал для материалов, хранившихся в одном из сейфов. Красная пометка означала — если он умрет, не закончив работу, публиковать «как есть»; синяя — публиковать, но сначала отредактировать, и так далее.

Несколько больших, от пола до потолка, сейфов стояли в комнате, которая служила ему и кабинетом, и спальней, пока он не оборудовал пристройку в виде буквы L. Ту комнату я помню смутно, хотя точно знаю, что одно время отец там спал: он показывал мне кровать, которую приспособил так, чтобы ноги были выше головы, согласно какому-то из правил йоги. Кровать должна быть ориентирована на север, это наиболее благоприятно по теории электромагнитных волн. На сейфах в старой спальне-кабинете громоздились коробки с кинопленками, собранными до наступления эры видео. По верхнему краю панели, там, куда обычно вешают картины, тянулись сплошной чередой мои рисунки из Зеленого дома.

Собаки, Джой и Найс-догги, залаяли, как сумасшедшие, приветствуя нас. Джоя, таксу, мы взяли после того, как Малинка, большая белая лайка, стала пожирать соседских свиней. Вроде бы она даже не трудилась их убивать, просто отгрызала куски. Мне было тогда лет семь. Мать рассказала, что творит Малинка: приходится, дескать, отдать ее на Аляску, в собачью упряжку. Когда мне было пятнадцать, мой приятель Дэн, который очень полюбил Найс-догги, стал меня как-то расспрашивать, были ли у нас собаки, когда я росла. Я ему рассказала о Малинке и о том, как пришлось отдать ее на Аляску, в собачью упряжку. Он молча посмотрел на меня, поднял брови и переспросил: «На Аляску, Пегги? Хо-хо!» Тут я вспомнила, как слышала в Виндзоре, в буфете, что кто-то застрелил белого волка, но в свое время не догадалась, что это был за волк. Забавно, как некоторые вещи замыкаются в памяти, как в футляре. И к лучшему.

После большой белой Малинки родители купили Джоя, щенка таксы; песику где-то случайно прищемили дверью хвост, который теперь крутился, как пропеллер, когда Джой кого-нибудь приветствовал. Глядя на глупых городских такс в попонках и баретках, вы бы никогда не подумали, что эта порода выведена для охоты на барсуков. У настоящего барсука, не у милой зверушки из детских сказок, имеется полный набор острых зубов и соответствующий нрав: вряд ли вам так уж захотелось бы тащить его из норы. Для этого как раз предназначены таксы. Джой оказался на редкость азартным и кровожадным охотником, Малинке до него было далеко — думаю, она просто ленилась

приходить домой к ленчу, поэтому и кусочничала. А Джой жил охотой. Но предпочитал лесных зверей домашним, поэтому его не пришлось отправлять в Австрию, к охотникам за барсуками. Он исчезал на несколько дней, и его заливистый лай доносился из самой чащи леса. Он был немного не в себе, или чуточку глуп, или то и другое вместе — так или иначе, он преследовал добычу неистово, без оглядки; не счесть, сколько раз он являлся домой с мордой, утыканной иглами дикобраза, и родители должны были выдергивать их по одной, пинцетом. А сколько раз купали его в томатном соке, когда скунс выпускал на него струю, — тоже не счесть.

Еще у Джоя была аллергия на пчел. Когда его жалила пчела, он бился в конвульсиях, холодел, и приходилось везти его к ветеринару делать уколы. Папа пытался применять гомеопатию, но безуспешно. Пес прожил около пятнадцати лет, папа случайно задавил его трактором, когда косил сено на лугу. Это было в некотором роде благом. Он никогда не был «милым песиком» — мы с братом, зачарованные, объятые ужасом, смотрели, как он вылизывает свою «красную штучку», — а в старости пес стал страдать артритом и задыхаться; большей частью он спал на своем коврике, подергиваясь и рыча, убегая во сне от своей неминуемой судьбы.

Найс-догги был королем среди собак. Рыжая дворняга с чудесными карими глазами, он походил на упитанную лисицу. Однажды он просто появился на галерее отцовского дома и не пожелал уходить. Найс-догги выбрал отца в хозяева, и все дела. Несколько дней отец держался, а потом взял его в дом. Он назвал пса Найс-догги: вот, говорил отец, подойдет какой-нибудь малыш, погладит и скажет: «хорошая собачка», а тут я ему: «Так его и зовут, а ты откуда знаешь?»

Отец изумительно высвистывал собак. Он вставлял в рот два пальца, указательный и безымянный, и собаки сбегались со всей округи, за много миль. Сколько раз я пыталась научиться так свистеть, но от натуги только кружилась голова. У брата тоже не получалось. Думаю, легче научиться играть на гобое. Вся наша семья считает соревнования шотландских овчарок, где используется богатый и полный оттенков язык свиста и жестов, одним из самых впечатляющих зрелищ на планете. Особенно отец.

Найс-догги всегда мне радовался. Он был такой умный, что вы видели: он радуется искренне. Джой был рад любому, кто его кормил. После четырех месяцев в Кросс-маунтэт я себя чувствовала примерно как Джой. Еда. Я стояла перед

холодильником и не знала, с чего начать: нора, полная барсуков. Однако и в отцовском доме приходилось таскать еду исподтишка. Ему было не жалко, его просто бесило, что у него в кухне кто-то шарит. Я не то и не так клала в его кастрюли, ставила их не туда или складывала тарелки в мойку не так, как он это делал. Он ворчал, что на кухне кавардак, и что опять надо мыть посуду, но терпеть не мог, когда ты это делал сам. Он позволял мне чего-нибудь время от времени хватать, но было видно, что это ему — нож острый в сердце. Он невольно вздрагивал, стоило мне до чего-то дотронуться. Посуда у него была большей частью дешевая, от Сирса, — все равно. Он вечно где-то откапывал странные, невиданные бокалы, которыми ужасно гордился. В тот год бокалы были в форме песочных часов, похожие на миниатюрные капельные кофеварки. Лед скапливался посередине, у перемычки, а потом внезапно проскальзывал через узкое место и кидался тебе в зубы или в нос. Боже, как я была рада, когда последний из этих бокалов разбился. Множество вещей, которые мне тогда казались странными, попросту на двадцать лет опережали время, как и интерес отца к альтернативной медицине. Китайские чашки для риса, палочки, тамари, кунжутные зерна, пароварки — теперь непременные атрибуты кухонь в городских семьях среднего достатка. Но такие бокалы пока не привились, слава богу.

Это — кухня, где орудует рослый мужчина. Полки прибиты высоко, и такие часто используемые продукты, как крупы и рис, стоят на самом верху, там, где люди обычного роста держат разрозненные детали кухонных комбайнов и всякие приправы. А еще там стоят большие стеклянные банки из-под меда, полные имбирного печенья, леденцов и прочих сластей, куда отец порой воровато и жадно засовывает руку. «Яд», — твердит он. А выглядят лакомства превосходно. Оба холодильника, и наверху, и внизу, битком набиты, как это водится у тех, кто пережил Депрессию и карточную систему: любишь что-нибудь — покупай несколько дюжин про запас. Впрок заготовлены недавно открытое им замороженное тесто Сары Ли, овощи последнего урожая, липкие булочки из хановерского кооперативного магазина, брикеты мороженой конины для собак (понятия не имею, почему собаки должны есть конину).

Отец ненавидит готовить, жалуется, ворчит; к нему лучше не подходить, когда он стряпает. Однако он не ищет простых путей. У него получаются вкусные супы из всякой всячины: овощей, бобов, риса. Он все время ищет хорошие рецепты и если находит какой-нибудь по своему вкусу, то посылает его тем, кого считает достойным такого замечательного супа. Список все время

сокращается.

Завтрак у него в доме всегда замечательный. У отца получается великолепная яичница, не склизкая и не пережаренная; он подает тосты с маслом, зеленый (отварной) горошек, а иногда — лесные травы, которые собирает во время своих прогулок, или грибы, тушенные в сливочном масле. Он давит апельсины ручной соковыжималкой и добавляет немного свежего лайма. Пальчики оближешь. Думаю, я даже в тогдашнем неблагодарном возрасте так ценила отцовскую кухню из-за того, что она являлась полной противоположностью готовке матери. Завтраки ее пришли прямиком из английской детской: жидкий, водянистый омлет, который мы называли «слюнявые яйца», или «тосты с соплями», и хлопья «Спешиал Кей», сухие и невкусные, ничего специального в себе не имеющие.

В доме у матери мы непременно завтракали за столом; из коробок с кукурузными хлопьями выстраивалась ограда в фут высотой, своего рода нейтральная полоса между братом и мной, некая демилитаризованная зона: мы меньше ссорились, когда не видели друг друга. Мать мрачно жевала под наши дрязги, следя при этом, чтобы мы съедали хотя бы половину того, что нам положено на тарелки. У отца мы ели за столом, только когда брат был совсем маленьким, а потом ставили еду на подносы и располагались у телевизора. Это было здорово в отрочестве и в юности, но чем старше я становилась, тем больше утомлял меня телевизор — особенно когда отец стал хуже слышать и включал звук все громче и громче.

На другое утро, с неизменностью молитвы правоверных, начинались замечания, намекавшие на то, что отец уже достаточно насладился моим присутствием. Это повторялось каждый раз, все эти годы, стоило остаться у него ночевать. Сперва он ходил взад-вперед, мерил шагами гостиную, словно зверь в клетке. Затем следовало умозаключение общего характера, адресованное стенам, а не кому-то из присутствующих, разумеется: «Совсем не могу работать, когда рядом кто-то толчется».

Он нас усаживал перед телевизором, а сам уходил в кабинет, выкраивая несколько часов для работы, но было понятно, что ему удавалось лишь оформить счета да написать несколько неотложных писем. И потом, его все сильней раздражал мой «постоянный фрессинг»[222]. Зимой у него в доме было нечего делать — только есть да смотреть фильмы или телевизор. Читать, и то можно было только украдкой: Бог да поможет тебе, если ты читаешь книгу, которую он не относит к хорошим. Звонить друзьям по телефону было не так-то просто: отец по этому поводу

писал кипятком, а аппарат стоял в общей комнате.

Трудно расслабиться, когда ты чувствуешь, что кого-то раздражаешь, что сам факт твоего существования бесит, как бы ты себя ни вела. На следующий день, через сорок восемь часов после моего приезда, мы с братом отправились к матери в Норвич, где я провела остаток каникул.

По дороге в школу мама встретила семью Фарли. Трое их детей учились в Кросс-маунтэт. Мы съехали на обочину и договорились, что дальше я поеду с ними. Очень разумное решение, но невыносимое для меня. Я хотела заплакать, закричать — а голос пропал. Мне снова было четыре года, я запуталась в простынях, слезы тихо текли по щекам, и все светлячки умерли или впали в спячку.

23
Середина зимы

В зиму, в зиму самую
Ветер выл да выл,
Леденели реки,
Мир как камень был.
Снег да снег валился,
Снег да снег,
В зиму, в зиму самую
В позапрошлый век[223].

Неизвестный автор

Однажды, мрачным январским днем Кит заметила упущение в «выковывании» моего характера. Я до сих пор еще ни разу не «вызвалась» участвовать в походе с ночевкой[224], не использовала на благо себе открывающуюся возможность. Она мне поставила на вид что если я не приму участие в ближайшем походе, то не выйду из школы. Поход случился трехдневный, лыжный, на гору Марси, самый высокий пик Адирондакских гор; мы шли в обычных жестких, тяжелых, модели 1969 года, лыжных ботинках, на обычных тяжелых, не предназначенных для гор лыжах, к которым, чтобы уменьшить скольжение, привязывалась тюленья шкура: завязки, конечно, рвались и соскальзывали через каждые полчаса, и нужно было поправлять их голыми пальцами — работа, от которой часовщик потерял бы терпение.

Меня терзал сильный страх, потому что, достигая определенной высоты, я перестаю дышать. Я это обнаружила в лагере в Биллингсе и лишний раз в этом убедилась в лыжном лагере на леднике, летом перед отъездом в Кросс-маунтэн. Из фургона нас высадили на дорогу, где начиналась лыжня. Мы, несгибаемые, находчивые, неунывающие, пустились в путь на тяжелых, для ровной дороги, лыжах (не на легких, для пересеченной местности), таща рюкзаки с едой, одеждой и спальными мешками. Восемь ребят и один, прописью: *один* учитель. «Если ты ловил кого-то вечером во ржи…» Не надо быть семи пядей во лбу, чтобы понять: пути к отступлению отрезаны. Если кто-то сломает ногу, учитель будет целый день нести этого ребенка на себе к дороге, а прочих оставит на произвол судьбы. У нас не было радиопередатчика, и за все три дня мы никого не встретили. Полная безответственность, идиотизм, безумие.

Вот мой «забавный рассказ» об обидах и несчастьях, приключившихся во время обязательного похода, который, как говорил Симор относительно сбора земляники в грязи, ни тридцатилетний мужчина, ни шестидесятилетняя старуха не имели права навязывать детям.

Вначале лыжня была сносная, довольно-таки ровная. Мы шли все утро. К ленчу я сильно устала, но еще не валилась с ног. Во второй половине дня лыжня пошла в гору, а к вечеру мы достигли укрытия, где должны были провести первую ночь. Наш лагерь представлял собой открытый односкатный навес, треугольник, к которому забыли приделать третью сторону. Считается, что на свежем воздухе любая еда кажется вкусной, но наша была явно не от Эдд, и Бауэра. У нас были сухие, промерзшие супчики и каши: сваренные, они превратились в помои, которые застревали в горле. Мы поели быстро, почти в полном молчании: слишком вымотались, чтобы шутить. Я стащила с себя промокшие джинсы, залезла в спальный мешок: мы улеглись все в ряд, впритык, как горошины в стручке. Повезло мне в одном: я оказалась рядом с мальчиком, к которому была неравнодушна. Несколько секунд перед тем, как провалиться в сон, я радовалась, что он рядом.

Наутро я поняла, как глупо было снимать отсыревшие джинсы. Они совершенно замерзли. Небо было зловеще серым, падал легкий снежок. Мы позавтракали и отправились в путь, оставив спальные мешки и захватив с собой только продукты. Лыжня теперь поднималась круто, и я шла по бесчисленным «елочкам», оставленным ребятами, которые меня опередили. Единственное, острое ощущение: кровь в висках пульсирует так, что заглушает все звуки. Через несколько часов я заметила, как перепугался учитель, взглянув на меня. Я спросила, что стряслось, и он ответил, что мое лицо из ярко-алого внезапно стало пепельно-серым. Он взял у меня рюкзак, но ничего другого не оставалось, как только продолжать путь. Я не отлынивала, не притворялась — он это сразу понял; было ясно, что я стараюсь изо всех сил, но сил у меня не хватает. Это-то и было опасно. Думаю, тут до него дошло, в каком диком положении все мы находимся.

Не он заварил эту кашу. Думаю, ему нравилось водить в походы ребят, которые шли охотно и были способны все преодолеть, но совсем другое дело — уговаривать девочку, которую, как он прекрасно знал, идти заставили. Он, подобно многим учителям, прибившимся к Кросс-маунтэт, был в своем роде неудачником. Выглядел он необычно: уши торчком, весь какой-то нескладный. Я так и не узнала, отчего у него так перекошено лицо: попал ли он в ужасную аварию или таким

родился. Пол был бы безобразен, если бы не его невероятная доброта. Кротость нрава смягчала черты, придавала лицу причудливое, немного комичное выражение.

Я постигла жестокий закон форсированных маршей: тот, кто больше всех нуждается в отдыхе, приходит последним. Всякий раз, когда мы с учителем нагоняли других ребят, они уже пятнадцать-двадцать минут нас дожидались. Мне оставалось пять минут, чтобы отдышаться, и нужно было двигаться дальше. Я была помехой, тормозом; никто на свете не терпел еще такого провала. Ребята разрумянились на морозе, а мне это казалось диким. И учителю, и мне самой было ясно, что я вот-вот свалюсь. Я стала пепельно-серой, все во мне пересохло, не было ни пота, ни слез; мысли путались. Карабкаясь в гору, я слышала свои стоны. Плакать не хватало сил. Другим ребятам все нипочем. А я подыхаю. Слабачка, слабачка, слабачка. Речи Кит отдавались в ушах. Наверное, я малодушная. У меня нет силы духа, я не из того теста. Неудачница.

Под вечер мы подошли к роще. Ребята, пока ждали нас, решили перекусить. Я почти не могла дышать. Громко, по-собачьи подвывая, я хватала ртом воздух; мне было стыдно, что ребята это слышат, но что тут поделаешь. Пол показал мне гору: с того места уже можно было разглядеть вершину. Ничего *страшнее* нельзя было придумать. Я не умею рассчитывать расстояние — оставался какой-то час пути, но мне показалось, что предстоит пройти столько же, сколько мы уже преодолели, а об этом и речи не могло быть, я знала, что живой не доберусь до вершины. Я взглянула на снег и голые скалы, на поросший мелким кустарником склон — и упала лицом в сугроб, чтобы умереть.

Душа стала отделяться от тела. Я тогда не знала, что у меня стойкая вегетативная реакция, вызывающая мгновенное, опасное для жизни обезвоживание. Сейчас, в сорок лет, после получасового стресса или рвоты у меня наступает полный упадок сил: меня кладут в больницу на день-другой, пополняют содержание жидкости в организме и приводят его в стабильное состояние. В тринадцать лет я думала, что это какая-то постыдная слабость. Но с того времени и до сих пор мне ясно без тени сомнения, что мальчик по имени Чарльз Ромни спас мне жизнь.

По сей день я думаю, что это был ангел, которому мы «не зная, оказали гостеприимство»[225]. Я не была с ним близко знакома, с ним вообще мало общались. Это его ребята дразнили за слегка дергающуюся походку. Лежа ничком в снегу, я думала, что никто ко мне так и не подойдет — раненое животное, больной человек вызывают невольное отвращение. Чарльз отделился от группы — я не видела, как, я вообще мало что сознавала — и сел

рядом со мной в снегу. Он произнес: «Я только хотел сказать тебе: ты — молодец».

Эти слова прозвучали как всплеск весла посреди бескрайней морской пучины — они воскресили меня. Я немного повернулась в сугробе и глянула на него одним глазом. «Как это?»

Чарльз сказал: «Я знаю, Кит заставила тебя идти, и думаю, что ты — молодец. Вот и все». Больше мы ничего друг другу не сказали. Он принес мне воды, и я не спеша напилась. Съела кусок хлеба, первый за этот день, потом еще один. Причастие. Я ни разу не мочилась до тех пор, пока мы не вернулись в школу, через полные сутки. Что мне не хочется писать, я отметила, когда мы добрались до навеса, и еще подумала — как хорошо, что не нужно подставлять задницу резкому, холодному ветру.

Погрузив лицо в ледяную воду протекавшей мимо лагеря речки, я почувствовала острую, будто от пореза, боль, и поняла, что еще жива, что отдалилась от унылого места за пределами страдания, от медленного, засасывающего водоворота, где тебя подстерегает смерть, сочится не спеша, по капле, как та густая, темная слизь, которая наконец изверглась из меня вместе с мочой.

23
«Весна в раю»: продюсеры

Большая чистка началась весной. Мою подругу Джэ-ми и моего парня Дугала исключили; лучшему другу Дугала Брайону и мне назначили испытательный срок до конца года. Весь сыр-бор разгорелся из-за пачки сигарет, но, честное слово, подробностей я не помню. Их заслонил собой кошмар последствий. Речь точно шла о какой-то глупости, уж конечно, не злой и не угрожавшей ничьей жизни. Разумеется, мы не угощали сигаретами малышей, я ничего подобного никогда бы не совершила, как, впрочем, и не отправила бы восьмерых ребят в горы в середине зимы, в сопровождении только одного взрослого.

Пересказывая эту историю, понимаю, что подаю дурной пример: я так и не простила себе того предательства, пойти на которое меня заставили, хотя от других и добиваюсь прощения. Довод «меня принудили» хромает. Никто не держал пистолет у моего виска. Я нарушила один из самых священных моих принципов — верность друзьям. Я никого не оговорила — для этого понадобилось бы много, много больше сеансов с Кит. Но после того как я написала чудовищно нелепое, постыдное письмо матери, в котором призналась, что я — сексуальная извращенка, лесбиянка и к тому же душевнобольная, страдающая паранойей, воображающая, будто все вокруг настроены против нее, Кит предъявила мне еще одно, последнее требование. (Мне бы теперь в руки метлу злой ведьмы с Запада.) Если я хочу доучиться до выпуска и выбраться к черту из этой школы, я должна написать моей подруге Джэми, которую только что исключили, вернее, переписать письмо, составленное Кит, и признать, как мы все были неправы, какие мы гадкие твари и тому подобное. Либо пиши письмо и учись до выпуска, либо пеняй на себя.

Я в одиночестве поднялась на холм, чтобы как следует все обдумать. Я спросила себя — смогу ли я выдержать еще год в этой школе? А если убегу, то куда подамся? Я рассудила так: Джэми знает Кит и не поверит ни единому слову из моего письма. Ей известно, что мне никогда не придет в голову такая мерзость. И я решила переписать письмо Кит и отправить его. Так я и сделала. Опекунша Джэми, которая оказывала школе большую поддержку, написала мне *по-настоящему* скверный ответ, который я получила уже дома, в Корнише, тем летом. Она писала, вполне справедливо, что друзья должны были поддержать Джэми в такую минуту, а не стыдить ее: мне самой должно быть стыдно

за такое письмо. Мне было стыдно. До мозга костей. «Под развесистым каштаном продали средь бела дня — я тебя, а ты меня»[226], как говорится в «1984» Оруэлла. Пусть будет плохо ей, не мне, ей.

Понятия не имею, почему я не собралась с силами и не написала опекунше, как все было на самом деле. Но я этого не сделала, и горько сожалею. Правда, Кит наверняка отперлась бы от всего. Переписывая это письмо, ставя под ним свою подпись, я себя чувствовала куском дерьма. Я в самом деле думала, что Джэми не станет из-за него переживать, но, конечно же, была уверена, что Кит и ей успела внушить, что она тоже никуда не годный кусок дерьма. Многие годы Джэми была полноправным членом Клуба проблемных детей и так долго пользовалась «помощью» Кит, что была абсолютно убеждена — она и сиротой-то осталась исключительно потому, что никому, кроме, разумеется, самой Кит, не нужен такой дефективный ребенок. Как может она мечтать хоть когда-нибудь сбросить весь этот жир и стать привлекательной, если упорно продолжает проносить в школу сласти — такое впечатление, будто именно подпольная шоколадка, которую она съедала примерно раз в месяц, и вызывала излишек веса фунтов в пятнадцать, вполне естественный для двенадцатилетней девочки. То напрямик, то намеками Джэми давалось понять, что опекунша доверила ее Кит, чтобы та сделала из негодной девчонки молодую леди. Все от нее давно отступились, и первый долг Кит — помочь.

Вот так и происходило глубокое «размораживание» мозга: мы, школа — последняя остановка перед полной заброшенностью и небрежением. Я была убеждена, что либо Кросс-маунтин-скулл, либо улица — третьего не дано. Мне и в голову не приходило, что могут быть еще варианты. Их не было, ни одного. Не требовались проливы, кишащие акулами, чтобы отрезать от мира этот Алькатрас. Мы, «проблемные дети», были убеждены, что идти нам некуда, хуже того: что мы никому не нужны.

Один мальчик, только один, прорвался сквозь эту великую ложь. То был семиклассник, стипендиат из Гарлема. Где-то через месяц после начала занятий он выяснил расписание автобусов, ночью улизнул из спального корпуса, прошел семь миль до автобусной остановки под покровом темноты и проехал полпути до Гарлема, пока его хватились. На нашей памяти он был единственным, кто сбежал из этой школы. Ручаюсь, что его мама и не подумала отправить сына обратно к сумасшедшим белым. Скрючившись в камине библиотеки, мы ликовали и ликовали.

Старшие, как называли нас, восьмиклассников, должны были

выбрать, где учиться в будущем году. У некоторых выбора не было: в их семьях дети из поколения в поколение учились в одних и тех же школах. А большинство решало этот вопрос в библиотечное время, роясь в толстом справочнике по независимым средним школам. Камилла, души не чаявшая в лошадях, выбрала школу, в которой даже не трудились показывать учебные корпуса — вели прямо в ухоженные конюшни; называлась она Фокси-крофт или что-то в этом роде. Надеюсь, Камилла не разочаровалась. Пятеро из нас, включая Холли, выбрали Кембриджскую школу в Уэстоне на основании одной ее замечательной особенности: из всех совместных закрытых школ эта располагалась ближе всего к большому городу. В справочнике указывалось, что ученики могут сесть на электричку и поехать в Бостон на выходные дни, чтобы с пользой провести время, знакомясь с богатыми культурными традициями этого города. Чудо! Кофе, прогулки, общественный транспорт, свобода.

На выпускной акт все девочки надели новые белые платья. Мы с мамой нашли в Хановере очень красивое, с кружевными вставками на рукавах в виде цветков. Мы с Джейсоном, который тоже собирался осенью пойти в Кембриджскую школу, исполнили концерт для скрипки и фортепьяно. Я играла Робеспьера в школьном спектакле. Приехали и отец, и мать. Домой я возвращалась в машине отца. Брат ехал с мамой.

Херберт и Кит вышли на пенсию через несколько лет после нашего выпуска. Их уже не было к тому времени, как в Кросс-маунтэт поступил мой брат. Он полюбил школу. Может быть, он полюбил бы ее, даже если бы эти двое оставались на своем посту, — кто знает? В Малибу, где он живет, Мэтью даже основал фонд помощи школе — и постоянно входит в совет директоров. Пролистав альбомы выпускников, можно убедиться, что очень многие считают годы, проведенные в Кросс-маунтэт, лучшими в своей жизни. И тут нет никакого противоречия: каждое место может быть и небесами, и адом — в зависимости от компании. Одно я пыталась внушить брату: в любом учреждении с тотальным контролем над средой обитания — в закрытой школе, в тюрьме, в психиатрической лечебнице, в семье, в армии — нужны более весомые гарантии того, что крайне уязвимые обитатели этих мест будут подвергаться соответствующему обращению со стороны тех, от кого зависит их благополучие.

Таких гарантий никто не давал моим друзьям. Выйдя из Кросс-маунтэт и поступив в Кембриджскую школу, я продолжала поддерживать отношения с восемью одноклассниками из

примерно двадцати. К концу девятого класса, через год после выхода из Кросс-маунтэт, Джейсон, которому посчастливилось провести в этой школе четыре года, — тот самый, с которым мы вместе играли Вивальди, — попал в психиатрическую клинику: уже и я замечала, что ему нужно считать все на свете, все окружающие его предметы, иначе вселенная рассыплется на куски. Дугал попал в психиатрическую клинику и позже покончил с собой; Джейми попала в психиатрическую клинику; Чарльз, мальчик, который спас мне жизнь, попал в психиатрическую клинику на следующий год и теперь уже умер; Холли напивалась до ступора, до бесчувствия; Брайон умер, как рассказал мне Дугал, от передозировки героина; что до меня, то и я после выхода из этой школы не могла ф-у-н-к-ц-и-о-н-и-р-о-в-а-т-ь нормально. Когда я, наконец, перепугалась до того, что стала в шестнадцать лет искать помощи психиатров, мое состояние определили как «пограничное» — что может точнее описать молодую девушку на самом краю скалы, над пропастью?

Domine Jesu Christe, Rexgloriae, libera animas omnium fidelium de poenis inferni et de profundo lacu: libera eas de ore leonis, ne absorbeat eas tartarus, ne cadant in obscurum: sed signifer sanctus Michael repraesentet eas in lucem sanctam. Quam olim Abrahae promisisti et semini ejus [227].

Или вот вам поминальный каддиш, который заканчивается так:

O' seh shalom beem-romav, hoo ya'ah-seh shalom aleynu v'al kol Yisrael, ve'imru amen. (Пусть Тот, кто творит мир на небесах, дарует мир всем нам и всему Израилю. Аминь.)

25
Вудсток

Здесь по обоим берегам
Поля и рощи тут и там
И оглашает птичий там
Тропу, которой путь не прям…
Весь в башнях Камелот.

Лайза, моя подруга по лыжному лагерю, позвонила и сообщила великую новость: неподалеку от ее дома, на Ясгурс-фарм, состоится музыкальный фестиваль. Смогу ли я приехать? Боженька правый… Возникла только одна проблема: когда я рассказала о фестивале отцу, тот счел, что это может быть забавно, и решил поехать тоже. Ладно, забудьте на минутку, что создатель Холдена, по вашему мнению, — самый крутой парень в мире. Представьте себе, что ваш папа хочет развлекаться вместе с вами. Ой, девочки! К концу недели он убедился, что слишком много работы скопилось на письменном столе и у него не получится сделать перерыв и поехать с нами. Ах, папа, честное слово, жаль. Я позвонила Лайзе и сообщила ей «дурные» вести: МЫ СПАСЕНЫ!

К ним домой я приехала с небольшой сумкой, где лежала моя неизменная форма одежды на ближайшие три года: джинсы и широкие отцовские рубашки, которые я носила навыпуск. За несколько дней до фестиваля мы с Лайзой узнали, что наши планы нарушены: ее родители и не думали разрешать нам оставаться на ночь в Вудстоке, несмотря на мои вопли: «Но мой папа мне бы это позволил!». Миссис Р. знала окольный путь к ферме и каждое утро отвозила нас до места, откуда оставалось около мили до концертной площадки, и каждый вечер забирала нас с того же самого условленного места. Мы с Лайзой ныряли в благостную толпу и исчезали там. «Мы — звездная пыль, мы — золотые; мы непременно вернемся в тот сад».

Пусть это покажется невероятным, но Вудсток на самом деле был недолгим отблеском рая на земле. Мне сейчас трудно об этом писать, потому что многие вещи, которые хочется назвать прекрасными, в другом контексте меня покоробили бы — например, всеобщее братство, общая еда, объятия с первым встречным; само слово «общий» ассоциируется с сектой и включает сигнал тревоги. А тогда все было так, будто природа

объявила трехдневное перемирие между хищниками и жертвами. Ни до, ни после я не могла до такой степени «расслабиться» и быть самой собой на людях. Границы раздвинулись, потому что исчезли хищные твари, преступавшие их. Я не имею в виду те треннинги и семинары, где людей принуждают к «открытости», велят «делиться»: это как в школе — если ты передаешь записку и тебя застукали, учитель требует, чтобы ты вышел к доске и *поделился* ее содержанием со всем классом. В Вудстоке, на недолгие мгновения, никто никого не принуждал быть конформистом или нонконформистом. Хочешь раздеться догола и пойти поплавать — круто; стесняешься — купайся в белье или вовсе одетым: все равно. Можно было улыбнуться незнакомцу и не думать при этом — ах, дьявол, теперь от него вовек не отвяжешься. Здесь главными были принципы: «живи и давай жить другим», «делай, что тебе нравится, но не наступай на ноги соседу», и я чувствовала себя в полном праве сказать «нет». Ты могла просто прервать разговор, сказав: «Ну ладно, хватит болтать, пройду прогуляюсь» — и собеседник отвечал: «Круто», желал тебе всех благ и отправлялся восвояси. Помню объявления, которые передавались по местному радиовещанию: «Эй, мы прослышали, что ходит тут по рукам некий коричневый порошочек не лучшего качества. Он не ядовитый, так что вы не улетите навсегда: он просто не очень чистый, и вы, возможно, не захотите иметь с ним дела. То есть, это, конечно же, ваш улет, так что делайте, что хотите, только возьмите половину того, к чему вы привыкли… Джо Григгс, пройди в палатку скорой помощи слева от громкоговорителей: твоя старуха рожает… Шэрон Шварц, позвони отцу».

«Делай, что хочешь» обычно означает, что какой-то придурок курит вонючую сигару с подветренной стороны или писает по течению — но там такого не было. В Вудстоке все были невероятно обходительны. Изумленные обитатели окрестных городков повторяли на все лады: эти длинноволосые, какие они обходительные. Начальник полиции даже сказал — не судите, мол, по внешнему виду, это одна только оболочка: на самом деле я никогда не видел более добропорядочных американских граждан. Другой старикан в документальном фильме «Вудсток» говорит: «Вы можете себе представить, что бы было, если бы собралось пять сотен нас, взрослых, да еще с выпивкой? Был бы кошмар — а здесь пять тысяч этих ребят, и ни одной драки, ни одного несчастного случая».

Для меня так и остается загадкой, почему иногда выход из-под власти обычных законов развязывает буйные инстинкты толпы, создает настоящий ад, где грабят, насилуют и убивают, а

иногда превращает землю в зеленый луг, где агнец лежит рядом со львом, а у скорпиона нет жала. Порой мне определенно нужна частичка Вудстока, чтобы вынести вечерние новости. Нужна память о нежном яблоневом цвете, пчелах и танцах во ржи.

Средняя школа началась как продолжение Вудстока, только этого ненадолго хватило. Мать рассказывала о чаепитиях для новичков и вечеринках, в которых участвовали девочки и мальчики, — в начале учебного года у нас было то же самое, только образца 1960-х годов. Мы собирались большой компанией, кто-то приносил вино, кто-то — сыр или другие закуски, кто-то — жаркое, и мы отправлялись в лес, находили поляну, усыпанную сосновыми иголками, садились в кружок и передавали друг другу еду и питье. Это были вечерние вылазки на природу, час веселья и смеха, а не балдежа — балдеж оставлялся на ночь.

Как выяснилось через много лет, я была единственной, кто не курил травку. Папа говорил, что марихуана как-то повреждает кундалини, проход для духовной энергии через позвоночник; путь, который открывается естественным образом через медитацию и насильственно, противоестественным образом вскрывается с помощью наркотиков. Однажды, когда нам рке было за тридцать, брат сказал, что в средней школе тоже избегал наркотиков — и тоже из-за разговоров с отцом. Как раз такие вещи и действуют на подростка. Не дурацкая болтовня о «траве-убийце» («Марльборо» я курила с восьми лет, с тех пор, как обнаружила, что, разменяв доллар, можно легко получить пачку из автомата на лыжной базе), но утверждение, что наркотик — препятствие на пути к просветлению. Это на меня подействовало. И все-таки было здорово сидеть вместе со всеми и передавать по кругу косячок. Волшебство, исполненное дружбы и смеха, сотканное из запаха хвои, тлеющей конопли и пачулей, — я покинула, наконец, крохотную бальную залу для фей, огороженную стеной из сосновых иголок.

Умозрительные предостережения отца были не единственной причиной того, что я избегала многих опасных вещей: я унаследовала от него, к добру или к худу, шестое чувство солдата, указывающее на непосредственную опасность, а также глобальное недоверие к словам, главное качество контрразведчика, ведущего допрос. А еще, уж не знаю, по какой причине, у меня никогда не возникало свойственного всем подросткам чувства неуязвимости: «с кем угодно, только не со мной». Наоборот, я полагала, что если с неба упадет рояль, именно моя спина окажется помеченной громадным белым крестом. Я этого креста не видела, но знала, что он, если надо,

проступит. Мое отношение к чужим несчастьям варьировалось от «на его месте, если бы не милость Божья, была бы я» до «в следующий раз настанет мой черед».

Через несколько дней после начала занятий в девятом классе один мой друг принял таблетку кислоты (ЛСД), думая, что это простая доза, а там оказалось по меньшей мере дозы три. Он не отрываясь смотрел на солнце и навсегда испортил себе зрение — не ослеп, правда: я слышала, он потом стал юристом — но у него перед глазами вечно мелькали точечки. После больницы его заперли в Маклинз, в психушку. Я каждую неделю ездила к нему на двух автобусах и на такси. Черт, ну и жуткое местечко. Его поместили в красивое старое здание с большой лестницей — подняться по ней я могла, только получив бейдж, к тому же в сопровождении служителя, который открывал и закрывал двери, пока мы проходили по лабиринту коридоров к тому месту, где держали моего друга. У него была отдельная комната, не хуже, чем в шикарном отеле, но сиделки и санитары надзирали за всем, все держали под контролем, запирали на ключ еду, и воду, и туалет, и свежий воздух. Друг рассказал, что ему устраивали разные каверзы. Он не был дураком и понимал, что цель всего этого — увеличить его сопротивляемость стрессовым ситуациям, и прочая чепуха, но приемчики были грязные. Ему говорили, например, что он может выкуривать столько-то сигарет в день, а потом давали другое количество, меньшее, и утверждали, будто никогда не обещали ничего другого. Штучки эти стары, как мир: я сама такого натерпелась, будучи жертвой психологических «экспериментов» Кит. Я видела, что ему надо отдохнуть и прийти в себя — это уж точно; но видела так же, что он вовсе не сумасшедший и не мог такого напридумывать. Мы набросали план побега, вдвоем, на листе бумаги, на случай, если кто-то нас подслушивает, а говорили при этом о поэзии, делая вид, будто сочиняем стихи, на случай, если кто-то за нами подглядывает. Он должен был со всем соглашаться и вести себя в точности так, как от него требовали, причем неукоснительно, пока ему не позволят свободно передвигаться по территории. Когда ему разрешат ходить без сопровождения, кто-нибудь приедет за ним на машине и отвезет в квартиру, где можно отойти. Он спал, наверное, недели три подряд, на диване, в комнате со спущенными шторами, просыпаясь только чтобы поесть: еду ему готовили ребята, которые жили там, или туда приходили.

Интересно, есть ли у современных подростков места, где они пытаются лучше заботиться друг о друге, чем о них самих когда-либо заботились взрослые. Сказать невозможно, сколько в шестидесятые и в начале семидесятых годов существовало

убежищ, где можно было спокойно отсидеться; сколько хиппи, друзей, просто знакомых и незнакомых вовсе, готовы были тебя принять. Так у нас было заведено. Еда и поддержка предоставлялись без каких-либо условий, не ожидалось ничего взамен; сейчас мне трудно себе такое представить — наш мир был совсем другим. Не раем, конечно — он был полон глубокой, темной депрессии, треволнений, одиночества, пустоты; но встречались ребята, которые по очереди ловили себе подобных над краем пропасти, и от такого их великодушия ты переставала бояться высоты.

Вскоре после того, как мой друг попал в Маклинз, я получила письмо от отца, полное недоумения: он представить себе не мог, как мне живется в школе. От матери он слышал, что я стала привыкать, а это значит, подумал он, что меня все больше радует общество друзей, и он начал задаваться вопросом, чем такое общество может порадовать. Бот здорово — а какой у меня выбор? Поехать погостить у сестер Бронте? Затем следовала длиннющая нотация: важно не то, какой ты с друзьями, это все иллюзия; а вот кто ты наедине с собой, что творится у тебя в уме в моменты одиночества — это действительно важно. Вся эта чушь относительно основного вопроса дзэн — «кем ты был до того, как родился», и каково твое Истинное лицо. На этот счет я вспомнила, как кто-то из друзей рассказывал, что однажды получил скверный приход и видел, как лица людей на его глазах расплываются, стекают с черепов. Он даже хотел вырвать себе глаза, но, слава богу, не сделал этого. Если ты наедине с собой думаешь о таких вещах — или десятый раз на неделе клянешься перед всей вселенной, что будешь есть на обед только творог и листики салата, пока не сгонишь лишние фунты; или что умрешь, если твой парень не вернется к тебе; или что будешь читать важные книги о религии, которые отец порекомендовал тебе по твоей просьбе, после того, как ты написала записку твоему парню и в тысячный раз порвала ее на мелкие клочки, — тогда ты можешь выжить в моменты одиночества. Папа долго распространялся о дзэн и о переводах, один другого хуже, «Бхагаватгиты» — но как негодовать на человека, который нашел время написать тебе письмо на трех страницах через один интервал и закончить его: «Я люблю тебя, дорогая старушка Пугосс» (мое прежнее прозвище).

Нас селили по несколько человек в комнате, не только потому, что таким образом школа получала больше денег, но и затем, чтобы спасти нас от погружения в пресловутые моменты подросткового одиночества. Мы с Холли поселились в одной

комнате после того, как назначенная ей соседка отказалась с ней жить, а назначенные мне «родители» отказались держать меня под своей крышей, обвинив в том, что я украла из их запасов бутылку вина. (Я глупо пошутила: сделала вид, будто стянула бутылку, чтобы подразнить одноклассницу, ханжу и подлизу, которая в том доме присматривала за детьми. Я поставила вино на полку через несколько секунд. Но она на меня наябедничала, и «родители» подумали, что я вернула бутылку только потому, что нянька меня «поймала с поличным».)

Я перебралась в комнату Холли, в другой спальный корпус. Эта комната считалась худшей во всей школе. Она была крошечная, ногу некуда поставить — с подвесной койки мы сползали прямо к столу; потолок такой низкий, что на верхней койке уже не сесть, и его пронизывают голые, незаделанные трубы. Настоящая дыра. Ах, да: туда почти не проникал дневной свет; за нашим домом высился семифутовый забор, отделявший территорию школы от улицы. От забора до нашего окна оставалось не больше фута. Забор поставили потому, что год назад какой-то парень подогнал машину, взобрался на нее и стал подглядывать в окна. Ах! Но неужели никто не замечал стратегических преимуществ? Из этой комнаты так легко было ускользнуть ночью незамеченным; юркнуть между забором и стеной — и вперед, в леса. Следовало бы поехать туда и разведать на месте, дабы не бросить тень на тех, кто занимает эту комнату сейчас. Может быть, нынешние жильцы трудятся за полночь на персональных компьютерах, чтобы поступить потом в хороший колледж. Но я в этом сомневаюсь.

У Холли была проблема, с которой ее первая соседка не смогла справиться. Мне это не составило особого труда. Придешь домой мертвецки пьяная и будешь цепляться — суну под противный холодный душ, пока не протрезвеешь. Просто. То же касательно нытья. Она до сих пор с гордостью рассказывает всем подряд, что я отучила ее от привычки скулить: крепко стукнула и пригрозила, что буду колотить, пока она не прекратит вой. Взрослый не может и не должен поступать так с ребенком, но in loco parentis[228] мы старались, как могли, ради тех, кого любили, — и, черт возьми, были уверены, что никакие родители и не подумают вмешаться.

Отец писал, что ему трудно себе представить, как мне и моим друзьям живется в школе. Но вскоре он увидел нас воочию, во плоти, когда порядочная компания, человек двенадцать, а то и больше, в один из уик-эндов отправилась на автобусе в Нью-Гемпшир: в Дартмуте давали концерты «Слай» и «Фэмили Стоун». Мы переночевали у кого-то в Бельмонте — родителей дома не

было, — а утром сели на автобус до станции Уайт-ривер. Я не могу восстановить дальнейшую логику событий — каким образом мы оказались на полу в отцовской гостиной; может быть, нас поочередно отвезли на двух машинах, маминой и папиной — я просто не помню. Мы приятно проводили время: валялись на ковре, пили соду, что-то ели — отец показал себя хорошим хозяином. Мы ему понравились. И мы не собирались у него долго задерживаться, что его больше всего устраивало. Потом он со мной поделился своими наблюдениями — как это непривычно, хотя и здорово, что мы дружим все вместе, мальчики и девочки. Когда он подрастал, сказал отец, девочки принадлежали к другому биологическому виду. Ему и вправду понравилось, как естественно мы ведем себя друг с другом.

Я немного смутилась, когда привела всех к Красному дому, где прошло мое детство. Я расписывала, какой это красивый дом, но когда мы туда пришли, вдруг увидела в первый раз, какой он на самом деле маленький и скромный. Дело не в социальном статусе — странным было соприкосновение с реальностью. Я себя чувствовала, как просыпающийся Гулливер.

Мы как-то добрались до дома моей матери в Норвиче, где до вечера валялись на полу, но, едва стемнело, опять-таки непонятно как очугились в зале, на своих местах, сжимая в руках билеты на «Слай» и «Фэмили Стоун». «Танцуй под музыку». Такие вещи — не для взрослых, они относятся к удовольствиям иной поры, подростковой, когда хрупкие границы между личностью и миром, только-только становящиеся, рассыпаются под влиянием музыки, ночи, момента. Еще несколько лет — и доступ в этот волшебный мир закроется, как родничок у младенца. Будут другие удовольствия, принадлежащие к другой поре. Эта мимолетная грань, когда прошлое и будущее ускользают, и ты весь живешь в одном мгновении, кажется волшебной, если мгновение радостное, и делает все вокруг невыразимо мрачным, если ты подавлен, печален, несчастен: ты просто не можешь припомнить, когда тебе не было грустно, и не можешь представить себе времени, когда ты опять будешь счастлив. Но в этот уик-энд мы были все вместе; все были друзьями; мы были одно с нашей музыкой, нашим временем, нашим миром.

Завтрак в мамином доме в Норвиче, груды яиц и тостов, ребята выкатываются из спальных мешков, улыбаются. В какой-то момент моя мать и профессор, с которым она тогда встречалась, попытались влиться в компанию и сказали что-то «крутое», типа «не покурить ли травки». *Просто жуть*, неужели эти люди не понимают, что они — *ста-ры-е*! Я сыграла с ними злую шутку, во всяком случае, намерения мои не были добрыми. Я нашла у мамы

на кухне полочку со специями, взяла ореган и еще какие-то приправы и набила ими косяк. Свернула его и положила под полотенце в бельевом шкафу на первом этаже. Я вас не разыгрываю: она действительно позвонила через пару недель и сообщила, что обнарркила «кое-что», оставшееся после нас. «О да-а-гая, что-о ты с этим де-а-ешь?» Она и ее друг-профессор, сказала мать, хихикая, как девчонка, это выкурили. Как я и думала — закатывая глаза — странный привкус. Пожалуйста, напомните мне, когда мой сын станет подростком, что «крутые» родители *до такой степени* лопухи.

Всему своя пора, свой черед, и не ваш, черед, если вам тридцать, или сорок, или семьдесят, снова войти полностью и безраздельно в жизнь десятилетних, или четырнадцатилетних, или шестнадцатилетних; а если у вас это получится, тогда ваши дети или ваши ученики принуждены будут состариться раньше времени. В школе было два старика, один — «родитель» из спального корпуса, другой — *по-настоящему* старый учитель (оба в довершение всего преподавали английский), которые имели сексуальные отношения с ученицами. В обоих случаях, насколько мне известно, они у девочек были первыми. Я бы обвинила их не в изнасиловании, наказуемом по закону, а в Краже Молодости, в своего рода вампиризме. В греческих и итальянских деревнях поступают правильно: юным дочерям вплетают в косы, зашивают в подол платья чеснок и белену, чтобы отпугнуть нечистую силу, — все противоестественное и несвоевременное.

Отец писал мне часто, но никогда не спрашивал в письмах, «как дела в школе», имея в виду занятия. Он утратил контакт с миром Холдена, земным миром, полным страдания — вдрызг напивающиеся друзья; мальчик, который выбросился из окна; подружка Джейн, к которой «пристает» отчим, — и отправился в эзотерические края, куда мне было за ним не пробраться, но все же не до такой степени воспарил над нашей галактикой, чтобы думать, будто занятия — достойный предмет для разговора. Уроки в лучшем случае служили мне развлечением. Они были похожи на бесконечные рекламные ролики в увлекательном фильме, который показывают по телевизору: досадное напоминание о том, что эту жизнь «преподносит вам» Кембриджская школа в Уэстоне.

Некоторые ученики и в самом деле чему-то научились, Я не хочу сказать, что учеба там ничего не значила — просто она ничего не значила для меня в то время. От поры до поры, в момент выставления оценок она вторгалась в мою жизнь: снова, в который раз, я подвела моего наставника, мистера Кастилло. Милый, чистосердечный человек, он, к вящему моему сожалению,

верил в меня, в мои способности и в то, что я когда-нибудь смогу их раскрыть. Как Холден, я все время обещала постараться, причем искренне, но без конца подводила. В конце концов я поменяла наставника — было невыносимо все время разочаровывать этого чудесного человека, после чего я лодырничала с чистой совестью. Нужно было, наверное, послать ему мои табели из Брандейса или Оксфорда вместе с благодарственной запиской: пусть знает, что теперь незачем обо мне беспокоиться, что я стала, наконец, находить истинное удовольствие в том, чтобы раскрывать свои способности и «стараться», — просто потому, что мне интересно. Но в средней школе для меня еще не настало это время, да и место не соответствовало.

На что-то я все же обращала внимание — но не на то, что помогло бы написать тест. Например, в классе, где мы занимались английским, красивая абстрактная композиция из стекла, «мобиль», висела над нами в нише, и на нее падал свет из потолочного окна. Помню, как солнце играло на разноцветных стекляшках, каждая перевязана серебряной нитью, словно подарок — ленточкой, и все свешиваются с одного-единственного серебряного кольца на самом верху. Не припомню, чтобы я читала хоть что-нибудь в этот год. Из средней школы я вышла, прочтя ровно две книги: «Николай и Александра», которая запомнилась потому, что была такая невероятно толстая, даже в бумажной обложке — я все не верила, что удастся ее одолеть, и как гордилась, когда все-таки ее добила. Вторая — «Стулья» Ионеско, ее я прочла из любви к нашей учительнице французского, Сюзанне. Она повела нас в Кембриджский театр смотреть эту пьесу — вечером, как взрослых, на спектакль, на какой ходила сама.

Не только психологические и социальные проблемы отрочества отодвигали уроки на задний план — все общество бурлило. Америка вела войну во Вьетнаме. Где-то в начале ноября мы прослышали, что скоро состоится марш на Вашингтон в знак протеста против войны. Многие родители согласились выписать липовые приглашения бог знает куда, чтобы дети могли участвовать. Может быть, такие приглашения и требовались школам для официальных отчетов, но поскольку чартерные автобусы из Уэстона до Вашингтона останавливались прямо на школьной парковочной площадке, я не знаю, кто кому морочил голову. Дело было ночью, я залезла на багажную полочку и всю дорогу проспала, поздравляя себя с тем, что нашла такое уютное местечко в переполненном автобусе. Мы должны были провести в столице день и вечером вернуться, тоже на автобусе, так что

багажа никто не брал. Я узнала с восторгом, что писательница, сочинившая одну из самых моих любимых детских книг, «Бриллиант в окне», где дети взаправду попадают в страну снов, едет с нами. Заговаривать с ней я, конечно, не стала, решив, что ей не понравится такое вторжение в ее частную жизнь. Одна из самых моих любимых «детских» книжек, думала я; эта женщина писала книги для детей от восьми до двенадцати лет, а мне было тринадцать, когда я ехала в этом автобусе в Вашингтон.

В связи с этой поездкой я получила два письма, одно — от матери, другое — от отца: оба пришли с двух разных, довольно интересных, планет, но той, на которой жила я, они никак не касались. Мама настолько погрузилась в антивоенное движение, что я едва не отказалась от участия в марше. P.S.: кто такой «Зеленый призрак», я не имела и не имею понятия. Странное ощущение возникает, когда тебе присваивают чужое прозвище, «фамильярно» обращаются к тебе из измерения, где тебя нет.

«10 ноября 1969 г.

Заинтересованным лицам:

Я разрешаю Пегги Сэлинджер провести уик-энд с 14 по 16 ноября с Адриенной Ф. и ее семьей.

Ваша

Клэр Сэлинджер».

Дорогой Зеленый призрак, посылаю тебе вместе с этим письмом несколько хороших книг о Вьетнаме. Прекрасная книга — «Мир во Вьетнаме», изданная квакерами: там хороши теория и предыстория вопроса. Остальные — лучшее из того, что у меня есть под рукой. Прочти их, пожалуйста. Если ты против войны и хочешь поехать в Вашингтон на демонстрацию, ты должна знать, за что и против чего ты выступаешь. Пожалуйста, верни «Мир во Вьетнаме», как только прочтешь. Остальные книги, пожалуйста, раздай товарищам, когда осилишь сама.

Я верчусь, как белка в колесе. Школа отнимает массу времени, требует много разъездов. Я все глубже погружаюсь в акции протеста — кажется, у меня целых 3 полноценных жизни (плюс еще одна, матери и хозяйки, но это, скорее, личное): дело того стоит, но утомительно!

Теперь конкретно:

1. Зубного врача я перенесла на пятницу, 20 ноября, на два часа дня; в школу напишу, чтобы тебе дали освобождение. Д-р Биб сказал, что ты не пропускала визитов; кажется, он не очень рассердился за тот раз, когда ты опоздала. НЕ опаздывай в эту пятницу.

2. Прикладываю разрешение для поездки в Вашингтон.

3. Если не поедешь, сообщи мне, как только сможешь. Если поедешь, пусть мысли твои будут мирными.

4. Меня не будет весь день в субботу (с 4 утра до 11 вечера) — еду в Канаду с другими членами Комитета всеамериканской службы друзей, чтобы вручить медикаменты NLF и Северному Вьетнаму: это — часть дня протеста против войны.

Хочешь приехать домой на этот уик-энд — приезжай: только учти, что в субботу меня не будет. Папа и Мэтью поедут в Дартмут смотреть футбол в субботу вечером, иначе ты могла бы побыть с ними или в Хановере, или где тебе заблагорассудится. *Мне бы хотелось захватить тебя с собой;* думаю, люди бы тебе понравились, но ехать на машине далеко, и я не знаю, с чем мы столкнемся на границе.

Так или иначе, дай мне знать. Я могла бы заехать за тобой в пятницу, если ты заранее сообщишь.

Здесь всю неделю шел дождь. Арета (моя кошка) принесла домой малька. Так и не знаю, откуда она его выудила. Может, из рыбного садка кого-то из наших богатых соседей. А может, рыбка упала с неба. Или приняла наш разлившийся ручей за речку. Кажется, Арета опять беременная!

Больше новостей нет —

С любовью *Ма*».

xxxx

P.S. Записывай, как ты расходуешь деньги!

P.P.S. Сама впиши фамилию Адриенны, пожалуйста».

Ох, какие драмы! Но она, наверное, права: я должна что-то узнать о войне, если собираюсь идти на демонстрацию. Я прочла книгу от корки до корки…все верно! Я никогда не была пацифисткой, даже в то время не обманывала себя. С одной стороны, я попросту следовала за всеми, была «овцой», как это определял отец, с другой — протестовала против лжи, в которой,

как я думала, мы все погрязли. Я слышала, как ребята за океаном подрывали гранатами командиров, которые, следуя директивам каких-то психов, отдавали, к примеру, приказ прекратить преследование врага в какой-то определенной точке на карте: предполагалось, что наши там останутся и будут сидеть, как клуши, пока противник не стянет силы и не перейдет в наступление. Но еще больше раздражали меня мать и ее друзья, когда они собирали деньги на «медикаменты» для NLF (не говоря уже о сиротах из Северного Вьетнама). Да ты что, с дуба рухнула? Ведь это война. Если ты полагаешь, что твои деньги пойдут не на войну, ты полная идиотка. Так я и заявляла матери с присущим мне тактом. Эта ложь казалась мне еще большей, чем та, что исходила из Вашингтона.

Письмо от отца пришло через несколько дней после моего возвращения. Он отвечал на вопросы, которые я ему задала по поводу макробиотики. Один мой приятель увлекся макробиотикой, и я всерьез беспокоилась, как бы он не уморил себя голодом. Выглядел он просто ужасно. Я просила папу как-то помочь мне с этим, зная, что он в свое время тоже придерживался подобной диеты. В ответ он разразился длинной, насыщенной подробностями диатрибой против создателя макробиотики Джорджа Ошавы. Отец, наверное, потратил несколько часов. Я была рада письму, особенно совету встретиться с парнем как-нибудь за ленчем и осторожно, ненавязчиво навести разговор на этот предмет. Много ли ребят в шестидесятые годы могли написать домой родителям и спросить их о такой новомодной штуке, как макробиотика, а в ответ получить письмо на многих страницах, напечатанное через один интервал? Иногда быть не от мира сего не так уж плохо. Но в данном случае «не от мира сего» — мягко сказано.

Как основной аргумент выдвигалось то, что Джордж Ошава не мог быть хорошим ученым и разработать значимые, ценные принципы здоровой диеты потому, что сам он как человек не достиг чистоты. Он был, по мнению отца, начетчиком и оппортунистом. Вот он, первый и главный аргумент: источник этой диеты — человек, не достигший чистоты; значит, и его так называемые открытия не могут быть чистыми. Затем отец с фактами в руках опроверг некоторые ложные постулаты, вывел на чистую воду обманщика: например, сообщил, что Ошава сам умер от рака, хотя обещал своим последователям несокрушимое здоровье. Справедливо. Привел целую кучу разных разностей: о кристаллических свойствах соли; о синем и фиолетовом; о тонкостях в классификации инь и ян, которые ускользнули от Ошавы, не говоря уже о мисс Сэлинджер. Помнится, в каком-то

месте письмо прерывалось: мой брат проснулся среди ночи, увидев страшный сон, и весь в слезах явился к отцу в кабинет, вот отцу и пришлось оставить письмо и уложить Мэтью в свою постель, где он и заснул при включенном свете. Это меня ошеломило, я просто не могла себе такого представить — то есть, представить себя на месте брата. Я бы никогда не посмела постучаться ночью в дверь кого-либо из родителей — хоть матери, хоть отца; даже мысль о такой возможности никогда бы не закралась мне в голову. Удивительно, как иногда брат с сестрой живут будто бы совершенно в разных семьях, совершенно различной жизнью — и оба, повествуя о родителях, говорят правду. В самом конце письма отец просит, чтобы я как следует побереглась, если поеду в Вашингтон. «Пожалуйста, будь осторожна. Ты — лучшая из девчонок, и я тебя люблю».

Думаю, он в тот день пропустил вечерние новости: письмо было датировано вечером пятнадцатого, а марш мира состоялся как раз в тот день. Я, тем не менее, береглась.

Толпа скопилась возле монумента — каждый пытался пробраться как можно ближе к выступающим. Но мне-то уж никак не грозило оказаться затертой в толпе, если дело примет дурной оборот. Я слонялась по дорожкам возле Молл-лаун, глядя вполглаза на ораторов и одновременно прикидывая пути к отступлению: улицы, большие магазины, гостиницы. День закончился мирно, и на обратном пути, в автобусе, я почти жалела, что не с кем было съесть ленч на лужайке — но это вам все же *не* Вудсток. Если вы когда-нибудь видели силы по поддержанию общественного порядка в полной боевой готовности — космические шлемы, противогазы, щиты и дубинки, — всякая мысль о веселом пикнике у вас *тотчас же* пропадет.

В первый год моего обучения в той школе я по-настоящему, на своей шкуре прочувствовала, что идет война: начался призыв, проводившийся в форме лотереи. (Дате рождения каждого парня наугад присваивался какой-то номер, от 1 до 365; единица означала, что тебя загребут в следующий раз; 365 — время идти в казарму.) Мой парень, Майкл, учился в старшем классе, и ему выпал номер 73. Я не хотела, чтобы он отправлялся в Канаду или во Вьетнам, или вообще, куда бы там ни было, без меня. Майкл. Несколько славных ребят начинали ухаживать за мной осенью моего первого года, но я в основном убегала и пряталась, как спугнутый зверек. Но как-то раз заметила юношу, старшеклассника: в солнечном свете, заливавшем зеленые лужайки кампуса, он казался отлитым из золота. Парень нежно улыбнулся мне и пошел прочь. Было в нем что-то волшебное, как в моих лесных друзьях, которые танцевали лунными ночами в

глубине соснового леса. Я бы не удивилась, обнаружив на траве, где он стоял, золотую пыльцу, какую в сказках оставляют феи. Не помню, как мы познакомились и о чем говорили. Помню больше всего, как в его глазах сквозь черные тучи сверкала радость — столь же нечасто и таинственно, как радуга. Я бы с охотой шагнула в огонь, если бы такой ценой могла проникнуть к нему, взять за руку и вывести из одиночества, которое, похоже, оплетало его «побегами, прочными, как плоть и кровь». Была такая песня Нила Янга под названием «Единоличник», и были там такие слова: «Как в метро его увидишь, расступись, поберегись: единоличник». А передо мной он в конце концов сложил оружие.

Не могу точно сказать, когда Майкл влюбился в меня, но я об этом узнала задолго до того, как он признался. Говоря о чем-то совершенно постороннем, мы двигались навстречу друг другу. Возникало такое чувство, будто та часть нашей души, которая еще отваживалась любить, тайком покидала крепость и встречала свою половинку, сливалась с ней в лунном свете, в то время как в полутемной комнате звучали наши бесплотные голоса, подобные узникам в одиночных камерах, которые скребутся ногтями по толстой каменной стене или выстукивают сообщение соседу. Только теперь я начинала понимать, о чем поет «тихий голос», предвещающий беду, если только я взгляну на мир из башни Сэлинджеров иначе, как через зеркала, где он «мелькает», не говоря уже о том, чтобы оставить замок и уйти в «поля и рощи». Я попыталась было придать некие очертания нашим отношениям, обрисовать их хотя бы намеком, вроде аромата, разлитого в воздухе, или стихотворения, или какого-то мерцания, чтобы пробудить в читателе воспоминание или мечту о первой любви, — но наткнулась на каменную стену.

Я могу рассказать вам, как нежно, будто у младенца, курчавились в ямочке на затылке его влажные белокурые волосы, когда он спал. Я могу рассказать вам, как вздрогнула, словно увидев призрак, когда вдруг подошла сзади к «Давиду» Микеланджело — а было мне тогда лет двадцать пять, и я, счастливая, в одиночку бродила по Флоренции.

Но стойкий, не разжимающий губ солдат слишком крепко сидит во мне, его не одолеть волевым усилием. То, что в детстве помогало избегать боли, замыкаться перед вторжением извне — отступление вглубь, подальше от поверхности кожи, — обернулось впоследствии твердой, твердой стеной, которую ничем не пробить. Мои стратегические маневры оказались настолько успешными, что лишь после двадцати я начала обнаруживать — так, когда выпьешь, проявляется необычный акцент, или, если нечасто смотришься в зеркало, вдруг бросается

в глаза неизвестный тебе шрам, — что во мне есть нечто неведомое, скрытое от всех, включая меня.

Это откровение, впервые явившись, ошеломило меня. Я в аэропорту обнимала на прощание моего друга Хакобо Тимермана. Несколько месяцев назад его после жестоких пыток выпустили из секретной тюрьмы в Аргентине, и он, как и я, ходил в Институт Аспена. Я видела шрамы, когда мы сидели в джакузи, смотрели на звезды и вдыхали аромат апельсинов и грейпфрутов, которыми Хакобо доверху набил стенной шкаф, потому что в камере, голодая, страдая от цинги, так страстно о них мечтал; вздрагивали при каждом звуке; радовались, что чудесная возможность снять трубку и поговорить с его любимой женой и сыновьями — в порядке вещей. Когда мы обнимались на прощание — а объятия латиноамериканцев бурные, не то, что английский воздушный поцелуй, — меня вдруг поразил тот факт, что я не могу почувствовать, как обнимаю его, ощутить его спину под своими руками в то же самое время, когда я чувствую его объятие, его руки на моей спине. Я попыталась, и это было как в кино: камера передвигается из одной позиции, позади одного человека, к другой, позади другого. Я не смогла свести воедино чужое и свое действие; не смогла найти такой угол обзора, при котором камера вмещала бы обоих. Острова.

Но даже в отрочестве я знала, в чем ахиллесова пята одиноких островитян, слишком долго пробывших в заточении. Для нас, если кто-то зовет кого-то, получается не танец во ржи, а скорее объятие сросшихся в материнской утробе сиамских близнецов, у которых может быть общее сердце, печень, нога и так далее; разделять их чаще всего опасно для жизни одного из них или обоих, даже в самых благоприятных обстоятельствах и при самом лучшем уходе. Но эта близость, это слияние и превращение в одно существо после столь долгой изоляции неописуемо прекрасны; это — дождь над бесплодной пустыней, несущий чудесное возрождение потаенной, дремлющей жизни. Могу сказать не кривя душой: я не жалею ни об одном из беспокойных мгновений любви.

К тому времени, как Майкл тащил свой призывной номер, я уже успела провести великолепные каникулы с ним и его семьей. У них дома сбылась моя заветная мечта: я могла играть в футбол на открытом поле с мальчишками, с тремя братьями. Когда я присоединялась, можно было играть двое на двое; без меня, когда их папа уходил на работу, они просто пасовали друг другу мяч. Мои передачи были не слишком точными, но я носилась, как сто чертей. Все мальчики были старше меня, и настоящие

джентльмены — они мне льстили, хотели, чтобы я чувствовала себя полезной, но, я вовсе не подправляю память: двигалась я как сам Гэйл Сэйерс[229].

Через пару недель после весенних каникул я получила от отца письмо, в котором сообщалось о смерти дедушки. Нет, не так: он сообщил мне, что умер его отец. Они с Дорис устроили похороны с «минимумом пошлых церемоний», — писал папа. Ни намека, ни мысли о том, что и я могла бы захотеть принять участие в «пошлой церемонии» похорон своего деда. Я даже не знала, что дед болел — а он болел несколько месяцев, и я могла бы его навещать. Бабушка, писал отец, переживает из-за нечистой совести. Та же литания о прогнившем институте брака. Ему и в голову не приходило, что бабушка, так или иначе, может тосковать по мужу, с которым прожила шестьдесят лет. Позже тетя Дорис передала мне слова бабушки: она томилась, не видя по утрам на подушке «этой шевелюры» (у деда были удивительные, густые, седые с лимонным оттенком волосы).

Я послала бабушке цветок в горшке и открытку с соболезнованиями. Это было самое малое, что я могла сделать, самое большое, что мне дозволили сделать. Отец сказал, что бабушка была обрадована и тронута, получив записку и цветок, но она так плохо видит, что не может написать мне. Он меня тоже благодарил, будто бы я сделала что-то выходящее из ряда вон, далеко за пределы долга. Немногого же он ждал от семьи, немного для семьи делал — и это печально.

Когда на следующий год умерла бабушка, повторилось то же самое, даже еще хуже. Отец опять не сообщил мне, что она больна. Он даже не написал мне о ее смерти — мать прочла об этом в газете. (Таким же точно образом я узнала о помолвке брата. Мне просто забыли сообщить. Странно быть членом семьи, в которой о родственниках узнаешь из газет.) Когда я приступила к отцу, он опять сказал, что хотел избавить меня от «всякой муры». Тогда я думала, что он имел в виду посещения больницы и похороны. Теперь, лучше узнав его, думаю, что он также хотел избавить меня от такой «муры», как семья и родственные связи. Недавно Дорис сказала, что бабушка, когда болела, часто спрашивала обо мне. «Мама по тебе скучала», — заявила Дорис.

Когда окончился учебный год, я забросила вещи к матери, повидалась с братом и отправилась в дом моего приятеля с двухнедельным визитом — но, как семеро странников, которые поехали покататься часика на три и потерпели кораблекрушение, я этот визит продлила до бесконечности. Отпарировав несколько неистовых и яростных звонков от моей матери, миссис С., мать

моего друга и моя героиня, со всей учтивостью, но твердо постановила, что не отправит меня домой ни при каких обстоятельствах, пока я сама не решу уехать. В первый раз в моей жизни кто-то из взрослых осмелился встать наперекор моим родителям и заявить прямо: «Это нужно прекратить, это недопустимо». Кто-то, наконец, сказал моей матери: «Я возьму на себя заботы о вашей дочери, коль вы на это не способны, и сделаю это с удовольствием». Миссис С. мне давала почувствовать, что общение со мной для нее удовольствие. Представляете? Она до сих пор не отослала меня домой. (И сейчас, почти через тридцать лет, я наслаждаюсь ее обществом, обществом ее выросших сыновей, их жен и детишек.)

Отец несколько раз виделся с миссис С. и удостоил ее наивысшей похвалы: он сказал, что эта женщина — настоящая леди, и что она напоминает ему миссис Хэнд; ни о ком другом он так не отзывался. Когда миссис С. овдовела, я надеялась, что они сойдутся; она, следует добавить, — красивая, изящная и умная женщина. Отец, насколько мне было известно, ни с кем не встречался с тех пор, как развелся с моей матерью, а миссис С. воплощала в себе все те качества, какие он ценил в женщинах. Через пару лет, когда юная возлюбленная отца поселилась в его доме, я усвоила хороший урок: существует большая разница между теми идеями, к которым отец привязан на словах, и теми людьми, с которыми он связывается в реальной жизни. Так или иначе, в то лето, когда я жила рядом с миссис С., моим другом Майклом и его братьями, она в моих надеждах, мыслях и мечтах была потрясающе подходящей свекровью, матерью моего избранника, матерью, избранной мною. И до сих пор является таковой.

Поскольку Майкл нашел себе работу на лето, у меня оставалась масса времени, чтобы вести дневник, который был для меня в годы отрочества изорванной «Картой» в отсутствие «Сердца в порту». Было у меня и время, чтобы писать письма, и мы с Холли, моей соседкой по комнате, постоянно поддерживали связь. Вот, по моему мнению, лучшее письмо из летнего лагеря — не письмо Симора из Хэпворта, а письмо Холли из Брентвуда. Письмо подлинного живого человека. Адрес на конверте написан большими печатными буквами — думаю, это очень оценили служащие лагеря, занимавшиеся почтой, — «Холли Тобайес, Брентвудский концентрационный лагерь, Эйнджелика, Нью-Йорк»; на штемпеле 1970 год.

«Дорогая Пегги!

Ооох, какая я злая! Вчера у нас было чудесное, замечательное, незабываемое вечернее развлечение — Брентвудский костер. Каждый коттедж должен был откопать какую-нибудь песенку, чтобы все ее спели хором (на самом деле никакого костра не зажигают — думаю, боятся, что мы обожжемся). Итак, по предложению нашего коттеджа я назвала песню Кантри Джо и Фиш — «Кажется, меня ведут на бойню» («Я за жизнь свою и гроша не дам: Следующая остановка — Вьетнам»). Конечно, мы обязаны были ее переписать и отдать на просмотр комиссии вожатых, цензурному комитету — они, конечно, обязаны вырывать с корнем все разлагающее, т. е. все антивоенное (антиамериканское!) и лишенное бодрости (неподходящее). Они были потрясены и сказали, что это мы петь не можем. Я спросила, почему, а они даже оскорбились, и давай ханжить, приводить возражения, довольно слабые. (Ну, это просто *некрасиво*, вот и все… знаешь, это просто не та *позиция*.) Меня-то уже тошнит от «одобренных» песен (на каждом костре мы поем такую муру, как «Марш муравьев» и почти все из фильма «Звуки музыки» — безбожно при этом фальшивя). К тому же все еле стонут, как расслабленные калеки, а вожатые носятся взад-вперед между толпами ребят и орут: «Пойте, пойте! Ну же, друзья, ничего не слышно! Дайте немного *лагерного духа!* ГРОМЧЕ!» И так далее, и тому подобное. Пока, наконец, мы не перепоем все одобренные песни, где-то к половине девятого вечера, и тогда они нас постараются отправить в постель или попытаются заставить петь «100 бутылок пива на заборе» (хотя мы должны петь «колы» вместо «пива» — кроме шуток) вплоть до самого конца. (Две бутылки колы на заборе, две бутылки колы, если одна упадет…) Так или иначе, торчать там мне не хотелось, и я ушла, а это — ни-ни: тут не разрешается сидеть одной в коттедже. Запрещено даже гулять в одиночку. (Они боятся — а вдруг выкуришь *сигарету*!) *(Ужас!)* Гулять по ночам — ни-ни: одна наша вожатая поставила свою кровать поперек входной двери, чтобы уж точно никто не *вошел* и не *вышел*. Дон не ложится — без шуток — до часу ночи, ходит дозором с фонарем и собакой. Кстати сказать, половина лагеря по воскресеньям отправляется в церковь. Набожные. Это хорошо.

Никто здесь не слыхивал о такой вещи, как

приватный телефонный звонок.

Что до меня, то неделю назад я наотрез отказалась участвовать в чем-то, в чем участвовать не хотела. Не было никакой возможности *заставить* меня играть в «выбивалу», так что Дон теперь от меня отступился и всех посетителей направляет в обход, *мимо* меня.

Надеюсь, вы с Майклом теперь видитесь чаще и немного успокоили свои нервы. Что же до того, что на следующий год я буду навещать тебя в Маклинз, то я, возможно буду там с тобой в одной палате! Почему бы не основать еще один клуб проблемных детей? Что-то типа анонимных алкоголиков (к которым я на следующий год присоединюсь! Нет, шучу: я не так уж кошмарно пила последнее время). Знаешь, где один другому устраивает сеансы психоанализа.

Ну вот, это, похоже, все. Здесь *ничего* не происходит. Все мальчики выглядят, как Кевин А., с ёжиком, сексапильности в них не больше, чем у Джон В., а задаются они не хуже, чем Дэн Р. Бр-р-р! А еще все они — ужасные зануды.

Пища несъедобна. Одно время нам давали на ленч пиццу, хлеб (кошмарный) и кексы. Больше ничего. Ни фруктов, ни овощей, ни (боже упаси!) витаминов. От авитаминоза я заболела, у меня был тонзиллит с температурой, и меня упекли в лазарет на 6 дней.

ПИШИ! (Я письма тоже люблю!)

И тебя люблю,

Холли.

P.S. А ЭТО МЕСТО НЕНАВИЖУ!

P.P.S. Я купила оба альбома Джеймса Тэйлора… нечто вроде памятника Р. (Но клянусь, что в жизни не скажу с ним ни слова!) Теперь, в память о С. и Р., у меня 2 альбома Джеймса Тэйлора и 3 «Криденс Клеруотер». Я совсем сошла с ума! Но альбомы мне на самом деле нравятся, особенно Джеймса Тэйлора.

P.P.S. Передавай привет всем, кого я знаю».

26
Сорвавшись с цепи

О-о-о-о, шторм грозящий…

Роллинг Стоунс

В сентябре мы с Холли пошли в десятый класс, но все как-то не заладилось. Майкл прошлой весной закончил школу и теперь был за океаном, учился в Париже. Я жила еженедельными телефонными звонками и цеплялась за его отправленные авиапочтой, в голубых конвертах письма так же крепко, как де Домье-Смит цеплялся за письма сестры Ирмы, или «солдат во Франции» — за письма Мэтти. Я тоже ужасно боялась, что не доживу, не смогу продержаться до следующего письма. По ночам я брала с собой в постель овчинную тужурку Майкла, молясь, чтобы его запах как можно дольше не выветривался. Почти не выходя из спячки, я дожидалась Рождества: предполагалось, что мы проведем каникулы вместе, во Франции.

Он позвонил 10 декабря, поздравил меня с днем рождения, и мы обсудили наши планы: я должна была прилететь где-то через неделю. Речи его звучали как-то неубедительно. Вроде бы все в порядке — но, едва выйдя из аэроплана и попав в его объятия, я догадалась, что дело плохо. Признаюсь вам: я *ненавижу* Париж. Холодный, серый, заиндевелый, сырой, и все говорят по-французски. Друзья его родителей, у которых мы остановились на несколько дней перед тем, как отправиться на юг Франции, были милые люди. Они нас устроили на прекрасной квартире, угостили множеством вкусных вещей, каких я никогда не ела, например, засахаренными каштанами или компотом из целых абрикосов и мандаринчиков, похожих на оранжевые драгоценные камни.

Малыши наших хозяев как раз учились говорить, забавно путая французские и английские слова. Один с гордостью показал мне, как «завернуть la poubelle»[230]. Уложив детей спать, родители тактично уходили и оставляли гостиную в наше с Майклом распоряжение. Я давила на него и давила, и он, наконец, признался в полном унынии, что встретил француженку, разведенную, с двумя детьми, и теперь не уверен, любит ли меня. Я прекрасно помню обстановку, диван, на котором мы сидели, засахаренные каштаны на журнальном столике, даже ноты на пианино. Потом вдруг все потемнело. Помню еще один кадр, снятый со вспышкой, заключенный в рамку. Я лежу на смотровом

столе в домашнем кабинете нашего хозяина. Его жена протянула руку к верхней полке за каким-то лекарством. Она собирается дать мне снотворное. Майкл поведал на следующий день, что я не упала в обморок, а бурно, истерически разрыдалась; наши хозяева не могли не услышать и дали мне успокоительное. Я чувствовала предельное унижение. Я никогда еще так не роняла себя, не теряла контроля над собой, не лишалась памяти, не срывала окончательно якорей.

С мрачной решимостью я принялась осматривать Париж: слякоть на улице, слякоть в душе. На короткое время вынырнула в саду, где по углам были расставлены скульптуры Родена, «Поцелуй» и еще какая-то группа: люди, сбившиеся в круг, бредущие ощупью, в цепях. Может быть, она называлась «Les aveugles». Слепые. Делать нечего, решили мы: придется проводить каникулы так, как планировалось; сели на поезд и отправились на юг Франции, где еще у одного друга семьи, художника, была квартира, которая в эти праздники стояла пустая. Нельзя было ошибиться по поводу профессии отсутствующего владельца: всюду висели или стояли у стен большие холсты. Этот художник бродил по берегу моря, по всей Франции, из конца в конец и собирал куски кукол и пупсиков-голышей, которые выбрасывал прибой, а потом склеивал их, как попало — там рука, там безглазая голова, там торс — будто бы их, мертвых, прибило волной на его холсты.

Каждый день я ходила на живописный рынок под открытым небом, полный свежих овощей, фруктов, сыра и цветов. Я так глубоко погрузилась в себя, что смотрела на мир словно через глазок кинокамеры. Я показывала на товары пальцем, боясь произнести хоть слово с тех пор, как в Париже уличный торговец вафлями стал вдруг злобно издеваться над моим французским, передразнивать меня с таким брезгливым видом, будто вступил в собачью какашку, — но тут вскоре разговорилась, и крестьяне улыбались мне. Какой-то мужчина в цветочном ряду протянул мне букетик полевых цветов, показывая, чтобы я понюхала, шумно втягивая носом воздух. Так сладко они пахли, что я едва не исчезла снова — но солнце удержало меня: я протянула продавцу пару медяков и пошла в нашу квартиру. Цветочки в стакане поставила на кухонный стол, туда же выложила продукты. В ярком солнечном свете присела к маленькому столику и стала следить, довольно рассеянно, как исчезают целые кружочки бри и ломти хлеба. Я ни о чем не думала, не размышляла, просто жевала и пялилась в пустоту — брала на борт балласт.

Я бродила вдоль моря, по променаду: от свежего, соленого

морского ветерка немного прояснялось в голове. В порту стояли три огромных американских военных корабля. Два матроса, шедшие позади, приняли высокую, тоненькую, симпатичную девчонку за француженку и отмочили какую-то по-настоящему грязную американскую хохму; потом загоготали, в уверенности, что француженке ни за что не понять. Я так струхнула, что едва не бросилась наутек, и всю дорогу домой прислушивалась к шагам позади; потом, трясясь, вставила ключ в замочную скважину, вошла, заперлась. Мне пришлось долго-долго сидеть в ванной без движения, уставившись на узоры кафеля, будто на далекую точку на горизонте, только чтобы не стошнило. После этого я больше не ходила одна к морю. Майкл водил меня под руку, и морской ветерок развевал наши волосы. Знал ли Майкл, что меня может унести ветром?

В беспошлинном магазинчике в Орли я купила для матери Майкла флакончик «Кабошар», ее духов, и еще один, для себя. Когда самолет поднялся в воздух, направляясь в Соединенные Штаты, я не имела ни малейшего представления о том, куда лечу.

Я не могла функционировать нормально. Когда я отправилась на уик-энд в дом моего друга в Коннектитуте, мой двойник снова дал о себе знать. Как и в Париже, я иногда теряла контроль над собой. Мы немного выпили, в самом деле немного, на вечеринке с коктейлями, которую устроили родители друга, и следующее, что я помню, — утреннее пробуждение. Родители, сказал мне друг, вышли погулять и попросили меня тем временем уехать. Вроде бы я сорвала с себя одежду, вышла из гостиной на балкон абсолютно голая и, даже не хочу повторять, что вопила гостям, собравшимся внизу: мне слишком стыдно, пусть и через тридцать лет. Друг схватил одеяло, завернул меня и бережно отнес в постель. Он вовсе не сердился — неудивительно, сказал он, что я ничего не помню: у него сложилось странное ощущение, что вместо меня безобразничал кто-то другой: я никогда таких слов не употребляла.

Я знала, что никакая выпивка в мире не заставила бы меня так себя вести, но ужасную тайную мысль о том, что я, наверное, шизофреничка, прятала глубоко-глубоко. Я не протянула руку, прося о помощи, но и не заперла дверь.

Я сделала то, что помогало в Кросс-маунтэт: стала заботиться о других, о тех, кому гораздо хуже. Я стала «ловцом», чтобы не пропасть самой, чтобы, как говорил Холден, не «провалиться вниз, вниз, вниз», не захлебнуться в собственной крови и отчаянии. Другие ребята обрели во мне друга, с которым можно поделиться проблемами; прошла молва, что ко мне может зайти

любой, кто переживает кризис, совершил ошибку, не желает ни с кем общаться, хочет покончить с собой и так далее в том же роде. Я была тогда и осталась до сих пор стойким солдатом, умеющим помочь в критической ситуации, успокоить.

После занятий я стала заниматься репетиторством в Латинском центре в Уолтхеме и взяла под свою опеку юную испаноязычную девушку, которой надо было помогать с домашними заданиями. А еще я вызвалась раз в неделю, по вечерам, помогать в Государственной школе для умственно отсталых в Ферналде. В первый раз, когда я туда пришла, меня привели в огромный зал, вроде гимнастического, где было полно голых, подвывающих мужчин. Некоторые играли в чем мать родила, на других были спортивные трико. Вонь, нечеловеческие вопли, вид взрослой мужской наготы — все это ударило по нервам, и через пять минут я отпросилась у надзирателя, выбежала в поле, и там меня вырвало. Когда я пришла на следующей неделе, меня определили в палату более продвинутого уровня, где молодые люди были в большинстве своем одетыми: с ними можно было решать головоломки, играть в различные игры, разговаривать. Помню, один парень называл себя Джагхед, Кувшинная Башка. Речь его казалась беглой и связной, пока ты не понимал, что он без конца повторяет затверженные фразы из комикса «Арчи и Джагхед». Другой, еще совсем маленький, мальчик поразительной, совершенной красоты, обычно снимал у меня с пальца серебряное кольцо и осторожно, медленно катал его по столу перед собой. Думаю, будучи предоставлен самому себе, он с той же самой счастливой улыбкой на устах катал бы это кольцо, не сводя с него зачарованного взгляда, пока не умер бы с голоду, освободившись, наконец, от кошмара этой инкарнации.

Когда Майкл весной вернулся из Франции, его окружала непроницаемая пелена тоски. Такой она была плотной, густой и серой, что я не была уверена, видит ли он мою руку у своего лица. Я, чувствовала, что меня носит в открытом море, как в молодости носило мою мать. Единственное, что было ясно, когда наступили летние каникулы, — мне не найти ни «диких ночей», ни «якоря в тебе».

Тем летом, между десятым и одиннадцатым классом, мне было пятнадцать лет, и я сперва гостила в доме моей дорогой подружки Эми, а потом болталась по улицам. Эми была приходящей ученицей в Кембриджской школе, и мы с ней стали как сестры. Мы не могли заменить друг другу семью — мать, отца, сестру, брата — но вылезали из кожи вон, чтобы оказаться

на высоте. Где-то в первую неделю летних каникул я проснулась солнечным утром в спальне у Эми, открыла глаза и обнаружила, что лежу поверх простыней, одетая. Платье спереди было все в грязи. Некоторое время я вглядывалась в него — примерно так же в восемь лет, неся по полям сломанную руку, я с полным равнодушием разглядывала вдруг ставший красным бело-розовый сарафанчик. Страх поразил меня, когда я вдруг осознала, что понятия не имею, где была, начиная с предыдущего вечера. Я вскочила и побежала вниз, в холл, искать Эми. Она спала в комнате сестры; я принялась ее будить. «Эми, Эми, проснись. Что со мной было?» Я никогда, ни за что в жизни этого не забуду — она широко раскрыла глаза и проговорила медленно: «Разве ты не знаешь?» Ах, черт. На этот раз я выпила не так уж мало, хотя намного меньше, чем в средний школьный уик-энд. Мы ходили на вечеринку с выпивкой, которую ее дядя устроил у себя на участке. Взрослые напились; отец и брат Эми были психиатрами, но в тот день расслабились на полную катушку. Мы, как всегда, отошли в сторонку, забились в уголок и созерцали закат солнца: это — последнее, что я помню и о чем могу поведать. Всплывает в памяти, словно мгновенный полароидный снимок, какой-то момент: в темноте, на заднем сидении машины, парень Эми хлещет меня по лицу. И все. Эми поведала, что вскоре после заката я принялась говорить с собравшимися по-французски. Секунду-другую Эми думала, что это шутка, но до нее быстро дошло, что я сама не своя — и выгляжу, и говорю не так, как могло бы быть, если бы я просто решила поговорить по-французски. Ужимки, сказала Эми, были вовсе не мои: жуткое зрелище. Когда «я» стала плакать, и кричать, и кататься по лужайке, родители велели Эми и ее парню Уилли вызвать такси и отвезти меня домой, чтобы я проспалась. В такси «я» не унялась, а превратилась в толстую негритянку с Юга, заговорила на каком-то, Эми предполагает, жаргоне, что-то вроде смеси гуллахского с английским. Какие-то фрагменты она могла понять, но не все. Я снова впала в истерику, и ее парень стал хлопать меня по щекам, чтобы я прекратила. Вроде бы по дороге домой я прошла еще через несколько преображений, но уснула почти мгновенно, когда Уилли отнес меня наверх и уложил в постель Эми. Ее родители рассердились, что я взбудоражила соседей, но пьяные сцены в то время были не в диковинку, и о моей тоже забыли. Все, но не я.

Дом Эми, примерно как мой, был миром зазеркалья, где все происходило навыворот, наперекор ожидаемому. Меня выставили вон не за возмутительное поведение на вечеринке, а за то, что я случайно сожгла в духовке горшок с горошком. Я так перепугалась, что спрятала горшок.

Мать Эми его нашла, выгнала меня, и я стала бродяжничать. (Ни к отцу, ни к матери ехать не хотелось.) Было уже темно, когда она меня прогнала, и прежде всего я вломилась в подвал соседнего многоквартирного дома, потому что сквозь решетку на окне увидела там постель. Я пыталась поспать, но очень беспокоилась — вдруг смотритель здания либо такой же, как я, бродяга, заметит взломанное окно, застигнет меня врасплох, нападет — и лишь временами дремала.

Должна сказать, что в данных обстоятельствах мне невероятно повезло. Я болталась по Саут-энду, когда белыми в этом районе еще и не пахло; тогда это было обычное старое гетто. Я шлялась по улицам в самые неподходящие часы, то с парнем Эми, то с соседом его двоюродного брата, а иногда ночевала в доме старой Марвы. Мы познакомились в баре, и я ей приглянулась. После ее застрелили на глазах у внучки. Каким-то чудом я провела довольно приятное лето: ела жареную рыбу на пикниках, сидела на крылечке теплыми вечерами, пила черносмородинный ликер на баскетбольной площадке — и со мной не приключилось ничего дурного. Частично потому, что я всегда ухитрялась подружиться со стариками и не лезла на рожон; частично — благодаря необыкновенному великодушию людей, которые мне попадались; а более всего — благодаря простому везению.

В беду я попала по собственной глупости. Моя учительница по французскому, мой прелестный ангел-хранитель, вытащила меня из кутузки. Я украла модные черные шелковые трусы за 11 долларов из универмага «Джордан Марш». Эми наткнулась на меня в том магазине: я слонялась, примеряла вещи. У нее было несколько по-настоящему крутых одежек, она их по большей части стянула. Этим, сказала Эми, так прикольно промышлять — и в порядке демонстрации затолкала половину стеллажа в свою объемистую сумку. Угадайте, кого поймали? Стоило мне сунуть эти крошечные трусики в свою плоскую сумочку, как охранник крепко схватил меня за руку, и все было кончено. У меня было 40 долларов, я предложила заплатить, но этот номер в даунтауне не прошел. У магазина было правило — предъявлять обвинение каждому вору, и полиция сотрудничала не за страх, а за совесть. Я ехала в полицейской машине, сзади, за решеткой, и слезы струились по моему лицу. Двое полицейских подхватили меня под руки и, как преступника, которых показывают по телевизору, привели в участок, препроводили в камеру и заперли на замок.

Примерно через каждые двадцать минут появлялся ка-кой-нибудь полицейский, качал головой, неодобрительно цокал языком, говорил что-нибудь вроде: «Такая молоденькая, и уже

воровка, подумать только». Они, надо думать, и не предполагали, что я не имела поручителя, который мог бы придти и забрать меня под залог, — вот что самое страшное. Мои родители находились за пределами штата, и я уже представляла себе, как меня запрут на ночь в камеру, где, как рассказывала одна знакомая девочка, взрослые лесби могут тебя избить и все прочее. Я позвонила Сюзане, моей учительнице по французскому; она пришла и забрала меня. Ой, скажу я: тюрьма — такое место, какое я никогда, *ни за что* не хотела бы увидеть еще раз.

Впоследствии, когда однажды обнаружила в машине наркотики, я бросила ее и пошла пешком — была уверена, что я-то уж попадусь непременно. То же с налогами и со всем прочим. Уж лучше перестраховаться. Мне пришлось дважды являться в суд по поводу этих проклятых трусов, и я даже получила условный срок. Помню, надо было предстать перед судьей, и назначенный мне адвокат сказал, чтобы я «сняла джинсы» и раздобыла где-нибудь «чертову юбку». Юбку я одолжила у другой девчонки, которая, похоже, знала здешние тонкости и ждала своей очереди к тому же судье. В туалете мы быстро, почти без слов, поменялись шмотками и подняли вверх большие пальцы.

Копы и служители суда смотрели на меня так, будто хотели сказать: «*Ты-то* какого черта тут делаешь?» А я себя чувствовала так, будто подвела любимого дядюшку. Ребята, я даже рада, что меня сцапали, пока я не успела *по-настоящему* чего-нибудь натворить. Я не привыкла, чтобы ко мне проявляли такой интерес: будто я — полноправный член коллектива и от меня никто такого не ожидал. «И не попадайте больше сюда ко мне, юная леди».

Офицер полиции, которая занималась моим условным сроком, единственная из всех проявила цинизм. Она оборвала мой лепет типа «я получила хороший урок» — мол, слышала это тысячу раз. Она была прагматична и сказала напоследок, что лучше бы мне не появляться в универмагах даунтауна ближайшие шесть месяцев.

В осеннем семестре моего предпоследнего школьного года я снова вступила в конфликт с властями. На самом деле, весь наш спальный корпус, целиком, был отстранен от занятий за пьянку. Один из учителей навещал наших «родителей» и заприметил нас, девчонок, сбившихся в стайку, буйных, хохочущих и, как он утверждал, пьяных. Бутылок не нашли; о том, что от нас пахло спиртным, нигде не упоминалось — мы просто как-то не так себя вели. Говоря по правде, я понятия не имею, был ли кто-то из нас в тот вечер пьян, или нет. Дело в том, что многие из нас, особенно

я, пили настолько регулярно, что невозможно припомнить, какими мы были в тот раз. Вряд ли я могла особо настаивать на своей правоте, но одна из наших, крохотная девчоночка по имени Фиби, которая играла на скрипке и прилежно училась, ужасно перепугалась, все время причитала, что родители ее убьют за отстранение от занятий, и дрожала не переставая. Ужасно видеть, как такая худенькая девчоночка, кожа да кости, трясется от страха.

Мы сочли такую меру пародией на правосудие и стали протестовать. Мать позвонила и спросила, позволю ли я ей устроить сидячую забастовку в кабинете директора. Эта идея меня привела в дикое замешательство, но мать спросила разрешения, и я сказала — да, хорошо; и теперь обратного хода не было. Мать приехала, захватив спальный мешок и немного еды; заперлась в кабинете директора и передала письменное заявление, где было указано, против чего она протестует, и перечислены требования. В результате, если я правильно припоминаю, дирекция пошла на компромисс. Нас все же отстранили от занятий на две недели, но решили не вносить это в наши личные дела. Кто-то из моих «родителей» по спальному корпусу пригласил меня провести эти две недели во Флориде. Мы с подругой решили использовать эти каникулы, чтобы сбросить вес. Я постоянно переедала с тех пор, как потеряла Майкла, — пыталась заполнить внутреннюю пустоту. За столом мы почти ничего не ели, зато в комнате устраивали пир, поглощали несметное количество латука, посыпая его сахарином из маленьких розовых пакетиков.

Отец в письме поблагодарил меня за открытку, которую я послала ему с Исламорады: он написал, что это похоже на Форт-Лодердейл, только без «Вольфи». Он надеется, писал отец дальше, что я способна взглянуть на всю эту историю с отстранением от занятий достаточно «объективно» и заметить, как искажается правосудие, когда каждая из сторон использует истину в собственных целях. «Люблю тебя, старушка».

27
Родственные души

Credo in unum Deum, factotem caeli et terrae, visibilium omnium, et invisibilium[231]

Когда наше отлучение закончилось, и мы с подругой, вызывающе загорелые, вернулись в школу, оказалось, что нас разлучили, развели по разным спальным корпусам. Не знаю, каков был замысел подобного перемещения, если был хоть какой-то, но для меня это ознаменовало счастливую перемену всей жизни. Меня перевели в частный дом, находящийся на территории школы; его хозяева, пожилая пара, сдавали комнаты ученицам. В меньшей комнате жили Минни-Ау, индианка-чокто из Оклахомы, и Шейла, афро-американка из Майами. Я жила в одной комнате с еврейской девочкой Дебби и Трейси, индианкой из племени гро-вантр, из Монтаны. Позже Пэт, индианка-сенека из штата Нью-Йорк, сменила Дебби. Коренные американцы попали в школу по федеральной программе ЭйБиСи — «Лучший шанс». Не знаю, предоставляла ли кому-то из них «лучший» или хотя бы какой-нибудь шанс эта программа вообще и в Кембриджской школе в частности. Может быть, сейчас что-то изменилось, но тогда они просто набирали способных, неимущих ребят прямо из резерваций, или с городских окраин, или из лесов Мэна, и заталкивали в лилейно-белые закрытые школы, где отсутствовала какая бы то ни было система культурной поддержки; не удивительно, что процент коренных американцев, закончивших школу, был, насколько мне известно, провальным. Но мне, несомненно, выпал «лучший шанс» в жизни благодаря дружбе с ними. Когда я пишу эти строки, на моей руке красуется браслет из бусин, который прислала мне на сорокалетие Трейси, бывшая соседка по комнате. На моем ночном столике лежат ремешки из оленьей шкуры, с нанизанными на них бусинками, которые вплетают в косы, амулеты, бабушка Трейси сделала их для меня к моему шестнадцатилетию. Думаю, она знала, до какой степени нуждается в оберегах подружка ее внучки. Недавно Трейси написала мне, что ее дочь Карлин, которую я помню в колыбели, сама родила дочку. Мне не терпится познакомить с ними сына. Может быть, мы встретимся летом, на ярмарке в Кроу.

На каникулах я часто гостила у Пэт, в резервации индейцев-

сенека, возле Буффало, штат Нью-Йорк. У нее семеро братьев и сестер. Одну комнату занимали мальчики-близнецы, которым тогда было по четырнадцать, и у Пэт, старшей, пятнадцатилетней дочери, тоже была своя комната, а другие девочки, двенадцати, восьми, четырех и трех лет, спали все в одной комнате, вповалку на матрацах; грудной ребенок все еще был с мамой Пэт и ее отчимом, в их спальне. Мама работала в больнице — работа хорошая, разве что часто приходилось дежурить по ночам, а отчим занимал в племени какое-то высокое положение. Отец Пэт умер до того, как мы встретились. Я, правда, едва не встретилась с ним.

Однажды в школе, посреди ночи, Пэт села в кровати, пододвинулась к краю и вытянула руку. Я всегда, с самого детства, сплю вполглаза, поэтому почуяла опасность и не дала ей чего-то коснуться — потом она мне рассказала, что то была рука ее умершего отца. Стоило ей дотронуться до этой руки, утверждала Пэт, и она ушла бы вместе с отцом. После мы сдвинули кровати и спали рядом.

Я полюбила семью Пэт и чувствовала себя в резервации, как дома, — в последний раз я испытывала такое чувство маленькой девочкой, в лесу, — вещи видимые и невидимые точно так же являлись мне. С моими индейскими друзьями я ощущала, что круг замкнулся, что моя жизнь достигла хрупкого равновесия между миром снов, миром леса, царством духов и тем, что белые, принадлежащие к среднему классу, называют реальностью — автомобиль, работа, счет в банке; и то, и другое входило в наши жизни, мою и их. Мы пытались, с переменным успехом, проводить наши суда между этими мирами. Например, моя подружка-хиппи из Аризоны, рассказывала мне, как пыталась объяснить капитану своего воздушного лайнера, почему, во избежание самых скверных последствий, она должна перед полетом совершить обряд растирания кукурузных зерен. Где-то глубоко, в сердцевине моего существа, за пределами рассудка, во мне, как и в моих друзьях, жила вера в реальность таинственного ночного мира. Как и большинство коренных американцев, моих ровесников, я была лишена культурной почвы, преданий моего племени, и не могла с невозмутимым спокойствием пересекать границу между мирами. Нам была доступна какая-то тайна, но мы понятия не имели, что с нею делать, и тогда напивались, чтобы получить объяснение, оправдать наши метания, путаницу в мыслях, которая возникала от знаний, нами не понятых, от снов, вырванных из контекста.

Опыт «видений», когда ты знаешь, что должно случиться, но не можешь объяснить, каким образом ты это знаешь, в резервации считался нормальным, был частью жизни, а не каким-то фокусом.

Я себя почувствовала в родной стихии в тот день, когда мы с Пэт решили поехать навестить ее бабушку, с которой я еще не была знакома. Она жила в отдалении, без телефона. Когда мы прибыли, бабушка ждала у двери. Она взяла меня за руку, не дожидаясь, пока нас познакомят, и сказала, что только что сварила для меня кукурузный суп. Пэт потом рассказывала, что это — особый суп, который готовят в каких-то ритуальных целях. Для меня — как раз то, что надо, что доктор прописал.

Мама Пэт сказала, что раз уж мы с Пэт так сроднились, нужно совершить обряд и принять меня в племя. Я ни с кем не делилась своими страхами, просто чувствовала, что не готова принять духов всех этих предков в качестве новой семьи. Я ощущала, что корни мои не настолько глубоки, чтобы выдержать такой напор[232].

Теперь, оглядываясь назад, я не думаю, чтобы взрослые допустили меня до обряда посвящения без предварительной подготовки, обучения, заботы, но в то время я так привыкла заботиться о себе сама, что это мне даже не пришло в голову. Я просто думала, что меня, как говорится, бросят плавать по дерьму, не дав весла.

Вернувшись в школу, мы с Пэт и Трейси стали ездить автостопом в Дартмут на уик-энды. В Дартмуте было много коренных американцев, и уик-энды превращались в одну сплошную вечеринку. Зимним, снежным днем я встретила Дэна, который лет до двадцати был моим парнем, а потом — любимым другом и братом. Он жил на боковой дороге, за Чейз-холл, где обосновались почти все наши друзья, пока колледж не построил Индейский дом. Помню, когда я увидела его, сердце у меня ушло в пятки, и я слова не могла сказать. Чего не помню, так это того, кто из нас раскололся первым. Можно назвать это любовью с первого взгляда.

Дэн по сей день клянется, что я прибавила себе лет. (Дочке его почти десять, и он по-прежнему тверд, как скала!) Кажется, я вообще не упоминала о своем возрасте, пока мне не исполнилось шестнадцать — и тогда челюсть у него отвисла до пола. Ему было лет восемнадцать (смотря на какое свидетельство о рождении полагаться: его мать выправила два, с полугодовой разницей), и он учился на втором курсе. Его отец, могавк, работал сварщиком, как многие индейцы из резервации вблизи Монреаля: они ездят в Нью-Йорк и всю неделю трудятся на строительстве небоскребов, отличаясь тем, что передвигаются по стальным конструкциям на высоте сорокового этажа так непринужденно, словно гуляют по лесу; на выходные рабочие приезжают домой. Его мама, хрупкая женщина, которая жила на сигаретах, кофе и сухом печенье-

ассорти, продававшемся в картонных коробках с прозрачным целлофановым окошком — похоже, только старики покупают такое в маленьких близлежащих магазинах, — страдала, как он недавно обнаружил, раздвоением личности, заключала в себе нескольких человек. Если бы не милость Божья да не помощь друзей, я могла бы, к моему ужасу, стать такой, как она. Но с тех пор, как мы с Дэном встретились, у меня уже не было провалов и «шизофренических» отключек.

Якоря наши были не очень крепкими, но мы как-то поддерживали друг друга на плаву, пока не кончилось отрочество, и я не получила какую-то — нет, *очень хорошую* — психотерапевтическую помощь, а он не перебрался из Дартмута в Оберлин, в более благоприятную среду, где начал блестящую карьеру, которая продолжилась на юридическом факультете Иельского университета.

До сих пор не знаю, каким образом нью-йоркская газетенка пронюхала о нашей связи — я вовсе не была, что называется, «светским мотыльком». Дэна там окрестили «краснокожим, с которым встречается дочка Сэлинджера», — это, по мнению авторов подметного листка, должно было «выманить отшельника из леса!» Кажется, Лилиан Росс, сотрудник «Нью-Йоркера» и наш друг, обнаружила статейку и сообщила отцу, а тот в свою очередь сообщил мне, так что я услышала новости от него, не от кого-то другого. Вопреки предсказаниям газетенки, когда я привезла Дэна домой для смотрин и допроса с пристрастием, он так понравился отцу, что тот вытащил на свет божий старые магнитофонные записи с военными песенками, которые я напела в возрасте четырех лет. Дэн — единственный из моих знакомых, кому отец показывал оружие из своего арсенала. Даже *я* многого не видела.

Папа научил меня стрелять тем же способом, каким Симор учил мальчишек бросать шарики, — не целясь. Ты просто считаешь пистолет продолжением своей руки и стреляешь. Начнешь думать — промахнешься. Я обычно выбирала ромашку, росшую вдали, и сбивала цветок; стебелек не считался. На папу произвела впечатление меткая стрельба Дэна, а этого не так-то легко добиться, но мне не нравился нездешний взгляд, который появлялся у Дэна, когда тот стрелял. Еще меньше он понравился мне через два года, в колледже, когда я вошла в свою комнату и увидела, как Дэн, голый, сидит в темноте, с пистолетом 38-го калибра, прижатым к лицу, — он уже готов был спустить курок, и мне пришлось его отговаривать. Или в другой раз, когда я проснулась и обнаружила, что Дэн сидит прямо и целится из дробовика в ноги кровати. Я осторожно спросила его, в чем дело,

а он ответил: «Разве ты не видишь, разве не видишь этих ублюдков?» Я перекрестилась. Слава богу, на этот раз пронесло. Меня страшит неведомая сила, хуже которой нет ничего, — сила, неуязвимая для ружья. Может быть, помогли бы серебряные пули и белена.

В детстве Дэн не выжил бы, если бы не был очень и очень умным. Кроме членов семьи еще очень многие пытались его убить: он жил на южной окраине Чикаго, на территории, которую контролировала банда Блэкстоун-рейнджер, к тому же был цветным. Если учесть, какую ловкость, какие стратегические умения должен был он выработать, чтобы остаться в живых, нет ничего удивительного в том, что у него развился дар шахматиста. На День благодарения 71-го года Дэн отправился на шахматный турнир в Нью-Йорк, и когда папа написал, что тоже туда собирается, я подумала, что он может меня подвезти. Мне хотелось еще навестить школьную подругу, Тришу, которая уже год лежала в нью-йоркской больнице с какой-то странной формой паралича. Папа поговорил с ней и убедил ее сидеть в оргоновом ящике, вернее, просить, чтобы ее туда сажали[233]. Но чудесного исцеления не произошло.

В дневнике, который я вела с девятого класса и до конца средней школы, эти праздники описаны достаточно подробно. Писала я урывками, когда больше нечего было делать, например на уроках. Отрывок, посвященный Дню благодарения, начинается так: «Сижу на математике, слушаю, как всегда». Я записала, как мы с папой остановились в отеле «Дрейк» и вместе завтракали, обедали и ужинали накануне Дня благодарения. В четверг «он собирался куда-то пойти, а я хотела остаться в гостинице и заказать праздничный обед из ресторана». Меня это как-то не слишком угнетало, но когда я позвонила Холли, которая тоже приехала в город на праздники, та пришла в ужас при одной мысли. Она мне перезвонила, и мы вместе отправились обедать к ее бабушке. После обеда «пошли искать киношку и выпивон, не нашли, вернулись в гостиницу, посмотрели фильм Богарта, опять шлялись. В пятницу я все время звонила Дэну, но его не было. Папа уехал, подкинув меня к дому отца Холли».

В конце концов я решилась и поехала в гостиницу, где проводился шахматный турнир. Дэн был рад меня видеть, но он жил в одной комнате с тремя другими шахматистами из дартмутской команды, и мне было, мягко говоря, неудобно с ним оставаться. Вы когда-нибудь общались с шахматистами во время турнира? И не надо.

Тем же вечером я улетела в Бостон. Помню, как я смотрела из иллюминатора вниз, на город: мне было страшно, что Дэн где-то

там, внизу, среди миллионов огней, а я — здесь, наверху, в ночи, и меня отделяют от моей пристани мили черного неба.

Рождество тоже не задалось. Дэн был в Чикаго, а я — в Нью-Гемпшире. Я писала в дневнике:

> «24 декабря 71-го.
>
> НЕНАВИЖУ Рождество. Не могу дождаться, пока все это кончится. Какого хрена делаю я с моей жизнью? Толстая, как черт, липну к Дэну…
>
> Понедельник, 27 декабря.
>
> Рождество прошло на редкость скверно. Мы с папой поругались. Скучаю по Дэну. Купила новые ручки».

Вот все, что я написала в тот день. Потом собрала вещи, уехала и провела остаток каникул у приятеля Эми, в Саутэнде. Уже там я описала свою ссору с отцом. Возникла она, как всегда, вроде бы из ничего. По непонятной причине он вдруг разозлился за то, что я не перезвонила какой-то девице, которую не видела с пятого класса; отцу она, однако, нравилась, он болтал с ней каждую неделю, когда она диктовала ему по телефону счета из бакалейного магазина. Думаю, он и посоветовал ей позвонить, когда я буду дома. Вот что я написала (заткни уши, мягкосердечный читатель!):

> «На следующий день папа разошелся по-крупному. Понес насчет того, что мне плевать на всех, кроме себя самой и своих бостонских друзей — на него, на Мэтью, на всех остальных. Я становлюсь тупой и вульгарной особой и вожусь с вульгарными и пошлыми людьми. А еще он сказал, наверно имея в виду книжку Лэнгстона Хьюза, которого он считает дрянным поэтом, что я с головой окунулась в эту культуру. «Я всегда буду относиться к тебе с любовью и нежностью, но лучше тебе не терять моего уважения. Я сильно меняюсь, когда перестаю уважать кого-то». Поцелуй меня в зад, Джи Ди.
>
> Наутро я смоталась».

В следующие каникулы Дэн вернулся из Чикаго (не знаю, почему он пропустил семестр), и мы поехали отдохнуть к Пэт. Зима кончалась, пришло время расчищать место для весны, как

это делают индейцы. Пэт сказала, что очень скоро придут Чужие лица, в одну из ближайших ночей. Чужие лица (мужчины из племени, надевающие маски, которые можно видеть в музеях, и в самом деле *становящиеся* чужими) каждую весну выбирают определенную ночь и ходят из дома в дом, изгоняя духов зимы и прочих духов, от которых лучше избавиться.

Нас разбудил какой-то грохот. Я выбежала из спальни. Маленькие сестренки Пэт, Тесси и Бетани, стояли в передней, крепко прижавшись друг к дружке и зажмурив глаза. Я подхватила их на руки. С этого места мой рассказ не может течь плавно, потому что время перестало течь. Нельзя рассказать в нашей обычной временной парадигме историю о том, Что происходило вне времени или в ином времени. Вот почему некоторые истории принимают форму стихотворения. Вот почему формой других историй может быть только песня или танец. Я знаю, что видела маски и слышала их, но единственное, что, как я думаю, мне дозволено помнить визуально, — это контур спины одного из танцоров, кружащихся в пляске. Я знаю, что они приходили, во мне остался даже ритм танца, набор движений. Я также знаю, что не могла не видеть их лиц, ведь все делалось в открытую, и в прихожей горел свет. Просто время искривилось.

Следующее, что я помню: я сижу на диване с малышками на коленях, и занимается заря. Маски ушли. Четырехлетняя Бетани смеется: «Я совсем не боялась, а вот Тесси /трехлетняя/ боялась, и я ее все время обнимала». Настоящие «ловцы» могут быть и большими, и маленькими.

Только через много лет, попытавшись записать эту историю, я поняла, что каких-то вещей совсем не помню, и что время исказилось. Я позвонила Дэну и спросила, что помнит он. Дэн не очень любит говорить о таких вещах, но я на самом деле хотела знать. Разные движения он запоминает прекрасно, как настоящий гроссмейстер[234]. Оказалось, и он тоже не сознавал, что время изменилось, пока не попытался связать его воедино, нанизать, как бисер, на нить рассказа.

Он помнит, что куда быстрее меня выбежал из спальни, и что отчим Пэт загнал его на кухню, когда Чужие лица со страшным грохотом распахнули входную дверь. Но после этого, вплоть до самой зари, время и память отступили, и их место заняли ритмы танца.

Однажды я расхохоталась посреди лекции в Гарвардской школе богословия, которая *не* славится легкомыслием, припомнив одну встречу с друзьями из резервации. Лекторша, назвавшая себя «эко-феминисткой и теологом», распространялась

о духовности коренных американцев, будто вообще можно говорить о таких разных народах как о некоей общности. Она разливалась соловьем об их уважении к земле, а я вспомнила, как в давние времена мы с Пэт поехали на уик-энд встречаться с нашими парнями. В городе зашли в бар — меня без проблем обслуживали с четырнадцати лет — и решили взять пару упаковок пива, а потом поехать по Версэлской (произносится Версэлской) окружной дороге куда-нибудь в поля. Мы уселись в кружок, болтали, пили пиво, дурачились, смотрели на светлячков, пока не настала пора возвращаться. Мы подобрали весь мусор, но перед самым уходом один из парней поставил банку с пивом на землю. Я, мисс-ратующая-за-чистоту-окружающей-среды, схватила ее, собираясь вылить пиво и взять с собой пустую жестянку. Мягко, но тоном, не допускающим возражений, парень велел поставить ее на место. Позже Пэт сказала мне, что они так делают всегда, оставляют жертву духам полей.

Преподавательница молола свое, а я вспомнила эту священную банку «Шлица» и весело расхохоталась. Дух дышит, где хочет, там, где вы меньше всего его ожидаете. Порой он говорит с вами в псалмах, порой — в священном танце, а иногда произносит сакраментальную фразу: «В доме нет „Шлица“ — в доме нет пива».

28
Дитя исчезает

Каникулы перед последним классом я провела в Корнише, на старой отцовской квартире над гаражом, Дэн летом преподавал в Дартмуте по программе ЭйБиСи. Я могла бы перебраться к нему, но мой младший брат тоже приехал на каникулы в Корниш. Я не хотела подавать дурной пример, и каждое утро, перед тем как брату проснуться, папин старый «сааб», который он отдал мне (эта развалина джипу и в подметки не годилась!), стоял на нашей подъездной дорожке. Дэн в этом плане тоже не подкачал: возил моего брата по окрестностям, играл с ним в баскетбол, но никогда не показывался за завтраком.

Этим летом как-то раз случилось нечто необыкновенное. Я поехала в город за почтой вместе с папой. Пока он ходил за письмами, ждала в машине, не встретив ни мистера Каста, ни мистера Керзона. Папа, возвращаясь, держал в руках какой-то конверт. Вгляделся в адрес, потом спокойно, не открывая, порвал конверт на мелкие кусочки и положил в боковой кармашек, предназначенный в машине для мусора. Подняв глаза, сказал, что письмо от Сильвии, его первой жены. Она впервые давала о себе знать с тех самых пор, как они разошлись после войны. «Разве тебе хотя бы не любопытно, что она могла написать?» — спросила я. Мне просто не верилось. Папа сказал — нет, если он покончил с кем-то, значит, раз и навсегда. В то время меня поразило его самообладание, и я признавалась себе со стыдом, что на его месте не удержалась бы и хотя бы заглянула в письмо. Я молча задавалась вопросом, нет ли у меня где-нибудь сводных сестры или брата.

Когда я была маленькая, я часто сидела у дороги и ждала кого-то, глядя вдаль. Когда родители спрашивали, в чем дело, я отвечала, что жду старшего брата, который должен возвратиться домой. Это не была игра: я хорошо помню, что действительно его ждала, была уверена, что он где-то странствует и скоро вернется.

Вскоре после этого письма меня ждал еще один сюрприз: однажды утром я проснулась в доме моего отца, вышла в гостиную и обнаружила там девушку во фланелевой ночной рубашке, сидящую на отцовском диване. Отец, наверное, что-то о ней говорил, но я помню одно — как странно мне было встретиться лицом к лицу с Джойс Мейнард. Прости мне, Джойс, мысль, зародившуюся в голове у такой же, как ты, девчонки, но неужели *этого* дожидался папа все годы? Это и есть первая

«женщина», которую отец, насколько мне известно, пригласил в свой дом? То есть, она, конечно, была хорошенькая и все такое, но как отнестись к тому, что она выглядит на двенадцать лет? Вместо потенциальной мачехи передо мной сидела младшая сестренка. Одевшись, она вышла в легоньких, девчоночьих теннисках со шнурками и так далее, и папа сказал: «Правда, Пегги, красивые туфельки, — ты тоже можешь купить такие у Вулворта. У Джойс их несколько пар, разных цветов». Я что-то пробурчала, а про себя подумала — да, папа, крррррасивые. Сейчас побегу и куплю себе *точно* такие. Только подожди, пока *окончательно* впаду в маразм, ладно? «Звездные» высокие сапоги с отворотами — единственное, что в том году «прилично» было носить, или мои любимые «киллеры», из черной замши, выше колена, с трехдюймовыми каблуками и контрастной, оранжевого цвета платформой. И любая уважающая себя девчонка спит в растянутой, самого большого размера футболке своего парня, а не в детской фланелевой ночнушке. А вот взрослая женщина, как значилось в моих книгах, носит обручальное кольцо и халат и всегда одета к завтраку, разве что она больна гриппом, или нынче День матерей, или наступила ядерная война. В моих книгах, в мире моего вымысла.

Джойс тоже описала нашу встречу. Я едва закончила первую редакцию моих воспоминаний, когда вышли из печати ее, так что интересно сравнить два взгляда на одно и то же событие.

«Пегги пришла ночью и легла на односпальную кровать, которая стояла рядом с моей. Пришла очень поздно. Ездила к своему приятелю в Дартмут. Я проснулась, а она еще спит…

Где-то около полудня Пегги появляется из ванной… Настроена не враждебно, однако и не слишком восторженно.

«Познакомься, пожалуйста, с Джойс, — произносит Джерри. — Я тебе о ней говорил. Она написала ту статью в журнале».

«Привет», — кивает она. Потом берет журнал, листает. Даже не пытается поддерживать разговор»[235].

«… Мне нравятся дети Джерри, но у меня мало общего с веселым, общительным двенадцатилетним мальчиком и его шестнадцатилетней сестрой, которая любит играть в баскетбол…

В то время как моя тактика в большом мире всегда была примиренческой — притворные прелесть и очарование, чтобы понравиться взрослым, — манеры Пегги говорят о бескомпромиссной честности. Пегги на два года моложе меня, но, кажется, владеет собой куда лучше. Может быть, втайне она и ощущает шаткость своего положения или в глубине души ревнует ко мне, но я взираю на нее с благоговейным страхом: мне

кажется, что в большом мире она ведет себя куда увереннее, чем я. В присутствии Пегги я чувствую себя голой и до странности глупой»[236].

По правде говоря, я не слишком думала о ней. В самом деле, казалось, будто в комнате сидит кто-то голый и до странности глупый, я невольно отводила взгляд, чтобы не смутить ее еще больше. Мы с Дэном выглядели такими нормальными — я от этого чувствовала себя уверенно и в то же время ощущала какую-то неловкость, когда сравнивала наши отношения со «всем» (так я это тогда определяла, не желая детализировать), что происходит между папой и Джойс. Та писала:

«Иногда они /Пегги и Дэн/ сидят в гостиной Джерри. Они приезжают по воскресеньям, смотреть спортивные передачи. Привозят баскетбольные мячи. У Пегги они лежат в футляре. Оба, насколько я вижу, не придерживаются правил питания, установленных Джерри. /Дэн/ даже пьет колу»[237].

Когда папа порвал с Джойс, я имела несчастье находиться рядом. Мы были в Дэйтона-бич; папа отвел меня в сторону и сказал, что завтра Джойс уедет к себе. Я не стала спрашивать, почему, но он, что для него необычно, сам объяснил, что Джойс хочет иметь детей, а он «слишком стар, чтобы снова слушать топот маленьких ножек», и поэтому решил, что будет только справедливо порвать с ней сразу и навсегда. В его голосе не ощущалось досады, то не была обычная диатриба против женщин. Он полагал, что Джойс имеет полное право иметь детей, и сказал, как де Домье-Смит о сестре Ирме, хотя и не столь цветисто, что должен отпустить девушку на волю, дать возможность найти собственную судьбу. В то время я невольно ощущала, что, пообщавшись на каникулах, пусть и недолго, с собственными детьми, он убедился, что вовсе не желает начинать все сызнова. Я знала, что папа нас любит, но перспектива терпеть детей рядом с собой больше, чем несколько дней, замораживала, убивала на корню все фантазии, каким могли предаваться он или Джойс относительно общего ребенка.

Я всегда полагала, что на тех, кто страстно желает иметь детей, кто наслаждается материнством в мечтах и грезах, неделька, проведенная с настоящими живыми детьми, действует отрезвляюще. Джойс — наивная дура.

«Он смотрит на воду, на детишек, на студентов, веселящихся во время весенних каникул; на машины, снующие туда-сюда по песку. Выглядит очень старым. Плечи сгорблены. Он опирается лбом о руки.

"Знаешь, — говорит он, — я не смогу больше никогда иметь детей. С этим покончено"»[238].

Он, рассказывает Джойс, велел ей рано утром уехать в Корниш, при этом собрать свои вещи тихо, незаметно, чтобы не потревожить детей. Сбылись в точности мои предположения по поводу английской девушки отца, которая давным-давно путешествовала с нами по Шотландии: Джойс, как она пишет, «лежала в темноте, слушала дыхание спящей /Пегги/ и хотела только одного — выплакаться всласть. Но я знаю, что нельзя разбудить Пегги. Поэтому иду в ванную». Вроде бы ее плач разбудил отца, спавшего в соседней комнате, он зашел в ванную на короткое время и шепотом велел ей успокоиться. По правде говоря, мне трудно поверить, что я спала при таком переполохе; я вскакивала в мгновение ока, стоило брату зашмыгать носом. Возможно, я не была настроена на ее волну; не знаю. Она исчезла на следующий день, будто ее никогда и не было.

А забеременела в том году я, и не подозревала ничего, пока меня не начало тошнить каждое утро перед школой. Недавно в старой коробке с памятными документами я наткнулась на листок бумаги. Понятия не имею, зачем я сохранила его. То был квиточек из Лексингтонской поликлиники и там значилось, черным по белому: «тест на беременность позитивный». Я тогда жила в Лексингтоне, пригороде Бостона, в квартире, которую снимала вместе с Дженис, одноклассницей из Кембриджской школы, которая тоже решила, что не сможет выдержать еще год в интернате. Мы обсудили несколько школ, включая Лексингтонскую христианскую академию, где тренировались «Кельтикс», а «Джо Джо Уайт» позволяли даже стоять на балконе и смотреть, только тихо. Мы слышали однажды, как тренер готовит команду к игре с «Книксами», которая должна была состояться на следующий день, и это было здорово. Тренер прошелся по всему списку нью-йоркских игроков, намечая стратегию по отношению к каждому, пока не добрался до Уолта Фрезьера. Тут он просто покачал головой и сказал: «А Фрезьер есть Фрезьер». Никто не засмеялся, никому никаких объяснений не потребовалось: в тот год парень был недосягаем. Другим заведением, которое мы могли выбрать, была публичная средняя школа в Лексингтоне. На ней мы и остановились по причинам, которых я уже не помню, сняли квартиру, придумали себе попечителей и записались в Лексингтонскую среднюю.

Теперь я думаю, что чувствовала бы себя лучше в любой городской школе, чем в этой пригородной. Во всяком случае, там бы я не настолько выделялась. Моих одноклассниц заботили такие вещи, как например, покупка платьев на каждый день и на выход. Меня заботила моя работа (я устроилась официанткой),

беременность и квартирная плата. Отец, скрепя сердце, определил мне годовое содержание, которого хватило бы на крышу над головой где-то в 1930-е годы. Я ему заявила, что он зажимает деньги, предназначенные на мое образование, но он рассвирепел и пригрозил, что вообще ничего посылать не будет. Ему было все равно, где я живу, но как только речь заходила о деньгах, он впадал в ярость, ему казалось, что все его обирают, все — «паразиты»: его любимое словечко, которое он приберегал для женщин и для преподавателей колледжа. То-то я уписалась, когда обнаружила в его биографии, что он лет до двадцати пяти жил с родителями (и за их счет). Ах, прошу прощения, он — настоящий писатель, это совсем другое. Ну ладно, пусть я подаю ленчи в столовой и едва свожу концы с концами; многие ребята так живут — но ведь этих треклятых забот с легкостью можно было избежать: отец вовсе не был беден, деньги у него водились, и такую несправедливость мне было трудно переварить. Хорошо еще, что я все предусмотрела и придумала себе попечителя с низкими доходами, так что, по крайней мере, меня в школе бесплатно кормили.

Выдуманный попечитель оказался незаменим еще и потому, что он отвечал на замечания по поводу прогулов. Я ходила в школу по вторникам, средам и четвергам, а длинные уик-энды проводила с Дэном в Дартмуте, кроме сезона соревнований по баскетболу, когда у меня были ежедневные тренировки. В ответах учителям я выражала глубокую озабоченность тем, что Пегги пропускает занятия, но как-то умудрялась намекнуть, что если за три оставшихся дня она получает высшие баллы, то о чем говорить?

Когда я призналась Дэну, что беременна, было раннее утро. Он повернулся ко мне, полусонный, и довольно изысканно сделал предложение, которое я приняла. Через месяц он сообщил, что на следующий семестр поедет в Африку, по программе обмена, но вернется к рождению ребенка.

Однажды утром, когда меня рвало в туалете, я сломалась. Мне в одиночку этого не выдержать — вот все, о чем я могла думать. На четвертом месяце беременности я сошла с круга. Без спроса взяла у брата со счета 150 долларов на аборт и на автобус до Нью-Йорка. Это — самый печальный момент во всей моей жизни. Я хотела ребенка, просто была слишком напугана, слишком одинока — я и понятия не имела, что могу получить какую-то помощь: от благотворительных организаций, от AFDC[239] так далее. В средней школе таким жизненно важным навыкам не обучают.

Отец моей подруги Эми, психиатр, написал письмо в одну

нью-йоркскую клинику, указав, что, если я доношу ребенка до срока, это нанесет непоправимый вред моему здоровью, или что-то там еще. В те дни нужно было предъявить письмо от врача. Знала бы я тогда об общежитиях для юных матерей или о других способах поддержки, но у меня даже в мыслях не было, что кто-то может мне помочь, взять к себе. Наверное, как я думаю сейчас, я могла бы пожить у родителей каких-нибудь моих старых друзей, но в то время я так была настроена, что даже вообразить себе не могла спокойного, безопасного места. Я тогда считала, что все меня бросили на произвол судьбы. Друзья помогли бы мне, но тогда мне были нужны не друзья, а кто-нибудь из взрослых, чтобы заботиться обо мне и учить меня, как заботиться о ребенке. Встретить бы мне тогда такую женщину, как я сейчас, в зрелые годы. Дэн часто говорит то же самое: как здорово было бы тогда иметь рядом кого-нибудь такого, как он в зрелые годы, — этот взрослый друг помог бы нам, как сейчас Дэн помогает сыну и дочери, делясь своими соображениями, обсуждая проблемы, которые у них возникают.

Я хотела ребенка, я просто не хотела быть матерью, потому что не знала, как ею быть, и прекрасно отдавала себе в этом отчет. Я знала, что совершаю ужасный поступок, и это до смерти пугало меня. И запугало до того, что мой малыш погиб. Я беру на себя полную ответственность за свое решение, не думайте; просто хотелось бы, чтобы в то время мне кто-нибудь рассказал, как вместо этого взять на себя ответственность за ребенка. Пэт и Трейси тоже забеременели в тот год, но они вернулись домой и родили. Время от времени они посылают мне фотографии своих дочерей, но и без этого я никогда не забываю, сколько лет было бы сейчас моему ребенку. Ровно столько, сколько девушке, которая сидит с моим сыном. Я вдруг ловлю себя на том, что дарю ей шелковые шарфики и хорошие свитера, которые бы еще носила и носила. И жемчуг, который она наденет на выпускной акт в колледже.

Мне не очень хочется к этому возвращаться — в моем дневнике сказано все о том, насколько в действительности неромантична беременность в юные годы.

/1972/

«Я пытаюсь успокоиться, я не хочу сходить с ума. Я так боюсь, что меня оставят одну с малышом. Я буду блевать в унитаз, думая, что лучше сдохнуть. Просыпаться в одиночестве и размышлять — боже мой, я стану матерью, и никого не будет рядом. Буду сама наблюдать, как растет мой живот. Никто не позаботится о белых занавесках с оборочками и прелестных игрушках от „Фишер-прайс“, да и о светлой, уютной, новенькой,

заново обставленной комнатке для малыша. Никто не скажет: „Не поднимай тяжести, тебе вредно: давай я“. Никто не обрадуется, заметив: „Ого, он брыкается: подумать только, это ведь маленький я, там, внутри“. Нет, мне ничего такого не светит. Мне предстоит скрывать это сколько возможно, думая свою думу в *одиночку*. Одна, совсем одна, покинутая, в смятении: боже мой, я — мать. Проблевавшись, глядеть из окошка ванной в полном одиночестве. Давиться в школьном буфете дерьмовой лазаньей: никто ведь не настаивает, чтобы я питалась хорошо.

Наверное, я и рожать буду совсем одна, и врачи в белых халатах будут пялиться на мое беззащитное тело — ноги в зажимах, как в каком-нибудь фильме ужасов про маркиза де Сада; в меня тычут остриями, разрывают нутро — а я совсем одна, и никто не ждет меня в зале для посетителей. Нет, никто не волнуется за меня, не меряет шагами комнату. Да-да: он в Африке, он к нам когда-нибудь вернется. Он в самом деле хочет быть отцом этому ребенку. Да, по воскресеньям, а менять пеленки, а кормить в четыре утра: это все я одна, и беспрерывно спрашиваю себя, одна-одинешенька: „Хорошая ли я мать? Почему бы этому треклятому ребенку не заткнуться и не заснуть?“ Одна, все время одна. Да-да, он будет отцом, язва незаживающая… „Может, поеду на Аляску, а может, на Гаваи, — вот что он говорит. — Я так долго ждал этой поездки в Африку. Я вернусь до рождения ребенка“.

А я совсем одна в пустой квартире. Совсем одна и беременная. Ей-богу, мне кажется, что я теперь всю жизнь буду одна. Рождество в доме, где ты всем чужая, или, еще хуже: Рождество в гостиничном номере, с любовником, который тебе чужой; в чужой стране, где вокруг одни моряки, а ты совсем одна. Бродишь по берегу моря почти счастливая и замечаешь вдруг, что кто-то преследует тебя: бежать, бежать — в пустую квартиру, к пустому любовнику, к своему рядом с ним одиночеству… Слишком больно. Больно, очень больно — хочется, чтобы тебя любили и поддерживали, но знаешь, что чувства твои не взаимны, что ты и в чувствах своих одинока. Мир ускользает из-под ног каждый раз, как дашь себе волю и признаешься, что тебе кто-то нужен; а после пустота ширится, потому что в сердце образовалось больше места и чем-то его надо заполнить. Так и лоно мое опустело — стало более пустым, чем прежде. Хуже, гораздо хуже, чем пустым: в нем гораздо больше места — оно растянуто, расширено, опорожнено, вычищено; железяки длиною в фут вылезли из меня с кровавой марлей на конце, и новую жизнь поглотила огромная машина с гудящим мотором. И Боль. Ужасная мука, когда что-то вытягивают, вырывают, вычищают из

самых нежных твоих частей — кажется, вот-вот все внутренности отправятся следом. Уставившись в белый потолок — без обезболивающих, без анестезии — только поп-музыка играет по радио, которое включено во всех комнатах, даже и в комнате смерти, простите, операционной. Толчок боли — „Ах, милая, мы просто расширили тебе шейку матки“. В меня вгоняют гигантскую иглу — „Ах, милая, это просто укол, скоро ты ничего не почувствуешь“. И когда все позади — где он, нежный, полный сочувствия мальчик с расширенными от страха глазами, который выглядит как раз настолько взрослым, чтобы самостоятельно взять такси; видно, как он напуган, как ему хочется плакать, и как он все-таки любит меня. Он ничего не в состоянии сказать — но молодые ребята в джинсах расходятся парами, поддерживая друг друга, как в песне Донована: „Мы стояли в ветреном городе, дождь бросал нам слезы в глаза“.

Я, потом толстушка, приехавшая из Пенсильвании, и еще несколько девчонок ушли одни. Никто не ждет нас в зале для посетителей. Я беру такси для девчонки из Пеней, а сама решаю, что делать — обратиться, может быть, за помощью к другому ребенку, такому же, как я. Нет, Эми не до меня. Она идет на вечеринку. Мне так нужен хоть кто-нибудь, что я в полночь выбегаю на темные улицы Нью-Йорка. По углам — банды Мальчишек, они кричат вслед непристойности. Мне страшно. Я забыла, где автобусная остановка, — а если бы и вспомнила, то куда, к черту, мне ехать. У меня никого нет. Я одна, и мне страшно. Я возвращаюсь в квартиру, это лучше, чем ночевать в метро, тем более что у меня сильное кровотечение, нужно поберечься, иначе я истеку кровью. Как, черт возьми, я могу потерять больше крови, чем уже потеряла. Подумать только, меня заботит, не попадет ли инфекция — черт, нет. У меня открытая рана, которая не зарубцуется никогда. И я возвращаюсь, и засыпаю, вся в слезах, на диване в гостиной, одна, как всегда. Сколько ночей предстоит мне засыпать в слезах, совсем одной.

ЕСЛИ МОЯ ЖИЗНЬ ВСЕГДА БУДЕТ ТАКОЙ, Я ЭТОГО НЕ ВЫДЕРЖУ. Вечно ли мне сидеть одной в гнусной квартире — и вокруг никого, а так нужен хоть кто-нибудь. Буду ли я всегда в тягости, всегда одна? Если вот это и значит быть с Дэном, тогда я с Дэном быть не хочу. Я не доверяю ему, всем своим нутром не доверяю.

Я хочу одного: чтобы у меня был дом. Место приятное, радостное: мой дом, к которому я принадлежу, где меня любят. Место, где живет человек, на которого я могу положиться, который любит меня и не оставит одну. Место, к которому я принадлежу. Мирное и безопасное. Мне иногда кажется, что я

никогда не обрету дома, где я была бы нужна, где бы меня любили и ОТНОСИЛИСЬ ХОРОШО. Мне кажется, я всегда буду одна в какой-нибудь гнусной дыре, где под потолком горит голая лампочка без абажура…

Ладно: истерику я успешно прекратила. Я рке не раскачиваюсь, не рыдаю, не говорю сама с собой. Думаю, придется пососать большой палец — но нельзя же лишиться сразу всех маленьких радостей жизни! На самом деле, совершенно серьезно: я по-настоящему рада, что могу сама прекратить истерику. Когда я начинаю трястись и раскачиваться, и голова становится легкая-легкая, тогда, я знаю, пора ПРЕКРАТИТЬ. И у меня до сих пор получалось. Если у вас никого нет, необходимо владеть собой и сдерживаться, иначе поплывешь по дерьму без весла, без лодки, без спасательного круга и тому подобного. Я все еще себя чувствую беременной и одинокой. Ах, черт, хорошо, что это не так, иначе я ТОЧНО СОШЛА БЫ С УМА. Ну что ж, возьму себе дружка из людей Иисусовых, если мне вообще понадобится дружок!

Я надеюсь, уповаю, что с Дэном все хорошо, что Дэн не одинок. Знаю, он знает, каково это, когда сидишь совсем один в гнусном гостиничном номере, где белая краска отстает от стен, — здоровенный плохой парень, которому целых тринадцать лет так напуган, что даже не может обкакаться, настолько все ссохлось внутри, — и он совсем, совсем один. Это убивает меня. Мне жутко представлять его таким. Маленьким мальчиком в пижамке, четырехлетним, забитым чуть ли не до смерти папочкой в пьяном угаре. Малыш разлил последнюю банку пива. Сломана ключица, выбит глаз; лицо собирали по косточкам, месяц за месяцем, пока старый поганец не помер. Мне всегда хотелось быть там, как-то помочь, уберечь. Когда я была ему нужна, меня еще не было на свете!.. Какая, наверное, это жгучая боль, какой кромешный ад, когда мать не может защитить своего ребенка. Вся жизнь — кромешный ад.

Наверное, у меня язва. Может, и нет, но с желудком последнее время плохо. И сейчас там что-то колет, и все последние дни кололо и жгло. Вообще-то, пусть бы у меня была язва — не знаю, почему, но я очень на это надеюсь».

Вскоре после возвращения из Нью-Йорка я попробовала поступить в подготовительное отделение Дартмутского колледжа, где заявления рассматривались раньше, чем в других местах, но была тут же отвергнута. Отец страшно разозлился на Дартмутский колледж: «Моя дочь что, недостаточно хороша для них»? Теперь я должна была решать, куда пойти учиться дальше.

Критерием выбора оставалась близость к Дэну, который, в конце концов, все же прилепился к Дартмуту. Об этом кризисе, об этом «большом решении» и говорил отец в письме, которое отправил мне после того, как меня не приняли. Он так рад, писал отец, что я во время кризисов не теряю головы. Он вложил в конверт какие-то гомеопатические пилюли от насморка: когда мы говорили по телефону, ему показалось, что у меня простуженный голос.

Утопая, я ухватилась за Иисуса. Ежедневные пометки в моем дневнике о мальчиках, детях и выпивке прерываются надписью заглавными буквами: 5 МАЯ. Я СПАСЕНА.

До тех пор за всю мою жизнь я не переступала порога церкви. Самое близкое мое знакомство с какой бы то ни было формальной религией имело место в школе Кросс-маунтэт, когда Холли повела меня в синагогу на Великий праздник: мы на целый день отпросились из школы и могли посидеть в тепле.

Я, глубоко несчастная и неприкаянная, поделилась своими бедами с одноклассником, Эрлом Сент-Джеймсом (сейчас он преподобный Эрл Сент-Джеймс, как я слышала). Он и его сестра предложили мне пойти в церковь вместе со всей их семьей. Я его поблагодарила, но сказала, что истинным камнем преткновения для меня является то, что какие-то люди должны отправиться в ад только потому, что они не христиане. Когда через несколько лет я подняла тот же вопрос в школе богословия, мой сокурсник, иезуит, сказал: «Папа велит нам верить в ад, но никто не велит верить в то, что там, в аду, кто-нибудь есть». Эрл был таким добрым и чутким, что ему даже не понадобились эти иезуитские доводы. Когда я сказала, что не верю в ад для нехристиан, что не могу представить себе благого Бога, который мог бы замыслить подобное место, он задумался, а потом попросту заявил, что не знает, как там все устроено, однако тоже верит в милосердие Божье — возможно, для всех есть свой способ попасть на небеса, о котором мы и не подозреваем.

Тогда я решила принять его приглашение и провести следующее воскресенье с его семьей. Сент-Джеймсы жили на верхних этажах дома на четыре семьи, которым они владели, в той части города, где селились в основном чернокожие и выходцы из Вест-Индии. Они ходили в крохотную церквушку, которая располагалась сразу за углом, в двух шагах от дома. Ее посещали исключительно барбадосцы — правда, явилась однажды долговязая, сбившаяся с пути, белая девчонка, которую привела с собой семья Сент-Джейм-сов. Утром в воскресенье мы сытно позавтракали, и миссис Сент-Джеймс проворно поставила в духовку воскресный обед. Красная фасоль и рис, кускус с острым

рыбным соусом (долгие годы я думала, что это блюдо называется «ку-ку с острыбным соусом») и жареные куры. Как в День благодарения. *Было* за что благодарить.

Мы все вместе отправились в церковь. Толстые коричневые матроны в цветастых платьях и белых соломенных шляпках приветствовали друг друга: «Доброе утро, сестрица». Проходили детишки в нарядных, с иголочки, костюмчиках и платьицах. От мужчин пахло одеколоном. Пастору было за девяносто. У него была совершенно черная кожа, не с синеватым отливом, как у некоторых африканцев, а коричневая, сморщенная, почерневшая от времени, словно плодородная почва Барбадоса. Он говорил с таким сильным акцентом, что я многого не понимала. Но когда он спросил, хочет ли кто-нибудь подойти и возложить бремя свое на плечи Иисусовы, этот призыв прозвучал для меня внятно и громко. «Хочет ли кто-нибудь причаститься Спасителю нашему, Господу Иисусу Христу?» Не знаю, как насчет «Господа», а вот «Спаситель» — это чудесно, чего мне еще желать. Иисус и его присные имели дар врачевания.

Когда пастор позвал тех, кто жаждет спасения, к ограде алтаря, все преклонили колени и стали твердить нараспев молитву: «Благодарим тебя, Иисусе. Благодарим тебя, Господи». В некоторых вошел Дух Святой, они дрожали всем телом, будто в конвульсиях, — но это не было похоже на тот пронизанный страхом бедлам, который начинается, когда сметены все преграды. Водоворот звуков, запахов, движений; дезодорант «Айс-блю сикрет» и цветастые платья, пение и молитвы — из всего этого сплеталось иное время, иное пространство. Когда границы реальности начали размываться, место ее заступило не уничтожение, или небытие безумия, но, скорее, ино-бытие, претворение, какое встречается в редких, боговдохновенных произведениях живописи, музыки, театра; в некоторых религиозных ритуалах; в физической стороне любви. Я шагнула в пропасть, но я лечу, парю, вместе с ветерком поднимаюсь над скалой, а не падаю в темную бездну. Я не влекусь к алтарю, я скольжу. Я преклоняю колени, прихожане возлагают на меня руки, молятся, спрашивают, желаю ли я причаститься Иисусу как своему Спасителю. Да. Да, желаю.

Домой я шла счастливая, чувствуя удивительную легкость. Эти люди не смущали меня каким-то особым отношением — они мне оказывали не больше и не меньше внимания, чем раньше, с тем же радушием принимали меня. Обращение в их веру вовсе не было обязательным условием любви, привязанности, уважения. Они были просто очень рады за меня, охотно слушали мои речи и отвечали на вопросы, которых у меня возникало множество. Я не

привыкла к тому, чтобы люди меня слушали, слушали по-настоящему. Я постигла разницу между общиной и сектой, вступив в которую, оставляешь за дверью львиную долю того, что есть в тебе; платишь за вход расщеплением личности.

Я не явилась на выпускной акт в средней школе. Это был выпуск 1973 года. Папа позвонил и сказал: «Ты же не хочешь, чтобы я приезжал на выпуск и всю эту муру, правда?» Как же было признаться, что я не настолько утонченная, и мне хочется немножечко этой помпы, этой подобающей обстоятельствам «муры». Он бы почти наверняка приехал, если бы мне хватило смелости выставить себя дурой. Он, может быть, и сам хотел приехать, но сказал так, чтобы себя не выставить дураком. Во всяком случае, я не пошла, потому что на самом деле *выглядела* бы дурой, когда родители стали бы обнимать своих детей, фотографироваться, разъезжаться по ресторанам.

Ближайшим к Дартмуту колледжем, если судить по карте Новой Англии, был колледж в Хенникере, Нью-Гемпшир. Сорок пять минут езды из Дартмута по 114-му шоссе, а еще, в счет денег, шедших на внеклассные мероприятия, там предоставляли скидку на сезонный абонемент в местный лыжный центр. Там я завела нескольких хороших друзей и встретила пару хороших учителей — особенно понравился мне преподаватель генетики, который как-то раз вместо практического занятия повез нас в Бостон, на Весеннюю выставку цветов, и сновал там среди орхидей в своем неизменном темном плаще. Кроме знакомства с дрозофилами и биологией растений лучшее, что приключилось со мной за полтора года моего пребывания в колледже, была встреча с моими приемными родителями. У себя в доме они собирали группу подростков, изучавших Библию; так мы и познакомились.

Льщу себя надеждой, что я смогла принести какую-то пользу — все-таки я была старшей из десяти приемных детей и четверых по-настоящему усыновленных: число это оставалось неизменным. Но куда большую пользу принесли они мне, это уж точно. Они брали к себе детей, которых никто другой не хотел брать. Глухих, страдающих припадками, с ожогами на половых органах; семилетних наркоманов (то были красивые чернокожие малыши, которых родители-байкеры пичкали зельем, чтобы не орали); троих сестричек, которые никак не хотели расставаться; умственно отсталых близнецов. Наконец-то появилось место, куда я могла прийти, как домой — это действительно был мой дом, равно как и дом всех детишек, которые там жили. Я там не чувствовала себя в гостях, как во всех других местах, включая дом

моего отца, где постоянно беспокоилась, как бы не надоесть.

Мы с Дэном расстались, когда мне было девятнадцать. Тем летом мы жили в Кембридже и так ужасно ссорились, что не могли этого вынести — и не могли представить себе, как это прекратить. Кроме шуток. Решив разбежаться, — а было это в квартире, снятой нами на лето, — мы ревели в три ручья, так, что приходилось прикладывать к лицу смоченные в холодной воде полотенца. Кто бы поверил, что можно так любить друг друга и не ужиться. Через несколько месяцев, впав в панику, я по-своему последовала примеру Дэна, который убегал то в Африку, то на Аляску. Только я бросила все. Ушла из колледжа и попросила моего тренера по карате жениться на мне; тот согласился. Я решила, что такова Божья воля.

Я хотела устроить свадьбу летом, в Корнише, в Сент-Годенсе, но мы с матерью так пререкались, обсуждая первоначальный план, что пришлось об этом забыть. На самом деле, ссорились мы по любому поводу. Как-то раз я направлялась от матери в Сент-Годенс, на разведку. Перед отъездом мне приспичило сходить в туалет в Красном доме. Уже стою перед машиной, говорю, что все в порядке, можно двигаться — и тут мать выскакивает из дома с безумным взглядом, потрясая мокрым, использованным тампоном. Вопит: «Как ты могла это спустить? Как ты могла, ведь это — деревня, тут плохая канализация, как ты можешь быть такой…» Пока ее приятель пытался ее успокоить, я вырулила на дорогу и была такова. Мои приемные родители распоряжались свадьбой.

У подружки невесты, Эми, возникали серьезные опасения: ведь я была знакома с женихом всего несколько месяцев. Мой папа позвонил Эми и сказал, что ему сильно не нравится все это дело, и что я совершаю ужасную ошибку. Эми была того же мнения — и спросила, почему бы ему не приехать в Бостон и не поговорить со мной. Он отказался, заявив: «Слишком много работы скопилось у меня на письменном столе — сейчас это невозможно». Эми, в полном шоке, позвонила мне, как только он повесил трубку, поэтому я знаю, что цитата точная. Через много лет я обнаружила, что он и Дэну тоже звонил, просил вмешаться. Дэн согласился, что я — не подарок, да и сам он при разрыве вел себя не лучшим образом, но если бы он знал, как с этим бороться, мы бы все еще были вместе; и он заявил моему папочке, что в таком деле каждый решает за себя.

Вечером накануне свадьбы мои гости, шесть подружек невесты и шестеро друзей жениха, вместе с огромным количеством прошедших через эту семью детей, которые тоже

приехали на праздник, втиснулись к приемным родителям в крошечный, типа летнего, домик всего с четырьмя спальнями. Моя дорогая подруга детства Виола приехала тоже. Ей поручили опекать моего папочку, чтобы он не выкинул какой-нибудь номер — особенно если учесть, что должна была явиться также и мать. Ночью разразилась такая гроза, что все дороги к лыжной базе, где я собиралась устроить прием, совершенно размыло. Утром мы кое-как спустились к стоянке трейлеров, где мать одного из участников нашего мероприятия под кодовым названием «Большой брат — Большая сестра» любезно согласилась сделать мне прическу. Большую прическу.

Церемония задержалась на два часа, потому что родители жениха опоздали. Мы разъезжали по шоссе в семейном фургоне, высматривая их, я — в подвенечном платье от Кианы, которое с каждой минутой все больше прилипало к телу. Потом мы подумали, что лучше устроить действо прямо на дороге, вернее, у дороги. Мы заранее договорились со священником, который должен был обеспечить и музыку — одним из тех странствующих евангелистов, которые совершали обряды с микрофоном, под магнитофонную запись церковных гимнов, что-то вроде ранней версии караоке. Он так и не объявился. Мой приемный отец побежал из церкви на дорогу и поймал городского мирового судью: тот вошел в церковь — ей-богу, не вру — в рыбацкой шляпе со всякими рыбацкими прибамбасами, приколотыми к полям. Он так и не снял этой шляпы во время всей церемонии. Родители и двоюродные братья мужа объявились как раз, когда мы выходили из церкви, направляясь на праздничный обед. Я была страшно зла на них за опоздание, но что тут поделаешь.

За обед, по каким-то соображениям, платил папа, и трудно было этого не заметить. Один из всех он стоял столбом, с горестным выражением на лице и, хотя Виола пыталась его отвлечь, размахивал пальцем, яростно считая гостей по головам: пантомима в духе Марселя Марсо, пожалуй, еще выразительней. «Я заплатил за восемьдесят персон, куда они, к черту, запропастились!» Многим помешала гроза — только, конечно, не крутым парням из школы карате; зато развозка из китайского ресторана опоздала на час и привезла остывшую лапшу. Приехала и моя мать, но, сфотографировавшись, заявила, что ей пора: они с друзьями договорились плыть на каноэ. «Но сегодня моя свадьба. Разве это нельзя отложить?» — «Но мы с друзьями договаривались несколько *недель* назад, дорогая», — сказала она и уехала. Могло быть и хуже. На свадьбе брата она познакомилась с овдовевшим отцом невесты и через несколько месяцев объявила, что перебирается на Восток, жить с ним.

Хотя мой брак и не продержался долго, он, должна я сказать, протекал довольно тихо и мирно, вплоть до драматической развязки. Муж мой был веселым, милым, помогал мне по дому и не лез в душу. Никакого травмирующего слияния, обычное, всех устраивающее сожительство. Большую часть нашей совместной жизни я работала по скользящему графику, с четырех дня до двенадцати ночи, в Бостонском филиале компании «Эдисон», а он, как я тогда полагала, где-то выступал по ночам, так что мы нечасто пересекались, что, в общем, было неплохо.

А лучше всего было то, что в первый и в последний раз, по крайней мере, до сих пор, *я любила* свою работу. Сразу после свадьбы я устроилась в охрану аэропорта, но уволилась после того, как сбила с ног приземистую, жуткую тетку-«сержанта», которая прижала меня к бетонной стенке своего офиса и пыталась щупать. Потом я работала официанткой, и одна из девушек рассказала, что «Эдисон», Бостонская компания электроснабжения, расположенная как раз через дорогу, набирает служащих, и что это очень хорошая компания, там замечательно работать. Закончив смену, я направилась туда. Было немного неловко, потому что в отделе кадров спросили, умею ли я печатать на машинке, а я не умела. Меня попросили указать все учебные заведения, какие я закончила, и по какой-то причине, может быть, потому, что было глупо рассчитывать на место в конторе, не умея печатать на машинке, я записала также вечерние курсы механиков по ремонту автомобилей, которые закончила после того, как получила совершенно неподъемный счет из авторемонтной мастерской. Кадровик спросил, не соглашусь ли я поработать в их гараже на Массачусетс-авеню. Я уставилась на мужика так, будто у него выросло две головы, а он проделал следующее: пододвинул мне через стол таблицу, где указывались начальные оклады конторских служащих. Потом — таблицу начальных окладов для механиков класса Д по ремонту автомобилей и грузовиков. Ого! Так я устроилась механиком в Бостонский филиал компании «Эдисон» и проработала там с 1975 по 1980 год.

Первую неделю или около того я места себе не находила от страха. Я думала, что парни не примут девчонку у себя в мастерской, но, к счастью, одна наша сотрудница, Кэти, чудесный человек и прекрасный работник, пришла раньше меня и проторила мне путь. Кэти как раз было труднее: полгода ей не устанавливали душ в женском туалете, настолько были уверены, что она на этой работе долго не задержится. Вначале меня вводили в курс дела несколько ребят, но мало-помалу я

породнилась со всем гаражом: у меня там появилось с десяток дедушек, дюжина отцов и целое скопище братьев. Они меня подкалывали месяцами насчет старой кожаной хипповой сумки, с которой я ходила, — твердили, что в нее вполне поместится парочка аккумуляторов; к тому же сумка была такая потрепанная и грязная, будто я и в самом деле воровала аккумуляторы по ночам. К моему дню рождения они скинулись и купили мне хорошенькую дамскую сумочку, а еще торт, роскошный торт из кондитерской Линды Мэй — и в обеденный перерыв устроили импровизированное торжество.

Я вступила в Единый профсоюз электротехнических рабочих Америки, принадлежащий к Американской федерации труда и Комитету индустриальных организаций: писала статьи в профсоюзную газету и помогала устроить конференцию менеджеров по вопросам здравоохранения, в частности, заболеваний асбестозом. Какое изумительное чувство, когда хорошенько поработаешь над статьей, а на следующий день водители грузовиков, едущие на заправку, радостно приветствуют тебя. Наш профсоюзный секретарь, Дон Уайтмен (который вскоре стал председателем профсоюза) советовал мне еще раз попытаться поступить в колледж, всячески поощрял меня. Тем летом, в период временного увольнения, я работала на атомной электростанции «Пилгрим», которая тоже принадлежала компании «Эдисон» и имела сомнительную славу самой грязной (радиоактивной) электростанции в стране. Мы с Доном сетовали, как это грустно, что мы попали на атомную электростанцию, и он меня спросил, задумываюсь ли я над своим будущим. Понятно, сказал он, что это, конечно же, не его дело, но я — умная, бойкая девочка, и могу далеко пойти, хотя бы и в профсоюзе, если только закончу колледж. Я призналась, что в школе училась не слишком хорошо, а он возразил — ну и что, я же вижу, что ты умная. Почему бы тебе не записаться на дневной курс и не попробовать. Я работала с четырех до полуночи, так что это вполне можно было устроить. Я обещала подумать — тем более что грозили временные увольнения: закрывалась старая, работавшая на угле электростанция вблизи города.

В приемной комиссии Университета Брандейса сказали, что меня могут зачислить, если я «возьму» два курса для работающих, один — по Гарвардской программе, другой — по общегородской университетской программе, тот и другой под руководством полных профессоров. Когда я сообщила отцу эти добрые вести, он закатил скандал сначала мне, потом матери. Он-де предупреждал меня, когда я выходила замуж, что больше не будет нигде за меня платить. Матери он сказал: «На что ей сдался колледж? Что *она*

собирается делать в жизни, если ей вдруг понадобился колледж?» Мама пригрозила, что привлечет журналистов, если он не заплатит за мое образование согласно условию, оговоренному в соглашении об их разводе. Это, конечно же, возымело действие, но все же он написал мне паршивое письмецо, которым поставил в известность, что если меня куда-нибудь все-таки примут, пусть счет направляют прямо к нему, но его это определенно не радует. Добавил, что общение со мной заставило его пережить немало неприятных минут, и он надеется, что в будущем мы лучше поладим. Он вложил в конверт гомеопатические пилюли, призванные нейтрализовать радиоактивное излучение, которому я подвергаюсь, работая на атомной электростанции.

Когда меня зачислили в Университет Брандейса, я попросила в компании девятимесячный отпуск, и мне его предоставили. Но около месяца меня некем было заменить, и в начале первого семестра я работала полную смену с четырех дня до двенадцати ночи и ходила на занятия. На самом деле, таким образом переход для меня совершился легче: я боялась в колледже ударить в грязь лицом и не хотела сразу расставаться с хорошей работой. В Брандейсе тоже делали все, чтобы мне этот переход облегчить. У них была специальная программа ориентации для студентов постарше, тех, которые начинали учиться, перевалив двадцатипятилетний рубеж. Нас собрали в первый же день; не могу передать, как мне это помогло не чувствовать себя белой вороной. Первым, с кем я познакомилась, был Стив, испаноговорящий парень с Юго-Запада, который поступил в университет после службы в армии. Он спросил, как я зарабатываю себе на жизнь, и я ответила, что работаю автомехаником. «Ну да, ага, — хмыкнул он, — дай-ка взгляну на руки». С грацией уличной феи, будто мне вовсе и нечего ему доказывать, я протянула ладонь. Один взгляд — и его лицо, до той поры напряженное, расплывается в улыбке: «Молодец, девочка!» Он протягивает мне крепкую пятерню — залог большой дружбы.

Через несколько недель после начала семестра, как раз, когда решился вопрос с моей заменой, почва снова уплыла у меня из-под ног. После смены, где-то в половине первого ночи, я заехала на подъездную дорожку, вышла из машины, и тут, словно ниоткуда, появился какой-то парень. Я думала, что он собирается меня убить, но, слава богу, оказалось, что он явился за моей машиной. Поняв, что я не собираюсь чинить препятствий, он извинился, что напугал меня, вручил какие-то бумаги и уехал на моей машине. Первый взнос за этот проклятый автомобиль,

который мы покупали в рассрочку, я внесла, целую неделю отработав круглосуточно во время снежных бурь 78-го года. Муж вносил плату и за машину, и за дом, который мы тоже приобрели в рассрочку, получив кредит от профсоюза. Я просто отдала ему мою чековую книжку. Я ненавидела возню со счетами и была счастлива, что он взял это на себя. Почту принесли уже после того, как я днем ушла на работу, так что я ни о чем не подозревала. Ну, девочки, вам уже ясно, что случилось дальше. Проучившись около месяца в колледже, я осталась без машины, банк в трехнедельный срок выселял меня из дома, все деньги, отложенные на учебу, исчезли, и вместе с ними — мой муж. Ни споров, ни ссор, ни сцен: исчез, и все. Я позвонила юристу, и тот мне растолковал, что нужно СРОЧНО вывезти из дома все, что мне принадлежит, иначе имущество будет считаться «совместно нажитым», не говоря уже о том, что муж может за ним вернуться.

Самое скверное было то, что я не догадывалась, с каким ублюдком жила последние пять лет. Никто из тех, кто его знал, просто не мог в это поверить: он был такой миляга, вечно шутил, улыбался. Жуть. Теперь, задним числом, я подозреваю, что он крупно задолжал каким-то парням, с которыми шутки плохи. Были какие-то разговоры насчет больших черных машин, которые прижимали его к обочине; а еще он учил меня бросать известь в глаза, если кто-то выбьет дверь и ворвется в дом. Я давно привыкла жить в зоне военных действий и не задавать вопросов, так что и тут все восприняла, как должное. Жизнь есть жизнь. Были же репортеры, или похитители детей, или просто буки, которые сидели на деревьях вокруг Красного дома, когда я росла.

Не помню точно, как все получилось, но в субботу утром, ни свет, ни заря, мой новый друг по Брандейсу Стив, который только что вернулся из армии, и старый друг Лу, который уже довольно давно вернулся из Вьетнама, где служил в Морской пехоте, подогнали грузовичок и перетащили туда все наше «совместно нажитое» имущество. К полудню мы убрались восвояси. Я была совершенно разбита, и физически, и во всех других отношениях, так что смутно представляю себе, что происходило в ближайшие недели — помню только, что мой друг Лу позаботился обо всем. И обо мне также. Кажется, я прожила у него несколько месяцев. Девушка, с которой он встречался, ныне его жена, не проявляла особого восторга, но все понимала и была уравновешенной; такой она и осталась, а еще глубоко порядочной и честной — чуть ли не самой порядочной из тех людей, которых мне выпало счастье знать. Лу несколько недель возил меня в университет и буквально кормил с ложечки перед телевизором, пока я не вышла из транса. Сам он вырос в приюте. Бог да благословит близких друзей,

которым не надо ничего объяснять.

Благодаря друзьям, а может быть, и тому, что в детстве привыкла читать так, будто моя жизнь зависит от этого, я не пропустила ни одной лекции и получила в том семестре только высшие баллы. Поздней осенью я нашла прекрасную, светлую квартиру на верхнем этаже старого викторианского дома, который принадлежал священнику и располагался позади одной из церквей в центре Конкорда. В любое время дня квартиру заливал свет из узких, высоких эркерных окон, которые выходили на север, юг, восток и запад, как и стрельчатые окна церкви. Утром и вечером перезвон колоколов, доносившийся из этой церкви, до которой было рукой подать, напоминал звяканье бубенчиков, которое я девочкой слушала в Корнише, когда коровы шли пастись на зеленые луга, а потом возвращались домой. Квартира была дорогая, но мама позвонила и сказала: «Бери ее: в жизни бывают моменты, когда жить в красивом месте важнее, чем быть благоразумной», — и послала денег. И не пеняла мне тем, что муж меня обвел вокруг пальца.

Когда шок прошел и я обрела способность рассуждать здраво, мне пришло в голову, что я еще легко отделалась — ведь люди ежечасно совершают друг над другом самые жуткие вещи. Мой бывший муж забрал только деньги, он не оскорбил моих чувств. Своим исчезновением он дал мне шанс начать все с начала.

29
Гавань разума

Поступление в Брандейс было лучшим решением из всех, какие я когда-либо принимала, или, если выразиться точнее и более скромно, самым большим в моей жизни везением. Теперь, задним числом, оно кажется мне таким же важным для моего душевного здоровья и дальнейшей жизни, как и тот выбор, хоть и невысказанный, который я сделала в седьмом классе: жить во плоти, отказавшись от двухмерности вечных десяти лет. В седьмом классе я с радостью открыла для себя жизнь плоти, а Брандейс оказался радостным открытием жизни ума. Моего *собственного* ума, не чьего-то чужого. С того самого момента, как я вошла в аудиторию и познакомилась с требованиями к каждому курсу, к каждой специализации, к каждой ученой степени, мне стало ясно: в Брандейсе все направлено на то, чтобы выпускать *развитых* людей, которые приучены мыслить самостоятельно, а не воспроизводить на экзаменах точку зрения преподавателя. Меня не покидало ощущение, что студенты пришли сюда учиться, что учеба здесь высоко ценится, является уважаемым делом. Образование обладало самостоятельной ценностью, было не просто средством для достижения какой-либо цели, не рассматривалось как стремление к «результату», «итогу», которого они, преподаватели, или мы, студенты, должны были добиться. Хотя студенты, заканчивая университет, были хорошо подготовлены для профессиональной деятельности или дальнейшего образования, мы вовсе не были сугубо связаны с какой-то одной сферой — не были всего лишь «начинающими» врачами, «начинающими» юристами и так далее.

Что тогда удивляло меня, а теперь, через двадцать лет, когда я сама стала матерью, кажется вполне разумным: ради достижения этой цели студентам не позволялось жить как им заблагорассудится, разыгрывать из себя маленьких, «начинающих» взрослых. Им предъявлялись (надеюсь, до сих пор предъявляются) требования, которые выводили из терпения даже студентов постарше, вроде меня: зачем нужны такие курсы, как история искусств, биология, английский язык, щедро рассыпанные по учебному плану? И ни один из этих курсов не был введен «для галочки». Все они преподавались по-настоящему. Профессора «с именами», большие шишки с высокими окладами, репутациями, книгами преподавали на первом курсе. Лучшее не приберегалось для элитных аспирантских семинаров и

прошедших отсев старших курсов. Ты снимал сливки, хотел ты этого или нет. Маститые профессора руководили работами студентов, принимали экзамены; назначали консультации по мере надобности. Своих» аспирантов они учили хорошо преподавать, не просто готовили себе дешевую замену на случай, если придется возиться с изданием книги. Я, и это вполне естественно, особенно остро чувствую, когда мне дают понять, что я мешаю, прерываю чью-то работу. А тут я все время чувствовала, что их работа — *я*. И, друзья мои, от нас тоже ожидали работы. Думаю, если преподаватель вкладывает в тебя время и силы, он вправе ожидать превосходных результатов. Коэффициент «пустозвонов», по шкале Сэлинджера, опускался, насколько я могла судить, ниже нулевой отметки.

Не могу не предположить, что корни Университета Брандейса определяют принятые там методы воспитания ума. Его основали люди диаспоры, бежавшие от Гитлера, глубоко осознавшие, что истинные ценности — это именно духовные, интеллектуальные, которые ты всегда можешь унести с собой. Все остальное превратности жизни заберут у тебя в мгновение ока. Широкое, разностороннее образование делает тебя менее уязвимым в скверные времена и доставляет чертову уйму удовольствия во времена хорошие. Возьмем, например, мою подругу Марджи, которая входила в наши команды по баскетболу и софтболу. Она — биохимик и может вам рассказать потрясающие вещи о своей научной работе, но не менее потрясающие вещи она может рассказать и о том, как ездила в отпуск в Рим и в Грецию: Марджи увлекается античным искусством и археологией, и этот интерес привил ей курс истории искусств, «навязанный» в первый год обучения. Мой друг Уэйн, один из самых молодых докторов экономико-политических наук, член правления Всемирного банка, в свободное время пишет пьесы и читает лекции по древнегреческому театру и философии. Они — специалисты, но тебя не охватит трепет, если ты узнаешь, что твой лучший друг или подруга вступили с ними в брак; с ними рядом охотно сядешь за обедом.

Я не хочу сказать, будто из Брандейса никогда не выходили люди, которых отец называет «узколобыми занудами, безмозглыми подражателями», или такие, что выпрыгнут из окна при первом же увольнении, — но подобные персоны там, конечно же, не котировались. Лучше, острее всего я это ощутила на семинаре по истории, в котором участвовали два аспиранта из Китайской Народной Республики. Столкновение культур оказалось умопомрачительным, и всему классу был преподан неоценимый урок. Каждый из нас должен был выступить с

докладом. Китайцы, когда настал их черед, поведали классу, что именно о данном конкретном вопросе думают все на свете, включая их бабушку. Но когда их спросили, что *они сами* по этому поводу думают, ответом послужили непонимающие или смущенные взгляды — несмотря на то, что ребят целый год учили мыслить самостоятельно. Некоторые доклады американцев, наоборот, грешили отсутствием корней — того, что люди думали до них по этому поводу, — и их авторы с юной самонадеянностью гордо изобретали велосипед. Нас, конечно, отсылали к источникам, но возбуждение, рост, жизнь ума хоть и укрощались, но не подсекались под корень.

К концу учебного года мой отпуск завершился, и я на лето вернулась в гараж. Было здорово снова работать там, но и грустно, потому что я предчувствовала: это — в последний раз. К концу лета я решила рискнуть: обрубить все концы и заняться только образованием. И в декабре уже не сотрудники, а товарищи по баскетбольной команде устроили мне день рождения. Моя подруга Марджи, мастерица писать классные открытки на день рождения, украсила торт. Большими яркими буквами по зеленому полю там значилось: «С четвертью века!» (Двадцатипятилетние кажутся стариками, когда тебе девятнадцать.) Торт вышел на славу. Интересно, что она придумает, когда мне будет пятьдесят.

Летом, между вторым и третьим курсом, мне выпала единственная в жизни возможность провести какое-то время вдвоем с моей бабушкой по матери. Она пригласила меня в Аспен, на круглый стол, который проводил Мортимер Адлер в Аспенском институте. Список литературы как раз соответствовал моим интересам, продолжал вводный курс в Брандейсе, хотя у Адлера он назывался «Великие Идеи», от Аристотеля до Заратустры. (Ну, букву Z, Заратустру, я придумала сама, Заратустры в списке не было, но мне нравится, как это имя звучит; список, помнится, кончался буквой «Т» — Токвиль, «Демократия в Америке».) Эти семинары предоставляли высшему звену управленцев — главам пятисот ведущих компаний страны, а также лидерам профсоюзов, некоторым деятелям искусства и членам правительства — возможность тщательно проанализировать свои идеи и предположения относительно того, какую модель поведения избрать для отдельных людей и целых наций.

Не могу припомнить лучше проведенных недель. Было особенно трогательно наблюдать, как много этот опыт значил для весьма успешно работающих администраторов, которые выбились наверх из инженеров и никогда не имели возможности

заниматься такими вещами, так много читать и размышлять. Но метод работы не отличался благодушием — Адлер скорее походил на приверженного муштре сержанта в своей строгости и нетерпимости к неряшливости в мыслях и на старого судью в своем стремлении выслушать различные точки зрения и рассудить по справедливости. Никогда не забуду, как мы с бабушкой сидели в номере, каждая на своей кровати, и целую ночь готовили доклады. Это воспоминание особенно драгоценно потому, что через месяц у нее обнаружили неоперабельную раковую опухоль, и в этом же году, вскоре после Рождества, она скончалась.

Однажды утром, когда я на семинаре излагала, не без успеха, профсоюзную точку зрения на какой-то предмет, один из слушателей, пожилой, широкоплечий, с тяжелыми ладонями, подошел, пожал мне руку и спросил: «Ну-ка, рассказывайте, кто вы такая, и почему вам так хорошо все известно насчет профсоюзов?» — а потом пригласил пообедать с ним и его женой. Он представился — Джим Каллаган, а когда кто-то назвал его «господин премьер-министр», я вдруг поняла, что симпатичный парень справа — телохранитель. Мы переписывались несколько лет; они с женой приглашали меня на чашечку чая в Палату общин, и он меня спрашивал, не хотела бы я, окончив университет, приехать в Англию и поработать у него. Я с сожалением отказалась, потому что меня зачислили на высшие курсы менеджмента в Оксфордский университет, и я предпочла этот вариант.

Однако же наибольшее впечатление на меня произвела не перспектива попасть в Палату общин, а то, что я наблюдала однажды во время обеда в Аспене. После обеда кто-то произносил речь, и мистер Каллаган и его жена Одри, которые сидели напротив меня, внимательно, как им велел долг, слушали: такое, я уверена, повторялось уже тысячу раз. Их стулья были немного развернуты к говорящему, так, что миссис Каллаган сидела спиной к мужу. Я увидела, как он провел указательным пальцем какую-то черточку по ее спине, почти бессознательно — так во сне тянешься к человеку, которого любишь. Этого я никогда не забуду. А как он говорил о ее благотворительной деятельности в лондонской больнице — он, государственный деятель, выказывал жене уважение, подчеркивал ее заслуги. Как это чудесно — встретить человека, искренне любящего и уважающего свою жену; человека, который и в старости безмятежно тянется к ней.

Бабушка была настолько добра, что завещала мне некоторые средства, достаточные для того, чтобы не заботиться о заработке

на протяжении нескольких лет: я смогла спокойно закончить обучение в Брандейсе, а затем в Оксфорде. На третьем курсе это позволило мне безвозмездно сотрудничать с профсоюзным юристом, который рассматривал случаи асбестоза. Мне нравилось изучать юриспруденцию, но работать юристом — другое дело: я видела, чем им в основном приходится заниматься. Какое счастье обнаружить, чего ты *не хочешь* делать, до того, как окунешься в эту деятельность с головой.

Щедрость бабушки также позволила мне чаще ходить к психотерапевту. После бабушкиных похорон я приперла мать к стенке и буквально вынудила ее — без зазрения совести, должна добавить, — тоже найти себе психиатра. Нам обеим это принесло пользу. Она принялась писать книги, защитила диссертацию, сделала неплохую карьеру. Также стала хорошей бабушкой для своих внуков. Моя тетя сказала о ней: «Не знаю, как она жила с Санни все эти годы. Ему вовсе не следовало жениться. Твоя мать может гордиться своими успехами: ей это было нелегко».

Мой последний год в колледже прошел в борьбе. Мне выделили стипендию на дипломное исследование по истории принятия Акта о компенсации рабочим 1897 года. Это позволило мне провести лето в Лондоне, в библиотеке Британского музея и в архивах Конгресса профсоюзов. Я вернулась с материалом, захватывающе интересным (по крайней мере, для меня и моих руководителей) и хотела достойно его обработать. К тому же у меня было плотное расписание лекций. Мой интеллект это выдерживал, я могла заниматься по-прежнему, но начались серьезные неприятности. Я не выпадала из действительности, как раньше; теперешние нелады имели иную окраску. Я стала страдать беспрерывными галлюцинациями. Я вполне отдавала себе отчет, что ощущения, которые я испытываю, расходятся с реальностью — например, когда пол библиотеки то подается под ногами, то вздымается вверх, и ты словно стоишь или пытаешься двигаться в скользящем по волнам каноэ; или когда ступеньки лестницы то подскакивают к самому носу, то проваливаются на десять футов — но, как с кошмаром, когда ты знаешь, что спишь, а все-таки не можешь проснуться, с этим ничего нельзя было поделать. Когда я ходила заниматься в библиотеку, галлюцинации иной раз становились такими навязчивыми, что кто-нибудь из друзей провожал меня до стола. Мне не мерещились розовые слоны или что-то в этом роде — просто все масштабы искажались настолько, что я не могла представить себе, где нахожусь по отношению к предметам реального мира. Будто идешь по тропе в сумерках и не замечаешь поворота: тело

не успевает автоматически среагировать, поскольку нужные сигналы вовремя не поступили. Без карты, без руля.

Началось это не в университете. Однажды друзья повели меня в кино, немного отдохнуть и расслабиться. Фильм мне понравился, но когда зажгли свет, я поняла, что не имею ни малейшего представления, как выбраться из кинотеатра. Я знала, в котором ряду сижу, видела, где выход, но не могла соотнести то и другое и сориентироваться в пространстве. Просто сидела и всхлипывала: «Где я? Как выбраться отсюда, куда идти?» Меня вывели за руку и посадили в машину. Путь домой обернулся кошмаром. Я смотрела в окошко на когда-то знакомые улицы, совершенно потеряв ориентацию, напуганная, плачущая. Я твердила, будто не знаю, где нахожусь, но на самом деле хотела сказать, что не знаю, где нахожусь по отношению ко всему остальному. Я прекрасно знала, что нахожусь в машине с друзьями; приблизительно знала, который час, какое сегодня число, какого месяца, какого года; кто сейчас президент Соединенных Штатов — знала ответы на все вопросы, какие задают в приемном покое. Просто я перестала совпадать с миром.

Не знаю, отчего это началось: из-за нагрузок или, может быть, от страха — ведь конец учебы был не за горами, а я пока не имела представления, куда пойду и что буду делать после колледжа. Перемены всегда были для меня сущим адом. К концу года, в самый напряженный период, когда я пыталась закончить дипломную работу и одновременно посещала пять курсов по разным предметам, меня так сильно скрутило, что я не могла больше водить машину. Дорога и машина просто не выстраивались в один ряд, не совпадали у меня в уме. Мои друзья, Тед, Митчелл, Марджи, Уэйн и Рэчел, по очереди привозили меня домой каждый вечер и часто оставались ночевать, скорчившись рядом со мной в постели, чтобы утром отвезти меня на занятия. Я любила университет, любила мою работу и плакала при мысли, что могу лишиться всего этого из-за душевной болезни или нервного срыва. Но все, кто меня окружал, — преподаватели, особенно профессор Тустер и профессор Барраклю; друзья, врач — боролись столь же упорно, как и я сама, за то, чтобы мне удалось с этим справиться. Я очень, очень им благодарна.

Когда во время церемонии выпуска я несколько раз поднималась на сцену получать награды, я точно знала, кому этим обязана. Они сидели в одном ряду, аплодировали, приветствовали меня; они же отделяли моих родителей друг от друга, эти мои миротворческие силы, благодаря которым я выжила и добилась успеха, стала членом «Фи Бета Каппы» и

получила диплом с отличием.

30
«Только в раю»

Море бушует —
Только в раю.
На якорь в тебе этой ночью
Нынче же стать я пою!

Эмили Дикинсон[240]

Спирали сна. Осенью 1982, года я приехала в Оксфорд. Училась в аспирантуре в Тринити-колледже и жила над книжным магазином Блэквела, в красивой комнате, служившей и спальней, и гостиной, окнами на Шелдонианский театр. Сидя за столом или лежа в постели, я могла видеть купол театра и изумительных горгулий, несущих стражу. Колокола церквей в каждом колледже звонили вечерами по всему городу, созывая студентов по домам, на ужин. По утрам я проходила мимо зеленого, росистого луга, где паслись лошади: короткий путь к Центру менеджмента, расположенному вне городской черты. Днем я училась, пила чай с друзьями, играла в теннис, плавала по реке на плоскодонке и подолгу гуляла по лужайкам и садам колледжа, уютно заключенным в средневековые каменные стены.

К несчастью, старая коварная подруга булимия опять стала отнимать много драгоценного времени. Но эта проблема исчезла без следа в тот самый момент, когда «кто-то встретил кого-то» на зеленом английском лугу. Высокий, смуглый, красивый уроженец Нью-Йорка (наполовину еврей, наполовину испанец), он изучал экономику в колледже Магдалины. Он имел репутацию Дон Жуана, надо думать, заслуженную — переходил в быстром темпе от одной прелестной сеньориты к другой. Девушкам его репутация не мешала — они табунами бегали за ним. Но только не я. Целый месяц после знакомства мы встречались в библиотеке колледжа, потом я провожала его до ворот Тринити, где мы прощались у дома привратника (стража ворот и блюстителя нравственности студентов). Он пригласил меня на мальчишник в свой колледж, и меня поразили любопытные, чуть ли не враждебные взгляды, которые бросали на меня его приятели из аспирантского общежития: они привыкли всюду слоняться вместе и отвлекать друг друга от работы. (По правде говоря, многим студентам трудно справиться с тем уровнем независимости, какой предоставляется в Оксфорде в отношении занятий.

Практически нет никакого внешнего давления, никакого контроля — ты со своей работой предоставлен самому себе.) Один из тех парней даже спросил меня, довольно резко, что я с их приятелем сделала! То, что он углубился в работу, выглядело в какой-то мере предательством; друзьям, я думаю, не хватало красочных рассказов о похождениях красавца соблазнителя.

Следующие два года мы были неразлучны. Даже когда я летала в Сан-Франциско на весенние каникулы, посмотреть город и побыть с матерью, которая в то время жила там, я получала письма от Марка ежедневно, иногда и дважды в день. До сих пор никто так не держался за меня, не протягивал мне руку через океан. Я начала полагаться на его постоянство, на его присутствие, верить, что он, в отличие от недолговечной радости де Домье-Смита, не утечет, как вода, у меня сквозь пальцы, не исчезнет поутру. Иногда это постоянство оборачивалось ослиным упрямством, и это доводило меня до белого каления, а я, в свою очередь, доводила до белого каления его. «Ты такая *вспыльчивая*», — обычно говорил он: то же самое крепкий, привычный к плугу, крестьянский конь мог бы заявить несносно капризной, нервной чистокровной кобылке. Совместные путешествия оборачивались постоянными трениями и неистовыми, глупыми спорами по любому поводу: где остановиться, как ехать, сделать радио погромче или потише, включить или выключить обогреватель в машине, где пообедать, и тому подобное. Но в Оксфорде, «только в раю», лев лежал рядом с ягненком, и все почти всегда было здорово. Жилые комнаты его колледжа располагались на старой мельнице, где когда-то жил К.С.Льюис: за колледжем Магдалины, в конце дороги, у самой реки, посреди цветущего луга. Его спальня находилась над маленьким водопадом; там однажды утром по весне меня разбудил плеск крыльев — пара лебедей вывела под старой мельницей восьмерых лебедят.

В письме к отцу я описала «один из дней моей жизни», и он порадовался добрым новостям; разумно, писал он, сполна всем этим наслаждаться. Он посоветовал мне прочесть книгу — ее я отправила в мусорный ящик, полный книг, которые должна была прочесть, но манкировала — книгу Джоанны Филд под названием «Собственная жизнь», в которой она, по словам отца, пыталась как можно подробней описать всю свою жизнь, чтобы определить подспудные причины того, что она называет «моментами наивысшей полноты», удовольствия, близкого к блаженству. Было бы забавно и поучительно, писал отец, выяснить подлинные «как» и «почему»; настоящие причины того, что Оксфорд так чудесно подходит мне: что такого заключают в себе улица, клочок земли,

зал, комната в Оксфорде, если при одном воспоминании о них я испытываю чувство полного удовольствия и ублаготворения — или покоя, или изумительной независимости, или доброго расположения ко всем без исключения.

В письме я также намекнула, довольно туманно и косвенно, что счастлива в любви, причем мой роман — вовсе не предписанное отцом сочетание «подобного с подобным». Заметно, ответил отец, что я завела себе рослого, красивого парня, который не расположен к одиноким прогулкам, а также к чувствительным поступкам или излияниям, и, тем не менее мне подходит. Подбор пары, писал он, и избавление от одиночества — это такая проблема, которую нельзя решить удовлетворительно, разве что в нирване.

Умом я недооценивала чувствительность Марка, но мое тело воздавало ей должное, инстинктивно ощущало надежность возлюбленного. Я стала оттаивать после долгого оцепенения, жить поверхностью кожи, уже не прячась в сердцевину моего существа. Он заметил это первым и выразил в словах — *чувствительных*, должна я признаться теперь. Думаю, он распознал во мне что-то такое, о чем я сама еще долго не подозревала. В одном из писем, пришедших в Сан-Франциско, он писал, что заметил во мне важную перемену. Рассказал, как ночью перед моим отъездом на каникулы мы, по обыкновению, занимались любовью, и вдруг он почувствовал, что я раскрылась до конца. Наверное, он «встретил» мое тело в первый раз. Про себя я точно знаю, что в первый[241].

Я написала Холли, рассказала ей про Марка. Она, как всегда озабоченная моим благополучием, особенно финансовым; имея также в виду, что мы с ней уже не девчонки, вовсе не была мною довольна.

> «Ты выбралась в Оксфорд, в Англию, где встречаются мужики с титулами и *замками*, — и, боже правый, завела парня из Нью-Йорка». А мне уже надоело заточение в четырех серых стенах, среди четырех серых башен.

> А месяц встал над головой —
> Прошли младые муж с женой;
> «И мне не вечно жить одной,
> Шалота госпоже».

Папа один раз приехал навестить меня в Оксфорде, но не предупредил о приезде, и мы с Марком отправились на каникулы в Португалию. Я вернулась и обнаружила множество записей на автоответчике, а когда перезвонила, оказалось, что он улетает домой на следующий день. Мы встретились в Лондоне, наскоро перекусили — мне так и не удалось показать отцу мой красивый колледж и другие места, о которых я писала. Целыми днями он сидел в ужасном гостиничном номере со сломанным кондиционером. Я спросила, почему он не потребовал лучший номер или не перебрался в другой отель. (Я не стала бы терпеть ни единой ночи, если бы существовала альтернатива.) Отец отрешенно покачал головой, и мне стало грустно: он уже не казался тем моим всемогущим папой, к которому я привыкла; утратил свою былую власть. Осмелюсь сказать, что даже у меня этой власти над миром теперь было больше. Я вспомнила, как они с братом играли в гольф в Виндзоре. Отец всегда выигрывал, но в один прекрасный день брат обнаружил, что может с легкостью его победить. Дома Мэтью рассказал мне, что бросил игру на середине. Не думаю, чтобы они с отцом еще когда-нибудь играли. То же самое — карандашные черточки на стене ванной, отмечавшие наш рост. Их как-то вдруг прекратили делать, когда мой брат, теперь шести футов пяти дюймов ростом, оказался где-то в четверти дюйма от отметки отца, шесть футов и два дюйма. Видя, как отец беспомощен по сравнению со мной, я поняла тогдашние чувства Мэтью. «Но я думала, ты хотел победить», — сказала я тогда своему спортивному, волевому брату. Иногда действительно хочется победить, а иногда это слишком грустно.

Мои оксфордские друзья были абсолютно неспортивными. Разве только немного тенниса или быстрая ходьба по сельской местности до какого-нибудь паба. Я вела двойную жизнь, частично с их жизнью не совпадавшую. На втором году я стала капитаном баскетбольной команды, а на университетских состязаниях по горным лыжам в Швейцарии заняла второе место в гигантском слаломе и третье в простом— первое место во всех категориях заняла молодая шотландка из Кембриджского университета, входившая в Британскую олимпийскую сборную по лыжам: она показывала такое время, до которого нам, простым смертным, было как до другой планеты. Потрясающе спортивная девчонка, она прокладывала нам маршруты, держала воротца, подбадривала нас — и никто не испытывал к ней никаких дурных чувств, все ее уважали. Мой любимый дядя Терренс (самый младший из сводных братьев моей матери, преподаватель экономики) пришел в полный восторг. Два «Полуголубых»[242]

приза в семье! Он всячески пытался увлечь меня прелестями крикета, водил на матчи своего клуба. Дядя так мне нравился, что я изо всех сил старалась заинтересоваться, но, думаю, у меня просто нет этого в крови. Боже, как долго тянется игра! Надеюсь, он не был слишком разочарован, когда после нескольких (сотен!) часов, проведенных на трибунах, заметил на моем лице выражение панического ужаса — «я застряла в лифте, мне вовек не выбраться». Тогда он бодро и весело произнес: «Ну что ж, думаю, мы насмотрелись, а? Пойдем домой, выпьем чаю?»

В мой последний год в Оксфорде Марк уехал в Нью-Йорк. Мы проводили вместе выходные и праздники, тратили чудовищные суммы на телефонные звонки, писали письма. Он сразил меня тем, что в Валентинов день позвонил из Гэтвина в шесть утра и сообщил, что только что приземлился. Потом появился, неся в одной руке чемоданчик со сменой белья, а в другой — прелестный голубой кустик гортензии, при этом смущенно бормотал, что купил бы другие цветы, лучше всего — розы, но они бы не выдержали перелета. Блаженство.

Как многие герои отца, я спрашивала себя «в совершенном ужасе», удастся ли мне дожить до следующего приезда Марка. Я чувствовала, как душевное равновесие и энергия буквально иссякают во мне за несколько дней его отсутствия. Мое благополучие представляло собой «жидкость, утекающую сквозь пальцы», если моя рука не лежала в его руке. К счастью, меня увлекала тема диссертации, так что в периоды между его визитами я с головой погружалась в работу — только на это меня и хватало.

Я написала отцу письмо о своей работе. Это письмо до сих пор у меня: я его не отослала. Я никогда не писала отцу таких длинных, искренних писем, поэтому и не решилась его отправить. На конверте значится: «Написано сто лет назад. Отложено в долгий ящик — и хорошо!»

> «Дорогой папа,
>
> (Письмо длинное, но ничего *серьезного* — так, вечерняя болтовня.)
>
> Последнее время часто думала о тебе. Может быть, потому, что мой дорогой старый друг умирает от рака, и это мне напомнило, какие прекрасные дружеские чувства ты испытывал к Дэмми Литтел и миссис Хэнд: вот бы и мне оказаться способной на такие! Профессору Бараклюджу, который настаивает, чтобы я его называла

Джеффри — я так и делаю вслух, но только не в мыслях, — 75 лет, и мы провели вместе два последних Рождества, одно с мамой и Мэтью в Нью-Йорке, другое здесь, в Англии, с его 2-й женой (у него их было вроде бы 3). Он водил меня по Оксфорду за год до того, как я решилась приехать сюда, и было это во время рекордного снегопада — холодно, сыро, настолько по-английски, что оторопь берет — у них не чистят тротуары, приходится самым жалким образом шлепать по слякоти. Он был по-настоящему мил и добр ко мне в Брандейсе и до сих пор своего отношения не изменил. Он счастлив, видя, с каким восторгом я пожираю шоколадные конфеты, от которых никакого проку. Так вот: у него сейчас ремиссия, и первое, что я спросила, рискуя показаться чересчур резкой или нетактичной, поскольку упомянула о смерти — но не впрямую: я спросила, привел ли он в порядок свои работы, просто вспомнив, какое облегчение испытала, когда ты однажды показал мне, как у тебя все снабжено ярлычками и разложено по полочкам, чтобы дураки ничего не выкинули, а умники все к чертям не перепутали. Половину подобной работы он проделал, а остальное пока отложил.

Работа, которую я выполняю для своей диссертации, была в последнее время очень интересной. Я ходила в типографию одной газеты и опрашивала сотрудников. Это старая типография, кое-что из ее оборудования устарело лет на 80, и самая большая в мире (за исключением одной, совсем новой, в Японии). Настоящий динозавр, интересный во многих отношениях. Они до сих пор делают набор вручную, на огромных старых линотипах; один из наборщиков показал мне весь процесс и вручил отлитую на линотипе строку с моим именем, набранным заглавными буквами. Мне хотелось унести ее, но я постеснялась.

Я пришла туда около 10.30 вечера и начала с того места, где из Лондона принимают материалы целыми страницами по факсимильной связи (что-то вроде ксерокса, который передается по телефону — не то, чтобы здорово, но неплохо), потом попала в комнату, где себя чувствуешь, словно внутри фотоаппарата: там увеличивают и уменьшают фотографии; потом — в мастерскую художников, где 5 человек, сидя на табуретах, брали серую и черную краски из баночек и

вручную ретушировали фотографии. Тем вечером проходил Всемирный конкурс красоты, так что они трудились над фотографиями девушек, и по всей типографии, в «чайных» уголках, работали телевизоры.

Потом я прошла к линотипам, где машины стучали, а люди бегали взад и вперед с материалами, которые поступали в набор. Рядом с линотипами была комната с низкими подвесными потолками и зеленоватыми флуоресцентными лампами, и шесть или семь мужчин сидели там перед терминалами, набирали страницы на компьютере (метод более продвинутый, чем старый, линотипный) и вставляли в машину компьютерные распечатки. Они казались усталыми, им все это явно надоело; на шеях у них болтались галстуки, которые не смотрелись бы так убого, будь эти ребята помоложе — но у этих руки были сморщенные, а лица воспаленные, как у пьяниц, которые валяются в канавах. Дальше снова какой-то парень работал на машине — он не заметил меня и выругался, потому что у него что-то заело, а потом поднял глаза и увидел меня. Все его сослуживцы (у нас бы сказали «дружки») принялись хохотать и поддразнивать его, а он покраснел и стал извиняться — то же самое сто раз случалось, когда я работала в Бостоне в компании «Эдисон». Так или иначе, было довольно забавно и до боли знакомо. Потом мы спустились на три этажа (во всяком случае, инспектор, который водил меня по зданию, именно это прокричал какому-то парню, который бежал вверх по лестнице — у того недавно был сердечный приступ); и попали туда, где отливают строки толстым полукругом — похоже на тормозную колодку, если ты ее когда-нибудь видел, — и извлекают их из чана с расплавленным металлом. Потом доставляют на печатные станки и устанавливают на вращающийся цилиндр. Рабочий готовит типографскую краску (перед ним панель, на которой 15–20 кнопок — устройство почти такое же сложное, как орган), и та наносится на цилиндр, по которому прокатывают толстенные рулоны газетной (сероватой) бумаги.

Когда машины приводятся в действие, шум стоит невероятный. Я зашла как раз в тот момент, когда их запустили (штук 40–50 одновременно — может, чуть меньше). Когда начинаешь понемногу привыкать к шуму, врубаются еще машины, и грохот нарастает. Не то, чтобы это было особенно неприятно — это как быстрая, на

пределе, езда, от которой становится весело, — так мне, во всяком случае, показалось. От того и от другого дух захватывает. Примерно каждая четвертая машина была фальцовочная — с рулонами отпечатанных газет там делалось что-то такое, за чем было не уследить, и оттуда в маленьких, похожих на железнодорожные, вагончиках выезжали сложенные газеты; листы прижимались железными штучками, вроде тех, на которых ты жаришь хлеб в лесу, на костре, и этот поезд из тысяч вагончиков вьется вокруг машин, и потом, вроде Санта Клауса, который, прижав палец к носу, улетает в мгновение ока, поднимается на два этажа, ко входу. Там газеты пакуют, укладывают в грузовики, потом в поезда — и отправляют в Эдинбург, в Глазго, куда угодно. Все были дружелюбны, терпеливы и знакомили меня со своей работой как раз так, как следовало, — выказывая мне не слишком много внимания, но и не слишком мало.

Управляющий компанией начинал как ученик печатника, в цехе, и у него не хватает двух фаланг на одном пальце и одной — на том, что рядом. Он постоянно, безудержно бредит древними греками. Он повез свою жену в (название вылетело из головы, но это каменный греческий амфитеатр, где играли «Орестею») и заставил ее подняться на самый верх, чтобы показать, как прекрасно разносится по всему театру даже шепот. Но его интересуют не только всякие трюки — я, наверное, выбрала неудачный пример — он читает все, что может достать, и осматривает экспонаты в музеях с немного назойливым, но совершенно невинным, неистребимым любопытством — таким, скажем, как у мисс Марпл Агаты Кристи. «О Пегги, видели бы вы, какой прекрасный силуэт» (проводит рукой от бедра через голову и к плечу) у такой-то статуи такого-то бога, которая находится в таком-то вместилище вечных ценностей, где я непременно должна побывать. «Но берегитесь, — грозит он мне пальцем, — вы влюбитесь в него безнадежно, с первого взгляда». У него густой, старинный шотландский акцент, и от этого все, что он говорит, приобретает особую прелесть.

Я только что заметила, что уже очень поздно, а я должна еще закончить работу по экономике (не все же отдыхать). Хотела проверить, как пишутся четыре или пять слов, но если я стану перечитывать это письмо, я его никогда не отправлю. Не показывай миссис Коретт.

Я, возможно, заеду в Н.-Й. навестить друзей и разведать насчет работы — не знаю, когда, скорее всего, в январе. Следующий семестр начинается только в конце января. Буду в городе, позвоню. Вряд ли в Рождество — мой друг тоже страдает в Рождество — я все еще люблю красиво упакованные, перевязанные ленточками подарки. Он, однако, обязан меня ублажать — (да, здесь проглядывает некое «или»).

С любовью

Пегги».

Мать и брат приехали на церемонию выпуска. Пышное средневековое действо в Шелдонианском театре — в мантиях, в шапочках, на латыни. Мэтью и мама пробыли около недели, вместе со мной осматривая достопримечательности. Я беспокоилась, сможем ли мы поладить, но все было чудесно от начала и до конца. Еще одно чудо: целая неделя обошлась без дождя.

31
Женщина за бортом!

Я осталась в Оксфорде на лето, участвовала в организации летней программы для американских судей по трудовым конфликтам. Называлась я «деканом», но обязанности мои были не слишком впечатляющими: я разбиралась с жалобами соотечественников по поводу жестких подушек, отсутствия кондиционеров и так далее. Но я присутствовала на лекциях и семинарах и познакомилась с потрясающими людьми. К концу программы мне предложили должность помощника судьи в Бостонс.

Когда я вернулась в Штаты, судья, которая предложила мне должность, объявила, что прежняя ее помощница не получила работы, на которую рассчитывала, и остается на прежней должности — так что очень жаль, конечно, но мои услуги не требуются. Я предполагала вернуться в мою прежнюю квартиру на Марльборо-стрит, но хозяйка сказала, что придется подождать, по крайней мере, несколько месяцев, потому что какие-то жильцы за что-то там подали на нее в суд. Она бы мне позвонила, но потеряла мой номер телефона и никак не могла вспомнить, где именно в Англии я нахожусь. Я подумала, что, учитывая обстоятельства, могла бы на какое-то время поехать в Нью-Йорк и побыть с моим возлюбленным, который только что получил хорошую работу в инвестиционном банке. Ну вот, я и позвонила, чтобы узнать, как он к этому отнесется, а он заявил, что безумно любит меня, но лучше мне не приезжать. Он больше не может выдержать такого накала страстей, такого уровня Бури и Натиска, или, как говорится в песне «Роллинг Стоунз»: «Что бы я ни делал, все не так; как я ни стараюсь, все только хуже…» Марк был по-своему прав, но я не была готова взглянуть на вещи под таким углом зрения — ни в то время, ни в какое бы то ни было другое. Ни работы, ни квартиры, ни любимого — три удара, и я падаю со скалы, свободно парю над бездной.

Сразу после моего двадцать девятого дня рождения, перед самым Рождеством я чуть не умерла. Сиг и Джоэл (мои старые друзья, со времен лыжного лагеря и Вудстока, братья Лизы) жили в Кембридже; они пригласили меня к себе, сказав, что я могу оставаться, сколько захочу. Проведя с ребятами несколько недель, я сняла на той же улице мрачную квартиру. Но жить одна не могла. Однажды ночью, часа в два, я позвонила Марку, разбудила его и стала убеждать, что он делает ужасную ошибку, порывая со

мной. Поздней ночью вопить в трубку: «Я тоже могу быть нормальной» — вовсе не является, как мы говорили в бизнес-школе, стратегией с высокой ожидаемостью успеха. Я это сознавала, но без него испытывала такую боль, что не могла сдерживаться; как утопающий в панике хватается за своего спасителя, так и я вцепилась в него настолько крепко, что едва не утащила вниз за собой. Я чувствовала себя так, будто от меня оторвали часть моей собственной плоти, и голова у меня кружилась, словно от серьезной потери крови.

Я уже испытывала нечто подобное в восемь лет, когда несла свою сломанную руку по бескрайнему полю и старалась не терять сознания так долго, как только могла, баюкая руку до тех пор, пока слишком много крови не ушло из меня, и я не отключилась. Где-то в тайниках сознания, оставшихся с детства, запечатлелась мысль, что больница — это место, куда попадаешь, когда от жестокой боли теряешь сознание; где тебя кладут на чистые белые простыни и где люди заботятся о тебе. Когда ты в больнице, мама к тебе добра.

Этой ночью, через двадцать лет, в три часа пополуночи положив трубку после разговора с возлюбленным, зная, что забит очередной гвоздь в гроб наших с ним отношений, я возжаждала тихой пристани. Боль была такой жестокой, что я больше не могла терпеть. Я чувствовала, что теряю сознание, и понимала, что надо попасть в больницу. Но в этот раз не было крови и нечем было доказать, как мне больно. Значит, нужно проглотить пару тюбиков таблеток, иначе там разозлятся, назовут меня обманщицей и отправят домой. По «железной логике страны снов» это казалось мне совершенно разумным. Никогда не лги.

Сначала я позвонила в Бостонскую городскую больницу, кажется, в скорую помощь. Я хотела узнать, в три часа ночи, изнывая от боли: если человек проглотит кучу таблеток и попадет в больницу, смогут ли газетчики пронюхать об этой истории, раструбить его имя? Я выходила из себя при одной мысли, что в газетах узнают что-то такое о дочери Сэлинджера. Моим первым, инстинктивным, движением в минуту отчаяния было не защитить себя, а соблюсти уединение отца, следуя семейному кодексу, велящему избегать всего, что могло бы привлечь внимание прессы.

Медсестра, уговаривая меня не делать глупостей, все же заверила, что газеты не имеют доступа к такого рода информации, иначе я, скорее всего, не проглотила бы эти таблетки. Я набрала 911, сказала, что выпила кучу лекарств, продиктовала адрес, и потом, *после* того, как повесила трубку, проглотила две упаковки разных таблеток и запила их

шотландским виски. Теперь меня не обвинят во вранье и у меня не будет неприятностей.

Приехала скорая помощь, не такая, как я представляла себе, а квадратный фургон, похожий на экскаватор. То были пожарные, из службы спасения. Мне разрешили взять с собой какие-то вещи, что удивило меня. Они подобрали с пола оставшиеся таблетки и разложили по соответствующим пузырькам — я еще подумала: какие аккуратные. Потом сообразила, что врачам нужно знать, сколько и чего я наглоталась. Я взяла с собой небольшую, высеченную из камня голову африканской работы, которую Марк подарил мне на прошлое Рождество, и носовой платок, принадлежавший бабушке. Вот и все. Плюшевого медвежонка не взяла: побоялась, что где-нибудь затеряется. Я сначала сама спускалась по лестнице, а потом меня уложили на носилки. Последнее, что я помню, — человек в машине смотрит мне прямо в глаза и кричит: «Не спи, оставайся с нами!»

Не было чистых белых простыней. Был металлический стол и слепящие лампы в реанимации. Я не то, чтобы очнулась, — меня словно ударило молнией. Я вся горела, в венах будто жужжали пчелы. Целый улей, и в придачу тысяча чашек кофе. Думаю, после того, как промывают желудок, вводят какой-то стимулятор, чтобы нейтрализовать действие успокоительных таблеток. Что-то жуткое готовилось за зеленой пластиковой занавеской рядом со мной. Потом принесли уголь.

«Пейте. До дна». Кварта за квартой скрипящего на зубах угля, растворенного в воде. Черные хлопья сажи лезли у меня из носа и изо рта, задница извергала уголь. Он попал и на бабушкин платок. Пятно так и не отошло.

Я была ошеломлена, обнаружив, насколько близка была к тому, чтобы убить себя. Похоже, даже очень постаравшись, я вряд ли могла бы найти более смертоносное сочетание, чем то, которое случайно оказалось у меня под рукой.

Из больницы я позвонила моему почти-уже-бывшему возлюбленному и сказала, что у меня камни в почках — так, ничего серьезного. Позвонила в Вашингтон Уэйну, одному из лучших моих друзей по университету Брандейса. Он отменил прием в Госдепартаменте, ближайшим рейсом вылетел в Бостон и привез мне одеяло, помня, что я постоянно мерзну. Он позвонил нашей подруге Марджи в Филадельфию, и та прилетела через несколько часов.

Своего психиатра я не посещала с тех пор, как уехала в Англию. Он пришел меня проведать и сказал, помимо всего прочего: «В следующий раз вспомни, что есть телефон, ладно?» Я

это усвоила. Он был рад меня видеть, но ему было грустно видеть меня здесь. После коротких пререканий меня выписали домой на следующий день.

Из больницы домой я ехала одна, в такси; чувствовала себя паршиво, но близость смерти отрезвила меня. Когда я открыла дверь в квартиру, меня ожидал приятный сюрприз. Уэйн и Марджи, оба евреи, которым было все равно, что рождественская елка, что кактус, купили все-таки елку и установили у меня в комнате. Такой причудливо убранной рождественской елки я не видела никогда — и такой красивой тоже.

32
По ухабам

От одного друга я услышала, что у крупной международной консультационной фирмы, разместившейся в Бостоне, в этом году хорошо идут дела, и там в январе набирают новых сотрудников. (Обычно такие вещи совпадают с учебным циклом в бизнес-школах: если не устроился на работу в сентябре, забудь об этом до следующего года.) Я послала резюме, и меня вызвали для собеседования. От такого варианта я не могла отказаться. Я сообщила, что мои интересы и специальные знания связаны с областью индустриальных отношений и организации труда, И.О. и О.Т., как это обычно называется; то есть, с «мягкой» стороной бизнеса. Чудесно, сказали они, и включили меня в наспех сколоченную команду, которая проверяла качество программ на мягких дисках для компьютерной фирмы «Форчун 500». Я даже не знала тогда, как пользоваться компьютером, не то, чтобы проверять качество чего-то, к нему относящегося. Через несколько лет, как я слышала, компьютеры в корне изменили всю оксфордскую программу, но мы от руки, чуть не гусиным пером, писали наши объемистые работы по философии человеческого фактора. Первую неделю я потратила на то, чтобы самостоятельно освоить «Лотос 1-2-3», не слишком привлекая внимание компьютерных асов, которых я по идее должна была проверять. Кошмар.

Целый год я старалась «сделать карьеру» в таких «жестких» управленческих областях, как финансы и проверка качества, но все вокруг далеко опережали меня, потому что стартовали раньше. Когда пришлось лечь на операцию, это было облегчением. Заведующий отделением урологии в Главной Массачусетской клинике обследовал меня на предмет хронического, весьма болезненного воспаления мочевого пузыря и сказал, что уретра у меня расширена до предела — и дальше что-то совсем непонятное. Он привел еще одну врачиху, и та стала расспрашивать о моей половой жизни: на все вопросы я отвечала отрицательно; половина предположений мне и в голову никогда не могла прийти. Тогда ей понадобились сведения о моих детских болезнях. Я позвонила матери и спросила, были ли у меня в детстве инфекции мочевого пузыря. Да, подтвердила мать: после того, как ей было позволено водить меня к настоящим врачам, мы, как правило, обращались к ним из-за того, что у меня болело «там, внизу»; «Потому, — добавила она

драматическим шепотом, — что ты без конца *мастурбировала*».

Из тех времен припоминается лишь один кадр: я сижу в ванной, одна, настолько еще маленькая, что одной мне страшно: обычно мама моет меня. Я ощущаю совершенно невыносимую боль внизу живота. Думаю — может, мыло попало туда, пока я мылилась, и теперь щиплет, как это бывает, когда мыло попадает в глаза. Было так больно, что я даже не могла плакать, только хрипела при каждом вздохе, стараясь отвлечься от боли, и раскачивалась из стороны в сторону, пока не остыла вода. Потом память вместе с водой ушла через сток.

Отец пришел в клинику утром перед операцией. Это меня, мягко говоря, удивило. Он был бледен и озабочен. Он сказал: «Тебе не следовало бы самой принимать решение об операции». Он, Сиг и Джоэл потом отвезли меня домой. Я снова жила в моей старой квартире, хозяйка наконец отделалась от гнусных жильцов; там я и оставалась до тех пор, пока, лет через десять, дом не превратился в кондоминиум. Папе понравилась моя квартира. Он увидел ее в первый раз.

Через пару недель мне позвонил агент по найму и предложил место, на которое ему поручили найти сотрудника. Чтобы сократить и без того недлинную историю, скажу, что места я не получила, но фирма по подбору кадров, на которую работал этот агент, предложила мне работу консультанта. Тот же высокий заработок, но не такой насыщенный рабочий день, и разговоры с людьми вместо разгрызания цифр. Боже, какое счастье.

Папа навестил меня на моей новой работе, и мы вместе пошли на ленч. Ему очень понравился мой деловой костюм, да и офис произвел должное впечатление: он располагался в красивом старинном здании, окна выходили в чудесный двор, где весной и летом можно было посидеть за столиком, выпить и отведать изумительной французской кухни мадам Робер. За ленчем папа все твердил, как он рад, что я приобрела практическую специальность и занята делом. Его сильно беспокоило, что брат выбрал профессию актера; отцу хотелось бы, чтобы и Мэтью занялся чем-нибудь полезным. Я гордилась собой и своим положением; нельзя было и пожелать лучшего начальника или коллег; и все же отец представить себе не мог, насколько все это отдавало маскарадом и игрой на сцене. Я еще тосковала по грузовикам, легковушкам и рабочим ботинкам; скучала по библиотекам и письменным работам — но вела себя «ответственно», как взрослая: оправдывала свой диплом, вместо того, чтобы сказать, перефразируя одну песенку-кантри: возьми эти чулочки, а там хоть и выкинь их[243].

На второй год моей работы в фирме по найму я подхватила

грипп, который никак не проходил. Я упорно таскалась на работу, а мой босс, Джек Верной, очень порядочный, добрый человек, столь же упорно отправлял меня домой. В следующие несколько месяцев я выработала так называемое «правило ста градусов»: сидела за столом и работала, как могла, пока температура не поднималась до ста одного — тогда я сдавалась и уходила домой. Мой лечащий врач сначала заподозрил волчанку или рассеянный склероз. Об этом можно было догадаться по анализам, которые он заставлял меня делать, а потом и сам мне рассказал, когда диагноз не подтвердился. Анализы крови были совершенно запредельные: белые тела взлетали до облаков, красные опускались до сточной канавы и так далее. Что-то было явно не так, но врачи не могли понять, что именно. А я тем временем изнемогала, меня терзали лихорадка и бесконечный понос — я себя чувствовала так, будто по мне проехал автобус.

Начальник наконец вызвал меня и предложил взять большой, настоящий отпуск, чтобы подлечиться. Он заверил, что место останется за мной; в любом случае я принесу компании больше пользы, если как следует поправлю здоровье, вместо того чтобы перемогаться. Сказать невозможно, как повлиял этот разговор на мое душевное, а может, и физическое состояние. Я часто слышала, что больные, до того, как им поставят диагноз, переживают ужасный период: их считают симулянтами, психами или просто лентяями. У меня в конце концов обнаружили «новую», вернее, новооткрытую болезнь, которую сначала окрестили «вирус Эпстейна-Барра», а потом СХУ — «синдром хронической усталости»; в Англии она называется «миалгический энцефаломиелит». К прочему букету добавилась фибромиалгия: я не могла удержать в руках ничего, даже чашку чая. Какой-то ретровирус ввергал мою иммунную систему в состояние постоянной войны. Я сама атаковала собственные сочленения, словно это были подразделения врага; пыталась постоянной рвотой и поносом вывести из организма какие-то зловещие, призрачные яды. Все мое тело вступило в смертельную схватку с тенями, и это доводило меня до такого изнеможения, что я и квартала пройти не могла без посторонней помощи.

Я жила на третьем этаже и, помню, много раз сидела у подножия лестницы и плакала, потому что представления не имела, как мне подняться наверх. Где-то через год я уже почти не выходила из квартиры, а соседи, друзья и прихожане церкви приносили еду. Мне с трудом верится, что я так долго была инвалидом, практически прикованным к дому. Это кажется нереальным потому, что я слишком уставала, чтобы скучать. Я могла просто сидеть без движения — лишь бы не испытывать

боли. Удивительно, но уныния не было: если и возникали какие-то чувства, кроме изнеможения, так это был страх. Я боялась, что скоро умру.

После полутора лет тяжелой болезни начали появляться дни или часы, когда немного солнечного света, немного энергии пробивалось сквозь мрак. И с руками, слава богу, не становилось хуже: такое увечье мне и в самом деле было тяжело вынести. Где-то через два года мне стало настолько лучше, что я начала немного скучать, и принялась поглощать фонды Бостонской публичной библиотеки, раздел за разделом. Какой-нибудь друг сопровождал меня туда в один из хороших дней, а потом тащил домой целый воз книг. Я провела несколько счастливых месяцев, изучая древний японский театр — его сценографию, танец и музыку — а потом, естественно, перешла к японской религии и обрядам, в особенности увлеклась ритуальным пением. Кроме того, ходила в расположенную за утлом церковь, где в воскресную литургию включался полный цикл кантат Баха; они, как во времена Баха, составляли неотъемлемую часть службы. Излишне говорить, что в церковь стекались толпы музыкантов, любителей музыки и прочей богемы, и внешний вид этой публики был далек от традиционного. Приходили, правда, и старые бостонские дамы в шляпках и белых перчатках. Церковь Эммануила привечает всех без исключения такими, какие они есть; вы можете и остаться таким, если захотите. Вас приглашают, в объявлении, набранном крупными буквами, прийти и послушать епископальную литургию — вы будете слушать ее так долго, как ваша совесть вам велит, в зависимости от того, насколько «продвинулись вы в вашем духовном странствии». Почти как в Вудстоке: здесь тоже привечают всех, и никто не должен быть на всех похож. Любители музыки — евреи, католики, буддисты и атеисты — сидят на одних скамьях со старыми бостонцами, приверженцами епископальной церкви.

Однажды мне позвонил представитель страховой компании, от которой я получала пенсию по инвалидности. Мне было предписано посетить врача, которого страховая компания нанимала и оплачивала. Каждый месяц я получала от штата и от этой компании весьма приличную сумму, а мой лечащий врач периодически посылал результаты анализов, которые подтверждали, черным по белому: со мной явно *что-то* не так, хотя номер ГД (группы диагноза) пока еще определить невозможно. Визит к врачу компании очень напоминал «сеанс» в кабинете Кит. Знаете, как это жутко, когда человек, который обследует тебя, раздетую, без конца сыплет прибаутками, а смысл

их сводится к тому, что вся твоя болезнь — сплошное притворство, и пора бы уже в этом признаться? *Бешенство, унижение, бессилие* — вот немногие из слов, какие приходят на ум. Через две недели я получила уведомление о том, что выплаты по инвалидности будут прекращены. Мой настоящий доктор кипел от возмущения; он потрясал моими анализами и твердил, что действия того, другого врача граничат с профессиональной некомпетентностью.

Беда в том, что если вы *действительно* инвалид, вы не в той форме, чтобы подавать в суд и вести тяжбу. Страховые компании это понимают. Сейчас, задним числом, я укоряю себя за то, что не боролась, но только потому, что почти невозможно припомнить, или заново выстроить в уме ту безмерную усталость, которая тогда угнетала меня. Как говорит моя подруга Мэрилин, у которой волчанка, полимиозит, астма и прорва других болячек, ты не можешь вообразить себе, что значит быть усталым, пока не побываешь в нашей шкуре — когда мочишься в постель потому, что слишком устал, чтобы скатиться на пол, не то, что доковылять до ванной. У меня бывало много, много таких дней. Дней, когда мне было стыдно позвать кого-то на помощь, потому что я опять не совладала со своим кишечником или мочевым пузырем, а простыни так и не поменяла. Теперь я больше всего боялась не умереть, а очутиться в каком-нибудь государственном приюте, нищей и оставленной всеми.

Отец все эти годы допытывался, *доверяю* ли я врачам, к которым хожу. Может, кто-то в состоянии сделать для меня больше, чем эти гарвардцы в их гарвардских так называемых учебных клиниках? По его советам я обращалась к представителям альтернативной медицины: гомеопату, хиропрактику, иглоукалывателю — и проходила у каждого курс лечения. Это обошлось недешево.

Я позвонила отцу и сообщила зловещую новость: выплаты по инвалидности прекращены. Через пару недель мне пришел конверт по почте. То была трехлетняя подписка, от моего имени, на ежемесячный буклет о чудесных исцелениях, издаваемый Церковью христианской науки. Он также послал мне книгу Мэри Бэйкер Эдди «Наука и здоровье с ключами к Священному писанию» в твердой обложке. Я поправлюсь, как только перестану верить в «иллюзию» своей болезни.

Но начинала трещать по швам другая вера — в иллюзию отца.

33
Сплетая собственную жизнь

Не спеша, спокойно рассмотрев свою жизнь, я решила, что, если не умру, не стану больше ценой своего времени воплощать чьи-то сны. Легче сказать, чем сделать — но намерение уже означает движение в нужном направлении. Преображение не было быстрым и легким, уверяю вас. Люди, которые утверждают, будто процесс пробуждения и выбора собственного пути, когда постепенно разрушаешь старые стены, собираешь себя по кусочкам, которые разбросала война или насилие, незнание или пренебрежение, — не более, чем «удивительное странствие, восторженное постижение себя», — это те же самые люди, что одарили нас книгой «Армия — это приключение», или «Забавой для всей семьи», фильмами о родах, которые показывают беременным. Вообразите, какое свинство. Однако же, как и при родах, ты получаешь лучшее в мире после смертной муки. Но даже и тогда тебя ждет тяжкий труд: бессонные ночи, страхи, бесконечные какашки (не ребенок, шутим мы, а целая лошадка) — и сомнительная привилегия заново пережить свое детство и отрочество: это не всегда так уж красиво.

Первым делом я подвергла пристальному анализу заповеди Сэлинджеров. Не заигрывай с искусством, если ты не рожден гением; не изучай религию — разве что обрядившись в мешковину, у ног какого-нибудь пришлого гуру. Не ступай на порог нечистой Лиги плюща. И ради Господа, ради отца своего никогда не проходи курса английского языка и литературы. Не делай ничего, если не можешь достичь совершенства; не носи в себе изъяна, не становись женщиной, не расти.

Чем бы мне хотелось заняться — чем, учитывая мою беспомощность, я могла бы заняться? Вот вопросы, которые я задавала себе. Мой священник, Эл Кершо, умел изумительно слушать. Я ему заявила, что не хочу ставить перед собой задачи, которые могут оказаться мне не по силам. Что верно, то верно — терпеть не могу кого-нибудь подводить. Думаю, мне в некотором роде требовалось его разрешение, чтобы на какое-то время освободить себя от активной работы. Он возразил, что созерцание — тоже работа, и предложил мне подумать насчет школы богословия. Помню, я воззрилась на беднягу так, будто у него выросли две головы, как много лет назад глядела на кадровика в компании «Эдисон», который предложил мне работу в гараже. Кому, мне? Я всегда считала, что школы богословия, такие

например, как Орал Робертс Ю, распространены на Юге и Среднем Западе, в «библейском поясе»: евангелисты, осознавшие свое призвание, готовятся там стать священнослужителями. Мой священник, уроженец Кентукки, чуть не задохнулся от смеха. Придя в себя, рассказал о нескольких школах богословия в ближайших окрестностях — можно пойти туда и выяснить, какое тебе подойдет «служение»; многие из тех, кто обучается там, вовсе не собираются принимать сан. Иначе, сказал он, это не шло бы из глубины души, не было бы искренним, настоящим.

Я знала, что платы за обучение мне не потянуть, но все равно решила присмотреться. Мне очень понравилась программа Гарвардской школы богословия: сама по себе потрясающая, она вдобавок предоставляла студентам чудесную возможность слушать гарвардские курсы последнего года обучения, а также посещать занятия Епископальной школы богословия и Уэстонской иезуитской школы теологии, которая располагалась неподалеку от Кембриджа.

Я пришла на прием к декану, ведавшему зачислением и финансовой поддержкой, и выложила карты на стол. Рассказала о том, что болею, что неуверена в своих силах; упомянула и о знаменитом отце, который вряд ли поддержит мою идею и станет мне помогать. «Посмотрим, что тут можно сделать», — сказал декан. Через пару недель по почте пришел толстый пакет: мне сообщали, что я удостоена стипендии за научные заслуги — десять таких стипендий выделено для поступающих, которые уже проявили себя на академическом поприще. За мое обучение было полностью уплачено, и я получила ссуду под низкий процент, чтобы покрыть расходы на проживание. Я автоматически включалась в университетскую систему медицинского страхования, и специальная служба, охватывающая студентов с физическими отклонениями, определила мне помощника, который в случае моей продолжительной болезни посещал бы занятия и вел конспекты; а также особую парковку для студентов-инвалидов, чтобы не надо было далеко идти пешком, и омбудсмена, в случае, если возникнут какие-то трудности. В библиотеке даже имелась тихая комнатка с кушеткой, если бы мне потребовалось прилечь в перерыве между занятиями.

Я послала отцу вырезанную из природоведческого журнала фотографию, которая, как я думала, должна была бы ему понравиться, и рассказала свои новости[244].

«Дорогой папа,
Я нахожу эту фотографию, вернее, факт, что такая

лягушка существует, весьма воодушевляющим.

Какая красота.

С любовью *Пегги*.

P. S. Если не захочешь держать у себя вырезку, отошли обратно: я найду для нее место».

Я вложила фотографию (настоящей, живой) стеклянной лягушки. У нее прозрачная, бледная-бледная зеленая кожа, сквозь которую просвечивают внутренности — и всего одна красивая красная черта артерии. Фотография вернулась ко мне с запиской: отец признавал, что лягушка красивая, и, может быть, мне стоило бы заняться природоведением, раз такие вещи приводят меня в восторг. Те натуралисты, которых он видел по телевизору, вроде бы довольны своей работой. Религия — другое дело. Если не считать духовного труда тех редких людей, которые являются примерно раз в две тысячи лет, мало что можно найти в религии, кроме человеческого эго, человеческих нужд или вожделений. Большей частью это — сплав чувства и догмы, не говоря уже о тщеславии, богословском тщеславии, плюс еще кое-что. В конце он напомнил мне стихотворение Басё о лягушке. Подпись: твой веселый папа.

Мама была в восторге и рассказала всем своим друзьям. Брат, полагаю, никак не мог привыкнуть к мысли, что его сестра станет священнослужителем, и это вполне понятно — однако пожелал мне успеха.

Как сказал бы Джозеф Кэмпбелл, я «шла следом за своим блаженством» целых три укрепляющих, восстанавливающих силы года. Сидеть, слушать, читать и думать я могу даже и при слабом здоровье. За эти три года, включавшие в себя много и хороших, и плохих дней, я мало-помалу выкарабкалась к приемлемому качеству жизни. Легкий насморк до сих пор меня валит с ног, а с гриппом я неизменно попадаю в больницу. Мы с Мэрилин, как две старые карги, можем предсказывать погоду: так ноют и болят у нас все суставы. Я все еще сплю по одиннадцать часов, но днем все равно брожу, как несчастные сомнамбулы из «Ночи живых мертвецов».

В основном курсе богословской школы имелись окна, и я ездила в Уэстон к иезуитам, на лекции по толкованию Священного писания и по псалмам; в Епископальную школу богословия — на лекции по литургической музыке; на факультет музыки в Гарварде, где читались курсы поразительной широты — от Баха до теории музыки и композиции, от этномузыковедения до дирижирования хором. Со старшекурсниками я посещала

лекции по японскому искусству и мировым религиям; записалась даже — смертный грех для Сэлинджеров — на литературный курс под названием «Конфликт в трагедии и человеческий конфликт»; читал его (дьявол во плоти!) преподаватель с кафедры психиатрии медицинского факультета. Он вовсе не принадлежал к «сословию оловянных ушей», как называл отец всех психиатров, и хотя античные трагедии игрались в масках, я нашла, что история Эдипа гораздо более откровенна, чем рассуждение о «глазах» в «кредо» Сэлинджера[245].

О, на сколькие вещи раньше я закрывала глаза, чтобы всегда оставаться «славной девчонкой»! После пробуждения я, на первый взгляд чинно, двигалась по кампусу, как и все прочие, но в глубине души ощущала, как путы спадают с ног, превращаясь в пестрые ленты; переходя из библиотеки в аудиторию, я в одиночку водила хоровод вокруг моего собственного, лишь для меня воздвигнутого, Майского дерева. Тогда же я влюбилась в сатира, принявшего облик кандидата наук по этике и религии: его голос напоминал сладкий, черный кубинский кофе; нежно воркуя мне на ухо, он называл меня preciosa[246].

Взлеты и падения в сердечных делах до сих пор для меня тяжелы. Я стараюсь беречься, но «выблевывание устриц», традиция семьи Глассов, еще крепка во мне. Я не могла есть неделю после того, как он отправился к другим нимфам. Я пила много воды и изо всех сил старалась проглотить хоть кусочек, но меня рвало прежде, чем удавалось хотя бы разжевать крекер. Мой священник пришел меня навестить и вызвал скорую помощь. Мой организм был опять полностью обезвожен: я пролежала под капельницей ночь и большую часть следующего дня, до тех пор, пока не смогла что-то съесть и удержать это в себе. Меня хотели оставить еще на день, для обследования, но я сообщила врачам, что мой лучший друг Дэвид прилетел из Нью-Йорка и сейчас жарит курицу в моей квартире — тогда меня отпустили домой. Какая прелесть: он делал генеральную уборку, напевая при этом: «Я вымою голову и забуду о нем».

Легче обошлось с последним мужчиной, который был у меня до того, как я встретила моего мужа. Вместо того чтобы падать с самолетом, все крепче и крепче вцепляясь в руль, с «лицом, искаженным гримасой страха»[247], я выпрыгнула с парашютом. Приземлилась в доме, где жили мои друзья Генри и Лиз с детишками, и пробыла там пару дней, дабы удостовериться, что старая, простите за грубость, блевотина не полезет наружу. Грубо, но соответствует действительности. Я потеряла в весе, что для меня очень вредно, но на этот раз ничего серьезного не случилось.

Иногда «выздороветь» означает научиться справляться с болезнью, а не излечиться окончательно. Если вы знаете, что ваш самолет терпит крушение, не держите это в секрете; молитесь Богу сколько душе угодно, но поставьте в известность авиадиспетчера ближайшего аэропорта: пусть зальют пеной посадочную полосу и приготовят пожарные машины — так, на всякий случай.

Где-то в середине курса обучения появилась возможность применить свои силы. Я познакомилась с женщиной, капелланом одной из учебных клиник, и она сказала, что здоровье не помешает мне заниматься тем же. Большинство пациентов довольно быстро выписывались, так что проблема непрерывности не вставала слишком остро: даже если я какое-то время не смогу работать, ничего страшного не случится. Пациенты чаще всего нуждаются в нас при чрезвычайных обстоятельствах; это — единичные, но очень насыщенные беседы. Я подписала контракт на десять часов в неделю. Уникальная, завораживающая, вдохновляющая встреча с жизнью и смертью.

Когда отец позвонил и спросил, чем я сейчас занимаюсь, я, как дурочка, все ему рассказала. Я заранее знала, что мы с ним по-разному смотрим на работу капеллана. Так же точно я знала в восьмом классе, что нужно попросить Дженни не упоминать при нем о наших концертах в доме престарелых. Он спросил, как работа, а я стала рассказывать о пациентах, об их делах. Не это его интересовало. Спрашивая о работе, он хотел узнать обо мне. Борюсь ли я со своим эго, чувствую ли себя святее-всех-святых, когда иду коридорами Гарвардской больницы? Только ли «эго и богословское тщеславие» взыграли во мне?

Зуи бросает Фрэнни такой же вызов, но ее интересуют в точности те же, чуждые мне, вещи. Она отвечает:

«Неужели ты не понимаешь, что у меня хватает ума волноваться из-за тех причин, которые заставляют меня творить эту молитву? Это же меня и *мучает*. И то, что я чересчур привередлива в своих желаниях — то есть мне нужно *просветление* или душевный покой вместо денег, или престижа, или славы, — вовсе не значит, что я такая же эгоистка и не ищу своей выгоды, как все остальные. Да я еще хуже, вот что! И я не нуждаюсь в том, чтобы великий Захария Гласс мне об этом напоминал!»

Холдена беспокоит то же самое. Его сестра Фиби требует, чтобы он сказал, кем хочет быть, когда вырастет, и предлагает ему стать юристом, как их отец. Холден отвечает:

«… откуда бы ты знал, ради чего ты это делаешь — ради того,

чтобы *на самом деле* спасти жизнь человеку, или ради того, чтобы стать знаменитым адвокатом, чтобы тебя все хлопали по плечу и поздравляли, когда ты выиграешь этот треклятый процесс… Как узнать, делаешь ты все это напоказ или по-настоящему, липа все это или не липа? Нипочем не узнать!»

По правде говоря, мое эго было *последним*, что меня заботило в больничных палатах. Вот почему больничные капелланы встречаются с инспекторами после работы, в конце недели, чтобы иметь возможность вздохнуть свободно и как следует все обдумать. Я просто не представляю себе, как можно заботиться о мотивах собственных поступков с всепоглощающей настырностью подростка, рассматривающего в зеркале свои прыщи. Я знаю, что многие святые, многие деятели церкви всю жизнь посвящали тому, чтобы с корнем вырывать любое пятнающее душу побуждение. Это, должна признаться, ускользает от моего понимания; возможно, я в чем-то и не права, но самобичевание и смирение человека, возненавидевшего себя, поражают меня так же сильно, как и история Нарцисса, влюбившегося в свое отражение. Конечно же, в первый день я вертелась перед зеркалом, примеряя, какой крест надеть: слишком большой — примут за монахиню; слишком маленький — никто не поверит, что эта относительно молодая женщина на самом деле капеллан. Но скажу вам правду: я улыбаюсь, вспоминая об этом, а не злюсь на себя, как Фрэнни. Что добрые вещи могут произойти из сосуда скудельного, что Бог нас берет такими, какие мы есть, — в этом отец никогда не сможет со мной согласиться.

Снова и снова видела я, как мои скудные, несовершенные дары преображаются во что-то поистине полезное. Помню, как я читала в палате испанские стихи — представьте себе, с каким жалким произношением — одному старику, который не говорил по-английски и переживал разлуку с семьей. Видеть слезы радости на его глазах, чувствовать, какое утешение это ему приносит, — опыт сокрушительный, далеко выходящий за пределы собственной личности. Или на следующий день сообразить, о чем бредит в страхе перед операцией португальская старуха. «Мои статуи! Мои статуи!» — вся в слезах твердила она. Я долго сидела рядом с ней, пока не догадалась, что ее маленькая квартирка вся была заставлена статуэтками святых и Пречистой Девы, и теперь женщина по ним ужасно тосковала. Статуи были ее семьей — и оставили ее одну, когда она больше всего нуждалась в помощи. Какая малость — купить статуэтку в сувенирной лавке, чтобы она охраняла больную всю эту длинную ночь. И какое великое дело. Ты подбираешь с пола мишку, бутылочку, одеяльце своего братика и кладешь туда, где он может

их достать. Так просто.

Я не питаю иллюзий, будто хожу по водам, когда иду больничным коридором или сижу у чьего-то изголовья. И не имею дерзости думать, будто я могу воззвать к больным и поднять их с ложа страданий — я не знаю целительных заклинаний. Я не устраняю душевный разлад, не пытаюсь лечить болезни, не стараюсь делать людей «лучше», как подобает «славной девчонке». Я просто стою рядом с кем-то всю длинную ночь в Гефсиманском саду. Если он хочет поговорить, я слушаю или отвечаю; если он хочет молиться, мы молимся; если он хочет услышать новости о «Рэд-сокс» — и при этом нет опасности инфаркта — я иду в будку охранника, слушаю радио и выясняю, на каком периоде «Соксы» продули.

В моей жизни появилось еще кое-что новое, но, в отличие от «благотворительности», тут я целиком и полностью полагалась на то, что отец это оценит. Надежды мои связывались с той давней поездкой домой на Рождество из Кросс-мауэнтэт, когда мы прихватили с собой Дженни. Я вновь открыла для себя радости пения, но лишилась уже иллюзии искусства как непорочного зачатия и стала постигать ремесло. Природа не наградила меня голосом солистки. Но я обнаружила, что упорным трудом можно добиться многого, высоко взлететь — даже поразительно, как высоко, с весьма средними природными данными. Я и мечтать не могла, что мои так приблизят меня к небу. После трех лет прослушиваний я, наконец, попала на Танглевудский фестиваль, в хор Бостонского симфонического оркестра. Необычайное, блистательное исключение из правила Сэлинджера — простая смертная, одна из толпы творит музыку вместе с небесным хором, которым дирижирует Сейджи Осава.

В вечер моего первого выступления в БСО я взяла такси. «Симфонический зал, пожалуйста, служебный вход». Шофер был пожилой человек, и когда я сказала: «Можно, я повторю, это так чудесно звучит: служебный вход, пожалуйста», — он порадовался за меня. Всю дорогу говорил об операх, которые слышал, и о тех, которые услышать мечтал.

На Рождество мать посетила один из наших концертов и привела профессора из Африки во всех регалиях: он думал, что я — какая-нибудь звезда. Отец только что вернулся из Нью-Йорка, где видел брата в какой-то пьесе, о чем и поведал по телефону, как раз перед тем, как мне идти на концерт. Не подумав, забыв об осторожности, я спросила: «Когда же ты придешь послушать мое выступление?»

— «Когда смогу выделить тебя из толпы», — ответил он.

Однажды вечером, уходя на концерт, я обнаружила, что лестницу загромоздили вещи нового жильца, который переезжал в квартиру этажом выше, бывший «холостяцкий клуб»: она состояла из четырех спален, и ее снимали вскладчину очень хорошие парни — был у них проигрыватель, автомат с кока-колой, плакаты в стиле ретро и всякие штучки, относящиеся к рок-н-роллу. Новый жилец, здоровяк, в одиночку тащил диван на четвертый этаж. Заметив меня в шикарном концертном костюме, с черным галстуком, он сказал с широкой улыбкой, свойственной уроженцам Среднего Запада: «Вот это так наряд. По какому случаю?»

«Пою сегодня в Симфоническом зале», — развернула я лебединые крылья.

«Ах, ну да, правда. Дирижирует приглашенный Саймон Рэттл. Я и забыл, что он должен так скоро приехать. Похоже, хороший дирижер».

Сложив крылышки, я представилась. Ларри знал о концерте, потому что пел в Бостонской оперной труппе последние семь лет, пока она не прогорела; но у него осталось много друзей среди певцов по всему городу. Ларри происходил из музыкальной семьи, хотя только он один получил настоящее оперное образование. В средней школе у него прорезался голос, который было слышно в двух графствах, и парень попал в консерваторию вместо того, чтобы работать на «щедрую» «Дженерал моторе», как большинство его школьных друзей и соседей из родного городка в штате Мичиган. Какие перемены в доме! Вместо пластинок вроде «Твистед систерс», под которые я засыпала раньше, в окно моей спальни летними вечерами летели звуки «Аиды». Через короткое время мы обручились, и через еще более короткое время житейская проза поразила нас не хуже меткой стрелы Купидона, — как поется в известной песенке: «Детке плохо по утрам, детка в джинсы не влезает».

К несчастью, этой детке было плохо и утром, и днем, и ночью. Несовместимость, рвота все шесть месяцев. Я в основном наблюдала пол в ванной с позиции улитки, потому что кафель холодил лицо, а еще потому, что не было смысла далеко отходить от унитаза. Где-то на середине шестого месяца я почувствовала некоторое облегчение и вновь попыталась петь. Посреди концерта вдруг стала терять сознание, уселась на бортик, а хористы сдвинулись и прикрыли меня. Руководительница моего гарвардского хора в тот вечер пришла послушать нас. Потом она говорила: «Странное дело: ты как-то вдруг исчезла». Грипп свирепствовал среди хора, как лесной пожар, и случилась беда.

Поскольку в последнее время я чувствовала себя лучше, Ларри поехал на двухнедельные курсы певцов и актеров. Брат Лизы Сиг пришел за мной: отвезти домой, помочь по хозяйству. Однако, бросив на меня один только взгляд, тут же повез в ближайший пункт скорой помощи. Там решили, что у меня, наверное, грипп, и отпустили домой, наказав тут же лечь в постель и вызвать врача, если станет хуже. Я позвонила Ларри и попросила его приехать прямо сейчас. Вышел скандал по первому разряду. Бряк телефоном о стол — не приедешь сегодня вечером, больше на порог не пущу, и так далее.

Ах, как долго, долго-долго, долго до зари.

(Кросби, Стиллс и Нэш).

Как и моя бабка с отцовской стороны, в конце шестого месяца беременности я серьезно заболела и тоже могла потерять ребенка. Сиг, его невеста и знакомый капеллан стащили меня, полубесчувственную, с постели и отвезли в больницу, не слушая бредовых возражений, что я, дескать, слишком больна, чтобы двигаться. Меня госпитализировали с острым сепсисом и обезвоживанием организма. Еще один день, ругался врач, и я вполне могла бы умереть.

Через несколько недель меня выписали при условии, что первое время кто-то будет находиться рядом круглосуточно, на случай, если мне опять станет хуже, и я потеряю сознание. Несколько лет назад отец женился на молоденькой медсестре, и та предложила приехать и поухаживать за мной. Отец держал трубку параллельного аппарата, и я слышала каждое его слово, когда он взорвался. «Для чего ей сиделка? Ты просто поощряешь ее склонность постоянно болеть». Она спокойно сказала мне, что перезвонит. Сиг, который знал моего отца с двенадцати лет и, когда раздался этот звонок, как раз пришел в больницу меня проведать, был потрясен. Я все еще плакала, когда жена отца перезвонила через двадцать минут и сказала, что завтра утром приедет. Вряд ли отец легко ей это разрешил, но она его как-то уговорила.

Он *не был* в восторге. Но ей хватило смелости пойти наперекор. Навещая отца, я видела, как он обходится со своей новой женой. Это явилось для меня откровением. Я начала постигать то, что всю мою жизнь было для меня тайной: как ему удается втаптывать в грязь женщин, окружающих его, оставаясь при этом корректным, не марая рук, сохраняя облик джентльмена.

Колин, новая жена, на пятьдесят лет моложе отца. Она хорошенькая, похожа на школьницу. Мягкие рыжие волосы, стрижка «под эльфа», зеленые глаза и милая улыбка. «Худенькая, как раз для коньков», как Холден описывает свою любимую сестренку Фиби, Колин потрясающе выглядит в синем блейзере. Отец должен был бы благословлять свою счастливую звезду. Возможно, в какие-то моменты это и так, но я-то как раз наблюдала, как он бросает камни. Он третирует жену как раз за то, что делает ее такой для него привлекательной, — за молодость, невинность, красоту; за те самые качества, благодаря которым она в состоянии ужиться с ним.

Она родом с Юга, там же училась в колледже и стояла во главе команды болельщиков. Участвовала в состязаниях по боулингу. Она — как раз такой человек, приятный и расторопный, который незаменим у постели больного. Чересчур бодрая, на мой вкус, но я до сих пор не могу отделаться от доставшейся мне по наследству раздражительности и угрюмости нрава. Колин вовсе не глупа — просто ее не интересует литература, она никогда этим не занималась. Она обожает шить одеяла из лоскутков и обычно скупает все синие ленты на Корнишской ярмарке, которую ежегодно помогает устраивать.

В мой последний приезд отец и Колин показали мне, как они переделали старую спальню-кабинет, ту, где стояли сейфы, в швейную мастерскую. Я взглянула на начатое одеяло, и поскольку сама в домоводстве полный нуль, стала подыскивать подходящий комплимент. Конечно, я восхитилась красотой вещи, но еще прибавила, что меня поражают терпение и сноровка, какие требуются, чтобы сшить вместе все эти мелкие тряпочки. Сказала, что у меня получается жуткая дрянь, когда я пытаюсь произвести что-ни-будь, требующее такого рода сосредоточенности. Отец, прервав мои не слишком красноречивые потуги, изрек: «Я всегда замечал, что люди, которые блестяще выполняют подобного рода работу, никогда не отличаются тонкостью ума». Он сказал это без тени досады, просто делясь неким достоверным наблюдением, мудростью, которую он постиг. Это трудно объяснить, но если бы я спросила: «Как можешь ты так прямо, в глаза оскорблять Колин?» — он был бы шокирован и возмущен самим предположением, будто он сказал что-то оскорбительное Колин или же о ней. И разозлился бы на меня — он высказал «чисто объективное» замечание, а я его в чем-то виню; потом обрушился бы на женщин вообще — какие они дети, как принимают все на свой счет[248]. Он так умен, так искусно плетет слова, что человек, которого он оскорбил, ощущает не только оскорбление, но и собственную глупость: ему стыдно, что он оскорбился.

Вот что меня бесит больше всего: часто я осознаю такие оскорбления только через несколько дней или даже лет. Тогда я чувствую себя дурой и начинаю придумывать, что я могла бы сказать в ответ. Не счесть, сколько раз я возвращалась в Бостон после визита к отцу и думала, будто вполне приятно провела время, как вдруг какие-то его слова начинали доходить до меня, и я невольно вскрикивала, обращаясь к приборной доске: «Эй, а вот это было некрасиво».

Его замечание в швейной мастерской, кажется, прошло мимо ушей Колин. Но все равно это было некрасиво.

Хотя папа и уверял, когда я вышла из больницы, будто ужасно за меня беспокоится, он меня ни разу не навестил. Он звонил по три-четыре раза на дню всю ту неделю, когда Колин была со мной, и спрашивал, когда та вернется. В их нескончаемых беседах я слышала ее реплики о мисках для салата, о том, что где лежит на кухне; что он ел на ленч, и так далее, и тому подобное. Помню, я думала, что это скорее напоминает разговор уехавшей матери с двухлетним сыном, оставленным дома — *кое-кому* нужна мамочка, нужна *прямо сейчас*. Со мной он поговорил всего единожды. Хотя он всегда терпеть не мог болезней, я никак не могла быть готова к тому, что услышу.

Он напал на меня с бесстрастной яростью землетрясения. Он спросил, думала ли я о том, на какие средства стану содержать ребенка. Считая его слова преамбулой к предложению помощи, я призналась, что беспокоюсь об этом ежечасно. Он заявил, что я не имею права приводить в этот «паскудный» мир ребенка, которого не могу обеспечить, и выразил надежду, что я задумываюсь об аборте.

Учитывая, как он вел себя раньше, я никак не была готова к таким невероятным словам. Не думаю, ответила я, что могла бы решиться на аборт в тридцать семь лет; не мое дело кого-то поучать, но это ужасно — говорить, намекать, что я могла бы убить моего ребенка.

Он возразил: «*Убить, убить* — глупое слово, нелепая драма. Я говорю лишь то, что сказал бы *любой* отец, у которого дочь в таком положении».

Не знаю, как набралась я смелости, — может быть, потому, что встала на защиту своего ребенка, — но могу сказать с гордостью, что впервые в жизни я высказала отцу все, что наболело; все, о чем я до сих пор молчала. Я заявила: «Нет, папа, любой *нормальный* отец предложил бы помощь. А ты только и знаешь, что осуждать».

Он удивился: «Я никогда не осуждал тебя. Когда это я тебя

осуждал? Я всегда был рядом, когда тебе это было нужно».

Я была ошеломлена. Я не могла поверить своим ушам. Я возразила: «Но это абсолютная чушь. Ты никогда не утруждал себя ради нас, твоих детей. Ты никогда не прерывал своей драгоценной работы. Ты всегда делал то, что хотел, и когда хотел».

«А помнишь, как я возил вас в Англию? Я ведь не обязан был делать этого, правда?»

Что скажешь человеку, который думает, что та давняя поездка в Соединенное Королевство представляла собой великую родительскую жертву?

Я выпалила: «Это все? Все, что ты можешь припомнить? Да мы и в Англию-то съездили потому, что ты хотел повидать девчонку, с которой вел романтическую переписку».

«Господи, ты говоришь совершенно так же, как все женщины в моей жизни, — как моя сестра, мои бывшие жены. Все они нападают на меня, уверяя, будто я ими пренебрегал».

Я прервала его: «На воре и шапка горит!»

«Меня можно обвинить в некоторой отстраненности, это да. Но не в пренебрежении. Просто тебе нужно кого-нибудь ненавидеть. Сначала ты ненавидела брата, потом — мать, теперь ненавидишь меня. Ты все еще ходишь к психиатру, а?»

«Какое это имеет отношение к нашему разговору?»

«*Ходишь*, конечно, ходишь. Тебе ничем нельзя угодить. Ты — вечно недовольная невротичка».

Тут только до меня дошло, что он вообще не чувствует за собой вины. Я всегда думала, что он оправдывает свое пренебрежение тем, насколько важна для него его работа. Я думала, ему хотя бы чуточку стыдно. Даже когда во время этого разговора я его уличила в том, что он допустил, чтобы мы продолжали жить с женщиной, которая, как он утверждал, подожгла дом, где мы находились, его взгляд на самого себя ни капельки не поколебался.

Едва повесив, вернее, швырнув, трубку, я, сама не знаю, зачем, этот разговор дословно записала. Я была в ярости, в бешенстве; испытанное потрясение привело к напряженной ясности сознания, когда время останавливает свой бег, и мысль концентрируется, как лазерный луч. Кто, черт подери, этот человек, с которым я только что разговаривала, которого считала своим отцом? Я всегда преданно защищала его, была хорошим солдатом — но чему, кому хранила я верность?

Я всегда думала, что отец, каковы бы ни были его недостатки, станет замечательным дедом. В супермаркете, стоя в очереди, он

заглядывает в детские коляски, делает страшные глаза, наслаждается беседой с любым малышом, который встречается ему на пути. Как Симор с «Сибиллочкой» в рассказе «Хорошо ловится рыбка-бананка», он находит с детьми общий язык. Я в своем ослеплении была совершенно не готова к такой его безобразной реакции. Из зеницы его ока я в единый миг превратилась в женщину: «плоть, содержащую только кровь, слизь, грязь и нечистоты».

Ошеломленная, я позвонила матери — спросить, не сходит ли он с ума. Она надолго замолчала на другом конце линии, а потом сказала: «Пегги, то же самое случилось, когда я забеременела тобой». И она начала рассказывать свою историю, историю нашей семьи. Я слушала, задавала вопросы — и вдруг все мое существо пронзила мысль: это должно прекратиться. Мы не должны больше передавать фамильное наследие от поколения к поколению неразобранным, неизученным, замалчивая наше прошлое, не ведая его, обрекая потомков на повторение. Больше не должно быть затворничества.

История моей семьи — длинная история созидания прекрасных вещей, которые прятала или уничтожала та же рука, что и творила их. Моя бабка тайно похоронила своих родителей. Что оставила бабушка, спрятал отец; что оставил отец, спрятали его дети. Моя мать пыталась уничтожить себя и своего ребенка. Мой отец не мог представить читателю свое самое любимое детище, «воплощение *мукты*», Симора, без того, чтобы не истребить его. А те герои, которым он позволяет жить, не должны становиться взрослыми. Они, как бабочки в коробках, пришпиленные булавками за брюшко, навсегда заключены в пределы сэлинджеровской Страны вечной юности.

Для моего сына я хочу другой судьбы. Я хочу, чтобы он ощущал связь со своими талантливыми, прекрасными предками. Я хочу передать ему как фамильное достояние ум и чувство юмора, но без «четырех серых стен и четырех серых башен», воздвигать которые мы такие мастера. Я хочу, чтобы он стремился в будущее, свободный от бремени совершенства и потребности уничтожать все, что совершенства не достигает.

Больше всего я хочу, чтобы он знал: у него есть выбор, ибо существует плодородная серединная земля между совершенством и ничтожеством, небесами и адом. Я хочу, чтобы он умел прощать. Я хочу, чтобы он был способен сказать самому себе: «Не все, что я делаю, мне нравится, но меня можно любить»; я хочу, чтобы он был способен сказать другу, жене, ребенку: «Не все, что ты делаешь, мне нравится, но я люблю тебя, и ты можешь на это полагаться». Мой отец ни на что подобное не способен. В его

понимании иметь недостаток значит «недоставать»: отсутствовать, быть дезертиром, предателем. Неудивительно, что в его жизни так мало живых человеческих существ, а в его вымышленном мире то и дело совершаются самоубийства.

34
Пробуждение

— Значит, все это мне не приснилось! — сказала про себя Алиса. — А впрочем, может, все мы снимся кому-нибудь еще? Нет, пусть уж лучше это будет мой сон, а не сон Черного короля!

Подумав, она жалобно продолжала:

— Не хочу я жить в чужом сне! Вот пойду и разбужу его! Посмотрим, что тогда будет!

Лыоис Кэрролл. Алиса в Зазеркалье[249]

Я позвонила Ларри и сказала, что нам нужно поговорить. Он ответил, что пытается сделать это уже много недель. Я показала ему ультразвуковой снимок ребенка: видно было, что «он» — теперь уже абсолютно точно «он» — в полном порядке. Ларри обнял меня и заплакал. С помощью потрясающего психиатра, постоянно работая над собой, привлекая всю свою волю, да еще уповая на везение, мы понемногу становились настоящей семьей. «Дети — мечта, что становится былью; корни нужны им, но также и крылья». Мы с Ларри хотели бы стать чем-то вроде того индейского уловителя снов, который я повесила над кроваткой моего сына: пусть кошмары всех поколений застревают в паутине, сортирующей и различающей грезы, а добрые сновидения, его наследие, стекают по перышку на лоб. Мы хотели устроить для него безопасное место вдали от пропасти, где бы он мог играть и водить хороводы с друзьями.

Это все не случается по мановению волшебной палочки: нельзя вообразить себе, будто ребенок, покинув мое лоно, исцелится, будто ноготь Бэйба, и окажется в безопасности, а не на поле сражения. Нужно было засучить рукава и приниматься за работу. Я стала задумываться о подготовке почвы, о том, чтобы глубоко вспахать целину, до сих пор нетронутую, заросшую сорняками. Я широко открытыми глазами смотрела туда, откуда раньше всегда отводила взгляд; задавала вопросы там, где раньше в молчании проходила на цыпочках. У меня было предчувствие,

что такая работа вырастет в книгу. Я едва осмеливалась думать об этом. Когда я решилась поговорить с матерью о своем проекте, та прикрыла рот ладошкой, как девочка из католической школы, широко раскрыла глаза и сказала: «Это святотатство!» Но когда она отвела руку, на губах ее играла улыбка.

Ее первый порыв, непосредственная реакция попали в самую точку. Святотатство. Я и понятия не имела, насколько тесно отцовские видения оказались сплетены с моим существом, насколько срослась я со снами и мечтами отца, пока не начала выпутываться из них; пока, работая над этой книгой, не бросила вызов культу неразглашения. Слово культ я употребила не случайно. Многие из моих попыток «разбудить Черного короля», разобраться, кто кому снится, поразительно совпадают с тем, что я читала о людях, благополучно покинувших культ, вышедших из секты и вознамерившихся теперь ни в коем случае не передавать детям такого наследства. Уверена, многим сектантам выпали гораздо более тяжкие испытания и потребовалось гораздо больше мужества, чтобы отречься от культа, но я могу каким-то странным образом связать их истории со своим собственным опытом. «Мирами мыслим книги мы и сны: как плоть и кровь, побеги их прочны». Никогда не следует недооценивать силу снов, особенно если снятся они харизматическому сновидцу, собеседнику богов, присланному к нам со священной миссией.

У меня не было времени на раздумья, тем более на писания, пока моему сыну не исполнился год. Когда я стала пытаться писать, *приятного* было мало. Я обнаружила, что вновь погружаюсь в мир запуганной маленькой девочки, со всей остротой опять переживаю ее кошмары. Я не ожидала, что снова окажусь на краю пропасти. Мною овладело всепоглощающее, уничтожающее, головокружительное чувство, будто, если я напишу эту книгу, то в наказание что-то ужасное, злое случится со мной и с моими любимыми. Бог или какие-то могучие силы *доберутся* до меня, если я все расскажу. Неважно, что я никогда не верила в такого рода теологию: не верила в наказание свыше, даже если бы и на самом деле *совершила* что-то плохое. Я, взрослый человек, все это хорошо знала — но мое знание не играло роли. Мне не хватает слов, чтобы описать всю силу этого ощущения. Казалось, требуется заклинатель змей или экзорцист, чтобы освободить меня от этих побегов.

Я много молилась и в конце концов прибегла к Мэрилин, чувствительной[250] подруге, к которой полиция время от времени обращалась, чтобы найти пропавших без вести. Я попросила ее посоветоваться с каким-нибудь из духов-проводников, должна ли я довести до конца задуманное. Делать такие вещи не в моем

обычае; я даже не читаю гороскопы в газетах, стараясь не заигрывать со сверхъестественными силами. Через несколько месяцев она позвонила и сказала, что во сне к ней явилась женщина и сообщила, что я должна это сделать, что это важно для моего сына. Я вовсе не пытаюсь внушить вам что-то о паранормальных психических явлениях, я просто хочу подчеркнуть, что мне требовался *такой* род поддержки. У меня от страха душа уходила в пятки.

Я долго не могла писать: так сильна была боязнь наказания. Хотя я знала, что эти чувства иррациональны, почти целый год я коченела от страха: что-то *дурное* случится, если я заговорю[251]. Наконец я отправилась инкогнито — чуть ли не с накладным носом и в темных очках — в книжный магазин, где просочилась в отдел «работы над личностью». Я купила книгу упражнений, помогающих войти в контакт с ангелом-хранителем, помощником и защитником, который есть у каждого человека. Неважно, что я и без того плачу психиатру 85 долларов в час! Одно могу сказать: это помогло. Я начала писать.

Однако вместе с плодотворной, приносящей удовлетворение работой вернулись кошмары. Как-то раз отец был комбайном и пытался скосить меня. Это продолжалось всю ночь: я бежала по полю, а он гнался за мной. В другую ночь он подкрадывался ко мне. Снова и снова. Но я не сдавалась и через какое-то время обрела твердую почву, научилась изгонять дурные сны.

Когда страх пошел на убыль, я поняла, что нечто другое меня держит, мешает писать. Меня терзали, преследовали кошмары — а я все продолжала цепляться за сны. Сны о колыбельных песенках, о дровах из яблоневых веток, о времени, когда я нежилась, согретая любовью отца; когда была зеницей его ока. Сон прохудился, обветшал, как старое, много раз стиранное одеяло, но это было все, что у меня оставалось. Сон поблек, но не утратил прелести, и какая-то часть моего существа надеялась когда-нибудь вновь обрести его. Я не хотела окончательно терять моего великолепного, совершенного папу.

Всю свою энергию я употребила, чтобы открыть, каков он на самом деле, в трех измерениях, а не в прекрасно написанных книжках, с которыми так чудесно примоститься у огня. Трудно было расставаться с великим и могучим чародеем, который скрывался за занавесом, и мог бы своею властью доставить меня домой, выполни я одно маленькое условие: навсегда остаться юной, такой же, как он. Но, как Волшебник говорил Дороти, улетая прочь на воздушном шаре и оставляя ее на земле: «Я не могу вернуться, я не знаю, как эта штука действует».

Я начинаю представлять себе, «как эта штука действует»; как

человек, которому я поклонялась в детстве, спрятался за занавесом, укрылся за религиозной абракадаброй. Сам великий Джи Ди много раз повторял мне, когда я была еще девчонкой: «Старые учителя дзэн отказывались принимать ложные *сатори* — любые неистинные единения с Абсолютом — любых ложных богов. «Если увидишь Будду, — предостерегали они своих учеников, — сбей его с ног кулаком»». Учителя не призывали избить ложного бога до потери сознания и выбросить его за городские стены; просто нужно было ударом кулака пробить видимость и заглянуть за занавес. Такое действие имеет немалое значение — для меня, для вас, для кого угодно, кто столкнется с подобной личностью. История время от времени показывает нам, что люди, стремящиеся стать богами, показывают путь не к сносной жизни на земле и не к небесам — они ведут нас к пропасти, на дне которой гниют дохлые лемминги.

Умение изгнать бесов, заглянуть за занавес, скрывающий «богоподобного»; сбить его с ног кулаком, а не следовать за ним, — вот что передал мне отец (вряд ли, однако, ему приходило в голову, что я когда-нибудь применю это к нему); такой дар я, в свою очередь, хочу передать моему сыну. Есть все же и в этом некие жуткие химеры из кошмарных снов, уродливые плоды слияния эстетических воззрений, таланта и теологии: они-то и должны застрять в паутине уловителя снов и исчезнуть. Например, вера моего отца в то, что характер человека и его профессиональные навыки неразделимы, доводит меня до бешенства. Начиная с протекающего потолка детской в Корнише, кое-как сколоченной полными добрых намерений, но неумелыми плотниками, и кончая религиозными шарлатанами, проповедовавшими чудесные исцеления и не допускавшими ко мне, маленькой, обычных врачей, эта его вера могла привести к роковому исходу. Может ли статься где-нибудь, кроме страны снов, чтобы самый лучший, самый порядочный человек обязательно лучше всех делал бы, скажем, операции на сердце? Клянусь вам: отец скорее доверит собственную жизнь и жизни своих детей хирургу, у которого в кабинете лежит хорошая книга стихов, чем тому, кто обладает большей сноровкой и имеет более высокий рейтинг. Как отвлеченная идея это красочно, живописно, однако жить с этим — чистое безумие.

Таким же софизмом это слияние совершенства характера и совершенства работы предстает и в отношении искусства как такового. Мне кажется, что иные, очень плохо зарекомендовавшие себя, морально несостоятельные, скверные, эгоистичные люди порой создавали прекрасные произведения искусства. А некоторые очень добрые люди приносят Элвисов, которых сами

изобразили на бархате, или хаммеловские статуэтки младенцу Иисусу как драгоценный дар. «Я верю, не без оснований, что всех коснется благодать»[252].

Нечто другое получается, когда отец сочетает эстетику с теологией. Природа отцовского творчества претерпела превращение — необязательно качественное, от плохого к хорошему, или от хорошего к плохому: скорее преобразились категория, структура, тип созданных произведений. Его творчество ко времени написания таких вещей, как «Симор: Введение» и «Хэпворт», — уже не светская литература, но агиография[253]. Этот жанр не знает времени и места, развития характера, конфликта и его разрешения. В агиографии отсутствует напряжение, земное средоточие и контекст; житие *не* предназначено для неверующих. Они исключаются из братства. Взгляните на прямое обращение к избранным, к истинно верующим в начале «Симора»: им предлагается букет первоцветов-скобок — ((())).

Вы можете сказать — ну и прекрасно, что в этом плохого, если ему так нравится; ты можешь не читать книгу, если не хочешь. С одной стороны, это, конечно, правда. В свободной стране каждый может писать о чем угодно, это его, или ее личное дело. Тем не менее, всякий раз, когда какие-то группы людей исключаются из системы ценностей, это приводит к определенным последствиям. Для меня было важно проследить, кто именно исключается, будь то в религии или в каких-то других областях. Кто вступает в игру? Кого не допускают в команду? И я пришла к выводу, что если бы я и не вышла из корпорации, поскольку пробудилась и повзрослела, я все же и так отказалась бы от членства в отцовском клубе.

Я не верю, что путь к чистоте пролегает через эксклюзивный клуб, не принимающий в свои члены отдельные «нежелательные» элементы или целые группы людей. Я пришла также к выводу, что не верю в попытку отца, так же, как и многих Отцов Церкви, найти избавление от страданий, отвергая телесную жизнь, плоть, землю или отрекаясь от них. Достаточно беглого взгляда на историю мировых религий — и мы обнаруживаем, снова и снова, что если исключить или принизить тело, придавая ценность одной только душе, «леди исчезает». Древние жертвоприношения девственниц и детей-первенцев, чья чистая кровь должна была ублаготворить и умилостивить богов, замененные, из милосердия и человечности, ритуальным закланием агнца или жертвою самого Бога, исподтишка возвращаются, проскальзывают через заднюю дверь.

Созданная отцом специальная смесь «христианизированного»

восточного мистицизма (не обязательно сам по себе восточный мистицизм — не христианство, не дзэн, не индуизм, не буддизм) оправдывает — на самом деле, обоготворяет — принесение в жертву эмоциональной жизни и физического развития десятилетнего ребенка ради спасения взрослого человека, задавленного разнообразными духовными и плотскими вожделениями. За каждым добрым, просветленным героем, подобием Христа — Тедди или Симором — в отцовских творениях кроется проклятие «демонизированному» женскому роду или принесенное в жертву детство.

Религиозные течения, придающие ценность мужчине и рассматривающие женщину как искусительницу и пособницу змия; придающие ценность духу и рассматривающие плоть как мешок, полный крови, слизи, грязи и нечистот, неизбежно, мне думается, нарушают равновесие мира. Пусть они попадут в паутину уловителя снов и растворятся в воздухе.

Я также не хотела бы, чтобы мой сын повторял попытки деда избегать страданий, присоединившись к великому космическому клубу небытия. Такое решение поставленной его любимым Достоевским проблемы «ада на земле» — умственного и эмоционального распада, вызванного «невозможностью более любить», — должно быть, по моему мнению, снабжено этикеткой с черепом и скрещенными костями. Для отца невозможно жить с людьми и поддерживать равновесие между слиянием и разделением здесь, на земле; он живет, таким образом, в земном аду: в слиянии с мертвецами.

Такое разрешение жизненных тягот путем добровольной смерти мы впервые видим в двух из «Девяти рассказов», «Тедди» и «Хорошо ловится рыбка-бананка», а потом оно встречается снова, в заключительных словах письма Симора из летнего лагеря в «Хэпворте». Мы знакомимся с Тедди в день его смерти, а с Симором (в рассказе «Хорошо ловится рыбка-бананка») — в день, когда он совершает самоубийство. В конце рассказа Тедди покоряется, подобно Христу, и идет навстречу смерти, к бассейну: «В руки твои отдаю дух мой». Симор вышибает себе мозги, и хотя мы не знаем, как мог бы отец обосновать этот поступок, прежде всего потому, что он не опубликовал истории, касающиеся периода между детством Симора в «Хэпворте», его юностью во «Введении» и смертью в «Хорошо ловится рыбка-бананка», все же есть четкие указания на то, что смерть Симора, как и смерть Тедди, будет возведена в ранг священной.

Симор и Тедди, как и «подавляющее большинство братьев и сестер Глассов», доводит отец до нашего сведения, «отличаются довольно мучительной способностью страдать от боли, которая, в

сущности, вовсе даже не их боль». Мы должны уверовать, следуя логике их создателя, что эти герои — святые страдальцы, подобные Христу или боддхит-саттвам, искупающие страдания тех, кто, как Фрэнни и Бадди, все еще пребывают на земле.

Откровенно говоря, я вижу все это по-иному; мне бы хотелось возвеличить женщин, именно их истории передать потомству. По-настоящему страдают, как мне кажется, те приниженные Магдалины, которых он оставляет у подножия креста; те Эхо, которые развоплощаются, тускнеют; девушки и женщины, исключенные из горнего клуба Отца, Сына и Духа Святого, то есть, Джи Ди, Бадди и Симора. Именно Марии и Магдалины страдают от последствий, которыми чреваты жертвоприношения «святых». Непросветленная сестра Тедди должна поплатиться за то, что сделалась орудием его святого самоубийства: ей остается плакать и скорбеть. Жена Симора просыпается вдовой, видя вокруг себя разбрызганные мозги. Девочкам Мэтти и Фиби не позволено пересечь рубеж десяти лет — они, как сестра Ирма, жертвуют Отцу жизнью плоти.

Живой, доподлинный Иисус из Назарета был, как нам говорят, девственником. Живой, реальный человек, который сделался Буддой, был женат и имел нескольких детей до того, как достиг просветления. Он отрекается от них, как Иисус отрекся от отца и матери, и уходит на поиски Бога, готовясь стать спасителем человечества. За чей счет, на чьих костях? Кто терпит лишения, жертвует собой, может быть, голодает, пока он сидит под деревом, попусту растрачивая силы на священный пост? Как говорит почувствовавшая себя «заброшенной, в пренебрежении» жена Лахири Махасайи (до того, как она постигла божественную природу мужа и призналась, что слова ее были грехом против мужа-гуру): «Ты проводишь все время с учениками. А как же твои обязанности по отношению к жене и детям? Жаль, что ты не заботишься о том, чтобы принести больше денег в семью».

Модель брака, основанная, по примеру йога Лахири Махасайи и его жены-ученицы, на обожествлении, поклонении, не относится к тем вещам, какие я хотела бы передать через перышко моему спящему ребенку. Думаю, что, если ты воспринимаешь свою работу как миссию, требуешь права на определенные льготы, ставишь себя над любым долгом и земными обязательствами, в этом таится серьезная опасность. Как говорил Еврипид (знаю, в чистилище есть особое местечко для тех, кто смеет начинать фразу словами: «Как говорил Еврипид»! Но он и впрямь попал в самую точку): «Целясь в то, что в отдаленьи, близким не пренебрегай». Или, как говорили многие другие, дела милосердия начинаются с твоего дома. Что ты

можешь сделать более важного, чем позаботиться о своих детях, своей семье? Я училась в нескольких закрытых школах, и там полно было детишек, чьи родители занимались *важными* вещами. Легче всего, если не считать таких общепризнанных нарциссистов, как «крутые» бизнесмены и люди искусства, отказываются от своих обязанностей по отношению к семье представители «гуманных» профессий — священники, врачи. Где, ami кого ты по-настоящему незаменим? Для публики? Для босса? Для акционеров? Для клиентов? Бог не сможет управлять вселенной, если ты перестанешь трудиться целыми днями? Ты можешь облагодетельствовать все человечество, но лишить жену, детей и всех, кто тебя любит, того, что им необходимо: тебя самого.

Я раздумывала над теми словами, которые отец сказал мне во время нашего последнего разговора: «Господи, ты говоришь совершенно так же, как все женщины в моей жизни — как моя сестра, мои бывшие жены. Все они нападают на меня, уверяют, будто я ими пренебрегал… Меня можно обвинить в некоторой отстраненности, это да. Но не в пренебрежении».

Оглядываясь на собственную жизнь и на жизни других женщин, связанных с ним, я начинаю верить, что — да, его можно обвинить в *некоторой* отстраненности. Он отстранен от твоей боли, но, Бог свидетель, собственную боль воспринимает вполне серьезно, как раковую опухоль. Когда люди утверждают, что собираются в жизни следовать тем принципам, которые проповедуют — в случае отца это нераздельность поисков просветления и принципов художественного творчества, — будет справедливо возложить на них ответственность за то, что проповедуют они одно, а ведут себя совсем по-другому. Когда отец проповедует доктрину отстраненности и отречения, так и хочется сказать: «Сдается мне, слишком уж часто этот человек возмущается». Никакой отстраненности не найдете вы в отношении отца к своей собственной боли, во взрывах его гнева, когда всплывает на свет божий что-то из его личной жизни. Никакой отстраненностью даже и не пахнет, когда он яростно противостоит малейшему покушению на его уединенную жизнь, на святость его слов, его работы. Если все — майя, иллюзия, к чему постоянные spilkes (припадки ярости, раздражения, словно человек сидит на булавках и иголках) в его собственной жизни? Будда предстает во многих позах, многих ипостасях: сидящий Будда, постящийся Будда; Будда в позе лотоса; но я никогда не видела статуи или картины der Schlaganfall (апоплексического) Будды! Теперь я понимаю, что отец, несмотря на все его

заявления, проповеди и писания насчет отстраненности, на самом деле очень, очень несчастный человек.

Думаю, именно эта сторона его творчества, напряженное, пограничное ощущение близящейся беды, присущее человеку, идущему по краю пропасти, находит у читателей глубокий отклик какой-то совершенно мистической природы. Например, в аэропортах, у стойки регистрации, когда слркащие видят мое имя и спрашивают, «не родственница» ли я, время от времени у меня возникает ощущение, будто они говорят не о писателе, а о спасителе. Прикоснись к краю одежды его и исцелись. Даже сейчас, через сорок лет после публикации «Над пропастью во ржи», я прочла в газете «Бостон Глоб», как ученики какой-то пригородной средней школы, разобрав роман на занятиях, уговорили учителя поехать в Корниш, чтобы попробовать познакомиться с Дж. Д.Сэлинджером. Им это не удалось. Журналист, откопавший историю, спросил одну из девочек, что бы она стала говорить, если бы их впустили, какой вопрос приготовила она для Сэлинджера. Девочка смущенно захихикала, потом сказала: «Я бы попросила, чтобы он ловил *нас* над пропастью во ржи».

Что бы он ни делал, кем бы ни стал, он никогда не станет ловить вас над пропастью в этой, реальной жизни. Извлекайте, что можете, из его творений, из его рассказов, но автор их не явится из небытия, чтобы ловить малышей, играющих во ржи.

Когда родился наш сын, мы с мужем пошли навестить тетю Дорис. Я передала ей, что папа думает о «всех женщинах» в его жизни, его бывших женах, его сестре и теперь обо мне тоже. Как несправедливо, по его мнению, мы нападаем на него, обвиняем в пренебрежении. Каково ее мнение на этот счет?

Тетя сказала, что если бы я задала ей этот вопрос три года назад, до того, как с ней случился сердечный приступ, то получила бы совсем другой ответ. До того времени, говорит тетя: «Я считала его совершенством. Санни этого требует, ты же знаешь. Он не выносит критики. Жаль, что я умру и не увижу книги, над которой он работает все эти годы. Столько лет ничего не публикует. Какое-то безумие. А все потому, что он не выносит критики. Хотя сам не прочь поучать. Я люблю его, мы с ним, знаешь ли, были в детстве добрыми друзьями, но должна признаться, что он паршивец. Что тут скажешь? Я осталась совсем одна, когда со мной случился сердечный приступ, от Санни не было никакого проку. Навестил меня два, может, три раза. Звонил изредка. Когда со мной случился сердечный приступ, я была такая слабая и совсем одна. Это так ужасно — быть слабой и

одинокой. Но все, что мешает ему, его работе, отметается».

Она взмахивает рукой, словно отбрасывая, отметая все ненужное, лишнее, — и умолкает. Потом продолжает рассказ.

«Он не упускает случая уколоть побольнее, — говорит она, втыкая в воздух воображаемую булавку. — Знаешь, что он сказал, о чем спросил меня, когда позвонил после моего сердечного приступа? «Ты в последнее время так растолстела — врачи не советовали тебе сбросить вес?» Я на него накинулась. Сказала, что он вечно всех критикует».

Я вставила свой вопрос: «А бабушка когда-нибудь критиковала его?»

«О, нет! — Тетя Дорис даже удивилась такому предположению. — Она считала его совершенством. В ее глазах он никогда не бывал неправ».

Глаза совершенного художника или писателя. «Лавина боли» истинных поэтов или художников, которой «впору заполнить карету скорой помощи», согласно его кредо, идет именно из глаз. «Разве он не единственный ясновидец на нашей земле?… Настоящего поэта-провидца, который может творить и творит красоту, ослепляют насмерть его собственные сомнения, слепящие образы и краски его собственной священной человеческой совести». Вы можете, как в «Голубом периоде де Домье-Смита», увидеть мистическое превращение ортопедических аппаратов в ослепительный сад из дважды благословенных цветов, но для меня все это по-прежнему будет припахивать больничными утками.

Если отца судить по его собственным законам, по тем моральным меркам, какими он сам меряет и смысл своей жизни, и свои повседневные обязанности, он мог бы встретить своего создателя с высоко поднятой головой. Как Симор пишет Бадд, и:

> «А знаешь, почему я смеялся (когда они вместе записывались в армию)? Ты написал, что твоя профессия — писатель. Мне показалось, что такого прелестного эвфемизма я еще никогда не видел. Когда это литературное творчество было твоей профессией? Оно всегда было твоей религией. Всегда… А раз творчество — твоя религия, знаешь, что тебя спросят на том свете? Впрочем, сначала скажу тебе, о чем тебя спрашивать не станут. Тебя не спросят, работал ли ты перед самой смертью над прекрасной или задушевной вещью. Тебя не спросят, длинная ли была вещь или короткая, грустная

> или смешная, опубликована или нет… А тебе задали бы только два вопроса: *настал ли твой звездный час? Старался ли ты писать от всего сердца?.*. Если бы ты знал, как легко тебе будет ответить на оба вопроса: да».

Мой отец в самом деле всю жизнь писал от всего сердца. Я, однако, не убеждена, что жизнь, которую он ведет, — образец уравновешенности и беззаветного труда или же путь к какому-никакому покою. Может быть, он ошибается, а может быть, и прав. Может быть, прав на словах, но ошибается на деле. Я знаю одно: эта философия, или религия, или поза служили ему оправданием: я живу так, как мне хочется, а остальные могут хоть провалиться. Препятствовать его работе по какой бы то ни было причине, значит не просто создавать помеху или неудобство: это значит совершать святотатство. Не стой на моем священном пути: отойди в сторону или погибни. Прав отец или нет, но такая позиция вполне согласуется с нарциссизмом, делая священными самые крайние его проявления. Вопрос, однако, скользкий: для кого нарциссизм, а для кого — святость. Как говорил Зуи: «сокровище есть сокровище, черт бы его побрал, и мне сдается, что девяносто процентов ненавидевших мир святых, о которых мы знаем из священной истории, были, по сути дела, такими же непривлекательными стяжателями, как и все мы».

Я так же отношусь к отцовскому образу жизни, как Зуи к тому, что Фрэнни следует «Пути пилигрима». Вот что Зуи втолковывает ей:

«Что бы я ни говорил, у меня получается одно: как будто я хочу подкопаться под твою Иисусову молитву. А я ничего такого не хочу, черт меня побери! Я только против того, почему, как и *где* ты ею занимаешься. Мне бы хотелось убедиться — я был бы *счастлив* убедиться, — что ты ею не подменяешь дело своей жизни, свой долг, каков бы он, черт побери, ни был, или просто свои ежедневные обязанности…»

И снова раввин Файн помогает найти ответ на им же сформулированный взрывоопасный вопрос: «Как узнать, поступаю ли я хорошо и правильно?» Раввина спросили, есть ли какой-то богословский критерий, с помощью которого можно оценить образ жизни, предлагаемый «новыми религиями». Он ответил:

> «Да, критерии, конечно, есть. Я говорю о евреях. В иудаизме существует три основных критерия… Во-

первых, ты должен спросить себя: не причиняю ли я кому-нибудь вред? Во-вторых: добавляю ли что-либо к уже известному? Хотя иудаизм допускает интуитивное переживание, частное, личное, не поддающееся выражению, ты должен уметь поведать о нем языком рассудка. Не о самом переживании, а о его последствиях. В-третьих: появилась ли у меня положительная жизненная программа? Заметно ли, что я стал лучшим мужем, не таким сердитым, более снисходительным, заботливым? Это — очень мощные ценностные установки. Евреи по-разному служат Богу, но цель служения — более совершенные взаимоотношения и взаимодействия. Если качество жизни улучшилось после религиозного переживания, значит, свершилось нечто истинное. Сюда включается и укрепление семьи, и приверженность общинным ценностям… В большинстве религиозных групп существуют наболевшие проблемы. Там ничего по-настоящему не свершается, разве что в „собственном маленьком мирке“ их членов. По-настоящему они ничего не делают. Спросите их, почему».

Я тоже выбралась из собственного маленького, опутанного снами мирка, чтобы «спросить их, почему». И все же, когда рассеялся сон о безупречном папе, некоторые воспоминания о наших с ним счастливых временах вернулись иными. Они подлинные, и они принадлежат мне. Я могу извлечь их из памяти и наслаждаться ими всюду и всегда. Мне теперь не нужно дожидаться возвращения отца из эфирных областей. Когда я прекратила погоню за папой из небесных сфер, кошмар адского папы перестал преследовать меня. Я теперь могу увидеть талантливого человека, который, как и все мы, не плох и не хорош. Как Волшебник говорил Дороти: «Я не такой уж плохой человек, на самом деле, скорее хороший; просто я очень плохой волшебник».

Все, что я открыла, останется со мной, эти сведения для меня драгоценны: меня восхищает попытка родителей создать подобие Эдема во ржи, совершенного мира. Нравятся мне и пути, которыми они шли. Есть великая красота в погоне за сном, хотя на практике сон часто оборачивается кошмаром[254].

Часть нашего несовершенного общества, семья Сэлинджеров, имеет свои сильные и слабые стороны, плюсы и минусы. Есть и красота, и опасность в попытке создать рай на земле. Чтобы населить рай, нужны люди совершенные — или мертвые — но не

простые смертные, которые «находятся в становлении»; несовершенные, но которым простятся прегрешения их. Однако такие попытки позволяют взглянуть на небеса, без чего жизнь была бы слишком тяжелой ношей.

Тяжело найти равновесие, точку равноденствия, подходящую именно для тебя. Где-то двадцать лет тому назад мой друг Хакобо Тимерман, которого только что выпустили из секретной тюрьмы в Аргентине, где подвергали пыткам, сказал мне одну вещь. До сих пор это — самая полезная вещь, какую кто-либо когда-либо мне сказал. Я не могу воспроизвести изящную речь опытнейшего журналиста, но суть его слов такова. Он спросил, почему у меня грустные глаза. Я не могла ответить; это тоже было частью проблемы. Я чувствовала себя полной идиоткой со своими грустными глазами: я ведь не сидела в тюрьме, меня не пытали военные. Он сказал: счастье очень трудно найти. Существуют сотни, тысячи примеров того, как быть несчастным; если тебе понадобится образец, ты сможешь найти его где угодно. Несчастным быть *легко,* сказал он; миллионы покажут тебе дорогу. Несчастье не требует размышления, созидания — достаточно следовать за толпой. Быть счастливым трудно, потому что никто тебе этого не покажет: над счастьем нужно работать, создавать его для себя. Никто не даст тебе трафарет, хотя многие вызовутся сделать это; счастье — не костюм из магазина готового платья, подходящий всем и каждому: его шьют по мерке, это — штучный товар.

До его слов мне было не только грустно, но и стыдно за себя. Хакобо меня от стыда избавил. Когда я провожала его в аэропорту, он подарил мне картину: луг где-то в горах Аргентины, окруженный колючей проволокой. На обратной стороне он написал: «ŸAnimo! Margarita» (что в вольном переводе означает: урви для себя немножко жизни, наполнись жизнью; это испанское восклицание выражает дерзость, и отвагу, и еще многое другое).

Последние несколько лет развеяли грусть, унесли тихое желание, которое я лелеяла в себе вплоть до недавнего времени: если бы у меня был выбор, я бы предпочла вообще не родиться. Какое-то время тому назад равновесие между грустью и счастьем в моей жизни нарушилось, чаша весов склонилась в сторону радости, но я не осознавала этого вплоть до одного момента, который случился вскоре после моей адской беременности, еще худших родов, ознаменовавшихся короткими, мучительными воспоминаниями-вспышками, и невыразимой послеродовой паники. Помню, после долгого дня я смотрела на спящего в

колыбельке сына и вдруг подумала: я бы снова прожила всю свою жизнь, только чтобы провести этот день с тобой. Даже если он или я завтра умрем, как представляла я себе во время приступов паники, жизнь достигла равновесия — в ней есть все, и нет ничего лишнего.

Однажды сын пришел из детского садика расстроенный. Он поссорился с Кэти, одной из своих лучших подружек: они ругались и обзывались. Кто-то даже чем-то бросался, но сын не сказал, кто именно. Мы с Ларри постарались успокоить его; мы говорили: «Нужно думать, что говоришь, — и тебе, и ей». Я добавила: «Мы с папой тоже иногда ссоримся, но всегда миримся». Он посмотрел на нас так, будто хотел сказать: я что, по-вашему, вчера родился? А потом произнес медленно и отчетливо, чтобы мы, дураки, поняли: «Взрослые не ссорятся, ссорятся только дети». Ларри начал было: «Да нет, мы ссоримся, дружок», — но сын его перебил: «Учителя не ссорятся, вы с мамой не ссоритесь: взрослые не ссорятся, я знаю». Мы с Ларри взглянули друг на друга. Мы очень разные, и иногда между нами возникают трения, но мы не могли припомнить, когда в последний раз по-настоящему ссорились так, как это понимают дети: обзывались, бросались чем-то, обижали друг друга и так далее. И внезапно до нас дошло: ребята, да ведь в этом доме царит мир. Я с трудом могу представить себе, что значит расти рядом с родителями, которые искренне радуются обществу друг друга, всю жизнь стараются «думать, что говорят» и полагают, будто семья и дети — лучшее, что встретилось им на жизненном пути. Все это так чуждо моему опыту, что я и не представляла до того момента, как далеко мы продвинулись и как сильно отличается мир моего сына от того мира, в котором я росла. Ну, вот вам тихая пристань, счастливый конец. Не совершенный, но подлинный и превзошедший самые смелые мои мечты.

Так тихо в этом доме.
Такой покой в этом доме,
Метель завывает за окнами,
И собаки свернулись, сунув носы под хвост.
Мой малыш спит на лавке,
Он лежит на спинке и дышит открытым ртом.
Животик у него круглый —
Как же мне не плакать от радости?

Стихотворение неизвестной матери-инуитки

Благодарности

Когда я писала мемуары, для меня тяжелее всего оказалось то, что огромное число людей, повлиявших на мою жизнь, людей, которые сами по себе заслуживают целых томов, удостоились лишь скупого упоминания, или, что еще хуже, выпали вовсе. Это ни в коем случае не означает, что я пренебрегла их ролью в моей жизни — просто книга, обретя собственную жизнь, выстроилась так, а не иначе. Я с радостью использую возможность выразить мою любовь и признательность друзьям, не поименованным или не упомянутым в книге из соображений ее структуры, а не от недостатка чувства.

Бекки, невозможно воздать должное нашим с тобой детским приключениям и тому, как много значила для меня твоя дружба, — разве что написать еще одну книгу. Ава — то же самое, в моем отрочестве. Луиза Барраклю — в двадцать с чем-то лет. Мои друзья из Кембриджской школы: Эллисон и Сара, Ревсон, Кент, Тремми на фоне тихо падающего снега, все семейство Маккейбов, Брайан М., Пенни и Том, Джонатан Р., Джейн, Этан, Джоко, Пол Б., Ларри и его Харли, покойный Питер Томпсон, Фредди, Обри, девочки из спального корпуса Белая Ферма: когда я думала, что все двери захлопнулись предо мной, они придержали для меня свою; и, конечно же, мистер Пирс. Мои друзья в NEC: особенно Джей и Эми. Мои друзья из Бостонского филиала компании «Эдисон», гараж 369, и мой босс, покойный Кенни Мур. Иену Фрезье и Барбадосу: «Мне в жизни не было так весело» — это чистая правда. Из Брандейса: профессор Джеффри Абрамсон — я так много усвоила из ваших занятий, что никогда не забуду их; и Сюзанна Хардвик. Мои друзья из Оксфорда и Лондона: Барбара и Джонсон, Пенни Стоке, Даниэлла Израэлашвили, Стивен П., Джойлин, ХВХС, Грегор, Роб Лондон и однокурсники Элспет, Терри и Адриан. Мои друзья из Гарварда: Мэри Грир, Генри Клампенхауэр и Лиз Перебум, Миа и Тис; ансамбль «Мьюзик Лаундж», Лэнсинг, Гэйбриэл, декан Гай Мартин, и Джон — «Если ты слышишь эту песню в голубом». Мой «крестный отец» Алан Трастмен, который всегда появляется в нркную минуту.

Доктору Питеру Гомбози — моя любовь и благодарность.

Доктор Ричард Л. Голдстейн, мой лечащий врач: вы помогли мне перенести тяжелую болезнь, вселяли чувство уверенности, давая понять, что я всегда могу положиться на вашу честность и умение; на вашу вдумчивую, проницательную, неизменную, *человечную* заботу. Я вам искренне благодарна.

Доктор Боб Блэтмен: после пяти выкидышей мне все же нравится видеть ваше лицо. Нам не повезло, но ваша доброта и человечность — это другое дело.

Особое «спасибо» Грации Тросмен и Анджелле Брунель.

А теперь хочу поблагодарить друзей, которые поддерживали меня, морально, советами и/или материально, пока я писала эту книгу: Мэри Грир, Дрю Райса, Филлиса Тейко, Мэтью Гуэррейро, Питера Гомбози, Кевина Старрса, Мэрилин Росс, Джила Хоули, родню мужа, Сига Рооса и Рути Рода, Брэда Беллоуза и Жаклин Бертет, Кристину Хемп и Баджера, Марджери Чайкин, Алекса Ширса, Холли и Рика Броудов, Теда Ловенкопфа, Лайзу Прайор Люси, Уэйна и Адриенна Эдисов, мистера и миссис Роосов, Лу и Эйлин Йорков, Линду Морган, Дэвида Хирсона, Генри Клампенхауэра и Алана Трастмена.

Хочу поблагодарить моего супер-агента, Роберта Готлиба из агентства Морриса. Моя благодарность — его бывшей ассистентке Эми Зиф и теперешней ассистентке Лорин Шефтел за обдуманную, разумную поддержку. Как я не раз говорила Лорин: что бы я без вас делала?

Все сотрудники «Вашингтон-сквер Пресс» были феноменальными: Джудит Карр, издатель и необыкновенный человек; Нэнси Миллер — более тонкого и умного редактора и пожелать было нельзя, мне с вами очень повезло. Нужно ли добавлять, что все огрехи в этой книге остаются на моей совести; Нэнси билась со мной, как могла. Как и с Нэнси, с ее помощницей Аникой Стрейтфелд, было приятно работать, и ее помощь оказалась неоценимой. Линда Динглер: книга смотрится прекрасно внутри и снаррки.

Хочу также поблагодарить моего адвоката Фила Кована из «Кован, ДеБаэтс, Абрахаме и Шеппард» — я бы недалеко ушла без вашей поддержки.

И, наконец, моя благодарность мужу и сыну: оба они — свет моей жизни.

Семейный альбом

Тетя Дорис и бабушка до рождения моего отца, около 1916 года.

Дорис и Санни, будущий Дж. Д. Сэлинджер, август 1920 года. «Знаешь, Пегги, мы с твоим отцом были в детстве лучшими друзьями».

Слева направо: две подруги, Дорис (на заднем

плане), Санни и его мать Мириам. «В еврейской семье, знаешь ли, к мальчику особое отношение, — говорила Дорис. — Мать его обожала. Он никогда не был неправ. Я тоже считала его совершенством».

Дорис в выпускном классе. «Мама рассказывала, что однажды к нам домой пришла для разговора какая-то женщина из школы в Доббс Ферри, которую я посещала, и изрекла, между прочим, такую вещь: «О, миссис Сэлинджер, какая жалость, что вы вышли замуж за еврея». Люди в те дни частенько так говорили, знаешь ли. Для меня это было тяжело, а для Санни — настоящий ад. Думаю, он жестоко страдал от антисемитизма, когда поступил в военную школу».

Мой отец описал в своих книгах в точности то же самое, что ощущала я во время наших визитов к бабушке, дедушке и тете Дорис: «Мне…иногда кажется, что я попал в какой-то светский женский монастырь на две персоны, где царит вечный беспорядок. Иногда перед уходом у меня появляется такое чувство, будто М. и ее мама напихали мне полные карманы всяких флакончиков, тюбиков с губной помадой, румян, всяких сеточек для волос, кремов от пота и так далее. Я… не знаю, что делать с этими воображаемыми дарами» (Выше стропила, плотники).

Санни в Военной академии Вэлли Фордж.

Сэлинджер, получив звание штаб-сержанта, участвовал в высадке союзнических войск, находился на линии фронта или вблизи от нее в составе Двенадцатого пехотного полка Четвертой дивизии от самого дня высадки и до Дня Победы, пройдя весь путь от Юта-Бич до Шербура, от сражения на Перегороженном поле и кровавой битвы при Мортене до Гюртгенского леса в Люксембурге и битвы за вал.

Весной 1936 г. мой отец бросил колледж и нанялся на круизный пароход.

Джерри был тридцать один год, почти вдвое больше, чем Клэр, и был он — попросту — высоким смуглым красавцем. — хотя по-настоящему простого в нем не было ничего

Любимый йог моих родителей, Лахири Маха-сайя. Когда мы с братом были детьми, отец дал нам фотографии этого йога, велел спрятать их и всюду носить с собою. Отец не назвал нам имени йога, а я не спросила, кто он такой. Я просто подумала, что он очень похож на дедушку: такие же седые волосы и пышные усы.

Мать и отчим Клэр в галерее братьев Дювин, 1960-е годы.

Осенью 1950 г. Клэр встретила писателя по имени Джерри Сэлинджер на вечеринке в Нью-Йорке. Ей было шестнадцать лет, она перешла в выпускной класс колледжа в Шипли.

Мой дедушка Соломон Сэлинджер («Сол»)

Когда беременность Клэр стала заметной, она утверждала, что влечение к ней Джерри сменилось «омерзением».

После первого года в Рэдклиффе, летом, Клэр вернулась в Нью-Йорк и работала моделью для фирмы «Лорд энд Тэйлор». Эту свою работу она скрыла от Джерри. «Твой отец не одобрил бы всю эту светскую суету, женщин, наряды… Я не осмелилась сказать ему».

Мама плохо помнит подробности первого года моей жизни. Этот год для нее подернут темной дымкой депрессии. Но она помнит в общих чертах, что отец был в полном от меня восторге — когда мне было четыре месяца, и я улыбалась, он говорил своим друзьям Хэндам: «Мы с каждым днем все больше и больше радуемся жизни» — а моя мать тем временем продолжала терять почву под ногами.

Корниш, где мы жили, был диким, лесистым местом.

Пегги дергает папу за нос. «А нос у него был, даю слово, выдающийся» (Симор: Введение, 1959).

Прелестная плетеная изгородь, через которую я в четыре года с легкостью перелезала, описывалась репортерами и биографами как «восьмифутовая непроницаемая стена с чем-то вроде сторожевой башни, высящейся над домом».

«Сторожевая башня», фото предоставлено агентством Шварц.

Мой взгляд на творчество как на нечто вроде непорочного зачатия подкреплялся мифами, которые мой отец рассказывал обо мне: например, как я села за фортепьяно еще до того, как могла стоять без посторонней помощи, и сразу же, с первого раза наиграла мелодию без единой ошибки.

Отец рассказывал мне истории про непослушную девочку Люсию Ферренци и ее льва Самбу, очень похожие на то, что послушная маленькая Пегги и ее лев Симба могли бы натворить.

Пегги и Мэтью, 1960 г.

Тетя Дорис говорила странные, удивительные вещи… кожу на моем лице она называла «цвет лица».

Клэр Дуглас в возрасте пяти лет, первая девочка справа. Фото из журнала «Лайф», 17 июля 1959 года.

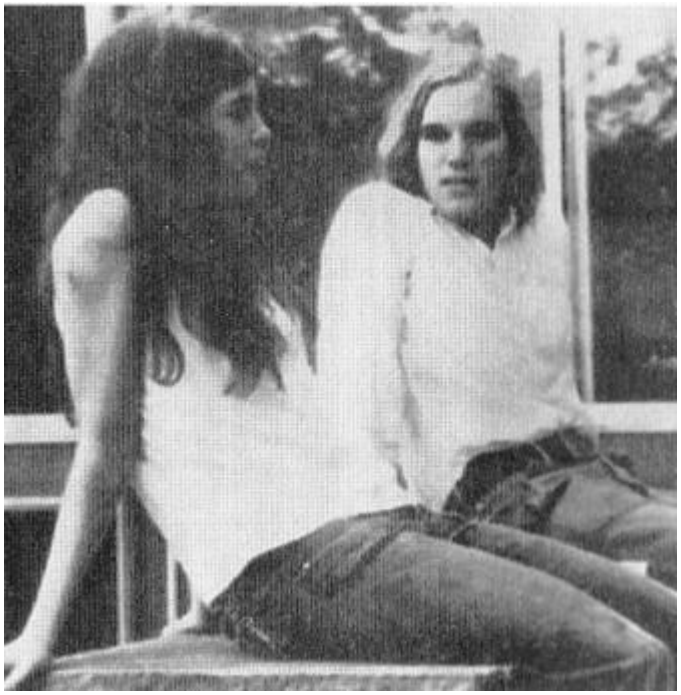
Клер Дуглас в 1966 году.

Пегги на каникулах во Флориде. На мне тот же купальный костюм, что и на девочках из клуба «Мэйфер», но, увы, лицо!

Пегги в двенадцать лет.

В мой первый школьный день я увидела в длинном коридоре улыбку Чеширского кота. «Привет, я — Холли. А тебя как зовут?» — спросила она.

Пегги, номер 22. Джойс Мейнард писала: «Мне нравятся дети Джерри, но у меня мало общего с веселым, приветливым двенадцатилетним мальчиком и его шестнадцатилетней сестрой, большой любительницей баскетбола».



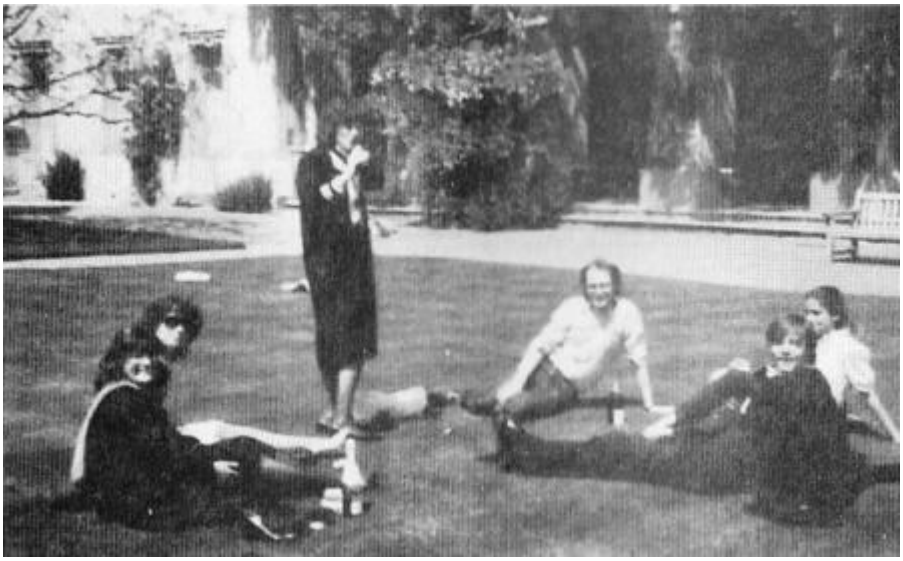
Болтаюсь по Кембриджской школе.

Я работала автомехаником класса Д в Бостоне, в фирме «Эдисон», и была членом Единого союза подсобных рабочих Америки с 1975 по 1980 год, даже не зная в то время, что Холден Колфилд мечтал бросить

школу и работать где-нибудь на бензоколонке, заливать бензин.

Выпускной праздник, 1982 год, Университет Брандейса. Член «Фи Бета Каппы», диплом с отличием, особые отметки по истории и юриспруденции. Наверху, слева направо: мать, брат, я и отец. Внизу: брат, за кадром, рассмешил отца.

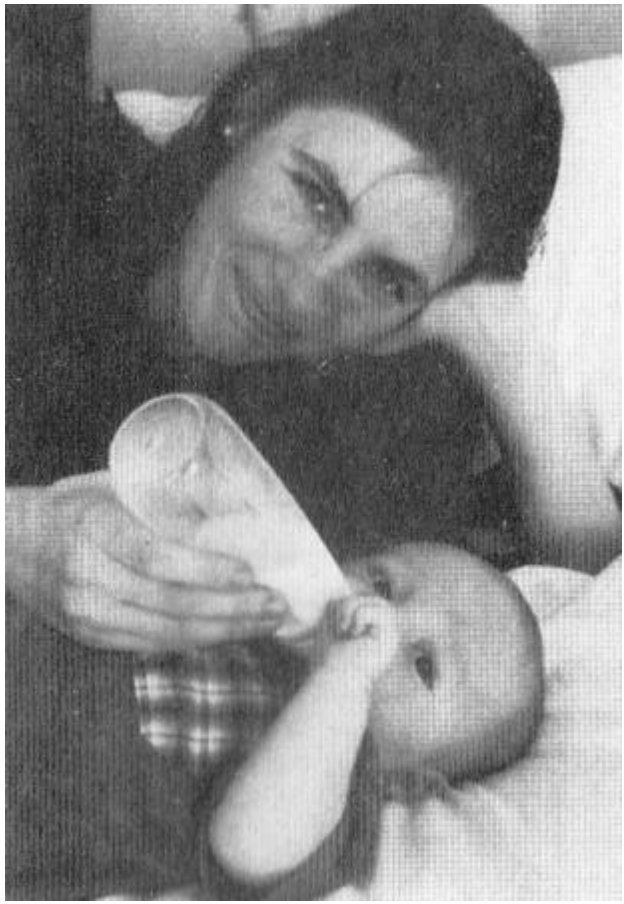
Номер 5, капитан женской баскетбольной команды Оксфордского унивеситета.



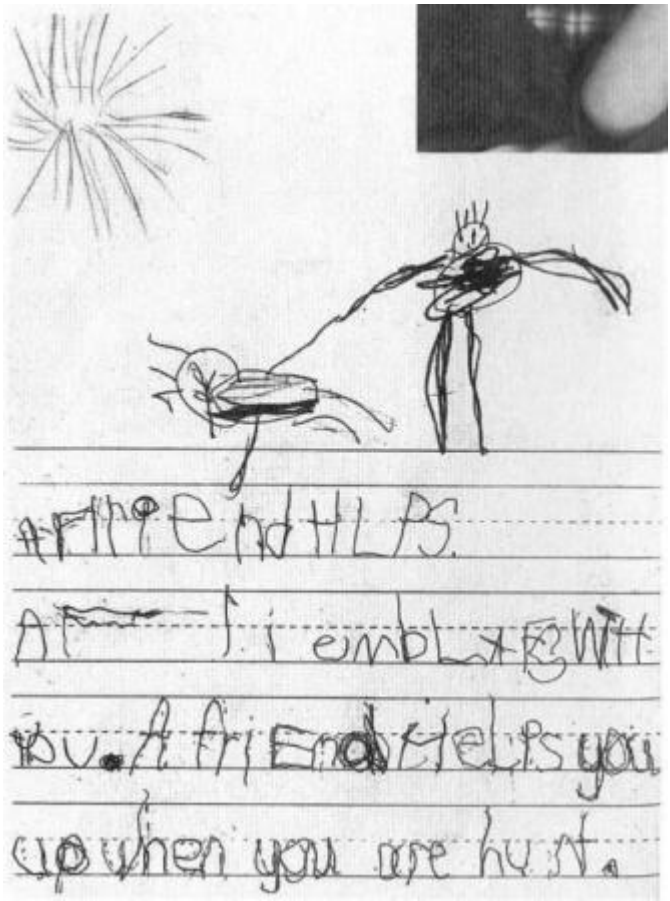
Отмечаем конец экзаменов.

Выпускной праздник, 1984 год, Оксфордский университет. Степень магистра по менеджменту. Слева — мой учитель и дорогой друг, покойный Джеффри Барраклю, потом — я и брат.

Капеллан Пегги Сэлинджер и девятилетняя Миа Клампенхауэр, после церемонии бракосочетания друзей. 1 сентября 1990



Маргарет с маленьким сыном.



Друг помогает. Друг смеется с тобой. Друг помогает, когда тебе больно. (сын автора, в возрасте пяти лет).

notes

Примечания

1

Перевод А. Миролюбовой.

2

Перевод Т. Бердиковой.

3

Шекспир В. Гамлет, акт 4, сцена 7. (Перевод М. Лозинского).

4

Перевод В. Топорова.

5

Перевод А. Миролюбовой.

6

Перевод Н. Демуровой.

7

/Семилетняя Фрэнни/ долго и красиво рассказывала, как она в четыре с половиной года летала по своей квартире, когда никого не (шло дома. Он сказал, что ей, наверное, приснилось, как она летала. Но наша кроха с ангельским терпением стояла на своем. Она сказала — нет, она знает точно, что умеет летать, потому что, когда она спускалась, пальцы у нее всегда были в пыли от электрических лампочек. (*Выше стропила, плотники*).

8

Частная картинная галерея с филиалами в Париже и Манхэттене, специализирующаяся на старых мастерах. Когда в 1939 году лорд Дювин умер, дело унаследовали Эдвард Фаулз и его партнер. Моя бабка вышла замуж за «дядю» Эдварда, как мы его звали, после смерти деда. Воспоминания дяди Эдварда — «Мемуары братьев Дювин: семьдесят лет в мире искусства» — ценный источник для всех, кто интересуется бурными страстями и деловыми отношениями в мире искусства — меценатами, подвижниками, изготовителями поддельных картин и другими колоритными фигурами.

9

Перевод А. Миролюбовой.

10

То же.

11

Жена одного нью-йоркского издателя рассказывала Йену Гамильтону, как она встретила Джерри год или два спустя: «Я встретила Джерри Сэлинджера на вечеринке, которую, помнится, то ли устроил его английский издатель, то ли устроили и честь этого издателя Его окружала какая-то черная аура. Он был весь одет в черное, у него были черные волосы, темные глаза, и он был очень высокого роста. Я была совершенно околдована» (Гамильтон И. В поисках Сэлинджера. Ныо-Йорк: РэндомХаус, 1988. С. 124). Писательница Лейла Хэдли, которая встречалась с ним незадолго до публикации «Над пропастью во ржи», вспоминает, что испытала примерно те же чувства. По ее словам, он «поражал с первого взгляда» — очень высокий, темный. Лицом он напоминал персонажей Эль Греко.

12

Веданта: система монистической или пантеистической индуистской философии, основанная на Ведах. (Словарь Уэбстера).

13

Сэлинджер Дж. Д. Девять рассказов, Тедди. (Перевод С. Таска).

14

Гамильтон И. В поисках Сэлинджера. С. 127.

15

В старости у нее началось отслоение сетчатки.

16

Ласковое прозвище Санни, сынок, дали ему родители сразу после рождения. Иен Гамильтон в своей книге «В поисках Сэлинджера» утверждает, будто в девятом классе школы Макберпи «однокашники прозвали его «сынком», возможно, с оттенком сарказма. Однокашники? В Вестсайде, в Манхэттене? Однополчан отца, товарищей по окопам и кровопролитным боям, тот же автор называет коллегами. «Дайте-ка мне поговорить с моим коллегой Рокко, — сказал Джерри. — О, Рокко, будь так добр, передай мне патроны». «Еще бы, Санни, старина», — кивнул Рокко, не тратя лишних слов…» Просто зла не хватает.

17

Позже тетя подарила моему сыну на четвертый день рождения полный индейский костюм, с замшевыми гетрами и боевым убором из перьев.

18

(Перевод Н. Галь). В начале 20-х годов, когда Лайонел и Санни были детьми, прислуга, давая объявления в газетах, часто указывала, что ищет место только в «христианских» домах. «Цветная прислуга ищет работу на полную неделю; чистоплотная; с рекомендациями; евреям просьба не беспокоиться» (Динерштейн Л. Антисемитизм в Америке. Изд-во Оксфордского университета, 1944. С. 205). Одна горничная, отвечая на вопросы репортера, сказала: «Уж если евреи убили Господа нашего и Владыку, чего только не сделают они с бедной негритянкой». (Там же. С. 198).

19

Перевод Н. Галь.

20

Есть какое-то очарование в том, что она выбрала имя пророчицы Мириам, которая поет победную песню в Книге Исхода, 15:21: «Пою Господу, ибо Он высоко превознесся; коня и всадника его ввергнул в море». В Оксфордском комментированном издании Библии написано, что этот отрывок составлен очевидцем того, как войско фараона утонуло в Красном море, преследуя народ иудейский, стремившийся к свободе, прочь от плена египетского. Все ученые согласны в том, что эти отрывки — древнейшие в Священном писании. Есть версия, что имя Мириам означает «переворот».

21

Дополнительные, удивительно живые сведения приведены в главе 4-й книги Динерштейна «Расизм и антисемитизм в Америке». Смотри также воспоминания американки ирландского происхождения, вышедшей замуж за еврея из Чикаго: Испытания жены еврея // Американ Мэгэзин», 78 (декабрь 1914). С. 49–86.

22

Холдеи упоминает «деда из Детройта, который всегда выкрикивает названия улиц, когда с ним едешь в автобусе», это — shanda fur die goyim, выставлять евреев на посмешище перед неевреями.

23

Согласно Закону, человек не считается евреем, если его мать не еврейка; наследование идет по материнской линии. Один из способов выяснить национальность человека, не спрашивая напрямик: «Вы еврей?» — это спросить девичью фамилию его матери.

24

Что-то вроде отлучения, или, как предпочитают протестанты, проклятия или лишения наследства, но, строго говоря, сидеть шиву означает соблюдать ритуал семидневного траура после похорон, то есть, объявить человека мертвым.

25

Этот факт находит подтверждение в письме к Элизабет Мери. (Архив писем Сэлинджера, Библиотека конгресса).

26

С 1890 по 1914 г. в Америку иммигрировало всего 16,5 миллионов человек.

Динерштейн Л. Антисемитизм. С. 59.

28

Работа Кеннета Л. Робертса «Почему Европа оставляет свой дом» сначала появилась как серия статей в «Сатэрдей ивнинг пост» и только в 1922 г. вышла отдельной книгой.

29

Динерштейн Л. Антисемитизм. С. 126.

30

Венгер Б. С. Нью-Йорк и великая депрессия (изд-во Йельского университета, 1996), в особенности глава «Духовная депрессия», посвященная тому урону, какой был нанесен в те годы самосознанию евреев.

31

Я был евреем // Форум, 103 (март 1940). С. 10. См. также: Я вышла замуж за еврея // Атлантик Монсли, 163 (январь 1939). С. 38–46; Я женился на христианке // Атлантик Монсли, 163 (март 1939). С. 321–326. То же — Динерштейн Л. Антисемитизм. С. 293.

32

Как воспитывать ребенка//Мснора Джорнал, 28 (зима 1940). С. 29–45.

33

Венгер Б. С. Евреи Нью-Йорка. С. 85.

34

Венгер Б. С. Евреи Нью-Йорка. С. 184. Из другого исследования тех времен явствует, что в 1935 году более 75 процентов еврейской молодежи в Нью-Йорке за истекший год не посетили ни одной религиозной службы. До Депрессии не так уж много евреев было приписано к определенным синагогам и еще меньше ходило туда регулярно. Когда во время Депрессии синагоги пытались привлечь новых членов, пропаганда среди евреев проводилась скорее по этническому, чем по чисто религиозному принципу: членство в синагоге, говорили им, «необходимо для того, чтобы поднять самоуважение евреев перед лицом антисемитизма».

35

В 1943 году рапорт Отдела информации Военного ведомства указывает, что антисемитизм широко распространен в половине из 42 обследованных штатов; особенно интенсивный антисемитизм и «беспочвенная ненависть» были обнаружены среди среднего класса в Пенсильвании. (Динерштейн Л. Антисемитизм. С. 136).

36

Там же. С. 87. См. также: Полмар Н., Аллен Т. Б. Риковер. Нью-Йорк: Саймон-энд-Шустер, 1982. С. 51–53; Уоллес Р. Потоки почестей для несносного адмирала // Лайф, 45 (8 сентября 1958). С. 109.

37

Смотри в той же повести «Зуи» такое же описание вторжения. Бесси Гласс примостилась на крышке унитаза, пока ее взрослый сын Зуи пытается принимать ванну. Он заглядывает через шторку и видит, что мать держит пакетик — «судя по виду, в нем мог быть предмет размером примерно с большой бриллиант или с насадку для крана… Миссис Гласс развернула пакет и внимательно читала инструкцию, напечатанную мелкими буквами…» Зуи. (Перевод М. Ковалевой).

38

С 1933-го по 1941-й год появилось более сотни антисемитских организаций, по сравнению с какими-то пятью за всю предыдущую историю Америки.

39

В другом исследовании, где рассматривается двадцать семь тысяч рабочих мест, также говорится, что 90 процентов их досталось неевреям. Множились дискриминационные объявления в газетах о рабочих местах; число их было максимальным в 1927 году. Сфера коммунальных услуг, банки, страховые компании, издательства, инженерные и строительные фирмы, рекламные агентства, городские школы, основные промышленные корпорации, организации, ведающие искусством и музыкой; больницы, университеты и адвокатские конторы с порога отвергали соискателей-евреев. «Хамбл Ойл», «Эли Лилли» и «Вестерн Юнион», например, проводили официальную политику нулевого приема евреев па работу. (Динерштейн Л. Антисемитизм. С. 89).

40

Думаю, трудно переоценить всю силу и глубину значения этого слова, ландсман, в его историческом контексте. Я читаю в воспоминаниях Джойс Мейнард, как во время первого ее приезда в Корниш, когда она впервые встретилась с моим отцом после длившейся несколько месяцев переписки, он взял ее за руку и сказал: «Мы — ландсманы, это истинная правда» — и не знаю, поняла ли она, насколько весомы эти слова.

Все же его мнение по поводу того, что евреи в те времена имеют возможность получить профессию, довольно-таки устарело. Двери перед ними захлопывались. Например, с 1920-го по 1940-й год процент евреев в колледже врачей и хирургов Колумбийского университета снизился с 46 до 6 процентов. В CCNY процент выпускников евреев, принятых в медицинские учебные заведения, упал с 58 процентов до 15 процентов. Юридические учебные заведения подхватили инициативу. В 1935 году 25 процентов всех американских студентов-юристов были евреями; к 1946 году это число снизилось до 11 процентов. Когда в 1948 году в штате Нью-Йорк был принят закон, отменяющий налоговые льготы для отделенных от церкви колледжей и университетов, которые применяют расовые или религиозные критерии при отборе студентов, число студентов-евреев в медицинских учебных заведениях Ныо-Йорка возросло с 15 процентов в 1948 году до почти 50 процентов в 1955 году. (Динерштейн Л. Антисемитизм. С. 158–160).

42

Фредерик Пол Кеппель, декан Коламбиа-Колледж, 1910–1918; Второй секретарь Министерства обороны, 1918–1919; Президент корпорации Карнеги, 1923–1942.

43

Эрнест Мартин Хопкинс, ректор Дартмутского колледжа, 1916–1945.

44

Цит. по кн.: Векслер Г. Успевающий студент. Нью-Йорк: Джон Вайли и сыновья, 1977. С. 135. Также см.: Диннерштейн Л. Антисемитизм, глава 5 «Баррикады воздвигаются, возможности сужаются, 1919–1933».

45

Аббот Лоуренс Лоуэлл, ректор Гарварда, 1909–1933.

В их число входили Колумбия, Принстон, Исль, Дьюк, Ратжерс, Барнард, Адельфи, Корнелл, Джон Хопкинс, Нортвестерн, Пенн Стейт, Огайо Стейт, Вашингтон и Ли, а также университеты Цинциннати, Иллинойса, Канзаса, Миннесоты, Техаса и Вашингтона. В Нью-Йорке дискриминация существовала в кампусе Бронкса, но не на Вашингтон-сквер (Динерштейн Л. Антисемитизм, гл. 5).

47

Евреев не допускали в большинство клубов и братств.

Динерштейн Л. Антисемитизм. С. 88.

49

Триллинг Д. Лайонел Триллинг, еврей в Колумбийском университете//Комментарии, 67 (март 1979). С. 44, 46.

Гамильтон И. В поисках Сэлинджера. С. 37.

51

См.: Сэлинджер Дж. Д. Знакомая девчонка // Гуд Хаускипинг, 126 (февраль 1948). С. 37, 191–196.

52

Перевод А. Миролюбовой.

53

Смотри также: «И эти губы, и глаза зеленые», перепечатанный в «Девяти рассказах»: «*Ума*! Да ты шутишь? Какой там у нее, к черту, ум! Она просто животное!.. Знаешь, кто у меня жена? Величайшая артистка, писательница, психоаналитик и вообще величайший гений во всем Нью-Йорке, только еще не проявившийся, не открытый и не признанный… О черт, до того смешно, прямо охота перерезать себе глотку. Мадам Бовари — вольнослушательница курсов при Колумбийском университете… Мадам Бовари — слушательница лекций на тему: «Что нам дает телевидение«…Ума захотел! Фу, помереть можно!»

Перевод А. Миролюбовой.

55

Как маленький Симор, который бросает камень в красивую девочку, играющую на солнце (у нее на всю жизнь остается шрам), потому, что она «была чересчур хорошенькая». (Выше стропила, плотники).

56

Название романа короля шпионского детектива Джона Ле Карре, представляющее собой парафраз известного детского стишка-считалки «лудильщик, паяльщик, сапожник, портной». У Ле Карре следовало бы перевести «сапожник, лудильщик, паяльщик, шпион», однако в русском переводе роман озаглавлен «Шпион, выйди вон».

Зуи. (Перевод М. Ковалевой).

58

День перед прощанием// Сатэрдей ивнинг пост. 1944. 15 июля. С. 26.

59

Когда этот рассказ появился в «Сатэрдей ивнинг пост» 13 апреля 1944 года, редактор самовольно изменил название «Смерть Собачьей Морды» на «Мягкосердечный сержант». Можно представить, как это «понравилось» отцу — да в придачу иллюстрации в духе Норманна Рокуэлла. Но молодой писатель в таких вещах был бессилен — не то, что позже, когда репутация отца установилась.

60

«Когда гроза, ты меня сразу буди» (под названием «По обоюдному согласию» опубликован в «Сатэрдей Ивнинг Пост» 26 февраля 1944 года) вышел в свет на несколько месяцев раньше, чем «Смерть Собачьей Морды».

61

Перевод А. Миролюбовой.

62

Тоже.

63

Denn alles Fleisch es ist wie Gras und alle Herrlichkeit des Menschen wie des Grases Blumen. Das Gras ist verdorret und die Blume abgefallen — «Ибо всякая плоть — как трава, и всякая слава человеческая, как цвет на траве: засохла трава, и цвет ее опал» (1-е Послание Петра, 1:24, приводится у Брамса, в Ein Deutsches Requiem).

Зд. Слава (нем.).

сверхлюдям (нем.).

66

Стори, ноябрь-декабрь 1944 года.

Цитаты в переводе А. Миролюбовой.

Теперь это называется «посттравматический стресс». Об «утомлении» речь больше не заходит.

Буквально: кто громче пукнет (англ.). (Прим. ред.).

Перевод С. Митиной.

71

Лоис Дж. Мельцер, «Антисемитизм в армии Соединенных Штатов во время Второй мировой войны» — диплом, защищенный в Балтиморском еврейском колледже, 1977, с.101. (Цит. по: Динерштейн Л. Антисемитизм. С. 141).

72

Лоис Дж. Мельцер, «Антисемитизм в армии Соединенных Штатов но время Второй мировой войны» — диплом, защищенный в Балтиморском еврейском колледже, 1977, с.101. (Цит. по: Динерштейн Л. Антисемитизм. С. 42).

73

Социолог Е. Дигби Батцель признавал, что он и многие его друзья, офицеры военно-морского флота, вернувшись с Второй мировой войны, «меньше прежнего были расположены терпеть традиционный, часто бесчеловечный этнический снобизм наших предвоенных лет». (Там же с. 151).

Как офицер контрразведки, отец одним из первых вошел в какой-то из только что освобожденных концентрационных лагерей. В какой именно, он называл, но я уже не помню.

Европейский театр военных действий. (Ред.).

Веками складывавшееся христианское учение о том, что евреи убили Спасителя и страдают потому, что Бог карает их как народ за этот грех, начало сдавать позиции лишь в последние двадцать лет стараниями выдающихся протестантских богословов, которые утверждают, что следует прекратить «облыжные обвинения в адрес наших соседей-евреев» (Кристер Стендаль, Гарвардская теологическая школа). Папа Иоанн XXIII на Втором совете Ватикана официально «снял» с евреев «обвинение» в смерти Христа, а это значит, что тот, кто до сих пор считает евреев ответственными за убийство Иисуса, идет вразрез с учением католической церкви и является еретиком.

77

Условное обозначение одного из мест высадки союзников на побережье Франции, принятое по соображениям секретности. (Ред.).

Отец никогда не упоминал при мне об этом посещении Хемингуэя, но я о нем прочла в письмах, хранящихся в Библиотеке конгресса.

79

Солдат во Франции // Сатэрдей ивнинг пост. 1945. 31 марта. С. 21.

80

Тетя говорит, что до войны никогда не замечала за ним никаких «странностей» — ни в медицинском, ни в религиозном плане, да и подобные «заклинания» не встречались в его довоенных произведениях — но я не могу быть уверена до конца.

81

Цитаты в переводе А. Миролюбовой.

82

Вот еще письмо солдата домой, где выражается то же отчаяние — солдат пишет о гибели товарища: «Ему не было и двадцати… С криками и стонами он испустил дух на носилках… Там, в Америке, публика неистовствует на скачках, ночные клубы имеют рекордные прибыли, на Майами-Бич столько народу, что яблоку некуда упасть. Мало кому есть дело… мы спрашиваем себя, узнают ли когда-нибудь люди, чего стоило солдатам — среди ужаса, крови и отвратительных, раздирающих душу смертей — выиграть войну» (рядовой Дэниэл Уэбстер из 101-го). Цит. по: Эмброз. Граждане солдаты. С. 417).

83

Франк Э. Луиза Боган: Портрет. Нью-Йорк: Альфред А. Кнопф, 1985. С. 338.

84

Корсар, песня 3, строфа 22, строка 551. (Перевод В. Топорова).

85

За оборону Люксембурга Двенадцатый пехотный полк был особо упомянут в приказе по армии.

Собрание писем Уита Барнетта, Библиотека конгресса.

Там же.

88

Полковник Джердон Ф. Джонсон. История Двенадцатого пехотного полка во время Второй мировой войны. С. 309.

89

«Перед самой войной с эскимосами» — название рассказа Дж. Д. С. из «Девяти рассказов».

90

Дорогой Эсме с любовью — и всякой мерзостью. (Перевод С. Митиной).

91

(Перевод В.Топорова). Именно это стихотворение Бэйб из рассказа «Солдат во Франции» хотел услышать, когда в боевом окопе мечтал, что, вынув руку из-под одеяла, окажется чисто вымытым, дома, с девушкой: «Я попрошу ее — пусть почитает мне что-нибудь из Эмили Дикинсон, о тех, кто блуждает без карты… и я запру дверь».

Басё (1644–1694) Furu ike ya! Старый пруд.

Kamavazu tobicomu
Mizu no oto.

Прыгнула в воду лягушка.
Всплеск в тишине.

(Перевод В.Марковой).

Или ответ Сенгая (1750–1863) горячо любимому и почитаемому старому мастеру:

Ike arabe,
Tonde basho ni
Kikasetai.

Басё

Был бы здесь пруд,
Я бы прыгнул туда — пусть слышит
всплеск в тишине.

(Перевод с английского варианта мой — А. М.).

93

Перевод М. Макаровой.

В похожей сцене Холден замечает семейство, идущее впереди него, и говорит нам, что родители не обращают никакого внимания на своего малыша:

«А мальчишка был мировой. Он шел не по тротуару, а вдоль него у самой обочины, по мостовой… Я нарочно подошел поближе, чтобы слышать, что он поет… Машины летят мимо, тормозят так, что тормоза скрежещут, родители никакого внимания не обращают, а он идет себе по самому краю и распевает: «Вечером во ржи…» Мне стало веселее. Даже плохое настроение прошло». (Над пропасшею во ржи).

Когда я прочла этот отрывок, уже ставши матерью, — не то что в двадцать лет, когда у меня не было своей семьи, — я пришла в бешенство. Я подумала — как приятно, как радостно, что ты видишь мир в ином свете, что ты заново обрел эту свою, по Достоевскому, «возможность любить», — но неужели никто так и не уведет этого ребенка с улицы, подальше от машин, чтобы его не задавило насмерть?

Это относится и к нашей семейной жизни. Приведу один пример из сотни подобных: когда мне было девять лет, я просила, умоляла папу купить мне белые высокие сапожки для танцев. На мою бедную голову обрушился поток столь яростных инвектив, как будто я попросила у него разрешения вступить в нацистскую партию и надеть эти миленькие ботиночки с железными подковками. Дикие ночи — дикие ночи!

Слова матери напоминают мне сцену, когда Холден боится, что провалится в забытье, и зовет Алли, просит помочь, не дать пропасть. И то место, гда Холден описывает своего брата, Д. Б. (он — «настоящий писатель»; то же самое говорят о себе и сержант Икс из «Эсме», и Балди из «Симор: Введение»); вернувшись с войны, где он, как и мой отец, пробыл четыре года и участвовал в высадке союзных войск, Д Б. «все время лежал у себя на кровати». Смотри также последнюю опубликованную книгу отца. «Выше стропила, плотники» и «Симор: Введение», и где говорится о послевоенном времени, совпадающем с временем публикации «Над пропастью в ржи»: он, или Балди, написал рассказ «Хорошо ловится рыбка-бананка» «всего через два-три месяца после смерти Симора и вскоре после того, как я сам подобно тому «Симору» в рассказе и Симору в жизни, вернулся с европейского театра военных действий. И писал я в то время на очень разболтанной, чтобы не сказать свихнувшейся, немецкой трофейной машинке».

Смотри «Хэпворт», где Симор просит книги, в которых бы «не было превосходных фотографий». Отец вспыхивал, как порох, при одном упоминании о том, что фотография — тоже искусство.

(Перевод Р. Райт-Ковалевой.) Бэйб тоже держит в нагрудном кармане письмо от сестрички Мэтти, чтобы «функционировать нормально» в своем ужасном окопе; сержант Икс, только что вышедший из госпиталя, не расстается с письмом от девочки Эсме; во всех трех рассказах хрупкое умственное равновесие держится на тоненьких листочках. Письмо Мэтти поддерживает Бэйба среди жуткой до непристойности резни, а конверт сестры Ирмы помогает де Домье-Смиту весь оставшийся день править обнаженную натуру Риджфилда, мужчин и женщин без «признаков пола», «жеманно и непристойно» изображенных.

Перевод Г. Кружкова.

100

Один из крупнейших универсальных магазинов Нью-Йорка. (Ред.).

101

Над пропастью во ржи. (Перевод Р. Райт-Ковалевой).

102

Вместо родных (лат.).

103

Выше стропила, плотники. (Перевод Р. Райт-Ковалевой).

104

Я уже упоминала, что Симор ребенком бросил камень в девочку, которая сидела на солнце, и нанес ей серьезные повреждения: так раскроил лоб, что понадобилось накладывать швы. В рассказе все в семье сразу же поняли: это случилось «потому, что она казалась такой хорошенькой», когда сидела на солнце. Я этого не понимаю, но для семейства Глассов и для писателя, создавшего их всех, данный акт вполне вразумителен и имеет почти религиозное значение. Как-то приблизиться к его пониманию я смогла, понаблюдав за своим сыном. Мы прошли через период ужасного раздвоения, когда он то ласкал меня и нежно ко мне прижимался, то вдруг начинал меня бить или чем-то в меня бросать. Это было даже жутко: он вел себя так, когда мы нежно ворковали вдвоем, вовсе не в припадке ярости. Мы предположили, что порой эти отношения (Мама и Я) становятся для него слишком насыщенными, он чувствует, что тонет в них, что я и его любовь ко мне вот-вот засосут его, как в трясину. Его, конечно, наказывали, если он делал это, но и я старалась ему помочь: немного отстранялась, что-нибудь говорила, на время передавала папе часть родительских прав — до тех пор, пока малыш не обретал душевного равновесия. И я снова вспоминаю слова тети: «Они всегда были вдвоем: Санни и мама, мама и Санни. А папу… не признавали, не допускали, хотя он этого и не заслужил». Я знаю одно: мужчина, который слишком близок со своей матерью и не может как следует отделиться от нее, находится в такой же опасности, как и тот, который ненавидит свою мать и не в состоянии сблизиться с женщиной. Важно найти разумную середину, вовремя провести границу.

105

Когда мы с братом были детьми, отец вручил нам по фотографи какого-то йога и велел засунуть поглубже в нагрудные карманы, куда ворам не добраться, и всюду носить с собой, куда бы мы ни направлялись — в интернат и так далее. Папа никогда не упоминал имени этого йога, а я не спрашивала. Я просто подумала, что он очень похож на дедушку — такой же седой, с пышными усами. Представьте, как я удивилась, увидев фотографию «нашего» йога в самой середине книги Йогананды, присланной матерью. Это был Лахири Махасайя. Йогананда приводит разные чудесные случаи того, как фотография Лахири Махасайи спасала людей от смерти — отводила молнии и так далее.

106

Поколением позже девушка отца писала, что он приехал за ней в Йель, чтобы увезти с собой навсегда, не на большом «Чеви-Блейзере», а на БМВ, и ей пришлось оставить почти все свои вещи, включая любимый велосипед, с которым она не расставалась с детства. (Этой девушке, Джойс Мейнард, было восемнадцать лет, отцу — пятьдесят четыре.) Она писала, что пока ждала его, все думала об одной однокурснице, с которой подружилась в Йейле, — и вдруг осознала, что, наверное, никогда больше не увидит ее.

Смотри также слова Иисуса к ученикам — Мф.4:18–23; тоже Мф. 10:37–39; Мк 1:16–21; Лк 14:26 и особенно Лк 5:1-12 — «оставили все и последовали за ним».

107

После того, как в 1960 году родился мой брат, отец наконец позволил матери нанять прислугу (миссис Сойер), которая раз в неделю приходила помогать по дому. Недавно миссис Сойер сказала мне: «Просто не представляю, как твоя мать это выносила. Твоего папы, да хранит его Бог, вечно не бывало дома. Думаю, я была единственным человеком, с которым она за всю неделю могла перемолвиться словом».

108

Мать сохранила их совместные налоговые декларации. Я их проглядела — конечно же, недели проживания в отелях, дорожные расходы, дарения различным культам и благотворительным учреждениям значатся там черным по белому.

109

Как и его герой Бадди Гласс, который «столько рассказов, еще в юности, разорвал. (Симор: Введение).

110

Всем знакомые церковные гимны.

111

«Ой, отпусти, больно же!». Он чуть ослабил пальцы.

Под редакцией Рэчел Эндерс и Джеймса Р. Асйна; Лос-Анджелес: Федеративный Еврейский Совет Большого Лос-Анджелеса, 1988.

113

Я отнюдь не считаю, что все буддисты или индуисты — «сектанты», хотя также полагаю, что христианство, иудаизм, ислам и большинство прочих религий имеют много общего с самыми новомодными сектами.

114

Роберт В. Деллинджер. Культы и дети (Бойз таун, б/д).

115

Сингер М. Т. Выход из секты//Психология сегодня. 1979. январь.

116

В ходе исследования, проводимого Комитетом по взаимосвязям еврейской общины, бывшим приверженцам культов было предложено назвать причины, подвигнувшие их на вступление туда. Комитет обнаружил, что первой по важности причиной явилось одиночество и потребность в дружбе. «Более чем какие-либо другие факторы, желание простого тепла и приязни… приводит людей в секты».

117

Тедди. (Перевод С. Таска).

Тедди. (Перевод С. Таска).

119

Там же.

120

Там же. Эстер Диец, основательница и бывшая директриса Центра религиозного воспитания Бэнаи Брит, тоже полагает, что большинство вовлеченных — простодушные, наивные представители среднего и высшего классов, ищущие сокровенного духовного опыта.

121

Выше стропила….

Эдвард Левин, доктор философии, почетный профессор социологии в Университете Лойолы; член правления Ассоциации психиатров Эванстона.

123

Раввин Иегуди Файн — основатель и директор Еврейского института, член Нью-Йоркской специальной комиссии по миссионерам и культам и Межконфессионального совета по культам.

124

Эстер Диец подтверждает, что евреи широчайшим образом представлены среди сектантов. Она находит, что евреев особенно легко вовлечь в секты, основанные на восточных религиях, особенно на индуизме: «кажется, восточные или основанные на индуизме группы наиболее привлекательны для евреев, что выражается и в относительно высоком процентном соотношении: 25–30 процентов (Послание Божественного Света, Харе Кришна, Муктананда, Раджниш, Т.М. тоже должны быть включены в эту группу)».

125

Мейнард Д. В мире как дома: Воспоминания. Нью-Йорк: Пикадор, 1998. С. 158.

126

Голубой период де Домье-Смита.

127

Комитет по взаимосвязям еврейской общины Филадельфии, «Вызов сектам». Смотри также доктор Сэнди Эндрон, молодой директор программы в Центральном агентстве по еврейскому образованию в Майами, в книге Эндерса и Лейна «Культы и их последствия».

128

Доктор Льюис Дж. Уэст и доктор Маргарет Тэлер Сингер в книге «Секты, шарлатаны и непрофессиональные психотерапевты» включают эту стратегию в десять ключевых пунктов индоктринации. О том же смотри: Артур Доул, профессор психологии воспитания Пенсильванского университета, в книге «Культы и их последствия». Джойс Мейнард в своих мемуарах вспоминает раннюю стадию ее отношений с моим отцом. Она ему рассказывает, что подписала договор на книгу, «ожидая, что новость вызовет досаду, но он не высказывает ни малейшего порицания. Это ему доставляет удовольствие, он меня поддерживает, вдохновляет… Письмо, которое Джерри пишет в ответ на мое, как всегда, начинается с теплой, полной любви оценки того, что я написала… Он называет мое письмо из Майами прекрасным. Когда он читает (ее письма), в нем, как он говорит, оживает глубокая любовь к писанию, которая в последнее время нечасто посещает его».

129

Доул А. Культы и их последствия.

Лифтон Р. Дж. Реформа мысли и психология тотализма. Нортон Пресс, 1963.

131

Марк Роджемен, офицер полиции из Колорадо, конгрессмен — Служба защиты от культов; Эндерс и Лейн. Культы и их последствия». Глава 3. С. 16.

132

Гамильтон И. Сэлинджер. С. 126, 127.

133

Джойс пишет о разрыве с моим отцом: «Сегодня Джерри Сэлинджер — для меня единственный человек во вселенной. Я жду, пока он мне скажет, что мне писать, что думать, что носить, что читать, что есть. Он рассказывает мне, кто я такая и кем должна быть. Назавтра он уходит… Джерри нет рядом, он не ведет меня, и я чувствую себя покинутой, брошенной, не просто одинокой физически, но потерянной духовно. Всю жизнь я была одинока, мне хорошо знакомо это чувство. Но так, как сейчас, не было никогда». (В мире… с. 211).

Корреспондент «Эсквайра» взял у Джойс интервью в первую зиму после их разрыва. Он писал: «Она чиста, этого нельзя не заметить… Она сплетает руки и садится у огня, в кресло-качалку…» (с. 223).

Джойс тоже в конце концов уверилась, что не способна достичь «чистоты», какой ждал от нее мой отец, так что, с грустью отмечала она, не стоило и пытаться соответствовать образцу. «Единственная надежда на искупление, — пишет она, — это — родить ребенка. Для меня иметь ребенка от Джерри означало бы прожить детство, которого у меня не было и о котором я так мечтала. Если я сама не могла быть тем ребенком, какого он хотел бы видеть, я буду самой близкой его родственницей. Если я сама по себе не могу ему нравиться — а все говорит о том, что это так, — я подарю ему другое существо, которое будет совершенным во всем, в чем я совершенной быть не могу… Он никогда не бросит меня, потому что я — мать ребенка». (В мире… с. 167, 168).

135

Мейнард Д. В мире как дома: Воспоминания. Нью-Йорк: Пикадор, 1998. С. 168.

136

Мейнард Д. В мире как дома: Воспоминания. Нью-Йорк: Пикадор, 1998. С. 177.

137

Перевод В. Топорова.

138

Перевод В. Топорова.

139

Перевод Н. Демуровой.

140

Перевод А. Миролюбовой.

141

(Биллингс) Лернед Хэнд (1872–1961). За пятьдесят два года своей карьеры был окружным судьей, судьей Кассационного суда и верховным судьей (1939–1951) Второго кассационного суда США; составил около трех тысяч судебных решений, касающихся практически всех областей юриспруденции. Его решения ценились так высоко, что он стал известен как «десятый судья» Верховного суда Соединенных Штатов. (Выписка из «Кто есть кто в Америке»).

142

Christian Science — «Христианская наука» — протестантская секта. Основана на вере в духовное излечение с помощью Слова Христова от всех физических и духовных грехов и недугов.

143

Я просматривала копии их налоговых деклараций — там указана оплата услуг лекарей из «Христианской науки»; надо думать, они молились за меня на расстоянии.

Имена врачей и истраченные суммы обозначены на копии налоговой декларации за следующий год, когда отец вернул деньги «дяде» Эдварду, как мы называли нового мужа моей овдовевшей бабки.

145

Прежнее название резиденции президентов США, данное Ф. Рузвельтом, в русской транскрипции — Шамбала. Впоследствии переименована в Кемп-Дэвид. (Ред).

Примерно так же Великая Мать выдуманного отцом семейства Глассов, Бесси Гласс, вела себя по отношению к своим сыновьям, любящим уединение.

147

Softball — спортивная игра, вариант бейсбола с более крупным мячом и упрощенными правилами. (Ред.).

148

Уильям Максвелл, писатель и издательский деятель. Он долгое время работал в «Нью-Йоркере», где они с отцом и подружились.

149

Перевод В. Топорова.

150

В повести «Симор: Введение», опубликованной в том же году в «Нью-Йоркере», он писал: «В 1959 году… я стараюсь вспомнить, сколько радости они /младшие сестра и брат/ приносили Симору. Помню, как Фрэнни, когда ей было года четыре, сидя у него на коленях, сказала, глядя на него с нескрываемым восхищением: «Симор, у тебя зубки такие красивые, желтенькие». Он буквально бросился ко мне, чтобы спросить — слышал я или нет».

151

День перед прощанием. (Перевод М. Ковалевой).

«Ба-Ба» он называл и меня. Это слово он начал говорить раньше, чем «мама» и «папа»; они в то время были безымянными и таковыми оставались долгое время; а меня он потом несколько злополучных месяцев называл «Бэгги», «мешочек», и только потом, наконец, перешел на «Пегги».

Став взрослой, я, конечно, поняла, что это — маленькая ложь; говоря так, многие родители хотят, чтобы дети себя почувствовали особенными, а может быть, примирились бы с вторжением новорожденного братика или сестрички. Но в «Опрокинутом лесе» нашей семьи то была не утешительная ложь, а, скорее, ужасная правда.

Так, Симор в «Рыбке-бананке» говорит своей четырехлетней подружке Сибилле: «Ты, может быть, не поверишь, но есть такие девочки, которые любят тыкать в бульдожку палками».

155

Я не помню, когда его корреспонденция стала приходить в Виндзор, до востребования, а не доставляться в наш общий почтовый ящик, установленный внизу, у дороги.

156

Певцы на крыше. (Перевод В. Топорова).

157

Перевод В. Топорова.

158

Шестнадцатый день Хэпворта 1924 года. (Перевод И. Берштейн).

159

Я часто думаю о пропасти, какая существует между тем, что мои городские друзья-демократы подразумевают под политикой — некое продолжение «встреч с прессой» или «горячей линии» — в основе своей умственное, если не банальное, занятие — и пробуждением первобытных чувств толпы, таких, как на петушиных боях, или в Колизее, когда рабы и христиане бились между собой насмерть: те же чувства возникают, когда речь заходит о ниггерах, евреях и коммунистах. Слепые страсти толпы, пленниками которых стали и эти дети, нельзя недооценивать.

160

Напротив квартиры семейства Глассов тоже находилась элитная школа для девочек.

161

У меня есть собственная теория — происхождение человека и его глубинную сущность можно очень точно определить, задав один простой вопрос: кого он боялся в детстве? Я спросила об этом друга, которого знаю почти всю жизнь; он наполовину индеец, наполовину еврей, но считает себя индейцем. В Канаде, в резервации, где жило его племя, родители (и тогда, и сейчас) пугали детей: «Вот увидишь, прискачет конная полиция!» Большинство детишек ни разу не видели конного полицейского, но одно упоминание о них вселяло ужас в их сердца.

162

Речь, видимо, идет о техниках «хонг са» и «ом» из книги Иогананды о крийя-йоге.

Один психиатр как-то сказал мне, что это указывает на разрушение границ эго, на следующей стадии наступает психоз, когда эго и ид, сон и реальность сливаются в единую мощную волну и смывают прочь все, что хоть немного похоже на структуру и функцию. Думаю, я предпочитаю слова отца из рассказа «Эсме…», где он сравнивает ум своего героя с «незакрепленным чемоданом на багажной полке».

164

После высадки союзников в Нормандии в декабре 1944 года немцы предприняли контрнаступление, и с их стороны в линии фронта образовался выступ глубиной 100 километров. (Прим. ред.).

Я спрашивала своего врача, психоаналитика, преподавателя медицинского училища, специалиста по таким проблемам, и он мне сказал, что это в самом деле крайне необычно, и среди нормального населения, и даже среди пациентов, чтобы спящий видел во сне, как он умирает. Но в подгруппе людей, которые в детстве подвергались постоянным и жестким травмам, это довольно распространенное явление. Это не значит, что наказания должны быть непременно зверскими, жестокими. Я не приходила в школу с синяками и рубцами от кнута, как многие мои одноклассники. На самом деле я хотела бы иметь эти шрамы на руках и ногах, чтобы объяснить, оправдать свое состояние. Мне до сих пор неловко, что мои психологические симптомы отражают, как в зеркале, а иногда и превосходят душевные травмы тех моих друзей, кому родители ломали кости. Я понимаю, по крайней мере умом, что эффект страха связан не только с побоями, но я борюсь с этим, особенно когда настраиваю себя — никто ведь не бил тебя дубиной, почему ты не можешь выправиться и взлететь высоко, и так далее. Да, я стараюсь, как могу, — не даю себе поблажки. Я задаю вопросы, чтобы ощутить твердую почву под ногами, а не просто увидеть какой-то далекий предмет, на который можно указать пальцем; не просто заиметь какое-то имя, которое можно прокричать, камнем падая в пропасть.

Мне рассказали также, что у детей, которых надолго оставляют в мокрых пеленках, бывают сильные раздражения, даже ожоги, на половых органах и ногах.

167

Первый из Четырех Великих Обетов, принесенных Зуи. (Фрзнни и Зуи).

168

Маленькая деревянная надстройка над колодцем, четыре стены и крыша, служащая, скорее всего, для того, чтобы в воду не падали животные и не скапливался сор. В таких домиках обычно делают маленькое окошко, чтобы можно было определить уровень воды в колодце.

169

Огастес Сент-Годенс (1848–1907) считается крупнейшим американским скульптором, известен своими медалями, статуей «Скорбь» для надгробия миссис Адамс, мемориалом Роберта Гоулда Шоу, командира состоявшего только из чернокожих батальона во время Гражданской войны; и конным памятником генералу Шерману. У него был загородный дом и студия в Корнише, Нью-Гемпшир, и этот дом, Эспет, получивший статус национального памятника в 1977 году.

170

Перевод М. Ковалевой.

171

Однажды в колледже, например, я прилегла вздремнуть, но, уже почти впав в забытье, подскочила, ибо мне привиделось, мне явилось «видение», как моя соседка по комнате прыгает с городского моста. Я поднялась, велела моему приятелю Джеймсу, который находился в комнате, взять куртку, и мы вместе побежали к реке. Обшарили берега: нет Энни. И мы вернулись в общежитие, решили ждать. Через четыре часа она появилась в дверях, насквозь промокшая. Она в самом деле бросилась с моста, но, попав в ледяную воду, выпрыгнула, уцепилась за ветку ближайшего дерева, подтянулась и выбралась на берег. С ней все было в порядке — только сильно замерзли пальцы на ногах. Чему-то все-таки послужило мое видение! Bubkes. Послание, однако, не относилось к какому-то определенному дню и часу.

172

Вид мелких грызунов, декоративные формы которых содержаться в домах американцев, как у нас хомячки. (Ред.).

173

Клайв Стейлз Льюис — английский христианский писатель и мыслитель, автор детской книги «Лев, колдунья и платяной шкаф». (Ред.).

Элоиза — девочка, живущая в отеле «Плаза», персонаж серии книжек английской писательницы Кей Томпсон. (Ред.).

175

Мелкие плоды дерева семейства цитрусовых. (Ред.).

176

В моей старой шкатулке до сих пор хранится одна такая обезьянка вместе с детским браслетом и другими подобными сокровищами. Ничего, что обезьянка пластмассовая, не стеклянная — зато она гранатовая, а это еще и лучше.

177

Эпизод похорон клоуна Чаклса из «Шоу Мэри Тайлер Мор», одного из наших любимых.

Отец не оставался в полном неведении относительно этой своей черты, как я поняла, прочтя несколько лет тому назад «Фрэнни и Зуи». Фрэнни говорит Зуи: «Попробуй только заболей как-нибудь и пойди сам себя навести, тогда ты поймешь, какой ты бестактный! Когда кому-нибудь не по себе, то ты — самое невыносимое существо, какое я знала в своей жизни. Стоит только чихнуть, знаешь, как ты себя ведешь? Каждый раз, как окажешься поблизости, ты смотришь на человека, как враг. Ты абсолютно не способен сочувствовать, ты — самый бесчувственный человек на свете. Да, самый!»

— «Ладно-ладно-ладно, — сказал Зуи, не открывая глаз. — Нет, брат, совершенства на земле».

179

Оргоновый ящик, или — аккумулятор энергии, изобретен Вильгельмом Райхом в 1939 году. (Ред.).

180

Этот снимок из журнала «Лайф», как я потом обнаружила, был сделан в Клубе пловцов Мэйфэр, в Лондоне, а вовсе не в летнем лагере.

181

Как Холден говорит о школе Пэнси: «Рекламу вы, во всяком случае, видели. Ее печатают чуть ли не в тысяче журналов — этакий хлюст верхом на лошади скачет через препятствия. Как будто в Пэнси только и делают, что играют в поло. А я там даже лошади ни разу в глаза не видал». (Над пропасшею во ржи).

Правда иной раз невероятнее вымысла: я попросила одну мою хорошую подругу, которую встретила в Гарварде, на летних выступлениях хора, прочитать черновик этой книги. Мэрилин тут же вскричала: «Боже! Это я была в лагере Биллингс! Последняя верхняя койка слева, у самой двери». Она вспомнила «белобрысую сучку-воображалу», которая во всех отношениях была много старше нас. Меня она не запомнила, ибо все силы прилагала к тому, чтобы выбраться оттуда к чертовой матери.

183

Повышенная температура, около 38° по Цельсию.

Белые протестанты англо-саксонского происхождения — потомки первых переселенцев; значительная часть представителей деловой, финансовой и политической эллиты США. (Ред.).

185

Смотри «Зуи»: «Я себя чувствую одним из тех зловещих подонков, против которых всех предостерегал любимец Симора, Чжуан-цзы: «Когда увидишь, что так называемый мудрец ковыляет в твою сторону, берегись». — Он сидел неподвижно, глядя на пляску снежинок. — Бывают минуты, когда я бы с радостью лег и помер, — сказал он».

Смотри также мудрые изречения, которые Симор написал на дверях спальни, например, такое: «Не хотите ли к нам присоединиться?» — спросил меня как-то знакомый, повстречав после полуночи в почти опустевшем кафе. — «Нет, не хочу», — ответил я.» — Кафка.

186

Да, да, знаю: *корма, нос, палуба*, бла-бла-бла. Единственное слово, которое я хочу слышать на море, это *порт*. Почему, интересно, яхт-смены-любители почитают священным долгом навязывать свое удовольствие людям, не обращенным в их веру? Если вам так нравится мокнуть, мерзнуть, каждую минуту ждать, что ты утонешь, или на голову тебе свалится какая-нибудь снасть, — что ж, прекрасно. Оставьте же мне мои пятизвездочные заведения, с меня довольно и их. Я очень, очень *злюсь* при одной мысли о морских прогулках.

187

Перевод М. Ковалевой.

У мальчиков — «петушок», «бубенчик», «крантик», «штучка» и так далее. То, что у девочек «там, внизу», — тайна слишком темная, чтобы выразить ее словами, кроме младенческой «пиписьки», неразрывно связанной с той единственной функцией, которой «это» вроде бы обладает. Еще одна темная мысль — и сейчас, в зрелые годы, я не избавилась от этих черных волосков, которые таинственным образом появляются по одному, по два, словно из ниоткуда, сразу длинные — на подбородке, на щеках, вокруг сосков. Одна моя подруга после мучительного развода с мужем однажды присела на мою постель и заплакала: «Когда у меня на лице вылезут эти чертовы волосы, кто мне об этом скажет? Я попаду в богадельню, у меня не будет мужа, который бы их выискивал и выдирал. Я буду бородатой старухой», — всхлипывала она.

Мистер Антолини, учитель Холдена, обещал ему, что если он будет прилежнее учиться, то обнаружит, что он не единственный, «в ком люди и их поведение вызывали растерянность, страх и даже отвращение». Я испытала огромное облегчение, когда обнаружила, уже будучи студенткой и начав ходить в театры (билеты в Лондонский Национальный театр для студентов, со скидкой, стоили меньше пяти фунтов), что я в своих чувствах не одинока. Некоторые из писателей Средиземноморья уловили бурлящее, кипящее безумие спаривания точно так же, как я это чувствовала в детстве, — назвать хотя бы «Хаос» Пиранделло, «Свободу или смерть» Казанцакиса, «Дом Бернарды Альбы» Лорки, где мать (которую играла Гленда Джексон) надзирает за пятью дочерьми в доме, где все ставни заперты, чтобы не пропустить жестокого испанского солнца, — а те крадутся, словно кошки во время течки, пытаются ускользнуть, найти облегчение в ночной прохладе, с проходящим мимо солдатом.

190

Фильм Альфреда Хичкока, 1938 год. (Ред.).

191

Много лет назад отец написал рассказ под названием «Элейн», о поразительно красивой, немного заторможенной девочке. Элейн шестнадцать лет, она учится в девятом классе. Она, пишет отец, единственная пришла на выпускной вечер с накрашенными губами, не считая Терезы Торрини, которой уже исполнилось восемнадцать и которая «была матерью незаконного ребенка от таксиста Хьюго Мунстера».

Элейн живет с матерью и бабушкой в Бронксе. Она — овечка среди волков, ее на первом же свидании насилует ее парень, билетер кинотеатра. Отец описывает, как все трое вместе, мать, дочь и бабушка, идут по улице в кино, и Элейн — «вечная Джульетта, Офелия, Елена… Их видели тысячи прохожих, когда они спешили по улицам Бронкса. И ни один не закричал, не удивился, не остановил их…» (Перевод Л. Володарской).

192

О тайне Симора можно прочесть в одном из моих любимых отрывков. Он начинается так: «Однажды к вечеру, в те мутноватые четверть часа, когда на нью-йоркских улицах только что зажглись фонари и уже включаются автомобильные фары — одни горят, другие еще нет, — я играл в «шарики» с одним мальчиком по имени Айра Янкауер…» (Симор: Введение).

Позже папа разработал способ очищаться от таких вкусных «ядов». Он мне рассказал, гордый своим открытием, что засовывает пальцы глубоко в горло и вызывает рвоту. Я много лет страдала булимией, поэтому такая наивность больше не чарует меня. Позже он обучил Джойс Мейнард тому же способу выводить нечистую пищу из организма.

День перед прощанием. (Перевод М. Ковалевой).

195

От греческого homoiopatheia, от homoiopathes — иметь одинаковые чувства или привязанности; homoios — одинаковый, подобный и pathos — чувство, страдание. Теория или система лечения болезней очень маленькими дозами тех лекарств, которые в больших дозах вызывают у здорового человека признаки данных болезней (словарная статья из Уэбстера).

196

В книге «Деструктивное обращение в секту: теория, исследования и лечение» (Американский Семейный Фонд, 1981) д-р Джон Кларк с кафедры психиатрии Гарвардского медицинского института пишет: «В самом деле, психика обращенного как бы расщепляется. Фиктивная вторая личность (принадлежащая к секте) эпизодически добивается некоторой автономии в борьбе с исходной личностью за положение на переднем плане сознания. Индивидуум, конечно, подвергается огромному стрессу».

197

Джойс Мейнард пишет в своих мемуарах: «Джерри никогда ничего не говорит о моем физическом облике… Ни слова — о наших телах… Он практически никогда не упоминает о сексе». Он не упоминает, а может, и не замечает вовсе, что у Джойс, в ее отрешении от всего земного, прекращаются менструации. В статье о синдроме «последствий внушения» («Social Work», март 1982 года) Лорна и Уильям Голдберг, руководящие курсом лечения для бывших членов религиозных сект, указывают, что «почти все бывшие сектанты кажутся гораздо моложе своих лет и проявляют полную невинность в сексуальных вопросах. Они ведуг себя, как дети, даже если им далеко за двадцать. В самом деле: во время пребывания в секте у женщин часто прекращаются менструации, а у мужчин меньше растет борода. На начальной стадии депрограммирования у бывших сектантов вновь появляются вторичные половые признаки».

Я не хочу сказать, что отец явился причиной подобных приставаний или мать, которая этого типа наняла. И причиной, и виновником всего произошедшего был сам Мак. Но именно нечеткость, размытость границ между взрослыми и детьми, какая имела место в нашей семье, создала подходящие условия для такого рода злоупотреблений.

Фирма, выпускающая флуоресцентные краски. (Ред.).

200

Мужская рубашка в африканском стиле. (Ред.).

201

Такие чулки похожи на чулки в сеточку, только с полудюймовыми квадратиками вместо крошечных треугольников.

202

В то время пояса с резинками были не шикарной деталью, а нормой. Мы тогда носили либо носки, либо чулки. Наше нижнее белье больше походило на бандажи: белое, тугое, с металлическими застежками. Даже тоненькие мамы, вроде моей, носили грации, включавшие и лифчики, и пояса с резинками. «Новинка! С лайкрой! Стойкий обтягивающий эффект, бюстгальтер новой модели с плейтексом и твердыми чашечками. Отстегивается и снимается отдельно. Даже для полных девочек, таких, как я, Джейн Расселл».

203

Помню, как я плакала — хотя дни, когда мать выбирала мне одежду, давно миновали, — читая прекрасную сцену из «Заезжего туриста», где болезненно застенчивого, невзрачного мальчика, которого мать ужасно одевает, один добрый человек ведет в магазин и покупает ему первую в его жизни пару джинсов. Мальчик с удивлением смотрит на себя в зеркало: «Вау, я классно смотрюсь!»

я — девчонка с бульваров (фр.).

205

Согласно мифу, нимфа Дафна, отвергшая притязания Аполлона, была превращена в лавровое дерево своим отцом, речным богом Ладонном. Она предпочла стать «недвижным деревом, чем возлюбленной Аполлона». (Д'Олер. Греческая мифология. С. 95).

И снова правда невероятнее вымысла: в колледже Алекс жил в одной комнате с тем человеком, который потом стал моим лечащим врачом. Мне было около двадцати, когда он начал лечить меня, и ему не надо было доказывать, что в доме у нас все шло кувырком. Он помнит рассказы Алекса о том, как мы, дети, оставались одни, а они с матерью куда-нибудь отправлялись.

Судя по всему, он в то время встречался с мисс Данауэй, во всяком случае, мать так думала; я точно не знаю, только помню, с каким змеиным шипом произносила мать ее имя.

208

Яшма вела себя как дура: в прошлом году, на похоронах матери Рэчел я увидела мать Гэйл и страстно, неудержимо захотела подойти и убедить ее, что я этого не делала. Я едва сдержалась.

209

Хит «Лулу» 1967 года из фильма того же названия. В русском прокате «Учителю — с любовью». (Ред.).

210

Громким голосом (ит.).

с апельсинами (фр.).

чем больше перемен… (фр.).

213

Над пропастью во ржи. С. 2.

214

Над пропастью во ржи.

215

Эндерс и Лейн. Культы и их последствия.

216

Мой школьный табель это подтверждает: «С некоторой неохотой участвуя в общих развлечениях, Пегги все же пристрастилась к волейболу. — Пол».

Вот бы так начинался мой некролог: «С некоторой неохотой участвуя в общих развлечениях, мисс Сэлинджер…».

Не уверена, что такая ранняя зрелость свидетельствовала о хорошем здоровье, но могу точно сказать, что, имея в виду общий уровень недоедания и скверного ухода, нам чертовски повезло, что это не осложнялось сексом. На следующий год я убедилась, что разрывы часто сопровождались полным упадком сил и заканчивались пребыванием в лечебнице Маклинз. Когда твой друг или подруга заключают в себе всю твою семью, когда они целуют тебя на ночь, а утром садятся с тобой завтракать, привязанность превращается в настоящий симбиоз. В Кросс-маунтэт страсти двенадцатилетних подростков пресекались в корне, и все отношения мирно приходили к размеренному быту супружеских пар средних лет.

218

Над пропастью во ржи.

219

«Уголок жизни», или токонома — самое почетное место в доме, маленький альков, в который помещают красивый свиток или гончарное изделие; может быть, какие-то цветы — но только самое лучшее предназначается для этого места спокойных размышлений. Гостей сажают спиной к алькову, они становятся частью этого почетного места и находятся под его (духовной) защитой.

220

Одной из моих трудовых повинностей той осенью была прачечная. С этими метками ничего нельзя скрыть. Я знала все обо всех, кто вел себя плохо, кто хорошо; кто мочился в постель, кто кровил в первый раз: средневековый обычай выставлять простыни на всеобщее обозрение, дабы все убедились, что дело сделано.

221

Где-то в девяностые годы их велела починить Колин, третья жена отца.

222

На идише — жрать, о животных; о людях — ess, о животных — fress.

223

Перевод В. Топорова.

«Мы хотим, чтобы наши ученики блуждали и находили дорогу, мерзли, но знали, где найти тепло, голодали, но знали, что с голоду не погибнут», — заявила Кит в интервью 1968 года.

225

Евреям, 13, 2.

Перевод Е. Кассировой.

227

«Господи Иисусе Христе, Царю Небесный, избави души праведников твоих от муки адовой и бездны темной; от пасти львиной избави их, да не пожрут нас их зубы и да не погрузят в вечное забвение: пусть святой Михаил изведет нас к свету Божию. Как обещал Ты в старину Аврааму и семени его». (Из католической поминальной службы).

228

В роли родителей (англ.).

229

Нападающий чикагской команды «Медведи», сама поэзия движения.

230

Мусор (фр.).

231

Верую во единого Бога, Творца небу и земли, видимым же всем и невидимым.

232

В прошлом году я была в Музее изобразительных искусств и зашла послушать лекцию этнографа-музыковеда, который изучал ритуальную музыку и пение тибетских монахов. К концу лекции он включил магнитофон с записями фрагментов этих песнопений. Внезапно меня захлестнул бурлящий водоворот чуждых существ. Я ухватилась за сидение, испуганная, как ребенок на американских горках, и сидела так, вся застывшая, пока музыка не прекратилась, и лектор не начал опять бормотать что-то о форме и структуре. После я спросила у него, какова природа последнего отрывка, который он проигрывал. Ученый ответил, что этим песнопением призывают духов умерших. Он прибавил, немного хвастливо, что сделал запись тайком — это песнопение монахи записывать не разрешали. Мне хотелось стукнуть его чем-нибудь. Я так разозлилась, что даже не думала, какое мнение сложится у него обо мне, и очень спокойно (то есть, внешне) объяснила ему, к чему привели его действия. Имеете ли вы хоть какое-нибудь представление, кого вы пригласили: пришли ли они на чашечку чая или обозлились, не встретив надлежащего приема?

В вопросы мои он не вслушивался, занимался тем, что упаковывал свои штучки. Быстрей, быстрей! Как папа писал о таких ученых, глухих к собственному предмету: «сословие оловянных ушей».

233

Изобретение Вильгельма Рейха: ящик якобы улавливает насыщенные энергией лучи, которые ученый называет «оргоном».

234

Дэн теперь — солидный, преуспевающий специалист по передаче имущества корпорациям. Как он сам говорит — в рейд и на разведку надо отправлять краснокожего! На самом деле, во Вьетнаме это было не так забавно. Мне рассказывали, что индейцев, которые, возможно, не видели другого леса, кроме лесопарков на окраинах, посылали прямо на передовые позиции, в джунгли.

Мейнард Д. В мире… С. 111.

Там же. С 143.

Мейнард Д. В мире… С. 169.

238

Мейнард Д. В мире как дома: Воспоминания. Нью-Йорк: Пикадор, 1998. С. 206.

239

Благотворительная организация.

Перевод А. Миролюбовой.

241

Я вовсе *не* пытаюсь иносказательно описать оргазм. Нажмите на нужные кнопки, и оргазм произойдет, а я даже не буду при этом присутствовать — я буду за миллион миль, в своей башне. Того, о чем я говорю, гораздо сложнее добиться — а именно, жить в своем теле достаточно долго, чтобы иметь возможность пригласить кого-то другого туда. Если в детстве вы испытали травму, вы знаете, о чем я говорю. Если вы не поняли, о чем я, вам повезло в жизни — я на самом деле так считаю.

242

В Оксфорде и Кембридже «Голубая» награда присваивается в основном за достижения в регби и крикете, «Полуголубая» — в других видах спорта, не таких «британских».

243

Когда я была маленькой девочкой, у меня была книжка о медведе, который жил в лесу и вдруг захотел увидеть большой город. Ты, говорят ему, должен сперва одеться, и он мастерит себе шляпу из капустного листа, башмаки из двух дуплистых стволов, — очень неудобные, но что поделаешь, надо, значит надо, — и костюм из коры. В конце книжки есть чудесная иллюстрация, как медведь возвращается в лес, сбрасывает с ног башмаки, зашвыривает подальше шляпу, с упоением и чистой радостью от того, что вернулся домой и может избавиться от неудобных вещей, которые ему чужды. (Если бы он оставался в костюме, он бы, наверное, рано или поздно заболел, как я.)

Холден не оставлял мне надежды на хороший прием: «Честно говоря, я священников терпеть не могу… все священники, как только начнут проповедовать, у них голоса становятся масленые, противные. Ох, ненавижу!.. До того кривляются, что слушать невозможно».

245

См.: Симор: Введение. «Лавина боли» истинного поэта или художника, которой «впору заполнить целую карету скорой помощи», берет свое начало не от «трудного детства» или «неупорядоченного либидо». Ее источник — в глазах: «Чувствуете, чувствуете, что крик идет из *глаз*?.. Настоящего поэта-провидца, божественного безумца, который может творить и творит красоту, ослепляют насмерть его собственные сомнения, слепящие образы и краски его собственной священной человеческой совести. Вот я и высказал свое „кредо“».

Драгоценная (.исп.).

247

Обожаю научную фантастику — заметили ли вы, что в научно-фантастических романах лица у всех подряд искажены «гримасой» страха?

Джойс, например, описала, как она надела старую мини-юбку в день моего приезда.

«Тебе что, больше нечего надеть?» — говорит он. — «Мне нравится эта юбка», — говорю я. — «Ты выглядишь нелепо», — говорит он. Я начинаю плакать. — «Не принимай это на свой счет, — говорит он. — Это — общий грех всего людского рода».

249

Перевод Н. Демуровой.

250

Это слово используют медиумы, говоря друг о друге.

251

Смотри уже цитированную статью «Синдром последствий внушения» в «Social Work» (март 1982 года) Лорны и Уильяма Голдбергов, которые проводят курс лечения для бывших членов религиозных сект: «Люди боятся наказания за то, что оставляют секту. Например, они боятся, что самолет, на котором им нужно лететь, разобьется, или что их родители попадут под машину. В первые несколько месяцев после выхода из секты обычны кошмары».

Смотри также: «Обращение в деструктивный культ» доктора Джона Кларка, профессора психиатрии в Гарвардской медицинской школе: «Если ты думаешь сам, во многих группах это считается подозрительным; если ты думаешь не так, как все, это — сатанизм, и подлежит наказанию: возникают психо-физиологические реакции, такие как мигрень, страх, паника, острые депрессии, или гастроэнтерологические симптомы».

Пол Саймон.

253

Агиография — тип религиозных писаний, житийные хроники.

История таких попыток столь же длинная, как и история человечества. Сам Платон за несколько столетий до Рождества Христова попытался обрисовать идеальное общество. Непревзойденная попытка Платона создать в «Республике» совершенный мир зашла в тупик, когда он столкнулся с проблемой: где отыскать людей с совершенной способностью к суждению, «царей-философов», которые должны править этим совершенным миром. И он счел, что эту проблему решить нельзя. Тогда он переключился на исследование разных форм несовершенного общества, их сильных и слабых сторон, достоинств и недостатков.